

ГРИГОРИЙ БАКЛАНОВ

ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ГРИГОРИЙ БАКЛАНОВ

Григорий БАКЛАНОВ

*Избранные
произведения*

Григорий БАКЛНОВ

*Избранные
произведения*

в двух томах



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1980

Григорий БАКЛНОВ

*Избранные
произведения*

Том 2



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1980

P2
Б 19

Оформление художника
В. Медведева

Б $\frac{70302-427}{028(01)-79}$ 64-80

КАРПУХИН

Повесть

ГЛАВА I

Позже, когда Мишаков погиб, все поступки его и все сказанное им в тот вечер приобрело особый, значительный смысл. Стали вспоминать и вспомнили, что был он неспокойен и не по-хорошему весел, словно предчувствовал что-то, а женщины, узнав, как вдруг захотелось ему проводить родителей, поняли значение этого, чего без них, быть может, и не понять бы: «Сердце подсказало. Знал, видно, больше-то повидать не придется...»

Но сам Мишаков ничего такого не знал и не предчувствовал. И вечер этот, последний в его жизни, был хороший и радостен.

Была пора сенокоса, и с утра уже стоял сильный зной. Даже под вечер, когда они, трое районных работников — бездетьный землеустроитель Кучин, председатель райпотребсоюза Горобец и Мишаков — возвращались попутной машиной из колхоза, белое солнце все еще не клонилось к закату. Не доехая до города, решили искупаться, и Мишаков постучал шоферу по железному верху кабины.

Пока ехали, стоя в кузове, встречный ветер сушил лица, рвал рубашки с плеч, и солнце на ветру не так жгло. Но едва слезли, двинулись пешком — все трое почувствовали неподвижный, тягостный зной, стоявший в поле. Рубашки липли к телу, у Горобца из-под соломенной шляпы по выбритым щекам тек пот. Только сожженный солнцем Кучин в своей надвинутой на глаза фуражке как будто даже не потел. Длинный, в тяжелых пыльных сапогах, он все шел и шел, мерил землю привычным шагом человека, втянувшегося ходить на дальние расстояния.

Стали спускаться к реке по свежескошенному вянущему лугу. Реки еще не было видно, но уже дышалось легко. И сразу прибавили шаг. Оттуда, снизу, неслись голоса, плеск, и вскоре вода блеснула за осокой. Миша-

ков, еще на ходу снявший с себя рубашку, стянул на берегу сапоги, распаренными горячими ступнями стал на мокрую траву — и даже от души отлегло.

Вода в реке, медленно текущей среди лугов, была зеленая. Мишаков с коряги нырнул в нее и уже плыл по средине, и даже Горобец, зайдя по щиколотку, плескал себе на полные, бабы незагорелые плечи и подмышки, пугаясь при этом, а Кучин все еще сидел на траве в фуржке, в неразмотанных портнянках и медленно моргал, словно спал наяву.

Искупались по первому разу, и день показался не таким жарким, захотелось есть. Мишаков достал из брюк пачку папирос, осторожно бера мокрыми пальцами, закурил с удовольствием. На том берегу одевались и строились солдаты. Все они были в одинаковых синих трусах, одинаково остиженные под машинку, белые молодые мокрые тела их блестели на солнце. Сержант, уже одевшийся и заправленный, расчесал мокрый ежик волос, продул расческу и, пряча ее в нагрудный карман, ждал.

Тем временем хозяйственный Горобец выгрузил из полевой сумки на траву две банки голубцов в томате, хлеб, лук и огурцы, особенные, скрюченные, желтые, какие-то усохшие и уже старые, хотя в районе свежие огурцы еще и не начали появляться.

— Где ты их только заготовляешь такие? — поинтересовался Мишаков.

Горобец усмехнулся уверенно, словно его хвалили, за горлышко вытянул из воды отекающую бутылку и оглянулся на солдат, оглянулся кругом, потому что, хоть и свое они пили, в газетах как раз велась борьба с пьянством, а они трое были районные работники. Убедившись, что никто не смотрит, он быстро налил почти до краев единственный стакан, протянул Кучину:

— Тащи!

— Ну, будем здоровы,— сказал Кучин и бережно выпил, все выше и выше вздымая брови, словно обнаружив на дне стакана нечто удивительное. А выпив, сморщился, вслепую ткнул пучком лука в соль и сжал до самых пальцев. За ним выпил Мишаков, последнему Горобец налил себе и спрятал бутылку в куст. Теперь, когда вода была выпита, закусывали не спеша. И хорошо было после жары и солнца закусывать на траве у речки.

Солдат уже построили, бравый сержант бегом повел их в гору, покрикивая: «Шире шаг!» И солдаты, только

что искупавшиеся, смывшие с себя пот и пыль, бежали в гору, заново потея, вздымая пыль сапогами и стараясь на бегу сохранять строй. Все трое смотрели на них в приятном сознании, что могут сидеть и закусывать, и в далекое прошлое отошло то время, когда сержант командовал им: «Шире шаг!»

— Гляжу я на солдат,— сказал Мишаков с огурцом в руке,— молодые, а мелкорослые. Мы вроде бы не такие были.

Он сидел на траве, поджав босые мускулистые ноги, высокий даже сидя. На его обсохшем теле с глубоким шрамом под лопatkой, где в войну госпитальный хирург вырезал пулью, не было красиво развитой мускулатуры, какая достигается ежедневными упражнениями и гимнастикой. Но это был широкоостый, вошедший в силу человек, с детства привыкший к физическому труду.

Горобец охотно согласился, что «не такие». При этом лицо его осветилось самодовольством, оттого что все здесь вот так хорошо он устроил, и вообще он такой человек, что если ты с ним — человек, и он с тобой — человек, ты с ним по-хорошему — и он с тобой по-хорошему. И потому ему все рады и все он может достать, даже там, где другой ничего не достанет. А бездетный Кучин только вздохнул и, достав из жестянки кусок голубца, покорно понес его ко рту на ноже, страхуя снизу ладонью.

— А чего удивляться,— сказал опять Мишаков,— родились эти ребята в войну. Чего они видели? Картошку и то не вволю. Мельчает народ от войн.

Горобец, не склонный к философии, отличавшийся практическим складом ума, опять оглянулся по сторонам и за горлышко вынул из воды еще бутылку. Все видели, что он опускал туда одну, но теперь явилась на свет и вторая.

— Ты, Горобец, как Христос, воду в вино обращашешь,— польстил Кучин, поскольку пил теперь уже не свое. Горобец сказал только:

— Тащи!

Не ели с утра самого, и после этого стакана всех потянуло на откровенность. Кучину хотелось сказать о значении правильного землеустройства, о том, главное, что землеустроителей не ценят, но его не слушали, он обижался и под конец замолчал. Говорил главным образом Горобец. Про то, как ему приходилось пить с большими людьми. Рассказывал он подробно: сколько было выпито, чем закусывали, что сказал и что из еды «уважает» боль-

шой человек — все это как бы по секрету, вполголоса и оглядываясь.

Пролетел реактивный самолет. Какие-то люди спешили по своим делам, блеснули в небе, удаляясь, круглые окошечки. А они трое сидели на траве. И речка текла не быстрей и не медленней, чем в те далекие времена, когда и самолетов не было, а трава росла все так же. Предвечерняя тишина садилась на луг, и за рекой далеко, будто в тумане, лаяла собака.

— Эх, Бойченко бы сюда! — заскучал вдруг Мишаков. — Вот голос!

Ему хотелось сейчас хорошей песни. И от огорчения, что ни Горобец, ни тем более Кучин не поют, он один полез в воду.

Летят у-утки,
Летят у-утки,
Ой, и два гу-у-ся...—

запел он, стоя в реке по подбородок, и хорошо, далеко слышен был голос над водой.

Садилось солнце. Впереди, где река заворачивала, она казалась широко разлившейся, спокойная вода в ней блестела на закате, и на воду из кустов уже тек туман, и пахло в реке свежескошенным лугом.

Потом, когда они трое с мокрыми после купания волосами шли вверх по лугу, огромное красное солнце, перевхваченное пепельным облаком, все еще держалось на весу над самой землей, и ближняя деревня в низине, среди стекавшихся к ней полей, вся была в розовом тумане. Из этого светящегося тумана блестели крыши домов и длинная крыша коровника. А дальше синел сквозь вечернюю дымку лес и там уже зажегся огонек, или это солнце сверкнуло в чьем-то окне.

Мишакова вдруг потянуло проводать родителей: они жили в той маленькой лесной деревне. Растрогавшись от того, что он идет их проводать, что все так хорошо и душевно, он попросил Кучина передать жене, что заночует у стариков. И двинулся напрямик, без дороги: все здесь с детства было не раз исхожено.

Воздух свежел, и хорошо было сейчас идти полями, попадая то в сухие, то во влажные струи, когда тянуло от реки. Он шел и думал о своих стариках. Живут двое при своем огороде в большом пустом доме. Когда-то этот дом был тесен, а теперь большой стал, и они двое в нем.

Так и живут, держась друг за дружку. Он увидел их мысленно, отца и мать, как они сидят сейчас за столом, двое старых людей, при керосиновой лампе. А ему даже зайти к ним некогда. Дела все, заботы районного масштаба... Э-э, не дела виноваты. Ведь он у них один. Один из трех остался. И вот как бывает: он, старший, прошел всю войну от первых горьких дней, и ранен был, и контужен, и — живой. А младшие подрастили, уходили на фронт и не возвращались. Даже не повоевав толком. «Надо бы старикам хоть внучат на лето подкинуть,— подумал он виновато.— Перевернут в доме все вверх дном, попереломают — хватит отцу всю зиму чинить да вспоминать». И тут же Мишаков вспомнил, что жена не ладит со стариками. «А чего не ладить? Старики у меня хорошие, тихие. И Тамара ведь баба неплохая. Чего не ладят? Эх, люди, чудной народ! Была война — как друг за друга держались! Неужто забыли?»

Он услышал над собой шуршание, поднял голову, и зарябило в глазах, на короткий миг голова закружилась. От заката широкой полосой, черные в сумеречном свете, летели галки. С шуршанием и писком они летели с полей к деревне на ночлег. В ту сторону, куда он шел. Мишаков прибавил шагу.

Было уже темно, когда он по насыпи поднялся на шоссе. Асфальт, нагретый за день, остывал, и воздух над шоссе был тепл и сух, в нем звенели комары. Пока Мишаков прикуривал от спички, несколько комаров укусили его в потную шею. Он размазал их ладонью, слепыми от огня глазамиглянул в темноту. Вдали, у леса, мелькнул свет; по шоссе шла машина. Но Мишакову оставалось до деревни километра два, и он мысленно махнул рукой. По крутои увиадука насыпи он побежал вниз все быстрей, быстрей, рассыпая искры из папиросы. Внизу ручей под виадуком и землю закрывал туман. Мишаков сnotкиулся, полетел вниз, вымочил о росу колени и ладони. Стоя на четвереньках в тумане, он рассмеялся, услышал свой смех, как со стороны, и удивился: «Пьян, кажется». После контузии с ним случалось это и от стакана водки. Он зачем-то долго искал выпавшую папиросу, щупал вокруг себя землю руками. Наконец сообразил, что папироса намокла и погасла, раз не светится в темноте. И, сообразив это, обрадовался: «Нет, не пьян...» Стоя, Мишаков вытер ладони о брюки, закурил новую папиросу, глубоко вдыхая дым в сырому воздухе. Он задыхался слег-

ка, хотя ничего тяжелого не делал, в ушах глухо отдавались удары сердца.

Туман посветел, и вверху над виадуком белые столбики стали видней, они наливались приближающимся светом. Мишаков вдруг полез наверх. Он лез, чтобы успеть выскочить на шоссе, остановить попутную машину. Снизу он не видел ее, но руками, ногами чувствовал, как дрожит земля. Все кругом постепенно освещалось, только откос, по которому он карабкался, был в тени. Земля осыпалась у Мишакова из-под ботинок, он цеплялся руками за траву, торопясь, с зажатой в зубах папиросой. И уже не главное было, доедет он или не доедет попутной машиной, главным был азарт — «Успеть!», ради которого он лез вверх, задыхающийся, чувствуя только, как сильней, сильней, ближе дрожит земля.

Два сильных луча фар на повороте, пройдя над низиной, стремительно посчитали белые столбики ограждения и вырвались на простор. И в этот самый момент Мишаков, задыхающийся, счастливый, что успел, выскочил на шоссе с поднятой рукой. Он выскочил почти на средину и тут поскользнулся на чем-то, упал, больно ударился коленом. Он еще вставал, он не успел даже испугаться. Яркий свет ударил ему в лицо, и этот ослепивший его свет и визг тормозов — было последнее, что видел и слышал он.

А шофер только успел заметить белое мелькнувшее в луче лица, и нога сама нажала тормоз. Потом — удар, от которого он зажмурился, внутри у него все обрвалось.

Машина стояла. Было тихо. Качалась цепочка па ключе. Шофер сидел в кабине не шевелясь. И тут услышал он стон, едва внятный. Задрожав, шофер выскочил из кабины к сбитому им человеку. И еще не добежав, понял: ошибся. Этот уже не мог стонать. Он лежал, как лежат только убитые, и на асфальте блестела при лунном свете вытекшая из-под головы его лужица.

— Сволочь ты! — стоя над ним, сказал шофер зазвеневшим голосом. — Что ж ты со мной сделал?

Но никто не слышал этого, как не слышал и того, что делалось сейчас в его душе. Он отошел, сел на подножку кабины. И впервые за взрослую, трудную, сложную жизнь ему захотелось заплакать. Заплакать над собой, над всей своей вот так вдруг поломавшейся жизнью.

Мотор машины еще дышал жаром, но он уже начинал остывать. И на асфальте оставал човек, недавно еще

живой. И студенистая лужица крови, в которой утонули его непросохшие волосы, больше не расплывалась.

Потом далеко на дороге мелькнул свет. Исчез. Снова мелькнул. И побежал на повороте по белым столбикам. Они засветились на возвышении дороги над чернотой и туманом поля. Шофер хотел встать, выйти на середину дороги и поднять вверх руки. И он уже встал и пошел было, но в последний момент, увидев этот быстро надвигающийся свет, словно судьбу свою увидев, метнулся вдруг в сторону и побежал.

Он бежал по полю в темноте, падал, вскакивал и снова бежал. Наткнувшись на стог сена, остановился. Задыхающийся, оглянулся назад. На возвышении дороги в ярком свете ходили люди. Шофер заплакал, один, стоя у стога сена в темноте, и пошел обратно. Потом пошел быстрей, потом побежал.

Там-то, в поле, когда он, опомнившись, возвращался, и поймали его случайно оказавшиеся поблизости прицепщик Федька Молодёняков и пастух, старик Чарушин. Оба были выпивши, шли, не зная куда, и, увидев бегущего человека, кинулись к нему.

Вели его, вырывающегося, победно. Издали кричали: «Ведем! Здесь! Не ушел!» И так держали за обе руки, что едва не выворачивали их. Особенно Федька Молоденков, который и без того не знал, куда силу деть.

Из темноты вытолкнули его на свет фар как раз в тот момент, когда подъехала еще машина. Какие-то люди вскакивали из нее; ослепленный в первый момент, он плохо видел, плохо соображал. Люди столпились вокруг убитого, там сразу голоса смолкли. Другие подошли к нему. Торопясь, он пытался объяснить, рассказать им, как было, но они отводили от него глаза. Один подошел ближе, взгляделся пристально:

— Пьян, гад!

И плонул ему в лицо. Шофер даже не мог вытереться: его все еще держали за руки.

Потом появились сразу две машины. Они светили фарами на дорогу, на убитого, приехавшие громко спорили сразу на много голосов, и среди этих людей замелькали милицейские фуражки. Кто-то распорядился, его отвели и посадили на подножку его машины. Пастух добровольно остался охранять, а Федька Молоденков что-то рассказывал в толпе, громко крича и махая руками.

Орудовцы раскатывали по асфальту рулетку, изме-

ряли, записывали, а шофер сидел на подножке, не участвуя во всем этом, происходящем вокруг него. Он покорился. В сознании его образовались провалы, он плохо слышал и не помнил, когда кто появился. Голоса, чернота ночи и полосавший ее свет — все это отчетливо слилось в единое ощущение несчастья, опустившегося на него и отделившего от всех. Иногда новые люди подходили на него смотреть и отступали в тень.

Только незнакомый шофер, жалея, дал папироску и, загородив от всех, протянул прикурить.

— Жизнь наша шоферская: впереди — баранка, позади — Таганка, — сказал тот, не умея ободрить иначе. И вот эту жалость к себе он почувствовал остро. Ему захотелось что-то сказать этому шоферу, единственному из всех, понявшему его, но он только курил, жадно глотая дым, и у него дрожали пальцы, рассыпая искры, и жалкая улыбка, которой сам он не замечал, комкала его лицо. И шофер, свой брат, дал ему еще несколько папирос, а потом, зачем-то оглянувшись, полез в кабину его машины и выключил фары. Просто чтоб не садились аккумуляторы.

ГЛАВА II

Во вторник районная газета вышла с портретом Мишакова в траурной рамке, и под портретом был напечатан большой некролог. При жизни Мишакова помещали в газете два раза. В группе известных председателей колхозов, толпившихся на поле, точно экскурсанты, он, подретушированный до неузнаваемости, был едва виден где-то на заднем плане. И оба раза, как и полагается агроному, он держал в руке колос пшеницы и улыбался. Сейчас на увеличенной фотографии он смотрел с листа газеты строгий и грустный, чем-то уже отдалившись от живых, словно заранее лежала на нем незримая печать предопределенности, которую теперь только стало видно всем.

Под некрологом в соответствующем порядке, то есть не по алфавиту, а по значимости, по занимаемому положению, в два столбика были напечатаны подписи. И тут вышли свои обиды: чью-то фамилию поместили предпоследней, в то время как хозяин ее имел право стоять если не восьмым, так уж девятым во всяком случае. А инспектора ропо Кашинцева забыли вовсе, и он, возмущенный, звонил в газету, говорил, что ему это не нужно, но

он тридцать лет жизни бесспорочно отдал району, и пусть ни единственным словом не отметили его пятидесятилетний юбилей, но уж это, это хотя бы он заслужил!.. Встретив в тот же день на улице редактора газеты, Кащинцев прошел мимо, не поздоровавшись.

В некрологе было напечатано, что погиб Мишаков на боевом посту, и говорилось о нем еще много добрых, хороших слов, которые почему-то никогда не говорили ему при жизни. И хотя он действительно был человек хороший и добрый, хвалили его сейчас не столько за его при жизни заслуги и не потому даже, что о мертвых либо вовсе не говорят, либо говорят хорошо. Дело было еще и в том, что смерти его сопутствовали некоторые обстоятельства. Казалось бы, нет ничего страшного, если взрослый человек субботним вечером искупался в речке и выпил с друзьями. Однако в данной обстановке это могло бросить тень не на него одного. И потому рядом с некрологом была напечатана гневная статья знатной прядильщицы Майи Посевной: «Лихача — к ответу!» В статье встречались такие выражения: «Преступная рука того, кто не смог совладать со своей пагубной страстью, кто пьяным сел за руль, оборвала жизнь...» И по этим «того, кто», по гневным «доколе» и эпическим «доселе» опытные люди сразу распознавали руку самого Кащинцева, который — что тоже не оставалось тайной в маленьком городе — уже много лет писал роман из колхозной жизни, намереваясь и никак не успевая вместить все, а по праздникам печатал свои стихи под псевдонимом.

В городе все знали, что у Майи Посевной муж — жертва этой самой пагубной страсти. И не раз случалось, когда она, женщина молодая еще, видная, — природа ничем не обделила ее, — сидела в президиуме, он, пьянецкий до слюней и глупый, врывался в зал, что-то пытаясь кричать ей, и его выводили. В статье знатной прядильщицы гнев гражданина и женщины слились воедино. Опа не сомневалась, что шофер был пьян, потому что все зло отсюда, и требовала суровых мер. А самым сильным местом статьи было то, где она напомнила о недавнем трагическом случае на шоссе. Всего полтора месяца назад двое учеников четвертого класса — мальчик и девочка, — возвращавшиеся из школы, были сбиты грузовой машиной. Они остановились посмотреть, как чинят трактор на обочине, а когда вышли из-за него с портфелями в руках, мчавшийся мимо грузовик сбил обоих. «Еще

не заросли их свежие могилки, и вот снова убийство вблизи нашего города. И опять убийца — шофер!» Она требовала судить его здесь, на месте преступления, чтобы судьи услышали возмущенный голос общественности.

Мишаков был местный, здесь родился, здесь жил — не семечко, случайно занесенное ветром, корни его сидели в этой земле. Отсюда он уходил на фронт, сюда же вернулся. Все знали его родителей, каждый видел троих его детей, бегавших в школу. На похороны Мишакова сошлось полгорода, а из колхозов приехали делегации. Даже Ермолаев, известный председатель и депутат, приехал на своей голубой «Волге».

Похоронив и засыпав землей, зашли помянуть покойника. Тем же самым, что и он при жизни не обходил. Сначала говорили о нем, о детях, оставшихся без отца. После третьей рюмки разговоры пошли хозяйственные: хорошо бы погода деньков еще пяток продержалась, как раз бы с сеном управились. О дождичке, который всего-то и нужен теперь хлебам под колос да под налив.

Разъезжались на закате. И долго еще по полевым дорогам вилась за машинами пыль, ветер относил ее на хлеба.

А в опустевшем доме Мишакова жена прижимала к мокрым щекам фотографии, разложенные на высокой теперь вдовьей пуховой кровати; за дверью шептались дети в темноте.

ГЛАВА III

Косил весь район, радуясь, что стоят погожие дни. Косили и горожане, кто держал коров. По оврагам, по обочинам дорог, где никто не ходит и не ездит, в ранние часы до работы выкашивали каждый бугорок, каждую кочку. Были, правда, сенокосы у леса, да и в самом лесу трава каждый год переставалась и гибла, были сенокосы у реки, но у леса — земля лесхоза, у речки — совхозные земли. И хоть все это не косили там — никогда, да и некому, — частным лицам косить не разрешалось. С этим давно уже было строго и год от года становилось строже. Конечно, можно было поговорить с лесником, встать пораньше других и за бутылку накосить в лесу. Но у каждого сосед... И скосишь, и сложишь, а потом приедут к тебе на дом: «Где взял?..» Если посчитать, сколько земли вот так пропадало зря, той самой земли, которой когда-то, когда народу было меньше, не хватало;

за которую убивались, брат с братом не могли поделить, если посчитать, сколько от нее составляют эти кочки да обочины, где косить хотя и не было вот так прямо разрешено, но где все же не препятствовали, так свежему человеку дивно покажется. Но и их хватало, если руки приложить. А еще и потому хватало, что коров в городе становилось все меньше.

И вдруг в этом году разрешили косить. Да не только разрешили, а приказывали отводить людям участки. И каждый косил, словно на всю жизнь хотел запастись, словно боялся с непривычки, что еще одумаются и отменят.

К концу сенокоса пахли сеном улицы города и дворы, у которых сушилось оно, развороженное на траве. Пахли вечера сеном. У хороших хозяев к этому времени уже высились на задах стога, прикрытые кусками толи, кленкой, дерюжкой, какую не жалко, а у следователя Никонова каждый стог венчала крыша, поднятая на четырех шестах. Сам Никонов лично корову не держал и, была бы его воля, он бы покончил с этим злом в масштабе всей страны. Но, женившись, вошел он в дом, где и в плохие-то годы не мыслили себя без коровы, десятка кур, гусей. И хотя Никонов всей душой ненавидел частнособственническую психологию, садилась семья за один стол и получалось по пословице: попал в стаю — лай, не лай, а хвостом виляй. Каждое утро, когда одним рыбакам по доброй воле не спится, шел он вместе с тестем косить, понукаемый взглядом жены.

Но теперь все это, слава богу, было позади и на отдалении вспоминалось даже с удовольствием. В белой шляпе из соломки, с портфелем в загорелой руке, перекинув мундир через другую руку, он шел по тротуару, пропотевшому в траве у заборов, мимо лавочек, пустых в этот час. Первое время на сенокосе у него болело все тело, привыкшее за зиму к сидячей работе, и засыпал он без снов, оглушенный усталостью. Но сейчас, похудевший и загорелый, Никонов чувствовал каждый свой окрепший мускул, чувствовал под рубашкой стянутую загаром кожу.

Еще пыль на дороге лежала, как улеглась с вечера, и воздух, отстоявшийся за ночь, был чист. Невысоко над садами поднялось солнце, оно светило по-утреннему, но уже грело спину, и Никонов, пока вышел на край города к тюрьме, вспотел под рубашкой.

Здесь, за толстыми кирпичными стенами, которые клали прочно, не на один век, день еще не чувствовался,

словно все окна со всех четырех сторон выходили на север. После улицы, солнца Никонов своей вспотевшей шеей почувствовал этот сырой воздух с устоявшимся плесеним запахом. Он надел форменный свой мундир, застегнулся на все пуговицы.

В комнате с одним окном, через которое было видно небо в клеточку, Никонов разложил на столе бумаги и в ожидании подследственного закурил, сосредоточиваясь. Шофера этого он видел один только раз, сразу же после происшествия, и теперь, за сенокосом, казалось, не две недели прошли с тех пор, а все это очень давно было, и лица его он почти не помнил. Но само дело представлялось довольно ясным. Да Никонову пока еще и не поручали неясных дел.

Перекладывая бумаги, он освежил в памяти некоторые подробности. По бумагам значилось: Карпухин, Николай Андреевич. Карпухин... Двадцать пятого года рождения... Беспартийный. Русский. Ранее судимый. Вот с этого последнего пункта Никонов и решил начать. Чтобы у Карпухина не осталось впечатления, будто на нем — пятно на всю жизнь, и что он теперь ни говори, веры ему все равно не будет. То было тогда, а это — теперь. Теперь все по-другому, и для Никонова такой пункт решающего значения иметь не мог. Надо, чтоб Карпухин сразу же почувствовал это.

Никонов еще курил, когда ввели шофера. Не по своей практике, потому что это было только третье его дело, но от других Никонов знал, как важно первое зрительное впечатление. Потом, когда не один час они проведут вместе, он уже будет видеть Карпухина несколько иными глазами. Тем более важно, чтобы первое наиболее острое впечатление сфотографировалось в памяти. Важно было также, чтоб и шофер увидел с первой минуты, что перед ним не просто должностное лицо, не мундир, а человек, который хочет и способен понять его.

Никонов поднял голову от стола, взглянул на открывшуюся дверь доброжелательным взглядом, который, в сущности, относился не к этому человеку, а к некоему подследственному, которого вводили сейчас.

— Садитесь, Николай Андреевич.

Шофер сел, заметно волнуясь. Никонов близко увидел его. По бумагам ему еще сорока не было. Но тянул он на все сорок пять, если не больше. За его костистыми под хлопчатобумажным пиджаком широкими плечами по-

чувствовал Никонов такую длинную жизнь — не по числу даже прожитых лет, а по количеству пережитого, — что внутренне отстранился от него испуганно. Это напугавшее его, чего он даже не понимал хорошоенько и никак бы не смог словами выразить, была разница судьбы, доставшейся им. Той судьбы, которая и ему при других обстоятельствах могла бы выпасть, но не выпала, обошла.

Перед ним на укрепленной в цементном полу табуретке сидел человек, которого жизнь словно пометила своим клеймом. И что-то уже притерпевшееся было во всем его облике, в больших руках, покорно лежащих на коленях, в том, как он взглянул снизу вверх своими замигавшими от волнения глазами.

Никонову, искупавшемуся утром в речке, когда с воды еще не сошел туман, вышившему до завтрака стакан пенистого парного молока от своей коровы, которой и на зиму уже накошено, а после с мундиром на руке, обдумывая дело, прогулявшемуся через весь город по утреннему солнышку, в первый момент не хватало здесь воздуха. Но большие легкие Карпухина под ребристой грудью, то подымавшейся, то опадавшей в вырезе рубашки, мерно вдыхали этот пропитанный испарениями воздух, не чувствуя, должно быть, его спрятости. И сам он не выделялся резко среди казенных стен. В ботинках без шнурков, как предписано правилами, в мятой одежде, в которой он спал и несвежий запах которой чувствовался на расстоянии, он смотрел на следователя с робко мерцающей в глазах надеждой. Все, что он говорил себе до сих пор там, в камере, все те допросы, которые он уже мысленно прошел, все это осталось за порогом, а здесь были только двое: следователь и он. И страх перед тем, что началось с этой минуты, и перед человеком, от которого в его жизни теперь зависело больше, чем от него самого. Этим человеком был Никонов. И Никонов почувствовал некое смущение и неловкость перед ним за свой загорелый, словно с юга, отдохнувший вид.

— Курите, — сказал он, пахмурясь, положив пачку сигарет на край стола. Не из рук в руки дал, а положил, от себя подальше, к нему поближе. Привстав с табуретки, Карпухин потянулся за сигаретой. Никонов глянул на его руку. Это была привыкшая к грубой работе рука с короткими пальцами в шрамах и заживших рубцах. Машинное масло въелось в складки толстой, малочувствительной к боли кожи, черной каймой окружало ногти;

оно еще не отмылось совсем, и не до конца сошел с кожи загар, но рука была уже того нездорового желтого оттенка, какой возникает без солнца.

Обломанными, отросшими ногтями Карпухин пытался ухватить сигарету за краешек, одну, чтоб не касаться остальных, но вторая рука его была занята, он придерживал ею брюки, ремень от которых у него отобрали, и получалось так, что он только возил всю пачку по столу. Покраснев, поспешно кинувшись, Никонов помог ему, дал прикурить и, нарочно показывая, что не брезгует, взял в рот соседнюю сигарету. Некоторое время они курили, оба смущенные. И что-то похожее на доверие возникло в этот момент между ними.

— Я вас хотел спросить, Николай Андреевич,— сказал Никонов, покашливая.— Насчет первой вашей судимости. Той, давней...

Карпухин быстро глянул на него и опустил глаза.

— Видите ли, я знаю по бумагам,— заторопился Никонов.— Но вы сами знаете, бумаги не отражают всего... Мне хотелось, чтобы между нами не было неясности. Расскажите просто, по-человечески,— у него чуть не вырвалось — «по-дружески», и он, смущившись, добавил: — То — тогда было, а теперь все по-другому. И не думайте, что это как-то может влиять на вашу судьбу.

Карпухин сидел, положив руки на колени, веки были опущены, покорное до безразличия выражение делало безликим его лицо.

— ...Вообще-то в документах год рождения у меня неправильный. Я не двадцать пятого — двадцать шестого года рождения. Но тогда двадцать шестой год на фронт не брали, я себе год прибавил, а дальше так оно и пошло.

Карпухин выдохнул из легких долгую струю дыма, сдул ею пепел с сигареты.

— А дело это в сорок четвертом году было. Зимой. Возили мы боеприпасы. А оттуда, с фронта, что загрузят: когда раненых везешь обратным рейсом, когда снарядные гильзы. Ну и в тот раз тоже боеприпасы надо было везти. Как раз недавно пополнение получили, машины новые прибыли. Студера. А то доездились, во всем нашем мотобате тридцать две машины осталось. В батальоне четыре роты, в каждой роте — по три взвода, и вот, хотите верьте, хотите нет, в моем взводе — семнадцать ма-

шин. Во всем батальоне тридцать две только машины, а из них в моем взводе — семнадцать. Мне исключительно за это орден Отечественной войны первой степени дали. Исключительно за сохранность техники. А тут новый замполит прибыл. Командир батальона мне доверял, знал потому что, а этот — новый, только из академии. Отличиться он, что ли, захотел, или в немlixость эта... Вообще так мужчина бравый, решительный. «Ты,— говорит,— лейтенант, поедешь замыкающим, колонну поведу я».

— Кто лейтенант? — не понял Никонов.

— Мне говорит он. Я ж командир взвода.

— А, ну да, ну да...

Но на самом деле просто было только сказать «ну да». А представить, что вот этот сидящий против него в расшнурованных ботинках спиной к серой тюремной стене шофер грузовика и лейтенант — одно и то же лицо, это представить себе и понять было вовсе не просто. Для Никонова со словом «лейтенант», «офицер» было связано слишком многое. Быть может, потому, что отец его, погибший на фронте, когда Никонову еще два года не исполнилось, был кадровый военный.

Он знал, конечно, что лейтенанты не всегда были такими, как сейчас, в мирное время, новенькими от фуражки до сапог. В войну и ротами, и батальонами, и полками часто командовали вчерашние учителя, колхозники, слесаря. Кончилась война — они опять вернулись к своим профессиям, стали тем же, кем были до войны, как вот Карпухин, наверное, или как у них в городе слесарь-водопроводчик Орлов, награжденный пятью боевыми орденами, которые он надевал по праздникам. Все это было как будто понятно и даже иначе как будто и не могло быть, но всякий раз, когда Никонов задумывался об этом, он чувствовал некоторое неудобство, словно сам был в чем-то виноват перед этими людьми.

А Карпухин, начав рассказывать неохотно, для протокола, увлекся постепенно. Хоть и не время, казалось бы, и не место, чтобы вспоминать, но так уж оно само вспомнилось, и даже лицо его суровое стало мягче как будто, помолодело. Ему нравился следователь, молодой, смущающийся, видно, совестливый, ничем не похожий на тех кремневых, какие встречались ему до сих пор: ты ему говоришь, он смотрит тебе в лоб, а у самого в глазах — зевота.

— Тут главное дело было эту дорогу проскочить. Местность такая: вначале лесок дохленъкий. В нем еще

ничего, маскирует все же. А дальше — голое болото. По одной стороне — километров на пять всплошную и по другой — километра два с половиной. И дорога вся на возвышении, очень хорошо просматривается. Тут, если в первую машину попадет, другие стали. А с боеприпасами! Безешь, а они за спиной у тебя, снаряды-то! Тут надо с умом. Вот он, значит, все это по инструкции командует, машины приказал осмотреть, моторы прогреть. И не глушить. В пять утра выступаем. Мороз, правда, был, тут он прав. Но все равно нельзя же. Шутка дело — двадцать семь моторов работает! Хоть и на малых оборотах, оно ж раздается. Тем более над болотом, далеко слышно. Я ему говорю: мол, так и так, товарищ капитан. Все же ездим тут, знаем. Но он ничего этого слушать не стал и даже меня же еще при всех,— Карпухин улыбнулся конфузливо,— трусом меня обозвал. Говорит, ехать боишься, так и скажи, освободить можем. Конечно, скажи он сейчас, так оно бы терпимо, а тогда что же, восемнадцать лет было. Знаете, как в восемнадцать лет... Веди, думаю, раз такое дело! Ничего больше говорить не стал. Сел в кабину, сплю. Правда, все точно было. Пять часов — команда по колонне. Пошли! Ну немец, он же слышал. Ждал нас. Хоть и темно еще, а дорога у него пристрелена. Только на середину выбрались, тут он и начал садить. Сидит и сидит. А мы жмем! Тут дело такое: проскочить! Ка-ак рванет впереди! Враз все осветило. Ну, он и ввалил!.. Снаряды, они же сами рвутся. Тут не то что, а просто-таки одна воронка, ничего больше не остается, как они все вместе рванут в кузове. Выскочил я, вижу, машины не спасешь, людей спасать надо. «Разбегайся,— кричу,— по обе стороны! Ложись!» А оно еще болото было такое, не замерзает зимой, хоть ты что. Сверху ледок снежком припорошен, а станешь ногой — проваливается. Ну, тут уж не до этого, лежим в воде. А у него разведчик поблизости летал. Он авиацию и вызвал.

В общем, когда кончилось, две машины уцелело от всего взвода. Капитан ничего этого не видел, ему сразу же руку вместе с плечом вырвало. Пришлось мне за все и отвечать. Мы и сообразить еще не успели, живы ли, нет, а уже начальник особого отдела едет. Там в другой части сержант командира взвода застрелил. Вот он оттуда и ехал. Подъезжает на своем «виллисе» — где командир? Вон, говорят, с планшеткой ходит. Он меня сразу в машину, ничего объяснять не стал, я тоже не спрашивал.

Еду, раз везут. Приезжаем в дивизию, меня сразу под замок. Оказывается, он в леске стоял, все своими глазами видел. Которая часть там находилась, он их тоже спросил. Ну, а меня уж и не стал спрашивать. В общем, на пятый день — вот она, сто шестнадцатая штрафная рота. Я, правда, как прибыл в роту, сразу же своему командиру батальона письмо послал, и ребята вернулись, рассказали, как было. Я уж это после узнал. А пока что кинули нас под деревню Новую Алексеевку. Там, под этой деревней, народу положили!.. Мы когда прибыли, они по всему полю замерзшие лежат. В лоб шли. По снегу. А у него там долговременные укрепления.

Вот стали мы эти доты взрывать. Трое лыж, как обычно, собьешь, взрывчатку на них положишь и ползешь к доту. Народ в штрафной роте, надо правду сказать, подобрался хороший. У нас и в мотобате хороший народ был, плохих вовсе мало попадалось. А тут же из всех частей собрано. Меня командиром отделения назначили, так у меня два майора под командой было.

Взорвали мы этих дотов двадцать шесть штук ровно, когда приказ приходит: взять деревню. Созывает нас командир роты. Не то что офицеров одних, а даже нас. Такой мужик был, не смотрел, что штрафники, для него все — люди. Ему как приказали деревню брать, он говорит: «Я деревню возьму. Но только вы мне не приказываете, как ее брать. И час точный не устанавливайте. А я возьму. К утру буду в деревне». Созвал он нас: мол, так и так, получен приказ. «Только нам если ее по всем правилам брать, много мы здесь народу положим. Ее уже брали-брали, брали-брали, немец здесь стреляный. А я так думаю: что, если нам ее втихую взять? Подползти молчком, да сразу, со всех с трех сторон!.. Вы тут народ опытный, воевать умеете. Поставьте себя на его месте, если втихую действовать, страшно ведь?» Прикинули мы — и правда, страшно. На том и решили. Отпустил всех командир роты, а мне приказал оставаться. «Твое, — говорит, — дело пересмотрено. Получено распоряжение отправить тебя обратно. Так что можешь не участвовать». Значит, дошло мое письмо. А комбат у нас был такой, что не отступится. Он за своих людей стоял.

Обрадовался я, конечно, что скрывать. Потому что не виноват я ни в чем, ни за что меня сюда заперли. Но и от этих ребят теперь уходить жалко. Сколько мы тут вместе трудов положили, пока эти доты взрывали, а де-

ревню будут брать без меня... «Вы мне,— говорю,— разрешите остаться. Возьмем Новую Алексеевку, черт бы ее брал, вот тогда — пожалуйста».— «Ну что ж,— говорит,— оставайся. Это,— говорит,— по-моему». Да и так тоже подумать: ведь он мог не сказать мне. Перед операцией каждый лишний человек знаете как дорог! А он не посчитался, сказал.

В общем, ночью поползли мы к ней. Три часа по снегу ползли, все мокрые. Что вы думаете — взяли! Которые немцы даже проснуться не успели. И такой азарт был, мы еще два с половиной километра гнали их и другую деревню взяли. В ней уж закрепились. Тут регулярные части подошли, сменили нас. Когда роту в тыл отвели расформировывать, в ней всего тридцать восемь человек осталось, почти все раненые. Мне вот эту ногу вот здесь из автомата прошло.

Так вы, может, не поверите, ко мне в санбат начальник особого отдела приезжал извиняться! Честное слово! И командир батальона тоже приезжал ко мне. Сказал, что ничего, мне это записано в документе не будет, звание мое вернули и даже наградили меня за операцию медалью «За отвагу». Сказать-то он сказал, а проверить уже не успел: его на другой день убило. И мне тоже ни к чему. Знать бы, конечно, а то я в уверенности находился. А уж после войны, как стали меня опять судить, раскрыли бумаги, а там все мое прохождение записано. Я, было, туда-сюда, объясняю, как оно и что, а кто же мне поверит? Вот и вам тоже рассказываю, а вы слушаете и, может, не верите мне, доказать мне все равно нечем.

— Ну что вы! — сказал Никонов, слушавший под конец с волнением.— Когда человек говорит правду, ему не верить нельзя. Вам и раньше поверили бы, если б это не тогда было.

— Может, так... Жизнь-то она — полосатая. В какую полосу попадешь. А мне везет: все через раз попадаю и все не в ту полосу. Это все равно как не успел на зеленый свет проскочить и тебе до конца уж на каждый светофор натыкаться. Только подъехал — стоп! — красный свет. А те идут в зеленой волне, им и ветерок в стекла. В общем, второй раз вовсе по-глупому получилось. Ну, тут правду надо сказать, виноват был. Хоть, может, и не настолько, а виноват. Получилось так: приходит ко мне сестрин муж, Николай. «Там,— говорит,— у магазина бочки

лежат из-под огурцов. Давай вечерком подъедем, штучки две махнем, никто не увидит». Время было голодное, сами знаете, сорок шестой год,— сказал он, не сообразив, что о сорок шестом где воспоминания у них разные: в тот год будущий следователь Никонов еще даже в школу не ходил.— Какое тогда питание? Картошка да капуста, у кого есть. Я холостой, шофером работал. Шоферам тогда жить можно было: машин-то после войны вовсе мало осталось. А у сестры — детишек трое. И жили с рубля. Бывало, когда дров машину скинешь, когда деньжишек одолжишь и не спрашиваешь после: как-то помогать надо было. Вот он и говорит: давай эти бочки махнем, а то капусту на зиму солить не в чем. Давай, говорю. Ящики эти, бочки с роду у магазина навалом лежат, вывезти не на чем. А то нагрузят несколько машин тары, сvezут за город в овраг, да и сожгут. Сутками, бывало, дымят, жители их на дрова растаскивают. Я хоть бы и днем нагрузил, никто б мне слова не сказал, потому что это у нас за грех не считалось. Сам не пойму, чего мы почью поехали? В общем, покидал я их в кузов. Еще и третью кинул: бери, не жалко! Чего теперь, я правду говорю. Закурил. Николай меня тормошил. И на самом деле, только стартер нажал — милиционер бежит, свистит в свисток. У Николая одна рука сухая, вот здесь пулей перебита, толкает меня ей в бок: «Едем скорей, ради господа бога! Задержит ведь!..» А мне чего-то смешно стало, как он бежит сюда, я его издали узнал. Был у нас там милиционер по фамилии Свобода, шофера прозвали его: «Каторга». Старый уже, вот такого росточка, а ни один преступник от него не уйдет. Зимой раз в мороз километров десять гнал двух грабителей по снегу. Все с себя скинул, бежал за ними. Один, правда, ушел, но другого задержал. И что интересно, без оружия был, одним страхом придавил его. Когда привел в отделение, там смеялись стали: парень на голову выше его, сильнее вдвое. Это бывает — собака так приучена: вцепится — умрет, не отпустит. Вот так и он. Хватило бы у того парня силы двадцать километров бежать, он и двадцать бежал бы, тридцать — он и тридцать.

Подбегает к машине, ногой на колесо: «Та-ак... Бочки... Никуда не езди!» Достает бумагу из планшета, фонариком присветил номер машины. Между прочим, машину он мою знал: сколько раз подвозил его. Они хоть и милиция, а с транспортом у них, один черт, плохо было.

Бывало, едешь — подымает руку. Посадишь с собой в кабину, денег, конечно, не берешь, как обычно с милиции. Один раз даже попросил меня машину навоза привезти. Он на окраине жил, огородишко у него, картошку сажал. Привез. Просто как человеку. А тут переменился. «Ладно,— говорю,— сгружу бочки, черт с ними».— «Нет, не сгружай. Едем в отделение». И становится на подножку вроде бы конвоировать меня. Что вы думаете, доставил! Входим — дежурный сидит тоже знакомый мне. А тут глянул на Свободу и перестал узнавать. Говорить желает исключительно под протокол. Но я все равно не думал. Сестра плачет, бывало, а я смеюсь: «Там еще лучше, под ружьем водят, никуда не потеряешься». До самого суда не думал. Пришел по повестке, своими ногами, а оттуда уж повезли на казенный счет. Все мое прохождение вспомнили. Штрафную роту, все к одному. Вкатили семь лет. Хоть бы уж бочки-то были дубовые, а то осиновые. Ну, правда, я всю вину на себя взял. Жалко мне сестру стало. Неважный он был кормилец с одной-то рукой, а без него и вовсе куда денешься? Если из того леса, что я там семь лет рубил, бочки поделать, так небось на всю страну капусты насолить хватит. Может, и до сих пор солят, не знаю. А я через те бочки вот только полтора года назад впервые супругой обзавелся, как человеку положено.

И он улыбнулся своей неожиданной улыбкой, открывавшей и делавшей мягче его лицо.

Хорошо было слушать, трудно после этого начинать говорить. А начинать нужно было.

— Как же вы так... если у вас уже был однажды факт биографии...— Никонов мялся,ща необходимое слово.— Как же вы после этого садитесь за руль в нетрезвом состоянии? Ну, случился наезд... Бывает. А когда шофер нетрезв при этом...

Тут Никонов только руками развел. Он страдал оттого, что ему надо вести дело этого человека, которому он сочувствовал. Конечно, Карпухин никакой не преступник. Просто невезучий он человек. Неудачник. У неудачников всегда так: хотят сделать лучше, а оборачивается против них. Но это если рассуждать вообще. А в данном конкретном случае он совершил деяние, имеющее точную квалификацию на языке юристов и предусмотренное частью II статьи 211 Уголовного кодекса РСФСР. В пределах статьи еще как-то можно было варьировать, но факт оставался фактом. И если Карпухин никак, очевидно, не

был виноват в первом случае, если во втором случае при наличии вины можно было все же искать смягчающие обстоятельства, то сейчас и их не было.

— Как же вы так безответственно! Ведь для шофера это первая заповедь. Все можно простить, но пьяный за рулем... Я вижу, вы понимаете меня, тут просто нет оправданий.

Карпухин кивнул и облизал губы. Он с таким доверием слушал следователя, потому что это был расположенный к нему человек, с таким доверием смотрел на него, что смысл сказанного дошел как-то позднее.

— Гражданин следователь, а я ведь не пил. Я ее вообще не пью.— Карпухин растерянно и даже глуповато как-то улыбнулся.

Никонов отвел глаза. Ему стыдно было сейчас за Карпухина. И самому неловко, что он слышит и видит это.

— Я не говорю, непременно ее. Не обязательно водку пить. За рулем достаточно и кружки пива.

— И пива не пил. Честное слово!

— Слушайте, Карпухин, не надо! Нет таких людей, чтоб вообще не лили. Понимаете? Нет! А среди шоферов тем более. Я тоже пью. Не на работе, конечно, но случается. Не пьет только сова. И знаете почему? — позволив себе вольность, Никонов заранее улыбался и не замечал оглушенного вида Карпухина.— Не пьет она потому, что днем спит, а ночью магазин закрыт.

И он засмеялся, ожидая на свою такую дружескую откровенность если не благодарности, то ответной улыбки хотя бы. Но Карпухин только кивнул опять, ничего, видно, не поняв, и снова облизал губы.

— Поймите меня, Карпухин, правильно. Вслушайтесь и постараитесь понять. Между нами установились отношения доверия. Так мне по крайней мере кажется.— Он подождал подтверждения, но Карпухин все так же смотрел на него. В растерянных его глазах металась загипнотизированная мысль. Никонову неприятно стало. Не за себя, конечно, за него.— Это очень важно, чтоб я вам доверял. Для вас важно. Так не разрушайте же этого доверия.

Вот тут Карпухин по-настоящему испугался. Что было, с тем еще поспорить можно, отречься. А вот если не было, как доказать? Приставят, и не докажешь ничего.

— Не пил я, честное слово. Потому что нельзя мне!

Никонов поморщился в душе. Вот так и в те разы было. Люди охотно, с мельчайшими подробностями, не

оставлявшими сомнений, что говорят правду, рассказывали о прошлых делах, за которые наказание им уже не грозило. И эти же люди потом начинали бессмысленно, неуклюже врать.

— Если б каждый руководствовался словом «нельзя»! Тогда б и суды не нужны были, и нас, грешных, можно было бы распустить по домам,— сказал Никонов, не замечая некоторой доли кокетства в своих словах.

— Я ее сам боюсь, потому что себя знаю,— в голосе Карпухина сказалась явная неуверенность, когда он заговорил об этом. Но он взглянул на следователя и поборол себя, как бы решив, что ему нужно сказать, не опасаясь.— Было у меня однажды. Когда из заключения вышел. Здорово зашибал тогда. Меня даже в слесаря переводили на полгода. Может, и из парка выгнали бы, если б не механик колонны. А вот полтора года уже в рот не беру. С тех пор как жене обещал. Она идти за меня не хотела. Молодая, а тут сидел уже, пьющий. Боялась идти. Но я ей твердо сказал. На свадьбе своей и то не пил. Вы на автобазе спросите, вам скажут. Я на праздник и то лимонадом чокаюсь. Потому что сорваться боюсь, знаю себя.

Никонов заколебался. Он чувствовал, что опять верит ему. Ведь мог же Карпухин ссылаться на то, что не было экспертизы, что все основывается только на свидетельских показаниях. Два раза судим человек, опытный, кажется, мог бы усвоить истину, без которой, как без молитвы, тестя Никонова и спать не ложится, повторяя отдохновенно: «Концы в воду — пузыри вверх!» А этот рассказывает про себя такое, что и оправданием служить не может, что легче всего против него же использовать, если захочет.

Никонов очень внимательно посмотрел ему в глаза. Хитер он или в самом деле прост? Из следовательской практики Никонов знал десятки известных примеров, когда все поначалу сходилось, обличая в невиновном преступника. И только ум, смелость таланта и кропотливейшая работа помогали следователю временами интуитивно пройти обрывавшийся путь от догадки до открытия истины, которая казалась уже навеки погребенной. А может быть, это и есть такое дело, где на первых порах ему суждено одному быть против всех? Потому против всех, что в городе даже дети знали, что шофер, сбивший Мишакова, был пьян. Что угодно можно было ставить под

сомнение, пытаться опровергнуть или, наоборот, доказать, но это и доказывать не требовалось. Это было несомненно для всех. Но Никонов уже зажегся.

— Ну что мне с вами делать, Карпухин? Поймите, я хочу вам верить. Хотел бы, во всяком случае. Но факты ведь против вас. Факты куда девать будем? В карман же не спрячешь их. Ну, ладно, кажется, первый раз в жизни вам повезло: следователь добный попался. Давайте вместе разбираться. С самого начала, шаг за шагом разберем все.

ГЛАВА IV

В будний день, в зной, городская площадь с утра безлюдна. Прошмылит грузовик, растрясенный по деревенским ухабам, звенящий бортовыми цепями, весь громыхающий, как пустая железная бочка,— из многих окон, оторвавшихся от дел, глядят ему вслед служащие люди, соображая, чей это и куда? Чаще всего грузовик, мчавшийся как на пожар, тормозит здесь же, перед чайной, и врастает в землю надолго. А служащие, удостоверясь, принимаются за дела, подсчитывая надои и обмолоты, сколько вывезено, сколько сдано и сколько еще с окружающих город полей сдать надлежит.

По одну сторону площади, там, где, возвращаясь с базара, люди ждут на жаре автобуса,— церковь. Купола ее, некогда золоченые, проржавели, и сквозь железный каркас, формой своей все еще напоминающий луковицы, светит по ночам на каменные развалины желтая луна. А на сбитой снарядом колокольне, на самом карнизе, из кирпичей, растет на ветру кривая березка. Как уж она там растет без воды, никем ни разу не политая, когда в такую сушь на земле и то деревья чахнут,— никому это не известно, да и не каждому есть время глядеть вверх. Посреди же площади, в небольшом скверике,— бетонный постамент. Многие годы незыблально стоял на нем цементный памятник, вначале просто побеленный, а потом покрашенный под алюминий. А по обеим сторонам площади тесным кольцом окружали его учреждения. В двухэтажных, большей частью старинной постройки зданиях — низ кирпичный, верх рубленый, обшилый — помещалось их столько, что вывески у дверей лепились тесно друг к другу. Среди них над одной из дверей звучило: «Суд».

Туда, на второй этаж, вела деревянная в два пролета лестница, истертая посередине подошвами ног, словно протекал тут ручей, промывший себе русло. Тек он большей частью не своей волей, и были люди, руководившие правильным течением его. В числе них — три адвоката, в меру своих сил и возможностей пытавшиеся вылавливать каждую щепку, попавшую в общий поток. Как все служащие города, они приходили на работу в определенный час.

Первым приходил обычно Соломатин, живший дальше других. Неся за ручку ученический под крокодиловую кожу портфель, мятый, мягкий и вытертый, на одном никелированном замочке, он шел согбенно, над сутулой спиной торчали подрезанные сзади седые волосы, под козырьком фуражки блестели круглые стекла очков. При каждом шаге по лестнице вверх обозначались острые колени, голова кивала в такт, лицо скорбящее, словно нес он в своем обвисшем портфеле весь груз людских грехов.

Завадовский входил стремительно. Свежевыбритый, энергичный, с тонкой кожаной папкой в смуглой руке, на безымянном пальце которой блестело толстое золотое кольцо, он взбегал по лестнице, не задерживаясь ни с кем из ожидавших его клиентов, но каждому оставляя впечатление, что он торопится по его делу и будет лучше в интересах дела не останавливать его сейчас. При этом лицо его сохраняло профессионально-озабоченное выражение человека, который ничего определенного пока еще обещать не может, но, сознавая всю сложность, имеет основания надеяться на лучший исход.

Взбежав наверх, Завадовский здоровался, с порога бросал папку на свой стол и шел вслед за нею. От сотрясения пола, произведенного его шагами, как бы поколебавшись, сами собой начинали растворяться дверцы шкафа у стены. Соломатин, близоруко царапавший пером по бумаге, подымал голову, смотрел на них поверх очков старчески мутноватыми слезящимися глазами. И, составив фразу в уме, опять сгибался носом к бумаге, шепча.

После горячего утреннего завтрака Завадовскому, прежде чем приступить к делам, требовалась одна хорошая папироса и пара минут разговора с живым человеком. Не того вялого разговора, когда словами вторично проходят путь, давно пройденный мыслью, а разговора легкого, ироничного, способного доставить истинное наслаждение.

Вернувшись, закрыв дверцы шкафа, Завадовский селся на свое место и закуривал, вытянув ноги под столом. Некий философ, кажется, Киркегор, сказал однажды, что людям дана величайшая из свобод — свобода мысли, — они же почему-то требуют свободы выражения ее. Завадовский умел ценить эту величайшую из свобод, умел не только пользоваться ею, но получать удовольствие, если рядом не было хорошего собеседника.

Проходя под открытым окном, Никонов услышал у адвокатов смех. Там посреди комнаты стоял Егоров, третий из адвокатов и самый молодой. Без пиджака, в белой рубашке с засученными рукавами, с плечами боксера, он громко рассказывал о только что закончившемся в областном суде процессе, в котором участвовал.

С тротуара Никонов увидел мелькнувшую в открытом окне второго этажа его голову в черных густых волосах, услышал громкие голоса и позавидовал: живут люди! Ему захотелось зайти, послушать, чему они там смеются. Но идти ему надо было совсем в другие двери. В те двери, где помещался городской прокурор.

Никонов всегда считал, что основной воз везут они, следователи. А адвокаты... Когда иной раз появлялась статья в газете, в которой между строк, хотя и неявно, но вполне ощутимо сквозила мысль: «Кого и от кого у нас вообще нужно адвокатам защищать? Преступников от народа?» — Никонов не то чтобы соглашался с нею, но не находил в себе убедительных доводов, чтобы оспорить. И сейчас, проходя под окнами, он только подумал: «Весело живут!..» А вот ему, пока они там смеются, предстояло защищать человека. И не на публике, а с глазу на глаз, при закрытых дверях.

За несколько дней, которые он провел с Карпухиным, Никонов поверил, что тот невиновен. К этому выводу он пришел вчера и хотел тут же звонить прокурору. Но у него хватило выдержки отложить до следующего дня. Чтобы утром на свежую голову обдумать еще раз.

Он лег спать, но заснуть не мог. Рядом, горячая во сне, тяжело дышала жена. Она кормила грудью второго ребенка и на ночь выпивала по две поллитровых банки молока с чаем. Пышущая, она оттеснила его на самый край, и он лежал там, боясь шевелиться. Подушка была ему горяча, отчего-то чесалось все тело.

Никонов осторожно слез на пол с высокой кровати и в тапочках на босу ногу, в брюках и в майке вышел в

сад. По светлой от луны дорожке он ходил между яблонями, обняв себя руками за мерзущие плечи, и мысленно говорил.

Он говорил: «Да, нами совершена ошибка: взят под стражу невиновный. Но мы должны найти в себе мужество взглянуть правде в глаза, потому что этот невиновный — человек! И человек, уже переживший многое, уже пострадавший однажды безвинно».

Он говорил: «Владимир Михайлович! Я понимаю, как трудно отрешиться, когда все факты как будто бы против. Но они потому только против, что мы их видим такими. Мы с вами знаем великие примеры...»

Слезы выступали ему на глаза, когда он говорил:

«Перед нами — жизнь! Мы можем вернуть ей смысл и значение, вернуть человеку веру в справедливость и можем отнять их у него. Ему сорок лет, а он только недавно женился, ждет первого ребенка. Он хочет честно трудиться. И вот трагическое стеченье обстоятельств. Владимир Михайлович! Не в наших силах вернуть осиротевшим детям их погибшего отца. Но нашему обществу мы можем и должны вернуть гражданина!..»

Вздрагивая от волнения, он все быстрей и быстрей ходил по дорожке сада. Жена, проснувшаяся под утро кормить, увидела его озябшего, бегающего под яблонями и прогнала в дом. И рядом с ней, горячей, сонной, он согрелся в постели и уснул. А утром встал с тяжелой головой. Тот взрыв энергии, который должен был потрясти, разрядился в нем беззвучно. Он чувствовал себя опустошенным. И подымаясь теперь по лестнице к двери прокурора, Никонов отчего-то робел.

— Да! — сказал прокурор Овсянников, услышав: «Разрешите?» и стук в дверь. Потом уже поднял взгляд от бумаг. Вошел Никонов с портфелем, дверь притворил за собой уважительно.

— Да! — еще раз сказал Овсянников, и это «да» означало: «Слушаю!», хотя не гарантировало ни в коей мере, что слушать будут долго. И во взгляде его не было радости оттого, что его оторвали от дел.

Овсянников не задумывался над тем, почему он, в сущности, неприветливо встречает людей, входивших к нему в кабинет, с первой минуты создавая не обстановку наибольшего благоприятствования для них, а как бы ставя

преграду. Делалось это инстинктивно, из чувства охранительного, а со временем стало привычкой потому, быть может, что ни с чем хорошим люди к нему не шли. И когда человек входил, заранее уже волнуясь и робея, Овсянников воспринимал это как естественное состояние, в котором и должен в его присутствии находиться человек.

Он и сейчас никак не помог Никонову, который не сел сразу, а только поставил на угол его стола портфель и, доставая оттуда папку, что-то сбивчиво говорил.

— Что? — переспросил Овсянников громко и, подняв голову от бумаг, в чтение которых успел снова углубиться, глянул на портфель. Портфель исчез со стола.

Он не сомневался, что в портфеле этом, в папке, которую оттуда уже доставали на свет, — ноша, которую Никонов будет стараться переложить на него. И сделает это очень успешно, если помочь ему. Овсянников не чувствовал большого желания помогать ему в этом предприятии.

— Я относительно дела Карпухина, — начал Никонов, скромно раскрыв папку на коленях. — Дело в том, что возникли некоторые новые подробности. Даже не столько подробности, как сама оценка имеющихся фактов. Некоторые факты, Владимир Михайлович, казавшиеся вначале бесспорными, при более тщательном рассмотрении такими бесспорными не выглядят сейчас...

Овсянников ждал. Никонова смущило выражение лица и взгляд, которым прокурор смотрел на него. Словно смотрел он с огромного отдаления, на котором и Никонов, и принесенная им папка были маленькими. И вместе с возраставшей неуверенностью Никонов чувствовал, что все те горячие слова, которые он мысленно говорил ночью и от которых у него слезы выступали на глаза, здесь невозможны, и, если бы прозвучали вдруг, ему бы сделалось стыдно.

А между тем он говорил:

— Самый сильный пункт обвинения состоит в допущении того, что шофер Карпухин был пьян. На этом допущении строится все. Даже экспертиза ГАИ дает некоторую свободу в толковании его виновности. Но был ли он действительно пьян? Так ли это несомненно, как это всеми признано сейчас?

— Почему же всеми? Вот вам, я вижу, не признано.

— Владимир Михайлович, я исхожу из того гумани-

го положения, что всякое сомнение толкуется в пользу обвиняемого. А поскольку сомнения эти возникли, я не могу ими не поделиться.

И он взглянул на прокурора, как ученик, ожидающий отметки. Отметки не последовало. Никонов начал излагать последовательную цепь событий в том порядке, как это было у него продумано, то есть так, как могли себе это представлять люди, недостаточно глубоко вникшие в суть дела. Сначала с максимальной объективностью он перечислил факты, как бы подтверждавшие виновность Карпухина. Среди них:

Показания трех свидетелей, жителей деревни Ракитки, видевших машину Карпухина в этой деревне около чайной в девятом часу вечера 14 июля, то есть примерно за три часа до совершения преступления.

Некоторые обстоятельства гибели Мишакова.

Попытка Карпухина скрыться сразу же после того, как им был сбит человек, чем косвенно подтверждалось предположение, что он был пьян и таким способом надеялся скрыть это, чтобы вернуться, когда это отягчающее обстоятельство будет уже невозможно установить.

И, наконец, показания пастуха Чарушина и прицепщика Молоденкова о том, что задержанный ими в четырехстах метрах от шоссе и пытавшийся скрыться шофер, в дальнейшем оказавшийся Карпухиным, был действительно пьян и от него пахло водкой.

Никонов даже намеревался сообщить прокурору и еще одну очень важную подробность, добытую им в ходе следствия: то, что полтора года назад Карпухин в самом деле пил и даже возник вопрос о его увольнении.

Вообще говоря, как честный человек, он не имел права делать это, потому что Карпухин рассказывал ему доверительно. И будучи убежденным в его невиновности, использовать доверие во вред ему же — это было нехорошо и нечестно. Но в том и состоял план Никонова, чтобы вначале не только объективно изложить все факты, но изложить их с точки зрения тех людей, для кого вина Карпухина представлялась несомненной. И тут такая степень откровенности могла быть только полезной.

Зато чем неопровергимей будет выглядеть эта цепь событий вначале, тем неожиданней и блестательней будет выглядеть тонкий анализ, при помощи которого Никонов намеревался в дальнейшем опрокинуть каждый факт в отдельности и все событие в целом. Им так пред-

видел, так уже был предвкушен эффект в конце, что вся предшествующая часть казалась несущественной, через которую надо пробежать. Ему даже представлялось ночью, как прокурор Овсянников, этот суровый, первою даже хмурый, но несомненно честный человек, встанет и без слов пожмет его руку.

Но вот сейчас Никонов говорил, а Овсянников смотрел на него. На всем протяжении его речи сидел и смотрел через стол. И чем дольше так прокурор смотрел на него, тем неуверенней начинал чувствовать себя Никонов. Ему уже не казались такими неопровергимыми его доказательства. Но события вели его, и, нагромождая факты, уличавшие Карпухина, он со страхом ждал приближения того момента, когда все их ему придется опровергать. Он говорил, а мыслю забегая вперед, старался вспомнить доказательства, и от этой взаимоисключающей работы глаза его, которых сам он не видел, были испуганными.

— Итак,— закончил он заранее подготовленной фразой,— доказательства как будто бы достаточно убедительны и в какой-то степени не оставляют сомнений. Но взглянем на них под другим углом зрения, так ли они убедительны на самом деле?

Никонов в этом месте сделал заранее рассчитанную паузу и взглянул на прокурора. На лице Овсянникова, вдруг пожелтевшем, проступила боль, а глаза, ставшие тусклыми, смотрели на Никонова и не видели его.

Выражение боли, которое увидел Никонов, не имело никакой связи с тем, что он говорил сейчас. Это была физическая боль. Она мучила Овсянникова последние три недели. И даже не столько сама боль, как подозрения о причинах, вызывавших ее. Сейчас уже, возвращаясь мыслью назад, что он часто делал в последнее время, Овсянников не мог точно установить день, когда это началось. Потому что, когда он впервые обнаружил, что у него болит справа в боку, несколько ниже ребер, он понял одновременно, что эта боль знакома ему. Вместе с болью он обнаружил и воспоминание о ней. Значит, она была и раньше, только он, постоянно занятый, не имеющий для себя ни минуты свободного времени, просто не замечал ее.

В городе жил на покое некогда занимавший большие посты военный юрист Долбылев. Когда он, в прошлом саженного роста, шел по улице, волоча подгибающиеся

ноги, весь трясущийся, с повисшими перед грудью кистями рук, а изо рта его стекала слюна, Овсянников, за видев издали, переходил на другую сторону или сворачивал в переулок. Он не понимал, зачем людям дают это видеть? Два раза в день — утром и вечером — Долбышев проходил через город, поводя бессмысленными, в красных прожилках, мокрыми, некогда грозными глазами. У него был тягучий голос идиота. А не так давно еще очень многое зависело от одного росчерка его карандаша.

Долбышев однажды рассказал Овсянникову, когда был еще не в таком состоянии, как заметил впервые у себя эту болезнь, позже оказавшуюся болезнью Паркинсона. Он шел по улице и вдруг носком сапога задел за камушек. Он еще оглянулся — ровный асфальт, никакого камушка не видно. И тут же забыл об этом. Потом случилось это в коридоре учреждения на паркете: шел и вдруг споткнулся на ту же самую правую ногу, опять задел носком сапога за что-то. И опять ничего не было. Потом это стало повторяться чаще.

Но Овсянников даже того первоначального камушка не мог у себя вспомнить. Правильно говорят: здоровый человек не замечает, есть ли у него сердце. Заметит, когда заболит.

Овсянников не считал себя ни малодушным, ни мнимым. Но он, конечно, не мог не подумать о том, о чем, если случается, прежде всего думает каждый культурный человек в двадцатом веке.

Казалось бы, в таком случае проще всего посоветоваться с врачами. Тем более, что он был прикреплен к обкомовской поликлинике. Но Овсянников отдавал себе отчет и понимал, что если у него это, так тут бессильны даже обкомовские врачи. Они могли только определить, но не вылечить. За ту грань их земное могущество уже не простиралось. Они даже не скажут ему, как всегда в таких случаях не говорят больным. Они тайком подготовят жену, а для него сочинят утешительную сказку, и он уйдет одураченный и обнадеженный. Сколько за эти годы видел он обреченных людей, которые, прия от врача, радостно рассказывали одну из очередных сказок, убеждая других для того, чтобы убедить себя, а окружающие знали уже, что это — рак! У Овсянникова достаточно было мужества, чтобы избавить себя хоть от этого унижения.

И кроме того, пока он не шел к врачу, оставалась маленькая надежда, что, может быть, у него все-таки не это. Пойти — значило и ее убить, последнюю надежду. А она временами разгоралась, когда боль отпускала его. Он просыпался утром и чувствовал вдруг: боли нет. Но он не верил еще, он прислушивался: слишком многое это значило для него. Он делал осторожное движение — боли не было. И пока он одевался, и брился, и завтракал, и шел на работу, и там на работе тоже — он все время различными движениями испытывал себя. Боли не было. И день освещался. Что бы ни делал он, он все время чувствовал: боли нет. Это была его тайна, его собственный праздник, о котором никто не знал. Но люди замечали, как он вдруг прислушивался к чему-то и улыбался хорошей, доброй улыбкой, видя которую хотелось самому улыбнуться.

И вот когда надежда крепла в нем, когда он, боясь верить до конца, начинал уже чувствовать себя здоровым человеком, боль возвращалась снова и всякий раз сильней, чем прежде. И день мерк, и жизнь меркла, и свет мерк в глазах.

Никонов пришел к нему в то утро, когда после целой счастливой недели, в течение которой уже поверилось, что все кончено и прошло, Овсянников почувствовал боль. В прежнем месте, в правом боку. И сразу настоящее изменилось, а будущего не стало.

Он сидел за своим столом перед разложенными бумагами и вслушивался, закрыв глаза, когда к нему поступали.

— Да! — сказал он, хотя охотней всего сказал бы тогда: «Нет!»

И сквозь боль взглянул на Никонова тем самым смутившим его взглядом. Никонов не знал, что стояло за ним, но по мере того как он говорил, а прокурор неподвижно смотрел на него, ему все больше становилось не по себе.

Там, в боку, было все тихо. Но Овсянников знал, что она там. И затихшая на время боль вновь шевельнулась в нем.

— Ну, я слушаю вас, — с внезапно пожелтевшим лицом сказал Овсянников раздраженно, когда следователь после долгой малоубедительной речи предложил взглянуть на дело под другим углом зрения и сделал паузу.

— Да, да,— заторопился Никонов.— Я говорю, что он действительно останавливался перед чайной. Но остановиться перед чайной — это же еще не значит обязательно пить там. Он показывает, что зашел купить сигарет. И свидетели видели его машину, но не видели, что он пил. А между тем, хотя прямых доказательств нет, всеми принято, как несомненное и твердо установленное, что шофер был пьян. Об этом, не дав себе труда разобраться, писала наша газета, в этом уверены все в городе, и мы сами, даже не замечая того, испытываем давление со всех сторон. То, что нам при других обстоятельствах предстояло бы доказать, мы вынуждены сейчас опровергнуть в лучшем случае.

В этом месте у Никонова было заготовлено несколько исторических примеров величайших заблуждений, в которые впадали не только отдельные личности, но и большие массы людей. Однако прокурор перебил его:

— Какое это мы испытываем давление со всех сторон? Нас что, принуждают к неправильному ведению следствия? — Овсянникову хотелось положить теплую ладонь себе на бок, потому что, как только он стал раздражаться, боль усилилась.— Я никакого давления не испытываю ни с какой стороны и думаю, на вас тоже никто давления не оказывает.

— Да, конечно,— поспешил оправдаться Никонов и почувствовал, что исторические примеры будут невозможны.— Я не о том давлении, чтобы нас вызывали, давали какие-то указания, а о том, которое...

— Понятно. Продолжайте.

Никонов кивнул и мысленно перескочил еще через несколько пунктов, которые вдруг показались ему неубедительными. Он перешел сразу к показаниям пастуха и прицепщика. Здесь он чувствовал себя особенно твердо и потому приберегал их напоследок.

В их показаниях, по видимости неопровергимых, он уловил слабое место. С самого начала ему непонятно было, что могли в такой поздний час делать в поле эти двое совершенно разных по возрасту людей, из которых один другому в отцы годился? Куда они шли и что объединяло их? И он установил это: оказалось, у Молоденкова родилась дочь, и вот это событие праздновалось.

— Вы понимаете, Владимир Михайлович, они были пьяны. Или, по выражению Молоденкова, «оба веселые». А раз это так, они не могли чувствовать запаха водки от

Карпухина. Это же известно: если человек выпил водки, он не чувствует запаха водки от другого человека. Вы понимаете? А это значит, что их показания недостоверны!

— Значит, свидетели были пьяны. Ну, а инспектор ГАИ? Он что, тоже был пьян? Он ведь с ними не праздновал.

— Нет, инспектор, конечно, не был пьян. Но легко представить, как было. Он подошел к Карпухину, когда Молоденков и Чарушин держали его. Водкой пахло от них, но запах был так силен, что инспектору все сразу стало ясно. Ясно потому, что он уже был подготовлен к этому выводу всем предыдущим. Цепь его рассуждений очень проста: шофер сбил человека, убежал, чтобы скрыть, что был пьян, пойман, пахнет водкой. Вполне понятно, что пахнет от него, тут и проверять нечего. А как раз это и надо было проверить.

— Ну, а пассажиры проезжавшей машины, посторонние люди, один из которых плонул на вашего Карпухина? Они почему утверждают, что он был пьян?

— Владимир Михайлович, в таких случаях одному стоит сказать, и для всех становится несомненно. Это как очевидцы, которые искренне верят, что своими глазами видели то, чего никогда не было.

— Давайте все же подведем итог. А то так можно бесконечно.— Овсянников начал загибать пальцы на левой руке и, взглянув на них, увидел, что они желтей, чем обычно, и на побелевших суставах резче обозначаются кости. И ему жаль стало и эти пальцы свои, из которых уходила жизнь, и себя. Но он справился.— Давайте по порядку. Значит, так: шофер выехал из дома в дальний рейс и, проехав милицейские посты, останавливается у первой же чайной, но не для того, для чего вообще останавливаются около чайных, где, как мы знаем, есть все, кроме чая, а для того, чтобы купить папирос.— Он посмотрел на Никонова.— Допустим. Хотя проще предположить, что опытный шофер, отправляясь в рейс, взял папиросы из дома или купил их в городе. Далее. Он сбил человека и, хотя тот, вполне возможно, был еще жив, скрылся, не оказав ему помощи. В каких случаях мы знаем из практики, шофер пытается убежать? Когда он пьян и хочет скрыть это отягчающее обстоятельство. Во всех остальных случаях убегать самому, оставив машину на месте преступления, согласитесь, просто бессмыс-

ленно. Однако нам предлагают думать, что он находился в состоянии шока... — прокурор опять внимательно посмотрел на Никонова. — Допустим и это.

И он загнулся следующий палец. Вот так, по пунктам, загибая все новые пальцы, он разобрал доказательства одно за другим. Все то, что Никонов складывал по кручинке, что наедине с собой составляло тайную радость маленького открытия, с чем были уже связаны честолюбивые мечты. И когда Никонов услышал это от другого человека, произнесенное вслух, холодно, со скрытой ironией, он испытал мучительный стыд. Все выношенное им с любовью показалось сейчас таким неубедительным, что он сидел уничтоженный.

— Не слишком ли много допущений? Столько разных людей, и все ошибаются в очевидном случае.

Чувствуя, что это провал, что гибнет, Никонов забормотал что-то о чуткости, о том, что Карпухин уже дважды пострадал безвинно и потому надо быть особенно внимательным к нему, пока у него не надломилась окончательно вера в справедливость. Но это сейчас вышло так неловко, что даже прокурор, чтобы не смотреть на него, встал и прошелся по комнате, неся с собой свою боль. Он остановился у старинной печи из крупного кафеля с бронзовой, давно не чищенной отдушиной. Когда-то в доме этом с крепкими стенами и маленькими окнами жил богатый прасол, и теперешний темноватый кабинет прокурора Овсянникова был частью его гостиной, которую разделили перегородками, что особенно заметно было по потолку, где они перерезали лепные, уже неясные от многих побелок украшения.

Заложив руки за поясницу, Овсянников прислонился ладонями к кафелю. Но тут же отстранился: холодное прикосновение было ему сейчас неприятно.

— Это ваше третье дело? — спросил он.

— Третье... — сказал Никонов. Весь потный от стыда, он сидел глубоко в кресле, спиной к нему, не смев повернуться.

Молчал Овсянников долго, словно судьбу его взвешивал на весах, и ждать было невыносимо. А когда заговорил, голос, против ожидания, был печален и мягок:

— Вам, наверное, показалось, что это одно из тех дел, которым суждено пропасть и войти в учебники? А это обычное дело, ясное уже с самого начала. Третий раз судят преступника — и все не виноват! Да не бывает так,

вы уж опыту моему поверьте. Раз не виноват, два не виноват, а чтоб и третий раз все безвинно — не бывает! Я понимаю, вас увлекла идея защитить невиновного, одному пойти против всех. А как уж она возникла, идея-то эта, сразу и факты сами под нее выстроились. Вот ведь что! Вы не думайте, что я не понимаю. Я понимаю: вы, молодой человек, пришли ко мне, рискуя навлечь на себя неприятности, быть может, выговор получить. Что ж греха таить, бывает и так, что свой выговор дороже чужой жизни. А вы вот не побоялись. Я это понимаю и ценю. Только идея ваша, сама по себе правильная, к этому слушаю неприменима. Вам защищать хочется? Защищайте! Только того, кого следует. Защищайте не преступника от справедливой кары, а общество от преступника. Вот что нам с вами доверено. И в этом наш высокий гуманизм.

В маленьком городе этом, где телефоны стояли главным образом в учреждениях, а остальные, личного пользования, все были наперечет, так что абонентов вызывали не по номерам, а просили телефонистку: «Соедини-ка меня, Маша, с Петром Васильевичем», любая новость тем не менее распространялась с быстротой мысли, на какую современная техника пока еще не способна.

Никонов только вышел от прокурора, так что захоти Овсянников, и то не успел бы никому ничего сказать, а в городе уже всё знали.

Пройдя не больше квартала, встретил он на улице вдову Мишакова, Тамару Васильевну Мишакову. Руководительница одного из четырех детских учреждений — детсадов — она была известна в городе не только по мужу, но и по себе. Женщина видная, она часто присутствовала на совещаниях — и в роно, и в райисполкоме, приглашали ее и в райкоме партии — и везде она умела выступить и, если надо, со всей принципиальностью поставить вопрос. Она шла сейчас по улице, неся свое горе, как укор, и на поклон Никонова головы не повернула. Но шагов за десять остановилась вдруг:

— Если вы будете защищать этого убийцу... — Голос ее задрожал, а губы и нос мгновенно покраснели. — Этого убийцу, от которого дети остались сиротами... С вами в городе ни один честный человек говорить не станет!..

Никонов почтительно перед ее горем наклонил голову, но сказать попытался с твердостью:

— Я никого не защищаю, Тамара Васильевна, но я по долгу службы обязан установить истину и не могу при этом руководствоваться чувством мести.

В тот же день его остановил на улице бывший инструктор райкома Авдюшин.

— Нехорошо,— сказал он поначалу как бы доверительно.

Из магазина шла девочка в ситцевом платье, неся перекинутую за спину сетку с буханками хлеба, которая врезалась ей в плечо. Девочка остановилась послушать, босой ногой сгребая теплую пыль на дороге.

Два маляра в штанах, будто кожаных от многих слоев масляной краски на них, тоже остановились послушать в своих шапках из газеты.

Рыжий теленок, до этого чесавший лоб о вбитый в землю железный шкворень, к которому он был привязан, потянулся к сетке на запах хлеба, но веревка не пустила его.

Заметив, что народ собирается и что Никонову это особенно неприятно, Авдюшин заговорил громче:

— Выходит, дави людей, и ничего тебе за это не будет? Так получается? — И строго поднял длинный суставчатый палец над ухом, словно призывал вслушаться в то, как это может прозвучать.

— А вы не думаете, как прозвучит то, что вы пытаетесь сейчас оказать на меня давление? Об этом вы не думаете?

Но Авдюшин знал первое правило всякой дискуссии, делавшее человека непобедимым: не слушать вовсе, что тебе говорят, а говорить самому. И хоть бы его на час прервали, он начинал всегда с того же самого места, где кончил, словно бы ничего между этим не было сказано.

— Нехорошо,— сказал он.— Негоже!

И ушел, покачивая головой, тем самым выражая не просто свое личное мнение, но выражая в своем лице официальное неодобрение. Зрители остались на его стороне, поскольку говорил он вещи, понятные каждому: чего ж хорошего, если будут на улицах давить людей?

Только старуха, которую посадили на лавочку за ворота сторожить зимние вещи, развешанные на бельевой веревке от забора до тополя, сама в валенках и зимней не выбитой еще шубе, озябшая и в летний день, все так же безучастно подставляла слепые глаза солнцу.

ГЛАВА V

Чтобы делать какое-либо дело, надо быть убежденным если не в справедливости, то хотя бы в нужности его. И убеждение это вскоре пришло к Никонову. Он пережил день, который, казалось, и пережить невозможно от позора. Он пережил ночь, когда хотелось зажать лицо ладонями и застонать. И он стонал, и ворочался, и вскрикивал — так он был противен себе даже во сне.

Но долго быть противным себе самому человек тоже не может, если он остается жить. Рано или поздно это перенесется на других. И когда в следующий раз Никонов увидел Карпухина, он заметил в нем те неприятные черты, которых не замечал раньше.

Карпухина ввели, и он, как только дверь закрылась, улыбнулся дружески и ожидающе. Словно они теперь уже были заодно. И, едва сел, сразу же потянулся за сигаретами, сказав только: «Можно?» Почти как за своими. Никонов исподлобья глянул на его руку, тормошившую пачку с сигаретами, но ничего не сказал. Карпухин закурил.

Он курил, глубоко затягиваясь, выпуская дым толстыми струями через нос, и, обхватив руками колено, смотрел на Никонова и ждал.

И на какое-то мгновение Никонов малодушно заколебался — так трудно было переступить через эту улыбку, через этот взгляд, с доверием обращенный к нему, через все то, что уже установилось между ними.

— Ну вот, маленько надышался,— сказал Карпухин, гася в пальцах крошечный окурок и снова взглянув на пачку с сигаретами. Однако еще попросить не решился, а Никонов не предложил.— С вечера не куря. Аж ночью снилось. Будто курю «гвоздики», затягиваюсь, а накуриться не могу.

«Интересно, что он обо мне в камере говорит? — подумал Никонов.— Наверное, рассказывает, как попался ему следователь-дурачок».

И, подумав так, он переступил в душе то, что трудно было ему переступить.

— Скажите, Карпухин,— спросил он сухо, при этом с деловым выражением перекладывая бумаги на столе, без которых он сейчас все еще не решался остаться, словно боялся почву потерять,— как получилось, что вы бросили человека, сбитого вами?

— Да я ж ведь говорил уже,— сказал Карпухин, удивленный его голосом.

— Нет, ну все-таки непонятно. Ну вот я бы на вашем месте... Или кто-либо другой... Вы сбили человека. Что должен сделать шофер первым делом? Доставить пострадавшего в больницу. Так? — И Никонов впервые глянул ему в лицо. Твердо, неприязненно.

Карпухин молчал.

— Так, я вас спрашиваю?

Но Карпухин молчал и теперь. Опершись локтями о расставленные колени, он сидел, опустив стриженую свою голову. Она и стриженая уже начинала лысеть, и не со лба — с затылка. Значит, не от ума большого, от забот.

— Тогда я за вас скажу: «Так!» — И Никонов даже жест сделал.

Он помогал разгореться гневу в душе, это сразу освобождало от многого.

— Ведь вы же фронтовик, вы воевали. Вы знаете: бросить раненого и убежать самому, спастись — это предательство. Сколько людей предпочло смерть, погибли сами, но раненого не бросили. А вы бросаете вами искалеченного человека, бросаете одного на шоссе, беспомощного, и пытаешься скрыться. Вместо того чтобы помочь ему. Вы сами взгляните со стороны, взгляните на этот факт. Как назвать его? Или у вас все же были причины, побуждавшие вас временно скрыться.

— Мертвый он был,— сказал Карпухин глухим голосом.

— А вы откуда знаете? Вы что, врач? Врач, я вас спрашиваю? — напирал Никонов, знавший по результатам вскрытия, что смерть наступила мгновенно. Но он знал также, что Карпухин знать этого не мог.— Вы что, врач?

Голос его, одолевший колебания, теперь был тверд и взгляд пристален. И вот этим пристальным взглядом смотрел он на Карпухина, словно лучом в лицо его светил, до бледности серое. В лицо преступника. Да, преступника! Не такой уж он безгрешный, как Никонов представил себе. Может быть, когда-то действительно была допущена в отношении него несправедливость. Возможно... Этого Никонов не хотел у него отнимать. Но чтобы после стольких лет, после всего, что он там видел и испытал, он остался таким же, как был... Да если он не был преступником, он им за эти годы стал!

— А раз не врач, как утверждать можешь? А вот вскрытие показало, что сбитый вами человек был жив и находился в состоянии шока, из которого его срочно надо было вывести. Окажи ему в тот момент немедленную помощь, он бы, может быть, жив остался. А вместо этого — сироты...

Серое в сумеречном свете лицо Карпухина стало еще бледней. Не от испуга. Он понял. Он все понял. Четче обрезались скулы. И словно издалека взглянув на Никонова, он тихо так покачал головой. И улыбнулся бледными, сухими губами. Будто его жалеючи. Будто хотел сказать: «Эх, ты-и...» Но не сказал.

И вот этот взгляд его, это «эх, ты-и...», вслух так и не сказанное, суждено было Никонову носить долго. Но это после. А сейчас он боролся. Даже жена в эти дни, даже тестя начали по-новому смотреть на него, словно бы робея, замолкали, когда он входил.

Никонов вызывал новых свидетелей, заново вызывал тех, кого допрашивал уже. Работал с упорством и ожесточением, словно не себе только, но и Карпухину хотел доказать.

Буфетчица Бокарева приехала по жаре за восемьдесят с лишним километров. Ехать было ей недосуг: в буфете она торговала одна, никого к стойке не подпускала — и теперь, уехав, беспокоилась за ящик водки, полученной только вчера, и за две бочки жигулевского пива. Приедешь, а полбочки уже нет. И спросить не с кого. Какой теперь с мужиков спрос? Прошлой осенью легла она в больницу, как раз тоже ящик водки целый оставался. Так она его Прошиным на сохранение снесла. Уж, кажется, люди самостоятельные, дом свой каменный, крышу недавно цинковым железом покрыли, корыта во всех магазинах скупали, аж за сто километров ездили. Можно верить. А вернулась — отреклись. Какой ящик? Какая такая водка? И пришлось ей самой же за все платить. Из своих кровных. И вот теперь тоже, поехала по чужим делам, а к чему вернется — неизвестно. Да и правду сказать, при ее работе не любила она эти повестки, ни в прокуратуру, ни в суд.

Но шофер попутной машины попался ей малый не промах, всю дорогу пытался обнять и два раза-таки изловчился, обнял, и очень даже умело, за что и получил

куланом между лопаток. И к следователю, хоть и побаивалась, вошла Бокарева веселая.

— Гражданка Бокарева? — спросил Никонов.— Садитесь.

— Бокарева,— сказала она и села с достоинством. Но не напротив, куда он ей указал, а с краю стола, можно сказать, почти что с ним рядом. Она была в синем, несмотря на жару, шерстяном жакете с большим вырезом на груди, в белой нейлоновой застроченной кофте, вокруг головы — коса, точно как своя.

— Зинаида Петровна?

— Зинаида,— сказала она с гордостью, при этом оглядывая следователя,— Петровна.

И отметила про себя: «Молоденький...»

Никонов строго объяснил ей, что от нее требуется, сказал, что она должна говорить правду, так как это в интересах следствия и в интересах человека, которого сейчас введут. И, говоря все это, он старался не смотреть на ее выступавшую из жакета высокую в просвечивающей нейлоновой кофте грудь, для чего приходилось ему разговаривать с ней, почти отвернув голову. Но и не глядя, он краем глаза видел именно то, что его смущало.

«Поганенький, а туда же»,— подумала Бокарева, слушая его с улыбкой превосходства. Ей стало весело. И с этой же улыбкой, словно бы она сейчас в президиуме на вечере сидела, глянула она на открывшуюся дверь. В комнату, пригнув голову под притолокой, шагнул высокий, когда-то, видно, сильный, а теперь худой человек, и дверь за ним сама закрылась снаружи. И глянул он не на следователя, а на нее сразу же.

И когда она увидела его замученное лицо и он глянул в глаза ей своими словно страданием обведенными глазами, все у нее захолонуло в душе, как от испуга. Словно это она была, а не он. Словно это ее ввели.

— Скажите, Бокарева, вы узнаете этого человека?

Он уже не смотрел на нее, а она все глаз своих испуганных не могла в сторону отвести. Перед ней сидел большой и, видно, смиренный в жизни мужик. И по странному течению мыслей, вяхрем сейчас мчавшихся у нее в голове, она подумала, что, встреть она такого, может, и ее жизнь пошла бы совсем по-другому. Всякие ей попадались, а вот хороших среди них не было. И она уж верить перестала, что они есть. Каждый норовил чем-нибудь

да попользоваться от нее же. А что бабы другой раз мужьями хвалятся, так это со стыда.

— Может, и видела,— сказала она равнодушно, еще не зная хорошенько, что нужно говорить, чтоб вышло для него лучше.— У дороги стоим, мало ли через нас едут? Кто едет, тот и зайдет.

— А вот четырнадцатого числа прошлого месяца, вспомните, заходил этот шофер к вам в чайную? Вечером. Около девяти часов.

— Вечером?..

А сама смотрела, чтоб он хоть знак какой, хоть намек ей подал. Но шофер как сел, так и сидел боком к ней, скепив пальцы в пальцы, глядя в пол. И только по желваку его, словно закаменевшему, по мускулу, вздувшемуся на виске, она видела, что ждет он ее ответа.

Может, и заходил. Может, и выпил. Может, и сбил кого, как они говорят. Только знает она, видит, что не виноват.

А где они непьющие? За то время, что стоит она у стойки, не видела она непьющих мужиков. Может, и есть где, остались какие-нибудь последние, но ей лично не попадались. Все пьют. И шофера, и начальники. Только одни за свои деньги, а другие бесплатно норовят. Сколько она наливала, скольких поила — так это хорошо, не считает, а то б давно со счета сбилась. Кому с мороза, кому с устатку. И уполномоченным, и рядовым. А потом вызовут: «Говори правду!..»

— Вечером? Ну да, заходил! — обрадовалась она, как бы в самом деле вспомнив.

— А вы не помните, куда он свою зеленую «Волгу» поставил? Вот трое свидетелей показывают, что она стояла у крыльца.

Но Бокарева почувствовала подвох. Кого-кого, а шофера грузовика она уж как-нибудь отличить сможет. Слава богу, пришлось повидать. Она сложила руки под грудью, и вот так прямо сидя, не поворачивая головы в его сторону, заговорила тонким голосом:

— Зачем же это вы, товарищ следователь, сбиваете меня? Сами велели мне правду говорить, а сами сбиваете? А вот я встану сейчас да уйду. Тогда как? Я еще пока вольная. Вам таких прав никто не давал, чтоб смеяться.

Она до того расходилась, что покраснела даже, в самом деле почувствовав себя обиженней, но в тот момент, когда шофер глянул на нес, успела подмигнуть ему тем

глазом, который следователю был не виден: мол, шибко-то не робей, не выдам.

— Зачем это вы мне про какую-то «Волгу» говорите, про зеленую? Подъехал он на грузовой машине, в окно видела, а какая она — некогда мне особо разглядывать, на работе нахожусь. Вот!

И сколько потом Никонов ни бился с ней, а один раз даже пригрозил за слишком вольный язык, она все равно на каждое его слово сыпала десять.

— Чего брал? Колбасы брал. Хлеба еще в дорогу.

— А еще что? Брал еще что-нибудь?

— Может, и брал чего, разве запомнишь?

— А что вы ему наливали? Водку или пиво?

— Вот наливать ничего не наливал.

— Это вы точно помните?

Молчание. Только посмотрела на него, словно сверху вниз.

— Как же вы не помните, что брал, а что не пил он —помните?

— А вот вы постойте на нашем месте, и вы тоже будете знать, который так только поесть зашел, а который выпить. Мы их сразу видим.

Она так и ушла, встав победительницей и гордо вынеся свою грудь.

Свидетель Чарушин, пастух колхоза «Новый путь», пришел выбритый и трезвый. Только руки дрожали немножко и оттого, когда брался, порезался в нескольких местах. Хотя в повестке было точно обозначено время, он как встал по солнцу, побрился, сполоснул колодезной водой лицо (а заодно уж, поскольку новую рубаху надевал, — и шею свою морщинистую с пучком седого волоса под кадыком, куда бритва почему-то не доставала), так и вышел пораньше. По деревне шел он посреди улицы, одинаково видный и с той и с этой стороны, как начальство. Коров давно уж прогнали без него, а он шел один, сам по себе, в новых, ни разу еще не чищенных ботинках, которые перед тем, как обувать, рукавом пиджака протер. И фуражка серая, хоть и не сегодня купленная, была тоже новая, с невынутым картоном, и сидела на нем точно так, как в магазине на полке лежала. И костюм совсем еще хороший, какой теперь даже и не купишь. А рубаху белую в синюю полоску старуха сама шила и, чтоб лиши-

него матерьяла не тратить, воротник скроила из остатков, так что полосы не вдоль вышли, а поперек.

— Вспоперек еще ишь лучше! — кричал он по этому поводу, когда на него рубаху примеряли, и норовил руками махать, а она видела, чего он такой веселый, чего выдабривается, да уж не стала замечать.

В деревне в этот час кто в поле уже был, кто по хозяйству, только он шел одетый, словно в праздник, и люди видели, что идет Чарушин в суд, куда его специальной повесткой вызвали.

Но хоть и вышел он поздно, и шел не спеша, в городе еще часа полтора пришлось ждать, пока учреждения откроются. Потом ему сказали еще в приемной перед дверью посидеть, и он, сидя на деревянном казенном диване, выкурил папироски три, не меньше, оттого что в сон кидало.

В это время следователь Никонов подобрал еще двух человек, по типу, по возрасту и даже по одежде примерно подходивших к Карпухину. Один из них был тоже шофер, другой тракторист, взял их Никонов в чайной, и они, узнав, в чем дело, шли за ним, бодря себя шуточками и чего-то вроде стесняясь, хоть самим и любопытно было.

Так что, когда Чарушина позвали, в комнате, кроме понятых, сидели на лавке против стола следователя трое, и одного из них сказано было ему опознать. Справа сидел Степка Арчуков, Нюрки-фельдшерицы муж. Редкий день, когда Чарушин не встретит его на улице. А слева, к двери ближе — Федька Громов, по двору — Гулюшкин. Бабка еще ихняя, когда молодая была, попала под дождь, да и скажи: «Промокла, как гулюшка». С тех пор и прозвали Гулюшкой. И сколько их есть — все Гулюшкины. На улицу выйдут, ребятишки кричат: «Гуля, Гуля, Гуля, Гуль, я посыплю, ты поклюй!..» Сам Федька сейчас в поселке живет возле кирпичного завода, кирпич возит, а все равно, хоть за тридцать километров уехал, и там Гулюшкиным зовут. Чарушин, войдя, хотел было поздороваться, но оба глядели на него, как незнакомые, и он не поздоровался, поняв, что так надо.

Ну, а третий, в середке, худой, желтый, небритый — тот самый и был, какого ночью поймали. Чарушин сразу на него указал. Все по порядку занесли в протокол.

После этого следователь оставил Чарушина с собой один на один и велел снова рассказать по порядку все, как было. И Чарушин рассказал, как они шли с прицепщиком, тоже Федькой, только не Громовым, а Молоден-

ковым, а тут этот бежит (Чарушин кивнул на то место, где только что сидел Карпухин). Они и схватили его.

— А почему вы решили, что его надо хватать? — спросил Никонов.

— Так ведь бежит же.

— Так... Ну дальше.

— А чего дальше? Повели. Откуда бежал, туда и повели.

— Ну и что он, вырывался?

— Ясно дело, вырывался. Человека когда схватишь, обязательно вырывается.

— Значит, вы схватили его и повели. А он пытался у вас вырваться. Дальше.

— Так разве ж вырвешься у Федьки Молоденкова? Этот здоровый дуром. И прием знает. Сразу заводит руку назад по самый затылок, где ж тут вырваться? Покорился. А после заплакал даже.

И только сейчас, сказав, Чарушин вспомнил, что человек, которого они тогда схватили ночью и вели, взрослый, здоровый мужик, действительно плакал и о чем-то просил их. Но о чем, Чарушин сейчас не помнил. И впервые он почувствовал некое смущение.

Сколько раз он уже рассказывал людям все с новыми и новыми подробностями, как они тогда с Федькой Молоденковым поймали этого шофера, который, не будь их, наверняка ушел бы, и всегда Чарушин сознавал себя при этом героем, и люди в глаза хвалили его. И сегодня утром, когда он шел по деревне, вызванный в город повесткой, которую ему лично под расписку вручила почтальон, он сознавал себя человеком, делающим нужное, для всех важное дело. А сейчас впервые как бы засомневался в правильности и нужности того, что он делал.

— Вы говорите, он плакал? Угу... Это очень важно.

И Никонов стал что-то быстро записывать. А Чарушин смотрел, как он пишет, с недоверием и даже враждебно.

— Так! И при этом вы заметили, что задержанный вами шофер пьян! — сказал Никонов, дописав фразу и перечтя ее.

Чарушин молчал.

— Вы меня слышите, Чарушин?

Чарушин пожал плечами так, словно у него под лопаткой чесалось.

— Постойте, Чарушин, что вы мнитесь? Это же не я заметил, это вы заметили, что он пьян. Так чего вы теперь жмете плечами?

— Кто его знает...
— То есть как, «кто его знает»? Я не кого-то, я вас спрашиваю.

Никонов пристально глянул на него, потом полистал дело и нашел его прежние показания.

— Вы грамотный?
— Сам себя расписываю.
Никонов перевернул лист.
— Ваша подпись?
— Должно, моя.
— То есть как «должно»? Ваша или не ваша?
— Ну, моя...
— А вы без «ну». Ваша или не ваша?
— Ну, моя, стал быть!

Никонов посмотрел на него. Глаза его говорили многое, но он сдержался и ничего этого не сказал вслух.

— Значит, ваша подпись... А показания это ваши или не ваши? А ну, читайте, я вам помогать буду.

Он повернул папку к Чарушину, а сам, водя пальцем, читал перевернутые строчки. Это были те показания, которые дал Чарушин в ночь происшествия.

— Вы давали эти показания?
— Мы.
— Так, значит, пьян был задержанный вами шофер или не пьян?
— Пиши — пьян!.. — и Чарушин, сморщась плаксиво, махнул рукой.

Обвинительное заключение было написано на нескольких листах. Дописав его, поставив точку, Никонов расписался: «Если мы ошиблись, суд нас поправит».

ГЛАВА VI

И пришел давно ожидавшийся день, когда в самом большом зале городского суда при небывалом стечении народа было произнесено громко:

— Встать, суд идет!

За многие годы службы это торжественное: «Суд идет!» предваряло его выход не сто, не двести и уже не тысячу раз, но судья Сарычев и сейчас при этих словах, как всегда, почувствовал значительность момента. Открылась в стене небольшая дверь, окрашенная под дуб, и он вышел

из нее навстречу поднявшемуся залу. Все эти люди, вставшие при его появлении, встречали его на улице ежедневно, знали в лицо — не только его, но и его жену, детей, знали, чем и как они живут, но сейчас, стоя навытяжку, а в задних рядах — вытягивая шеи, они разглядывали его словно впервые.

В коричневом в полоску костюме из дорогого трико — теперь он его донашивал на работе, а когда-то, лет двенадцать назад, когда шил его, материал этот был редкостью, только трем человекам в городе достали из первого привоза, — в синей рубашке с галстуком, Сарычев прошел к своему месту, наклонив голову и хмурясь, как бы скорей торопясь к делу и тем самым снимая торжественность. За ним следовали народные заседатели: заслуженная учительница Постникова, мужского роста, с мужским лицом, и подполковник в отставке Владимиров, мягкий, бритый наголо, смущавшийся до робости. С галантностью военного человека он несколько церемонно пропустил даму в дверях.

Сели. Сарычев — посредине, в высокое дубовое кресло с гербом, Постникова — по правую руку, Владимиров — по левую. Спинки их кресел были пониже. За отдельными столиками, уже не на возвышении, а внизу, друг против друга — прокурор и адвокат — стороны в этом процессе. Вместе с ними шумно сел зал.

За те полтора десятка шагов, которые подполковник Владимиров прошел от двери на глазах у стольких людей, выбритая голова его стала красной и заблестела. В прошлом командир отдельной мотострелковой бригады, не побывший там, где робели многие, он, войдя на возвышение, под устремленные на него любопытные взгляды людей, потерялся настолько, что в первый момент не различал лиц. От этого, когда он сел, лицо его, как у близорукого человека без очков, имело выражение искательное.

Постникова села спокойно и строго, как она в школе садилась за свой учительский стол в младших классах, и в зал посмотрела, словно в свой класс, совершенно уверенная, что и тут не в малом числе окажутся ее прежние ученики.

Ученики ее, бывшие Пети, Маши, Вани, занимали сейчас в городе и самые большие, и самые незначительные посты, и на войну уходили, и с войны вернулись, и собственные дети уже подросли у них, стали взрослыми, но и их дети, и они сами, и, кажется, еще отцы их помнили

Постникову точно такой, как теперь. Уже иная ее ученица, многодетная, потерявшая мужа на войне, давно забывшая, что она — женщина, с вылезшими редкими волосами, отупевшая от забот, встретит на улице Постникову и застыдится самой себя, что на вид старше нее стала. А Постникова, всегда мечтавшая видеть своих учеников заслуженными летчиками, полярниками, знатными доярками, передовиками производства, скажет, строго покачав головой:

— Ведь ты у меня лучшая была по арифметике.

И та оробеет, покраснев, словно виновата, что жизнь у нее не такая легкая сложилась, как школьная арифметическая задачка, которые решала она лучше всех. И может, поплачет в этот день над тем, что уже не изменишь, да и то вечером, когда выпадет минута на себя оглянуться. А утром жизнь опять потребует свое.

Ровно подстриженная по мочки ушей, с прямыми волосами, на затылке собранными полукруглой пластмассовой гребенкой, в длиннополом, мужского покроя пиджаке и длинной юбке, в туфлях на низком каблуке с вывершиями в бока косточками, в простых чулках, а летом — в школьных носочках, с тяжелой от плоскостопия походкой, Постникова не менялась. Ни годы, ни время не старили ее. Она носила этот костюм, когда только входили в моду короткие юбки, и когда потом стали носить длинные платья, и теперь, когда уже кончали носить короткое. И невозможно было представить ее в ином и иной.

Она села, подвинула к себе лист чистой бумаги, взяла в руки карандаш — приготовилась слушать. Шевеление стихло, в зале установились первые минуты особенно напряженной тишины. И в тишине этой всхлипнула женщина. Все оглянулись. Это всхлипнула мать Мишакова.

Постникова тут же строго глянула в ее сторону и даже карандаш, обращенный донышком вниз, подняла, чтобы постучать по столу, но почему-то в последний момент все же не постучала, а только неодобрительно покачала головой. Это неодобрительное покачивание, строгий взгляд вовсе не означали, что она сама усмотрела что-то предсудительное в том, что мать всхлипнула, но ей при установленной торжественной тишине показалось, что председатель суда должен не одобрить это, и она первая глянула в сторону Мишаковой.

Старик Мишаков под ее строгим взглядом сейчас же затряс жену за локоть, испуганно оглядываясь: мол,

нельзя, нельзя, люди смотрят... И та стихла, как всякий раз стихала в эти дни, его увидев. Недавно еще прямой, умный, красивый для нее и в старости, он вдруг сразу вдитя превратился и только все путал и пугался теперь, когда им уже и пугаться больше было нечего. Ее же поддерживала та великая сила самопожертвования, которая в горе делает иной раз женщин и мудрей, и тверже, и мужественней мужчин. Ей еще было ради кого жить, она ему была нужна, без нее он бы пропал вовсе. И вот это давало ей силы. Его боль была для нее сильней своей боли.

Они уже пережили вместе смерть младших своих сыновей. Но те погибли святой смертью на поле боя, как погибли тысячи сыновей. И тогда они сами моложе были, и у них еще оставался третий сын. Теперь не осталось никого. И погиб он в мирное время, когда бы жить только да жить, детям радоваться.

Сколько раз при жизни сына казалось им, что забыл он их за женой, за своей семьей, за детьми. Бывало, и обижались втихомолку. Но в тот последний час он к ним шел, о них помнил, и вся его жизнь для них была в этом его сыновнем поступке.

А через три человека в том же первом ряду, только с другого края, сидела молодая еще, на седьмом месяце беременная, с пятнами на лице, с напряженной худой шеей и распухшими губами, некрасивая сейчас женщина. К ней то и дело поклонялся, будто отец, седоватый, хоть и коротко постриженный мужчина с двумя рядами ярких орденских планок на лацкане пиджака. Это были жена Карпухина и механик колонны, приехавший по ходатайству защиты. Его вызвали первым. Волнуясь, он заранее покашливал в горсть и правой рукой то и дело перекладывал у себя на коленях левую, высохшую и бессильную руку.

Сам же Карпухин, отделенный от всех и охраняемый, сидел за дубовой загородкой, перила которой до темного блеска отполированы были руками людей, опиравшихся на них при своем последнем слове. И, глядя на него, помятого, с желтым несвежим лицом, плохо побритого, остриженного под машинку, так что заметны стали на голове все бугры и шрамы, охраняемого милиционером, каждому, глядя на него, видно было сразу, что это — преступник.

Пока секретарь суда — молоденькая девушка в белой кофточке и кашемировом васильковом сарафане, с ком-

сомольским значком на левой бretельке — чистила промокашкой и пробовала перо за своим столиком, готовясь вести протокол, слышен был в открытые окна шум улицы, гудки машин, а из коридора, из-за дверей — приглушенные голоса.

Там, на лестнице и в коридоре, а гуще всего у дверей зала толпился народ. Спиной к закрытым дверям, лицом к желающим попасть в зал стоял милиционер в фуражке, и каждый пытался предъявить ему, безмолвному, какие-то свои особые, преимущественные права, по которым других не пускать в зал было можно, а вот его следовало пустить.

Рослый прицепщик Федька Молоденков, вызванный в качестве свидетеля, стоя близко к милиционеру и гордясь этой своей близостью, гудел:

— Сам я лично,— он особенно упирал на слово «лично» и при этом щепотью стукал себя в грудь,— сроду б сюда не пошел. Это что вот эти толпятся, упрашивают,— Федька кривил презрительной усмешкой свое не очень приспособленное для этого лицо и на всех вместе, не глядя, как бы откращиваясь от них разом, махал рукой,— мне этого не надо. Меня повесткой вызвали. Ну-жон буду — позовут.

При всем самоуважении Федьке Молоденкову отчего-то важно было еще и мнение милиционера о себе, чтоб милиционер знал, что он не как все. И он так настаивал, так добивался, что один раз милиционер действительно посмотрел на него и даже как будто улыбнулся, после чего Федька уже на законном основании стал с ним рядом. И если б теперь милиционеру понадобилось отлучиться и он бы оставил Федьку Молоденкова за себя, так тут можно было не сомневаться, что Федька не пустит уж никого: ни кума, ни свата, ни брата. Он и так уже начал от себя, по собственной инициативе не пускать: «Ну, куда, куда, не видишь? А вы, гражданин...» Но гражданин, по виду такой, что и отпихнуть не грех, повернулся, глянул, и Федька узнал следователя Никонова, который допрашивал его. И милиционер узнал, хоть Никонов был в штатском, и, отеснив всех, сам открыл перед ним дверь в зал.

Никонов вошел, как входит опоздавший, всячески стараясь не привлечь к себе внимания. Кто-то потеснился, он сел, запыхавшийся, сделался невидим и тогда уж отляделся. Вокруг него сидело человек восемь пенсионеров-

засвегдатаев. По своим немощам, иные по глухоте имели они законом ограждаемое право, «полное право», как они говорили, сидеть дома. Но они самоотверженно утруждали себя, другой раз готовы были баней пожертвовать, лишь бы суд не пропустить.

— Здравствуйте, товарищ Никонов,— зашептал ему пожилой пенсионер, сидевший через человека, показывая свое улыбающееся лицо и подмигнув даже: мол, я сразу вас узнал. Но — понимаю, понимаю, можете положиться на меня, как на себя.— Буквинов,— представился он шепотом, совершенно доверительно, словно не просто фамилию свою сообщал, но еще и род занятий.

Лицо его с крупным пористым носом и белой слюной в углах губ было из тех лиц, которые запоминаются не своей непохожестью на другие, а тем, что таких еще сто где-то видел. Никонов улыбнулся ему, и тот, вполне удовлетворенный, отклонился на свое место. И на соседей глянул уже с превосходством.

В то время как Никонов входил, председатель суда вызвал очередного свидетеля.

— Свидетель Бобцов! — прочел он по бумаге и глянул в зал. Сидевший рядом с женой Карпухина механик автобазы вскочил, сделав шаг к столу судей, тихо сказал что-то. Сарычев опять посмотрел в бумагу, показал написанное обоим заседателям, пальцем поманил секретаря суда и ей показал.

— Разрешите, пожалуйста, ваш паспорт.

И все четверо сверили паспорт с тем, что было написано в бумаге, после чего Сарычев покачал головой, а секретарь суда покраснела.

— Ну, вот и разобрались,— сказал Сарычев по-семейному, возвращая свидетелю паспорт,— небольшая, как говорится, техническая ошибка. Значит, товарищ Бобков. Скажите, свидетель, ваше имя, отчество, кем вы работаете на автобазе?

— Николай Ефимович,— не дождавшись конца вопроса, сказал Бобков оттого, что волновался. И повторил официальней:

— Звать — Николай Ефимович, работаю механиком колонны. Да.

Сарычев опять поглядел в бумагу.

— Вы являетесь секретарем партийной организации? Бобков кивнул.

— Прекрасно. Так вот, Николай Ефимович... Вас, ко-

нечно, уже предупредили об ответственности за дачу ложных показаний? Вы знаете, Николай Ефимович, что должны говорить суду правду и только правду? Распишитесь, пожалуйста, у секретаря.

Механик подошел к столу секретаря, попытался расписаться одной рукой — бумага сдвинулась. Девушка смотрела на него, не догадываясь придержать. Тогда он, чувствуя определенную неловкость в ее присутствии, поднял правой рукой и как груз положил на лист бумаги свою бессильную холодную левую руку. И расписался.

— Ну вот,— подытожил Сарычев, как бы говоря: «С формальностями покончено, слава богу». — А теперь расскажите нам, Николай Ефимович, что вы знаете по этому делу.

И Сарычев уселся поудобней, тем самым и свидетелю подавая пример не волноваться, а просто рассказать по-хорошему, честно, все как есть.

— Что я могу сказать? — сам вздрагивая при звуках своего голоса и вытягиваясь по-военному, быстро заговорил Бобков. — Карпухина я знаю шесть лет. За эти годы показал он себя хорошим работником.

— Ишь ты! Ишь ты!.. Свой своего выгораживает, — зашептал сейчас же Буквинов, явно не желавший упускать такой возможности — по ходу дела обмениваться мнениями со следователем. — Хоть вор, да мой...

Никонов не ответил и головы на этот раз не повернулся, надеясь таким образом избавиться от него.

— Так. Шесть лет знаете подсудимого, — вдумчиво, а на самом деле чисто механически повторил Сарычев. Долгая практика выработала в нем способность и не слушая повторять основные моменты, которые должны быть занесены в протокол. — Что же дальше?

— Дальше? Работал он честно, с душой работал. Я сам таких людей уважаю, которые трудятся. В нашем деле, сами знаете, другой раз запчастей не хватает, бывает, сутками не уйдешь из гаража. От Карпухина, сколько работаю, слова не слышал. Раз надо — значит, надо! И спорить не станет. Или там уговаривать, как другие: я тебе сделаю, а ты мне выпиши за это... — Механик отрицательно затряс головой. — Уважаю таких людей!

— Работал честно, — опять для протокола, давая секретарю время записать, повторил Сарычев и значительно прикрыл глаза.

— Честно работал! Вот хоть бы Дуся могла сказать.— Он обернулся и указал на жену Карпухина, рядом с которой сейчас было свободное место.— Она у нас мойщицей работает. Когда шла за него, находились несознательные женщины, которые разные мнения высказывали. Мол, девка молодая, а он из заключения... Но мы очень хорошо понимали, никаких таких мнений быть не может. Анкета его в отделе кадров лежит запертая, а жить ей с человеком. Я сам лично ей на это указывал. Скажи, Дуся, указывал я тебе лично?

Но Дуся молчала, только тяжело дышала, открыв рот, так что Сарычев один раз внимательно посмотрел на нее,

А Карпухин, пока говорили о нем, сидел за своей загородкой, опустив плечи, низко нагнув голову. Он был бледен и, чтоб сдержать дрожь, коленями сжимал руки.

И весь напряженный сидел в заднем ряду среди пенсионеров Никонов. Он сам не мог бы сказать, зачем пришел сюда. У него уже другое дело было, которое он вел и о котором ему теперь следовало думать. А это дело — прошлое. Но вдруг в последний момент все бросил и пришел. И чего-то ждал. Словно не одного Карпухина, но и его должен был суд либо оправдать, либо обвинить.

Тем временем Сарычев продолжал вести заседание. Он вел его, как всегда, в доброжелательной, спокойной манере и с той тщательностью, которая в равной степени нужна и для установления истины, и для того, чтобы в дальнейшем ни одна из сторон не имела формального повода опротестовать его действий.

— Значит, вы утверждаете, что лично проверили машину обвиняемого перед выходом в рейс?

— Сам проверял.

— И тормоза были в порядке, и все остальное вы проверили?

— Отвечаю за это!

Вполне удовлетворенный, Сарычев выпрямился в своем кресле, рукой откинул волосы со лба, тихо спросил Постникова, тихо спросил Владимирова — у обоих вопросов не было. Тогда он эту возможность предоставил прокурору.

— Да, у меня вопросы есть! — сказал Овсянников и карандаш свой острием поставил на бумагу. Лицо его было желто, виски втянулись, глаза блестели нездоровым блеском.

— Скажите, свидетель, сколько лет вы являетесь секретарем партийной организации?

— Третий раз выбрали.

— Значит, третий год? Тогда я вам прочту ваши слова. Вот вы сказали: «Анкета в отделе кадров лежит заперта, а жить ей с человеком. Я сам лично ей на это указывал...» Что вы этим хотели сказать по отношению к обвиняемому?

И своими блестящими глазами Овсянников пристально посмотрел в лицо свидетеля. Бобков отчего-то смущался, оробел несколько.

— Так ведь всего в анкете не напишешь. В ней на каждый ответ одна строчка дается. «Да», «нет» помещаются, а больше места нет. Вот это и сказать хотел.

Сарычеву, человеку жизнелюбивому, скорей ответ был по душе, чем вопрос. Ему не понравилось, как прокурор задает вопросы, по-человечески ему это было неприятно. Дело делом, а люди должны оставаться людьми. Но он ничего не сказал, только под столом нетерпеливо зашевелил пальцами ног в ботинках. На его мясистых сильных ногах любые новые ботинки уже на другой день гнулись, как тапочки.

— А известно вам, за что прошлый раз был осужден обвиняемый Карпухин? За воровство, не так ли?

Бобков засмущался еще больше.

— Какое оно воровство? — сказал он, потупясь.— Дурость была, а не воровство.

Тут уж и Сарычев улыбнулся, как улыбаются детям, когда они по-своему, детскими словами говорят о взрослых вещах. Но судопроизводство,— ничего не поделашь — ведется не на милом детском, а на точном языке юридической науки.

— Еще у меня вопрос,— продолжал Овсянников.— Помнит ли свидетель, как полтора года назад на автобазе возникла вопрос об увольнении Карпухина за систематическое появление на работе в нетрезвом виде?

В напряженном зале никто не заметил, как при этом вопросе Никонов весь сжался и покраснел испуганно, боясь оглянуться. Когда-то, на следствии, поверив ему, Карпухин сам рассказал это про себя. Потом Никонов рассказал это прокурору, но только для того, чтобы показать степень чистосердечности Карпухина и в конце концов склонить прокурора на его сторону. И вот это, доверенное ему одному, прозвучало сейчас в зале суда, как обвинение.

— Выгораживал, выгораживал, а вон как его самого за жабры взяли,— зашептал, наклоняясь за спинами, Буквинов. В горле его клокотала непрокашлянная мокрота, так что самому за него хотелось прокашляться. Никонов с ненавистью посмотрел в его светившееся жестокой улыбочкой лицо.

А из первого ряда, сбоку, Тамара Васильевна Мишакова смотрела на стриженый затылок свидетеля и ждала. Сколько слез в эти недели пролила она по мужу, по себе, так, наверное, теперь на всю жизнь ни слезинки не осталось, закаменела вся. Глаза ее были сухи, а лицо горело. Пока допрашивали обвиняемого, пока допрашивали свидетелей, она, не сомневаясь, что и судьям с самого начала все ясно, ждала, когда к главному перейдут. А главным, по ее мнению, был суд над преступником. Но этот суд все никак не начинался.

Ее оскорбляло, что с убийцей — ведь все же знают, что он убил ее мужа,— разговаривают вежливо, как с человеком. А она в сторону загородки взглянуть не могла, сердце останавливалось. И самое стыдное было то, как вел себя Сарычев. Сколько раз с мужем покойным в шахматы играл, младшая дочь его Света ходила к ней в детский сад. И вот сидит в кресле, развалившись, улыбается, шутит, словно бы и горя нет никакого. От кого угодно могла она ожидать, но только не от него. Один прокурор Овсянников, с которым она и здоровалась через силу, на совещаниях только, после того, как отец ее делил дом с соседями и отцу присудили меньшую половину,— он только ведет себя принципиально.

А свидетель молчал. Он стоял, опустив голову. Надо было сказать так, чтобы поняли. Ведь вот как спрошиено: было или не было? А разве ответишь так? Было-то было, да ведь сколько за тем «было» такого, что не скажешь здесь. Разве же легкое дело под сорок лет заново жизнь начинать? У людей к этому времени семья, дети, а парню что вспомнить? И весь его дом при нем. Конечно, по службе обязан был и отстранял. И в слесаря переводил. Но то по службе. А по-человечески другой раз позовешь домой к себе, за ужином сам с ним рюмочку пропустишь, поговоришь по душам, по-хорошему. И ночевал у него Карпухин не раз, и жил, случалось, по неделе по целой. Потому что душа у парня настоящая, через все прошел, а человек жив в нем.

— Я что хочу сказать,— заговорил Бобков, со всей

убедительностью прижимая руку к сердцу.— Не то дорого, что было, а что стало. Вот полтора года, как женился, как дал слово, ни один человек ничего плохого за ним не замечал. Это кого угодно на автобазе спросите.

— Что стало — в этом нам как раз и предстоит разобраться. Но я вам вопрос задал. Свидетель, вам понятен мой вопрос? — повторил Овсянников.

Механик молчал.

Тогда Сарычев пришел на помощь.

— Свидетель,— сказал он мягко и так же мягко лег грудью на стол.— Государственный обвинитель спрашивает вас, помните ли вы, как полтора года назад возникал вопрос об увольнении обвиняемого Карпухина за систематическое появление на работе в нетрезвом состоянии. Было это или не было?

— Было,— сказал механик, безнадежно вздохнув. И впервые глянул на Карпухина: мол, прости, брат, запутали.

— Я хочу задать последний вопрос.— Прокурор отмечил карандашом в бумагах и поднял на Бобкова глаза.— Вы третий год секретарь партийной организации. Вы обязаны хорошо знать людей. Напомню: Карпухин имел в прошлом две судимости. После отбытия заключения, когда ему были предоставлены все возможности честно трудиться, снова заслужить добре имя иуважение людей, он продолжал вести себя недостойно. И вот совершил преступление, причем у нас имеются факты, что совершил его в нетрезвом состоянии.

В этом месте речи прокурора Карпухин дернулся, хотел сказать что-то, милиционер сейчас же сделал к нему строгое движение, но еще раньше Карпухин погас. Только взял руками свою тяжелую голову и сидел, не подымая ее.

— Так я вас спрашиваю,— продолжал прокурор, тоже заметивший движение за загородкой, но не повернувший головы,— сходятся ли эти факты с портретом обвиняемого, который вы здесь нарисовали? Или они находятся в полном противоречии? Я спрашиваю, поскольку вы обязались говорить суду правду.

— Я протестую! — поднялся со своего места адвокат Соломатин, слепыми глазами глядя в сторону судьи. Старческие руки его в это время искали очки, оставленные на столе. Соломатину нужно было, чтобы протест его,

как возможный в дальнейшем повод для кассации, нашел свое отражение в протоколе, и потому он усилил его небольшой дозой гражданского возмущения.

В зале сейчас же возник стихийный шумок. И тогда раздался стук. Это Сарычев, сидя прямо, стучал карандашом по деревянному краю стола. Уже и тишина установилась, а он продолжал громко стучать карандашом.

— Я буду удалять! — сказал он, одновременно показывая Соломатину, чтобы тот сел. В несложной игре, которую вел адвокат, все ходы были известны ему заранее.

За годы, что Сарычев был судьей, на него никто никогда не обижался. Независимо от исхода дела, который порой нетрудно было предвидеть, он так доброжелательно всегда вел заседание, что обижались на прокурора, на адвоката, особенно если негласно уплатили гонорар вперед, а оправдательного приговора не последовало. Даже преступники, которых он приговаривал к значительным срокам заключения, как правило, не обижались на него: закон строг, а судья хороший был мужик.

— Государственный обвинитель,— сказал он Бобкову мягко,— поставил вопрос в такой форме, что я разрешаю вам на него не отвечать.

Его не смутил при этом открытый, ненавидящий взгляд Мишаковой.

— Вы можете не отвечать,— повторил он.

Однако Бобков, почувствовав поддержку, разволнился вдруг.

— Я что хочу сказать,— заговорил он быстро, словно боялся, что перебьют.— Вот у меня рука левая...— И, подняв другой рукой, показал судьям и залу свою бессильную левую руку, кисть которой повисла.— Вы, может, думаете, я такой с войны пришел? Я с фронта пришел целый. Что было — врачи зашили, под рубашкой не видать. А это я шофером был. В аккурат весной тоже, три года назад. Ростепель была, а тут морозить начало. Еще градусник не показывал, а уж по мотору чувствуется. Такой гололед образовался, что не ты машину ведешь, она тебя ведет. Подъезжаю к перекрестку в третьем ряду: троллейбус, автобус, я. Вдруг из-за автобуса человек высекивает. Я туда, сюда — все-таки поймал его колесами. Судить меня. А пока судить, меня от переживаний, от мыслей от одних удар хлопнул. Вы как это думаете, человека задавить? Конечно, суд меня оправдал, но руку-то уж не воротишь. И нога тоже волочится. Я что

хочу сказать? Шофер, он, конечно, виноватый. Ему штрафуют — спорить не имей права. А только нельзя так тоже.

Сарычев выслушал и это объяснение, не прерывая, как бы возместив свидетелю моральный ущерб, наисенсенный ему предыдущим вопросом. Затем спросил прокурора, нет ли еще вопросов у него? У прокурора вопросов не было. Тогда он предоставил это право адвокату.

Соломатин, всякий раз близко наклоняясь к бумаге, задал несколько вопросов, которые не содержали в себе ничего, кроме того, что он полностью использует предоставленное ему право.

И вот когда ни у кого вопросов больше не было, когда Сарычев хотел объявить перерыв, с удовольствием предвкушая, как разомнется после долгого сидения, подполковник Владимиров неловко, как человек, который долго собирался, но все не мог решиться и решился в самый неподходящий момент, попросил вдруг позволения задать вопрос. Сарычев только руками над столом развел и улыбнулся: мол, уж вам-то, батенька, было время вопросы задавать, в первую очередь, кажется, право предоставлялось. Но не отказал. И Владимиров, искательно щурясь, сам смущаясь и смущая этим других, так что хотелось глаза отвести, спросил:

— Вот как специалист, как шофер вы сами,— он затруднялся в словах,— вам обстоятельства дела знакомы... Скажите суду, мог он, вот товарищ Карпухин,— тут Владимиров смутился еще сильней, вспомнив, что подсудимому надо говорить «гражданин»,— мог он быть при этих обстоятельствах не виноват?

И в тоне, каким задан был вопрос, звучало такое явное желание услышать «мог», что Сарычев только головой покачал, а про себя решил сделать в перерыве Владимирову замечание и разъяснить некоторые вещи. Но свидетель понял. И Карпухин тоже почувствовал, что человек этот желает ему добра, и, с волнением выпрямившись, ждал.

— Мог! — сказал Бобков со всей убедительностью.— То есть даже не то чтобы, а просто совсем не виноват!..

Объявили перерыв. Все шумно поднялись, теснясь, двинулись к выходу, сразу же начиная обсуждать.

Бобков сел на свое место рядом с Дусей, ладонью сгреб со лба пот, пристыженно глянул в ее сторону. Что говорил он, что сираливали — все это сейчас перемеша-

лось у него в голове, и боялся он только, что напортил от неумения, не лучше Карпухину сделал, а погубил. Поэтому и смотрел он пристыженно, опасаясь встретить укор.

Но Дусе не до него было. От духоты зала, где в летний зной несколько часов подряд дышали вплотную сидящие люди, от волнения сердце у нее колотилось так, что, в целой груди не помещаясь, подкатывало к горлу. И вдруг захлестывало, горячее что-то изнутри приливало к ушам — оглохшая, переставая видеть и сознавать, она раскрытым ртом, распухшими губами хватала воздух. А после вся дрожащая, с мокрыми холодными ладонями сидела, чувствуя непрошедшую дурноту и как в тумане различная голоса и людей. И ничего-то из происходящего не могла она сейчас понимать — так ей плохо было, что, может, хуже всех.

Она не видела, как Бобков сел около нее, не слышала, что он говорит. Все куда-то пошли, и она тоже поднялась и пошла, чувствуя только тяжесть живота и колотящееся сердце. И вдруг столкнулась, глаза в глаза встретилась с мужем. Он стоял и смотрел на нее. Ждал. И когда она увидела его, то словно поняла вдруг, откуда ей все это мучение и за что.

— Коля! — сказала она таким голосом, что люди, не успевшие выйти в коридор, обернулись в дверях. — Ты ж обещал мне! Ты слово дал!.. — говорила она, ему же на него жалуясь, и по распухшему ее лицу из невидящих глаз текли слезы.

Бобков обхватил ее за плечи: «Что ты? Нельзя. Нельзя!» — почти насилием вывел в коридор, милиционер вытеснил последних людей из зала, а Карпухин все стоял, белыми пальцами вцепившись в загородку. Потом он сел, каменно сжав челюсти, кулаками сдавив виски. И все в нем окаменело с этой минуты.

Милиционер, становясь на скамейки, одно за другим поочередно открыл все окна, при этом оглядывался на обвиняемого, который сидел один. Сделав все, подошел к нему, потряс за плечо. Карпухин не сразу понял, что от него требуют. Поняв, встал и пошел впереди.

Его провели по коридору среди расступавшихся, с жаждым любопытством смотревших на него людей. И в уборной, те, кто курил там, сразу смолкли и смотрели на него все время. А милиционер стоял у дверей, вооруженный. Потом тем же путем его привели обратно.

Спустя время Карпухин почувствовал в кармане что-то мешавшее ему. Это был хлеб, завернутый в потертый клочок газеты, который он принес с собой. И только увидев его, он вспомнил, что надо поесть.

Отдельно, в нише стены, стоял медный чайник с водой и кружка.

— Слушай, друг, подай водички, пожалуйста,— попросил он милиционера. И наверное, милиционер налил бы ему воды. Но как раз в этот момент в зал вернулась секретарь, что-то забывшая на столе. И в ее присутствии милиционер почему-то постеснялся, сделал вид, что не слышит.

ГЛАВА VII

Как только объявили перерыв, женщины, у которых всегда дела есть, тут же разбежались, надеясь хоть к концу вернуться. Кому детей надо было накормить, кого хозяйство ждало — женская работа, несчитанная, немереная, никогда не убывающая, которую между дел делают, торопила каждую. Мужчины же — мыслящая часть населения,— для которых другой раз и покурить — занятие, остались поголовно. И едва вышли в коридор, почувствовали себя на свободе, заговорили все сразу, первым делом схватившись за папиросы. После долгого вынужденного молчания каждый теперь спешил высказать свои соображения. И, понятно, они-то и были самые правильные, и другого каждый слушал для того только, чтобы скорей иметь возможность сказать самому.

Коридор суда, где в течение нескольких часов громко звучало только «тишш!», наполнился гулом голосов, табачный дым подымался над многими головами. Судьям еще предстояло вынести решение, предварительно разобравшись во всем и все выяснив. А здесь уже и так все было ясно. И каждый жалел только, что не ему доверено судить, уж тут бы ошибки не случилось.

В группе завсегдатаев-пенсионеров настаивали:

— Строже надо! Строже оно и проще.

— Это что, как молодежь распустили...

— Раньше просто было, так боялись через закон перелазить.

— Страх потерян. Ему десять лет дадут, он через год дома. Милиция ловить их отказывается: мы ловим, а суд отпускает.

— Вон в Конюшкове троє разом вернулись из заключения, народ вечером боится на улицу выходить.

— И правда, суды судят, такую статью подводят, что люди смеются, как выходят.

— Вот и я это самое говорю! — втиснулся меж головов белобрысый парень, переходивший от группы к группе. И, ошеломив всех напором, торопясь, пока никто не успел перебить, рассказал-таки свою историю о том, как сестриного мужа брат купил мотоцикл и врезался в столб.

— Главное дело, завтракать собирались, воскресенье было. Жена еще, как чувствовала, не пускала его, а он ничего слушать не стал, посадил тестя сзади себя: «Жарь, говорит, яичницу, мы скоро». Вот и вышло скоро: мотоцикл аж вокруг столба обвился. В один час — ни отца, ни мужа. Спешили к своей смерти...

— Пьют, пока опузырятся, потом народ калечат,— сказано было по этому поводу.— Скоро средь бела дня начнут давить.

Тут еще один, к слову же, рассказал, как шофер автобуса в выходной день понесжал полный автобус грибников и с ними со всеми врезался в тягач. Когда про шофера вспомнили — он уж сбежал.

— Ты как, спрашивают, сбежать мог? А я, грит, боялся, убьют меня на месте. Во-он что делают шоферюги!..

И у каждого нашлась своя история, каждому хотелось тут же ее рассказать, поскольку она-то и имела непосредственное отношение к делу.

В другой группе, где собрался народ поможе, главным образом механизаторы, шоферы, и настроение было миролюбивей. Судили и так, и эдак, сходились на одном: тот не грешен, кто бабке не внук. Только Буквинов, подошедший послушать, не одобрил:

— Украй — эту самую руку отрубить. Больше ей не полезет, это уж точно.

Он тоже, как белобрысый парень, переходил от группы к группе со своим полезным советом. Но тут местный журналист, до этих пор куривший молча, возразил ему.

— Между прочим,— сказал он,— юристами доказано, что жестокость еще никого никогда не останавливалася. Больше всего, например, карманых краж совершалось во время публичных казней на площадях, когда народ целиком был захвачен жестоким зрелищем. И даже считают, что есть определенная связь между жестокими законами и особо жестокими преступлениями.

— Во-во,— как бы согласился Буквинов и вдруг с яростью, с неожиданно покрасневшим лицом набросился на него: — А он яблоню под самый мой забор посадил, это как? Прежде межуют, бывало — парнишек на меже секут. Вложат ума в задние ворота, до смерти помнит, где сосед. А он, подлец, под самый под мой забор. Ветки ко мне лезут. Детям не запретишь, подберет яблочко — это что может быть? Смертоубийство.

— Да вы про что говорите? — опешил журналист.— При чем тут ваша яблоня? Совсем про другое разговор идет.

— Небось про то про самое. Мы зна-аем... — И Буквинов подмигнул всем с таким видом, словно не только про соседа, но и про него знал нечто. И журналист действительно на глазах у всех смущился, покраснел и замолчал, а старик отошел победителем.

Тем временем в конце коридора несколько женщин водой отпаивали Дусю, жену Карпухина, лежавшую лицом на подоконнике.

Возвещая своим появлением конец перерыва, прошел в совещательную комнату судья Сарычев. Выпив, как всегда, стакан сладкого чая в перерыве, он шел по коридору быстрым шагом, строго нагнув голову, недоступный сейчас ничьим посторонним влияниям, не узнавая даже знакомых, и тем особое внушая почтение.

Проходя мимо, Сарычев мельком заметил суевищихся у окна женщин и среди них опухшее, залитое слезами лицо, которое держали чьи-то руки. Он не сбавил шаг. Где суд, там и слезы, ему ли это было не знать. Для него и коридор суда, в котором толпились сейчас глазевшие на него и расступавшиеся, замолкая, люди, и зал суда, и высокое кресло с гербом, в которое он привычно садился,— все это была его служба. А служба его, как служба хирурга: хочешь быть добрым — по живому режь.

Для нее же, ничего сейчас не видевшей — ни людей, ни стен,— сознававшей, что говорят, пеясно, сквозь дурноту, все еще увидится особо. И деревянный крашеный подоконник, на котором лежала она лицом, запах его, облитого слезами, не раз средь ночи разбудит ее. Этим днем начинался для нее новый счет дням и годам.

У самой совещательной комнаты Сарычев почти столкнулся с Никоновым. Ему показалось, что тот хотел тоже зайти, но увидел судью и словно отскочил, при этом не

поздоровавшись. Сарычев вошел, потом все-таки выглянул. Никонова не было видно. И он тут же о нем забыл.

Весь перерыв Никонов выписывал сложные петли у этих дверей. Уходил, снова возвращался и снова уходил, сам себя объезжая по кривой. Борол, борол в душе желание зайти, но и от дверей оторваться тоже не мог. Словно там, в совещательной комнате, где сейчас находились все бумаги и среди них его рукой написанное обвинительное заключение, оставил он еще что-то большее. Оно-то и тянуло его к себе.

Когда ставил под обвинительным заключением точку, успокоил себя Никонов несложным рассуждением: «Если мы ошиблись, суд поправит». А вот теперь не мог уйти от дверей. Но и туда войти тоже смелости не набрался.

Так со всем народом, затерявшись в общем потоке среди людей, он прятиснулся в зал, когда кончился перерыв.

ГЛАВА VIII

Вызванные по очереди, один за другим прошли перед судом свидетели. Полный самоуважения Федька Молоденков держался с достоинством, отвечал не спеша, больше всего стараясь себя не уронить. Бокарева, как вошла, как глянула, повернулась, как сказала несколько слов, так мужчины отчего-то заулыбались. И долго еще после нее кто-нибудь нет-нет да и улыбнется, вспомнив.

Последним по списку вызвали Горобца. Обязавшись говорить правду, в чем тут же собственноручно и расписался, он категорически отрицал какую бы то ни было возможность вины или ошибки со стороны Мишакова. При этом он искренне убежден был, что делает именно то, что нужно и что от него ждут. Нужно не кому-то определенному, например судье или прокурору, а нужно в высших целях. По сравнению с ними один этот шофер, которому он лично зла не желал, роли не играет. Каждый вопрос он выслушивал почтительно и, в знак понимания кивнув, приступал к ответу с полным самосознанием, стараясь показать, что он тот человек, на кого они могут положиться, потому что он знает и понимает и сам многие важные вопросы решал. И ушел Горобец со скромным выражением хорошо исполненного долга.

Было далеко за полдень и душно, когда предоставили, наконец, слово прокурору. Овсянников поднялся,

опершись о стол, блестящими глазами оглядел зал. Его знобило, хотя он знал, что у него жар.

Сегодня с самого утра он чувствовал себя особенно плохо и, надевая перед зеркалом мундир, увидел, что воротник стал ему велик. И за завтраком жена, тревожно взглянувши в его лицо, спросила: не болен ли он? Он сказал, что не болен, и даже нашел в себе силы успокоить ее.

При других обстоятельствах, заболей он просто, можно было отложить заседание. Но Овсянников понимал, что ему уже ничего откладывать нельзя, на это ему жизни не отпущено.

Как всегда, путь от дома он прошел пешком, хотя было это ему необычайно трудно сегодня. Боль жила теперь не только в боку, она разлилась, захватив правую сторону живота, и он чувствовал ее резче, когда передвигал при ходьбе правую ногу. Всю ночь, чтобы уснуть, он подсовывал под бок диванную подушку. И вот так, пригревшись, боль как будто затихала немногого. Он понимал, что это значит. Это значило, что он побежден. Что он уже старается создать условия, которые ей нужны, чтобы она затихла на время. И вот там, в тепле, она тем временем развивалась и росла.

Что бы ни испытывали люди, сидящие в зале, каждый из них по-своему, это было ничто в сравнении с тем, что чувствовал он и знал. Ему было хуже всех. Но это давало ему то право, которого не было ни у кого из них. Высшее право. И вот от имени этого высшего права он готовился произнести сегодня свою последнюю речь. Аудиторией его был не только этот зал, он обращался к людям, потому что все, что он делал сейчас, он делал ради людей.

Произнеся тихим голосом первые необходимые слова, обращенные к судьям и залу, Овсянников начал свою речь так:

— Если бы дело это слушалось на автобазе, где работал обвиняемый, и я бы потребовал для него оправдательного приговора, там люди встретили бы это аплодисментами. Если я сейчас, в этом зале, потребую для обвиняемого самого сурового наказания, вы встретите это аплодисментами. Так независимо от того, что ждут от меня, я буду говорить только то, к чему обязывает меня мой долг и мои убеждения. Я взял слово не для обвинения — для защиты. Для защиты общества, вас и даже

его.— Овсянников указал пальцем за загородку на Карпухина.— В дни великих потрясений, таких, как войны, каждому человеку становится очевиден смысл и значение его жизни. До этого, находясь среди людей и считая себя гражданином страны, он все-таки в глубине души считал, что жизнь его — это в первую очередь его жизнь, и никому она так принадлежать не может, как ему самому. И только когда нашествие грозит его Родине, человек вдруг видит, что без Родины, без людей, среди которых он живет, его жизнь не имеет ни цены, ни смысла. И в то же время она может обрести огромный смысл, если несет в себе идею своей Родины, идею ее борьбы. Человеку открывается величайшее счастье самопожертвования, и он с радостью приносит свою жизнь, которая до этого, казалось ему, быть может, дороже всех жизней. Но проходит великое время, и эта связь, делавшая неразрывными всех нас вместе, сделавшая нас непобедимыми, как будто исчезает. О ней говорят непрерывно, о ней пишут, но сами мы перестаем чувствовать ее за своими маленькими делами и заботами.

Пересохшие губы Овсянникова уже с трудом шевелились, произнося слова. Секретарь суда быстро налила из графина воды и, подавая ему стакан, снизу взглянула на него с уважением, равным страху. Бледный, желтый, он стоял в своем синем мундире, воротник которого был ему заметно широк, но на больном лице глаза горели сильно и страстно.

В зале такая была тишина, что, пока он пил, слышно было, как стукалось стекло стакана о его передние зубы. И хотя не всем было понятно, что он говорит, поначалу как будто ждали совсем другого, волнение его заражало, и все чувствовали, что говорит он что-то очень важное, отчего вина Карпухина становится еще больше.

Овсянников поставил стакан, платком вытер мокрый подбородок. После перерыва окна остались открытыми и в косых вечерних уже лучах видно было, что стекла их пыльны. День гас. Но для всех это был закат гаснущего дня, а для Овсянникова он был исполнен особого смысла, потому что это был закат жизни.

Люди, сидящие в зале, с величайшим вниманием слушая его, не догадывались, что он говорит не только о Карпухине, он говорит и о себе. С той нравственной высоты, на которую он поднялся, он видел далеко и мог

требовать самого большего, даже жертв, потому что сам жертвовал сейчас собою ради людей.

— Здесь с большой тщательностью исследовались все мелкие и даже мельчайшие подробности преступления,— поначалу как бы нерешительно и медленно заговорил снова Овсянников, при этом голос его был тих, чтобы дальше возвыситься.— Я скажу о них после. А когда я кончу, предоставят слово защите. По нашим гуманным законам во всех случаях последнее слово остается за защитой. И вполне можно ожидать, что защитник будет говорить о гуманизме, то есть призывать нас к человечности. Я тоже взял слово, чтобы говорить о гуманизме, о высшем гуманизме и справедливости, как я их понимаю.

Я готов поверить, что в тот роковой день у подсудимого Карпухина были очень серьезные причины для огорчений. И он попытался залить их вином. Мне лично такой способ чужд, но не за это мы сейчас судим Карпухина. Это не было бы преступлением, если бы в таком состоянии он не сел за руль. Что же, все дальнейшее случайно? Нет, случайностей здесь не было. Здесь разматывалась единая цепь событий, связанных между собой закономерно. Нельзя жить в обществе и быть свободным от законов его. А Карпухин каждым своим действием нарушал их. Каждым своим шагом разрушал связи, соединяющие всех нас. Но связи эти не могут быть разорваны безболезненно и, как доказательство, погиб человек, который представлял большую ценность для общества, чем тот, кто преступно убил его.

Так в чем же должен состоять наш с вами гуманизм? В том, чтобы поддаться милосердию к отдельной якобы оступившейся личности? Но такой гуманизм будет безжалостным в отношении общества. Нет, наш с вами высокий гуманизм — это гуманизм для всех, для общества в целом и потому для каждого его члена в отдельности. И, наказывая Карпухина,— говорил он, имея сейчас в виду не столько уже этого Карпухина, как Карпухина вообще, собирательного,— мы останемся гуманны. Потому что мы не отбрасываем его, а даем возможность задуматься и по истечении определенного срока вернуться в общество и восстановить те связи с людьми, которые сам он порвал. Восстановив их, он снова может стать человеком, и теперь это в первую очередь зависит от него.

Овсянников говорил около получаса, и люди слушали его, не шевелясь. Наконец он кончил, сел. Достав из

кармана платок, вытер холодный пот, выступивший на лбу, на лице, на худой шее. Пальцы его, державшие белый платок, были желты, а ногти — синеватые. И рука дрожала. Он допил из стакана остатки воды. Так высок был его нравственный подъем, что даже боль утихла.

Аплодисментов не раздалось потому только, что здесь было не заведено аплодировать в суде, и никто не решился первым. Но в зале стояла глубокая тишина, люди были взволнованы. И даже председатель суда Сарычев почувствовал некоторое волнение. Нда-а... Не совсем обычную речь произнес прокурор. Тут было что-то большее, о чем хотелось подумать. Сообразить, так сказать... И он даже на какой-то момент забыл об исполнении своих прямых обязанностей, не сразу предоставив слово адвокату.

У Соломатина речь была готова заранее и написана. Из участников процесса он был самый старый. Но даже в молодости не блестал он красноречием, а уж теперь и блестать было поздно. Как правило, он вел дела, по которым защитника назначала сама консультация. Он не разил своих противников страшными доводами, не пускался в длинные рассуждения, а всем своим видом скорбя, просил о снисхождении. И очень часто Соломатин выигрывал дело, быть может потому, что никогда не запрашивал слишком, знал меру.

Он вытер бледные слезящиеся веки, надел очки с толстыми стеклами, отчего глаза его сразу расширились, встал.

— Граждане судьи!..

Пригибаясь за спинами в задних рядах, Никонов поторопился вышел из зала. Без него заканчивал свою речь Соломатин, без него предоставили последнее слово обвиняемому.

Карпухин поднялся за загородкой, которая пока символизировала то, что ждало его. Губы его двигались, словно улыбнуться хотели, но он молчал, и только бледнел все сильней с каждой минутой, отчего видна стала щетина на лице, выступившая за один день. Зал смотрел на него.

Так ничего и не сказав, он вдруг махнул рукой:

— Да ладно!

И сел, уронив голову.

Суд удалился на совещание.

ГЛАВА IX

— Нда-а... — сказал Сарычев, как бы все еще находясь под большим впечатлением, и головой покачал, когда они трое, закрыв за собой дверь, остались в совещательной комнате, где не было ни радио, ни телефона, где никакие посторонние влияния не должны были ощущаться — остались наедине со своей совестью и законом. Он закурил, сел, положив ногу на ногу, а руку с дымящейся папиросой — себе на колено.

— Нда-а... Вот с такой высоты не вредно бывает иной раз взглянуть на дело.

Теперь, дав себе самый короткий отдых, они должны были приступить к завершающему акту: посовещавшись, вынести приговор, которого ожидали толпящиеся в коридорах люди.

— Ну что же, приступим, — сказал наконец Сарычев, вдавив в пепельницу папироску. Писать ему предстояло сейчас много, а день кончался. Он пересел за стол.

— Значит, я полагаю, обстоятельства дела ясны? — сказал он утвердительно после того, как сам вкратце еще раз изложил их. И, раскрыв Уголовный кодекс РСФСР, прочитал заседателям статью 211 — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автотранспорта и городского электротранспорта» — части первую и вторую. Поскольку часть первая предусматривала нарушения, повлекшие за собой причинение потерпевшему менее тяжелых или легких телесных повреждений и причинение материального ущерба, руководствоваться в данном случае приходилось частью второй. Часть же вторая статьи 211 предусматривала те же действия, но «повлекшие смерть потерпевшего или причинение ему тяжкого телесного повреждения», то есть как раз то, что и имело место в данном случае. И наказывались эти действия «лишением свободы на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового».

Прочитанные без запятых, ровным голосом, действия эти, повлекшие смерть потерпевшего и наказание лишением свободы на срок до десяти лет, странным образом потеряли свой угрожающий смысл, а, наоборот, обрели нечто успокаивающее, какой была интонация голоса Сарычева при чтении. Постникова сидела напротив него прямая, строгая, как совесть, и, когда он кончил читать,

кинула. Сарычев обращался главным образом к ней, о Владимирове как-то забыв, и она всякий раз наклоном головы подтверждала, что понимает его полностью.

— Итак, если бы мы, например, сочли правильным назначить обвиняемому минимальное наказание, закон предоставляет нам это право... — незаметно для себя впадая в стиль и слог прочитанного документа, продолжал Сарычев. — Но, назначая наказание без лишения свободы, мы тем самым, по сути дела, оправдываем действия, повлекшие за собой смерть, оправдываем человека, совершившего их, в данном случае Карпухина.

Тут Сарычев улыбнулся своему допущению, поскольку он не сомневался, что имеет дело с разумными людьми, которые не станут оправдывать того, кто виноват.

После этого он так же убедительно разобрав оставочные возможности, которые предоставляет им эта статья. Вплоть до высшего предела, заметив, впрочем, что вряд ли все-таки есть основания руководствоваться им. Хотя это должны решить заседатели, в чем Сарычев намеревался предоставить им полную, ничем не стесненную свободу.

— В нашей профессии, как и во всякой профессии, есть своя «профвредность», — сказал он, и тут давая понять улыбкой, что имеет дело с разумными людьми, которые не истолкуют его слов буквально, а примут лишь как выражение высшей степени доверия к ним. — Нам иногда бывает трудно не видеть в обвиняемом преступника, и потому ваш глаз, свежий глаз, необычайно важен. При этом я хочу еще раз подчеркнуть, что, хотя вы не имеете юридического образования — я, думаю, не ошибся? — и некоторые специальные вопросы для вас могут быть трудны, вы такие же равноправные судьи, наш суд состоит из трех человек.

Все это он говорил, уже начав писать, и когда поочередно взглянул на них, Постникова кинула с полным сознанием ответственности, а Владимиров сказал: «Совершенно справедливо». И после этого «совершенно справедливо», которое давало основания надеяться, что он все понял, вдруг предложил нечто несуразное:

— Так я думаю, может быть, мы и будем руководствоваться этим самым нижним пределом, раз такой случай специально предусмотрен.

Сарычев положил ручку:

— То есть как?

— Виноват!

— Нет, вы все-таки объясните. Вы же попимаете, надеюсь, мы не можем руководствоваться одними чувствами. Есть закон.

— Совершенно справедливо!

Постникова, хотя и не сказала ни слова, лицо ее полностью выразило все, что говорил Сарычев. И она с немым вопросом, но только неодобрительно взглянула на своего коллегу. Владимиров смущенно молчал.

— Кстати, товарищ Владимиров, я еще в перерыве хотел сказать вам... Обращаясь к подсудимому, вы сказали: «товарищ». Вы же знаете: «гражданин».

— Виноват! — сказал Владимиров, еще более смущившись.

И тем не менее, когда перешли к обсуждению главного, выяснилось, что несмотря на бескompечные «виноват», он ни на шаг не сдвинулся со своей позиции и продолжает проявлять все то же странное непонимание простых вещей.

— Ну, хорошо! Вам, как не юристу, возможно, не под силу исследовать в судебном заседании все доказательства, квалифицированно обсуждать вопрос о доказанности обвинения, я понимаю, — говорил Сарычев, набравшись терпения, но «Вы» звучало уже официально, с большой буквы, как пишут в бумагах. — Давайте разберемся просто, как люди, располагающие достаточным жизненным опытом.

Разобрались.

— Ну теперь как вы считаете?

— Как я вам уже докладывал.

Этот мягкий, бритый наголо, смущающийся подполковник в отставке, старавшийся в дверях всех пропустить впереди себя, и при этом делающий руки по швам, сейчас начинал раздражать Сарычева. Он уже два дела слушал с Постниковой и всегда все было хорошо и не возникало никаких недоразумений.

— Ну, хорошо, то, что это была машина Карпухина и за рулем в момент убийства сидел Карпухин, у вас, надеюсь, сомнений не вызывает?

— Никак нет.

— То, что он был пьяня и потому совершил наезд, надеюсь, тоже не вызывает у вас сомнений?

— Виноват, это не было доказано.

— То есть как?

— Прошу прощения.— Лицо Владимира вдруг стало мрачным.— Я человек пьющий. По праздникам. И я не могу в таком состоянии почувствовать запах водки от другого. Свидетели были пьяны, о чем они докладывали нам, и показания их не могут заслуживать доверия.

Сарычев вздохнул с облегчением: только-то и всего!..

— Но, батенька мой! — заговорил он ласково.— Жена... Вы же видели, жена! Она-то своего мужа знает лучше, чем мы с вами? И то у нее сомнений не вызывает. Вы же слышали, как она сказала ему в перерыве? Нельзя... Нельзя.

И тогда заговорила Постникова. Она как бы чувствовала себя ответственной за поведение Владимира:

— Вы что же, следователю не доверяете? Следователь ознакомился, расследовал квалифицированно, а вы не доверяете?

Здесь уж и Сарычеву стало неловко, и он внес необходимую ясность, смягчив ее голосом:

— Следователю мы можем доверять или не доверять, но на ходе дела это не должно отражаться. Виновным человек признается только в результате судебного следствия. Только суд, то есть мы с вами, можем признать человека виновным или снять с него обвинение.

Однако Постникова этой тонкости не почувствовала и особой разницы тут не видела. Она доверяла следователю. Она доверяла председателю суда. Она вообще доверяла тем лицам, которые заслуживают доверия, потому что недоверие оскорбительно и недостойно человека. И только тем, кто доверия не заслуживает, она не доверяла. Ей сейчас было непонятно, странным казалось ей поведение Владимира. И она осуждающее покачала головой.

Владимиров никак не ответил ей, только опустил глаза. И Сарычев почувствовал вдруг, что при всей своей мягкости он не уступит. И в глаза им не смотрит не потому, что не уверен в себе, а оттого, что ему за них неловко.

— Но вы же слушали прокурора. Прокурор для нас тоже участник процесса, решающее слово предоставлено нам, это правильно. Но я видел, вам понравилась его речь.

Владимирову действительно понравилась речь прокурора, и он слушал ее с простодушным интересом. Но он единственно не мог взять в толк, почему она направлена против Карпухина. Тут ему все было непонятно так же, как если бы ему, отцу четырех детей, сказали вдруг, что надо заколоть младшую его дочь, и от этого троим стар-

шим детям станет лучше. Он не только не допустил бы этого, пока он жив, но он и не поверил бы никогда, что ее старшим сестрам и брату станет от этого лучше, что они, приняв такую жертву, вообще останутся людьми.

— Ну, хорошо,— сказал Сарычев, встав и подойдя к нему. Он решился на последнее средство, на откровенность, которой Владимиров не мог не оценить.— Вот мы трое облечены доверием и большой ответственностью. Давайте, помня это, поговорим. Бывают случаи, когда преступление, само по себе не опасное, приобретает особо опасный характер. Это как раз такой случай За два месяца два случая со смертельным исходом вблизи нашего города. Поймите, если мы не отреагируем должным образом, народ нас не поймет. Повышенная строгость тут не только оправдана — необходима! Но есть еще один аспект. Сейчас газеты пишут о пьянстве, ведется борьба. И вот в самый острый момент такой важной кампании мы вдруг оправдываем шофера, который в пьяном виде... Постойте, не возражайте мне, я сейчас не исследую все «за» и «против», я говорю в принципе. Вы понимаете, как это может выглядеть? Наш оправдательный приговор в такой момент может прозвучать как оправдание одного из страшнейших пороков. Поймите! Мы можем, наконец, назначить небольшое наказание. Важен сам факт. Воспитательное значение,— он взглядом привлек Постникову как специалиста.— А если, допустим, мы ошиблись, то остается возможность кассировать наш приговор, и другой, более высокий суд нас поправит. Через несколько месяцев, когда острота кампании спадет, отменят наш приговор.

Это все было настолько ясно, настолько просто, что невозможно было не понять. И, наконец, нельзя было по-человечески не оценить доверия. Все-таки люди во всех случаях должны оставаться людьми.

Но Владимиров вдруг засопел, голая голова его покраснела, и он отошел к окну. Теперь и Сарычев обиделся. Он был не злой человек, но и у него были свои принципы.

— Так вы что же, мнение особое будете писать?

— Если позволите.

Владимиров продолжал стоять не обрашиваясь.

«Вот оттого-то ты и захряс в подполковниках, когда люди в генералы выходят!» — неожиданно подумал Сары-

чев, глядя в его спину, еще достаточно молодцеватую, хотя и грузную.

— Но вы понимаете, надеюсь, что приговор подписать вам придется, хоть вы с ним и не согласны? Поскольку мы двое единодушны.

И Сарычев глянул на Постникову. Она кивнула, оскорбленная больше, чем он.

— Тогда пишите! Только не дома придется писать, а здесь, потому что тайна совещательной комнаты должна соблюдаться во всех случаях. И запечатайте в конверт.

— Как прикажете.

И Владимиров присел к краешку стола, того же самого стола, на котором Сарычев писал сейчас приговор, достал свою ручку и начал писать.

В коридорах уже волновался народ, не понимая, что так долго могут решать судьи за закрытыми дверьми. И уже приговор был написан, а Владимиров все писал на краешке стола. И видно было, как ему тяжело это, как непривычные слова не складываются во фразы. Голова его была красной, он вытирал ее платком, а Постникова и Сарычев ждали стоя. И глядя на его потеющую красную голову, Сарычев с трудом переносил его в этот момент.

Но вышли они в зал все вместе и, пока оглашался приговор, стояли монолитно, плечо в плечо.

ГЛАВА X

После суда жители расходились не спеша, прощались друг с другом уважительно. Некоторые жалели жену Карпухина, многие недовольны были мягким приговором: человека убил, а ему четыре года сунули. Подешевела человеческая жизнь...

Прозрачная вечерняя заря светилась над городом. День кончился. И хорошо было сейчас вернуться домой к тихим занятиям, к семейным делам, к детишкам, обойти хозяйство, каждую вещь привычно встретив глазами на своем месте. А после, пообедав и поужинав одним разом, покурить перед своим домом на лавочке. Вид чужого несчастья всегда располагает к размышлению. И многое примелькавшееся дома, что уже не ценилось, обретало сегодня первоначальную значимость и вес.

Вернулись к себе и родители Мишакова: Пелагея Осиповна и Григорий Никитич. Сами отомкнув, вошли в дом, где и огня для них никто не зажег.

Один за другим здесь родились их дети, на этом полу, теперь уже вытертом, который Григорий Никитич, в ту пору молодой, сам стелил из широких сосновых плах, пробовали они нетвердыми ногами делать свои первые шаги... Огромным показался дом сейчас, нежилой пустотой пахнуло на них из дверей. Но они были живы, и надо было жить.

Вернулась домой и Тамара Васильевна Мишакова. Детей на это время взяли к себе ее отец и мать, в доме никто не ждал. Вещи раскиданы, грязная посуда за много дней на столе, все выхолощенное, как остывшая печь, пахнущая уже не живым дымком, а холодной сажей. До дня суда она еще ждала чего-то, словно не все кончилось. И вот — все. Надо начинать жить. А как? К любой вещи руками страшно прикоснуться. И ей, ответственному работнику, умевшему выступить на любом совещании и, если нужно, поставить вопрос, вдруг захотелось завыть по-бабы, выкричать людям свою боль. Но дисциплина взяла верх, она упала на кровать, лицом в ладони, и никто не слышал, как рвалась и кричала ее душа.

В этот же час на площади, возле церкви, где, возвращаясь с базара, люди ждут на жаре рейсовый автобус, Бобков единственной здоровой рукой подсаживал Дусю на подножку, хлопотал вокруг нее, как отец вокруг дочери. Карпухин оставался здесь на казенном обеспечении, а они уезжали, и ехать им было далеко.

Сразу после суда вернулся домой прокурор Овсянников. Пронеся через комнаты свою боль, он лег на спину на жесткую кушетку в своем кабинете. Жена, теперь не спрашивая, вызвала врача, и, когда вошла к нему, он лежал весь серый, у него даже не было сил говорить. Зато говорила она:

— Так себя отдавать людям! Так себя не жалеть! Какой-то шофер, мерзавец, без тебя его не могли осудить? Ты хоть бы о нас подумал, о детях, обо мне...

Приехавший районный врач в течение трех минут установила острейший приступ аппендицита. Жена и помыслить не могла, чтобы его оперировали здесь, в этой городской больнице, условия которой она представляла себе. Но врач оказалась с железным характером. Ее не смущали ни вес, ни авторитет больного, она сама подошла

к телефону и вызвала машину скорой помощи. И вскоре белая с красными крестами машина, оглашая город сиреной, промчалась, распугивая с дороги кур.

Не обкомовские врачи, которым можно было доверять, не пожилой, известный в городе хирург Иван Харитонович, который — одно уж к одному — оказался в такой момент в отпуску, а молодой врач, по виду студент, оперировал Овсянникова под местной анестезией. И если за время операции у жены не разорвалось сердце, так, паверное, потому только, что она нужна детям.

Овсянникова положили в отдельную палату с окном в сад. Сделав еще одну операцию — на этот раз двенадцатилетнему мальчику, — хирург пришел навестить его. В каких-то белых полотняных штанах, в белых носках, как у покойника, в белой шапочке и халате с застиранным пятном крови, который надет был прямо на нижнюю рубашку, причем одной завязки у халата не хватало и на спине его закололи иголкой от шприца, с худым лицом, он не производил внушительного впечатления. И вот он делал операцию... Жена оглядела всю эту его одежду почти презрительно, но одновременно уже с подобострастием и заискивающе.

— Ну, как мы себя чувствуем? — спросил хирург, присев на край кровати и подворачивая полу халата под колено.

— Скажите, доктор, это действительно был аппендицит? — спросил Овсянников, пристально, своим просвечивающим взглядом глядя ему в глаза.

— Конечно, аппендицит, а что же это еще могло быть? — бодреньkim, каким-то тонким голосом, при этом фальшиво хихикая, тут же заговорила жена, сидевшая в изголовье, делая доктору страшные глаза и знаки, смысла которых ни он, ни она сама хорошенко не понимали.

— У вас был заслуженный аппендицит, — сказал хирург. — С солидным стажем. В сущности, у вас там сидела бомба замедленного действия, и часовой механизм ее был уже на исходе. Вот мы ее и удалили.

Услышав все эти страшные вещи, жена, вместо того чтобы испугаться, успокоилась. Ей теперь понятней стало, когда она услышала, что у мужа ее был не простой аппендицит, а особенный. Это примирило ее даже с молодостью хирурга: он молод, но, очевидно, очень талантлив.

Прослезившись, она ваткой смочила Овсянникову сохущие губы: после операции ему еще нельзя было пить. Но он отстранил ее руку нетерпеливо.

Он еще не мог осознать произшедшее. Мысленно он настолько смылся с тем, что скоро его не будет, что ему не просто было теперь вернуться в жизнь. Возвращение было связано с неким стыдом. Словно он принес себя людям в жертву, но жертва эта не только не была принята, но оказалась никому не нужной.

Если сказанное хирургом — правда, он лишался высшего права, которым обладал, и нравственная почва под его ногами начинала колебаться. Ему надо было разобраться в этом, осознать что-то очень существенное.

Хирург откинул одеяло, осмотрел наклейку на ране и уходя дал распоряжение сестре принести пузырь со льдом. Она вскоре принесла и, устраивая его на животе, сообщила, что внизу ждет следователь Никонов, просит его принять. Овсянникова, следивший за ней глазами, нахмурился. С Никоновым было связано как раз то, что предстояло еще обдумать. И он приказал никого к нему непускать.

Никонов вышел, не зная куда деваться. Он шел к прокурору сказать то, что понял на суде, исправить, если не поздно, совершившееся. И вдруг узнал, что Овсянникова увезли в больницу. Ему показалось неудобным не зайти. И вот зашел...

Овсянникова хоть операция оправдывала, как оправдывает человека перенесенное страдание. А что оправдывало его?

Люди в городе занимались своими вечерними делами в домах и на своих участках. Когда он проходил, судья Сарычев в старых брюках, в правленных в носки, в тапочках, в шелковой сетке, сплюнувшись на его смуглому животе, уже перевесившимся через брючный ремень, стоял у себя на огороде, держа в руках шланг. Стучал насос, и вода толчками выбивалась из шланга.

Как же так получилось, что все они, не злые люди, принесли в жертву такого же, как они, человека по фамилии Карпухин? Ведь завтра это же может случиться и с ним, с Никоновым. Не будет его, и вот так же ничего не изменится, и люди ветером выйдут поливать свои огороды... Мысль эта казалась ему непереносимой. Ведь так нельзя жить! И чему в жертву? Они сами, если спросить их, не знают, кому нужна такая жертва? Кому от этого

может стать лучше? Но в то же время они не сомневались, что так надо.

И самый виповатый из них, как он думал, был он. Потому что он понимал уже, он знал, чувствовал и тем не менее дал себя уговорить. Сам себя обхекал по кривой.

Он шел по городу со своей маленькой бедой, и ему казалось, что ему сейчас хуже всех. Он тоже не знал, как теперь жить.

А вечер садился на поля, закатным умиротворяющим светом пронизан был воздух. И среди полей, вся в извиах, медленно текла речка. Зеленая вода ее в этот час была особенно теплой, и голые ребятишки, визжа от счастья, плескались в ней. И склоненная трава на лугу вновь отрастала.

1965

ДРУЗЬЯ

Роман

Э. Баклановой

ГЛАВА I

Среди многих известий, облетавших в это утро Землю нашу со скоростью света, звука, сверхзвуковых самолетов, было известие местного значения. Его привезла на велосипеде почтальон Клава. Она ехала по деревне, нажимая на педали красными босоножками. У магазина прилонила велосипед к крыльцу, повесила сумку на руль. Еще с вечера шепнула ей продавщица: мол, заходи, резиновые сапожки привезли.

Хотелось Клаве, копечно, лиловые, с перламутровым блеском. Красные тоже неплохо: под зеленое демисезонное пальто. Белые, на худой конец: посверкать в темноте, хоть уже и не по возрасту вроде бы. А привезли одни желтые. Куда их? К чему? Она и в руках подержала и на ноге поглядела, но взять не решилась. При ней завернули их в папиресную бумагу, положили обратно в коробку: кто-то другой будет носить.

Медведевы вставали из-за стола, когда с улицы раздался Клавин голос:

— Эй, дачники-и!

Застегивая рубашку на груди, Андрей вышел во двор, отогнал хозяйственную собаку, рвавшуюся с цепи. Клава, поставив ногу на раму велосипеда, вытягивала из сумки телеграфный бланк.

Фиолетовыми, с зеленым отливом чернилами было написано в телеграмме, что к двенадцати часам Медведева и Анохина ждет у себя товарищ Бородин.

Андрей глянул на часы. Времени в обрез. Судя по цифрам, проставленным на бланке, телеграмма была отправлена и получена еще вчера.

— Сын! — крикнул Андрей.

На крыльце выскочил Митя, вытирая губы: парное молоко допивал.

— Беги, сын, к дяде Виктору, скажи — нас обоих вызывают в город. Срочно!

— Им тоже такая телеграмма, — сказала Клава.

— Отставить, сын!

В высоком небе, никого уже не поражая, проносились где-то невидимые спутники, и ширина Атлантического океана измерялась для них минутами полета. За десять часов пассажирский самолет со всеми удобствами переносил людей из Москвы в Нью-Йорк. Но здесь расстояния все так же измерялись не временем, а километрами. И телеграммы — и простые и «молнии» — доставляли раз в сутки. Летом на велосипеде, зимой пешком по снегу Клавиними ногами, обутыми в чесанки.

— Спасибо, Клава, — сказал Андрей, расписываясь в разносной книге у нее на колене. — Вот если повестка будет мне на тот свет, как бы это ее через вашу почтупустить?

— До ста лет жить хочешь? — Клава сверкнула стальным зубом, по больше так, по привычке: что зря время тратить с женатым человеком.

А на крыльце уже вся семья вышла: и Аня («Здравствуйте, Клава») и Машенька; на нее Клава всякий раз глядела как-то по-особенному.

Сумку за спину, села Клава на велосипед и покатила по улице в сatinовых шароварах.

Четыре года назад, когда Медведевы впервые сняли в этой деревне полдома на лето, Клава только замуж вышла. Муж был моложе ее, недавно из армии вернулся. А прошлой осенью Клава овдовела. Шли они из соседней деревни со свадьбы, дорогой поссорились. Домой Клава пришла одна. До утра проревела, но искать мужа не пошла: характер не позволил.

Нашли его под проводами линии передач; один провод, оборванный, лежал на земле. Как уж так получилось, как совпало, что в широком поле именно на этот провод наступил он в темноте?.. А парень был хороший, непьющий. Теперь бегает по деревне трехлетний человек с зачерствелыми пятками, точная отцовская копия. И войны нет, и сын без отца.

Аня прочла телеграмму.

— Что это может быть?

Дочка не читала телеграммы, но поняла главное:

— Купаться не пойдем, да?

Снизу вверх она смотрела на отца. Хорошо, когда есть в доме вот такое маленькое, говорит тебе «ты» и смотрит на тебя родными глазами.

— А вот вернусь из города, пойдем. Вечером вода теплая...

Здесь же, на крыльце, Аня сливала ему из ковшика.

— И все-таки зачем вызывают?

— Вообще-го отказывать есть помельче.— Андрей отфыркивался под холодной струей, глаза от мыла зажмурены.— К мэру нашему, к Бородину, зовут утверждать, одобрять, вручать. «Пощерять», как говорил наш старшина.

— Нервов твоих мне жалко.

У Ани еще не разогрелся утюг, когда пришли Анохины — Виктор и Зина. И с ними — Мила в шляпке с широкими полями.

— Стариk дает! — говорил Виктор, шелестя телеграфным бланком и возбужденно помаргивая за стеклами очков.— Тебе телеграмма — «Немировский». Мне телеграмма — «Немировский». Ты что вообще думаешь на этот счет?

Андрей переодевался за дверцей шкафа.

— Витя, что нам думать заранее? Мы пред господом богом, как пред нашим комбатом, чисты. Или в стихах это наоборот?

— Вот именно!

— Я так волнуюсь, так волнуюсь...

Это уже Зина.

— Зиночка, извини, я тут несколько без галстука...

Дверца шкафа качнулась, дважды в наружном зеркале качнулась комната, сначала в одну сторону проехала, потом обратно. И Зина увидела себя в зеркале всю, с красными пятнами на шее.

— Просто я сама не знаю, как я волнуюсь,— говорила она, поглаживая пятна.— Главное, мне вчера такой сон приснился...

В просвете между дверцей шкафа и полом переступали ноги Андрея в брюках.

— Бриться или не бриться? — спросил он. Складки брюк поддернулись вместе и встали остро.

— Дома побреешься,— сказала Аня, тронув зашипевший утюг.— Все равно белая рубашка там.

— Но я же рассказываю!

— Извини, Зиночка.

— Понимаете, как будто мы идем по лесу... Там такая трава, высокая-высокая, холодная-холодная. Ужасно какая холодная. И вдруг чувствую, что-то трогает меня... Людмила, выйди, — сказала она дочери строго.

Мила, оформившаяся четырнадцатилетняя девочка ростом с мать, вздохнула, заведя глаза (мол, с нашей матерью не соскучишься), и вышла.

— ...Вы представляете, трогает меня за грудь. Холодное такое и мерзкое. Даже вспомнить гадко!

— А где Виктор был в это время? — спросил Андрей.

— Да, где я был?

— Отпускаешь одну во сне...

— А он, между прочим, всегда так. Я кричу: «Виктор! Виктор!» Хочу бежать, а ноги отнялись. Ужасная глупость, конечно... — Зина засмеялась, застыдясь, как девочка. — Я лично снам не верю...

— Ключи взял? Деньги? — спрашивала Аня, подавая за шкаф поглаженную рубашку. Она обычно с трудом переносила Зину кокетство и вообще «Зину в больших количествах».

Одетый, Андрей чмокнул дочку, Аню. Сына потрепал по шее. Дети увязались было провожать, но до станции три километра, до поезда — тридцать пять минут.

— Вы там смотрите, держите высоко! — что-то ей самой неясное желая сказать и чего-то стыдясь, кричала Зина, и смеялась, и оглядывалась.

— Мы выйдем помахать вам! — крикнула вслед Аня.

Через полчаса, гудком оглашав окрестности, промчался внизу поезд. Зина с дочерью, Аня с детьми стояли на высоком песчаном откосе под сосной. Женщины махали вслед, дети прыгали и кричали.

Не война, не на фронт провожают мужчин, но когда замелькали внизу крыши вагонов и гудок раздался, у Ани словно предчувствием дальним сжало сердце. И беспокойно вдруг стало.

ГЛАВА II

В вагон идти не хотелось. Стояли в тамбуре, курили. В подошвы ботинок стучали колеса. В открытую дверь толкался ветер, вышибал искры из сигарет.

— Ты видел пометку на телеграмме? — Виктор смотрел на него.

— «Ночью не вручать»? Ну тут хоть бы и вручать, Клава раз в сутки возит.

— Пометка знаменательная.— Виктор значительно помолчал.

Что знаменательная, Андрей и сам понял. За сорок лет жизни никто еще не заботился о том, вручат ли ему телеграмму утром, днем, ночью. Этим жестом их обоих отнесли к разряду людей, чей покой ценим и оберегаем. Но Андрей знал по опыту и другое: в жизни никакие блага не раздают задаром. И не все, что дают, надо хватать.

— Как думаешь, с чем встретит старик? — спросил Виктор.

— Черт его знает, мне кажется, собирались нас с тобою ласкать.

— Думаешь?

— А чего бы так вдруг? Проект наш утвержден.

— Знаешь, мне — тоже,— сказал Виктор.— Может, очень хотим, оттого?

— Тут и хочешь и боишься. Путь от проекта до воплощения — это путь потерь. Вот чего не хочется.

А что, собственно, может случиться, если не быть суеверным? Конечно, заранее лучше не загадывать, но ведь действительно утвержден проект микрорайона, который они с Виктором будут строить. И не где-либо строить, а на самом въезде в город с аэродрома. Первое, что увидят люди, въезжая. Неужели что-нибудь стряслось?

— Да-а... Приедем, а нам как раз по затылку...— сказал Виктор на всякий случай.

Влетели на мост, полный ветра и грохота. Глаза сами щурились от встречного мелькания перекрещенных красных металлических конструкций; все они были в крупных заклепках. Паровоз загудел, гулко отдалось, как в железной бочке.

Внизу сквозь мелькающие шпалы — черная река, плоскодонка в неподвижной воде у берега, в ней горбится рыбак.

Андрей еще мальчишкой был, и вот так же горбился рыбак в тени берега, и такой же па нем был прорезиненный плащ. Может, он вечно сидит под мостом, а над ним проносятся и поезда и времена?

Сорванный ветром клок белого пара остался таять над черной водой, а поезд вырвался из мелькания и железногого грохота, и неподвижными па миг показались поля. Они

медленно поворачивались, телеграфные провода над ними взлетали и падали, взлетали и падали.

У переезда перед опущенным шлагбаумом стоял пыльный грузовик. За стеклом кабины смутно угадывалась женщина с младенцем на руках. А на подводе высоко на мешках блестела загорелыми ногами подводчица в белой косынке.

И это тоже мелькнуло.

Поезд пошел по дуге, показывая все подряд спешащие за паровозом вагоны с пассажирами в окнах. Из одного окна плеснули воду, ярко блестела зеленая краска другого вагона.

А уже вдали из равнины полей, из нагретого дрожащего воздуха возникал распластанный город: серый элеватор, трубы ТЭЦ и химзавода — все это неясно, в бензиновой дымке. Стеклышиком, попавшим на солнце, блеснули подновленные главы монастыря. Поезд прибавил скорость, загудел.

Из всего понастроенного за многие годы, что теснило друг друга, заслоня силуэты, по-прежнему был виден издалека монастырь. Умели архитекторы прошлого выбрать место, знали толк, и был глаз.

На вокзальной площади стелили асфальт, как всегда летом. Грохочущее стадо машин двигалось взад-вперед в сизом чаду. Подъезжали самосвалы, опрокидывали из кузовов черные кучи горячей, маслянисто-рассыпчатой массы. Что-то кричали шоферы, но голоса их глохли в реве моторов.

И на всех механизмах, на катках, на машинах сидели за рулем мужчины. А женщины, повязанные по брови косынками, закопченные и загорелые, в пудовых башмаках, таскали на лопатах асфальт.

Отвесно жгло полуденное солнце, жаром дышала площадь, жар шел от железа, от перегревшихся моторов, от блестящих коричневым соляровым маслом огромных катков.

Оттесненные к краю пассажиры, с поезда попавшие в эту пышущую духовку, сутились под стеной с чемоданами в руках, боясь сступить с тротуара; чей-то след уже отпечатался в свежем асфальте. От грохота лица у людей были напряженные.

Заметив такси на стоянке, Андрей и Виктор кинулись к нему, сели на проваленное заднее сиденье, сказали адрес.

В машине условились, как действовать дальше, и Андрей первым вылез у своего дома.

За короткий срок все в квартире приняло пыльный холостяцкий вид. Голые, без штор окна, прикопленные к рамам, желтые от солнца газеты.

Прежде всего Андрей позвонил главному архитектору города, руководителю их архитектурной мастерской Немировскому. Знакомый, с генеральскими нотками бас в трубке — Полина Николаевна, секретарша!

— Андрей Михалыч? Минутку...

Пока докладывалось, пока подымалась другая трубка, Андрей, чтобы времени зря не терять, начал раздеваться. Перенося трубку от уха к уху, стряхнул с себя оба рукава рубашки.

Однажды был у него телефонный разговор, один из тех разговоров, которыми определяется многое, и тут вдруг подошла Машенька — ей года два было тогда, не больше, — подошла и ясным звучным голоском (хорошо, он трубку успел прикрыть вовремя) сообщила о своем сокровенном желании. В доме только они двое, разговор прервать нельзя. Жестами показывал он дочке, куда пойти, что принести. Усадив ее рядом с собой на горшок, погладил по головке, а важный разговор с важным лицом все длился. Потом Машенька радостно сообщила: «Я уже...» Это хорошо, что в их городе нет видеотелефона, техника пощадила их.

— Андрей Михайлович? Признаться, я уже беспокоиться начал: вдруг не пожелаете отпуск прервать...

После генеральского баса Полины Николаевны голос Немировского был несколько тонковат, требовалось время, чтобы ухо привыкло. Но слышалась в нем общая обремененность многими делами и заботами. Андрей разговаривал и видел Немировского: белоснежная рубашка, узко завязанный галстук, длинная кисть руки поигрывает карандашом, вальяжная поза.

— Как только получили вашу телеграмму, Александр Леонидович, в тот же самый миг...

В одних трусах, босиком он топтался на теплом от солнца, пыльном паркете. Немировский вводил его в курс дела:

— Ну что же, общие контуры прорисовываются довольно благоприятные. Сам факт, что мэр хочет видеть вас, сам этот факт надо рассматривать как одобрение.

«Мэр», оттенок легкой иронии — все это новые времена. О чем прежде говорилось с трепетом, теперь — с легкой иронией, с гарниром вольности. Иначе выглядит неприлично: не может же современный просвещенный человек серьезно говорить о том, о чем нельзя говорить без юмора.

Но в общем, кажется, произошло именно то, что он и предполагал. Где-то наверху, на какой-то стадии — где и в связи с чем, пока не вполне ясно, хоть Немировский и делает вид, — решено придать их проекту микрорайона большее значение и вес.

— ...Впрочем, я все расскажу по дороге. Полина Николаевна высыпает за вами машину.

Предстояло еще выслушать маршрут. Это была известная слабость Немировского: всем всегда он объяснял, каким транспортом проехать, где лучше сделать пересадку, где перейти. И многие, чтобы сделать приятное Немировскому, спрашивали у него, как проехать или пройти.

— ...следовательно, Анохин подхватит вас по дороге, и вместе заедете за мной. Но езжайте не по улице Гастелло — там сейчас в очередной раз перекрыто,— а по Солица Свободы и там через Всехсвятский...

Андрей переступал босыми ногами, ждал. Сейчас должна последовать шутка: «И не забудьте помыть шею!» Он сразу же громко захохотал: шумное одобрение — лучший способ закончить разговор. Это как раз та нота.

От телефона — бегом в ванную. Из душа обрушилась на голову холодная, теплая и наконец горячая вода. Стоя в пенных потоках, крепко зажмурясь и растираясь, Андрей пел что-то нечленораздельное. Бетонный потолок глухо резонировал. Ванная наполнялась паром.

Он выскочил значительно посветлевший. Бреяясь, соображал: где запонки? где галстук? Когда затягивал узел на горле, со двора раздался гудок автомобиля: Виктор уже ждал.

В лифте, надевая пиджак, оглядел себя в зеркале. Мелькали вверх зарешеченные двери на площадках этажей. Андрей промакнул ладонью свежий порез на подбородке. А каким-то другим зрением, словно со стороны, видел все происходящее; и себя, и весь этот помчавшийся день, и суету, в которой он участвовал.

Черная «Волга» стояла у подъезда. Виктор похаживал около нее с сигаретой, хмурился, пробуя строгий взгляд

и выражение лица. Он тоже был в сером костюме и белой нейлоновой рубашке.

— Слушай, мы с тобой, как двое в штатском,— рассмеялся Андрей.

Виктор молча указал глазами на женщину с кошелками в руках. Остановясь, она смотрела, как они садятся в черную «Волгу».

Едва сели, машина тронулась с места; мотор мягко работал. Он был на пять лошадиных сил мощнее обычного. Но не столько даже эта скрытая под капотом мощь мотора, как внешние знаки отличия — несколько лишних никелевых пластин, укрепленных снаружи, и желтые фары — определяли принадлежность этой «Волги» к тому разряду машин, в которых ездят ответственные служащие и еще «Интурист» провозит по центральным улицам города иностранцев, взирающих из-за стекол.

Сидя в этой машине, Андрей испытал новое для себя приятное ощущение, словно он вдруг стал значительней в собственных глазах. Звучало радио, включенное едва слышно, позади их затылков — белые присборенные шелковые занавески, матовый свет сквозь них.

Поставив подошвы ботинок на вычищенные, выбитые серые коврики, они мчались по городу вместе с тихо звучащей музыкой и сигаретным облачком под плафоном — отдельный микромирок.

Причесанный с водою, так, что в редких светлых волосах над розовой кожей остались следы расчески, немолодой шофер глянул в зеркальце, дрожавшее впереди, увидел, как Андрей стряхивает пепел в спичечную коробку, и, заведя руку назад, открыл пепельницу в спинке сиденья:

— Курите.

Навстречу неслась бульжная мостовая, рессоры поглощали толчки, сдержанно рокотало под машиной.

Телеги с медленно поворачивающимися колесами, лошади, афишные тумбы на тротуарах, прохожие, скапливающиеся у магазинов,— все это мелькало и проносилось мимо.

Придышившимся к городу легким уже и воздух казался свежим, обдувало ветерком, холодило непросохшие волосы. На мосту, по асфальту, как по воздуху, машина пошла неслышно.

Немировский ждал их у подъезда, прогуливаясь с папочкой в тени старых лил. Он отпустил шофера, сказав,

чтобы тот подхватил их «напротив бывшей булочной Филиппова, где в прошлом году самосвал без водителя сбил фонарный столб».

— Ну? — сказал он, когда машина отъехала, а Медведев и Анохин стояли перед ним на тротуаре и он оглядывал их, как бог свое удачное творение.— Я бы, тьфу, тьфу, поздравил вас, но нет более суеверных людей, чем архитекторы и кинематографисты. Покойный Сергей Эйзенштейн никогда заранее не назначал натурную съемку. Его спрашивают, бывало: «Можно давать команду?» — «Да нет, все равно погоды не будет. Ну, выезжайте так просто». И на съемочную площадку приезжал, как будто посмотреть зашел. Все с ним хитрил.— Немировский указал на небо.— А потом отснимет и показывает пальцем: «Обманул...»

У Немировского была и эта слабость: о знаменитых современниках он рассказывал как о своих личных знакомых. Но только люди бестактные или подобострастные сверх разума могли спросить: «А вы были знакомы с Эйзенштейном?»

— Так что пока не буду вас поздравлять, на всякий случай воздержусь.

Расправив плечи, они шли по левую и по правую руку, а посреди Немировский свободно нес свой светло-кофейный костюм современной грубой выделки.

Еще не так давно в их городе особенно ценился габардин, бостон, тяжелое дорогое трико. Все это, фундаментальное, неизносное, как бы венчало определенный этап жизни. Теперь эти вещи наполняли комиссионные магазины, как гардеробы костюмерных. Новый стиль, всемирная демократизация одежды требовали, чтобы шерстяная ткань выглядела как мешковина, и особый шик, высшую элегантность давало костюму то, что он «удобен для работы». Даже вещь, достать которую удалось ценовою унижений и просьб, носить следовало небрежно, дескать, не мы для вещей, вещи для нас.

— Ну что, признавайтесь, ругали меня не раз?

— Что вы, Александр Леонидович!

— Ругали, ругали. И чертихали. Надеюсь, только в душе. Чтобы мысль проросла, для нее должна быть подготовлена почва. Удобрена и взрыхлена. Вот этим я и занимался, пока вы, пардон, ругали меня.

Старик немного актерствовал. Надо было дать ему произнести трехминутную речь.

— Голая идея нежизнеспособна. Она должна являться в мир в одежде из слов. Человек рождается голеньkim, но его ждут любящие родители. Идеи никто не ждет. Но если есть кто вовремя скажет нужные слова...

Немировский кивнул на ходу, полагая, что отвечает на поклон, и проходившая мимо женщина удивленно посмотрела на него.

— Потомки узнают, если современники признают. Теперь так: будут вопросы. Хорош ответ тот, которым вы одновременно отвечаете и на непоставленный вопрос. Многие вопросы не будут вам заданы в силу простой некомпетентности, в силу тысячи причин. Ответьте на них, если они представлят вас с выгодной стороны. Но этого мало. Вы должны сделать подарок своим слушателям. Какой? Очень просто: несколько живых примеров, несколько удачных фраз, чтоб их потом использовали в выступлениях. И помните: впечатление, которое вы произведете сейчас, останется. Так кто будет давать пояснения?

Андрей заметил, каким напряженным вдруг стало лицо Виктора.

— Виктор Петрович пускай,— сказал Андрей.

И с удивлением увидел, что и старика этот вариант устраивает. Он знал — Немировский больше отличает его; с Витькой отношения официальней. А вот сейчас обрадовался, что докладывать будет Виктор, явно этого хотел.

Они были уже возле машины.

— Ну, бог не выдаст, свинья не съест. Я вас введу!

И Немировский полез в открытую для него дверцу. С папкой на коленях, он распрямился на переднем сиденье, лицо приняло то обычное выражение, с каким он ехал по городу: немного грустное (веселы в жизни только глупцы), немного усталое. Думающее выражение человека, обремененного многими заботами.

Ехать оставалось всего метров четыреста. Не ехать — подкатить. Но это следовало проделать с должной торжественностью.

ГЛАВА III

И это было проделано. Черная сверкающая «Волга» описала по площади широкую дугу и стала у подножия ступеней. Из распахнувшихся на обе стороны задних дверц, жмурясь от яркого солнца, вылезли Андрей и

Виктор, вылезли так, будто всякий день вылезали здесь из машины.

На виду окон они расправляли плечи, застегивали пиджаки, оглядывались особым, поверх голов, взглядом.

Открылась передняя дверца, ища опоры носком ботинка, высунулась нога Немировского, белая и худая из задравшейся штанины. Нога бывшего теннисиста.

Асфальт у подъезда, мягкий на жаре, весь до каменных ступеней был истыкан каблуками — шпильками многочисленных секретарш. Как стадо козочек, пробежали они утром на работу и теперь на всех шести этажах стрекотали на пишущих машинках, разговаривали по телефонам и между собой.

Немировский вылез, расправился, глянул на ступени вверх. Впервые они возникли на ватмане под его рукой. А потом десятки каменщиков зимой в мороз и летом в жару, оседлав каменные плиты, тесали их зубилами и молотками. Многие люди с тех пор взошли по этим ступеням вверх, многие сошли бесследно.

От колонн Немировский глянул на площадь. «Волга» отъезжала, пятясь осторожно, становилась в ряд. В желтые фары ее на миг попало солнце, они сверкнули, как прожектора.

И эта площадь тоже впервые возникла у него на ватмане. Здесь были прежде торговые ряды — кто теперь их помнит? Полита дождями и мочой, жирная от навоза, перемешанная конскими, бычьими, коровыми копытами земля. А горком и горисполком помещались тогда в красном кирпичном здании бывшего Благородного дворянского собрания. Туда и принес Немировский ватманы и макет.

В замысле здание было иным. Оно должно было стоять на одном из пяти холмов города, как раз против главной улицы, на ее оси. Низкий цоколь из дикого, необработанного камня, неасфальтированные подъезды — каменные плиты и проросшая меж плитами трава, — несколько валунов на травянистом склоне. Здание естественно вырастало из природы, оставаясь частью ее. Уже тогда он видел то, что было бы современно сегодня, что смотрелось бы сейчас.

С правой стороны (а если глядеть с холма, то слева), среди дубов и кленов, желтых осенью, он поставил бы в парке драматический театр. А по другую сторону — тоже в парке — памятник героям революции. Вечерами — направленный свет прожекторов. Это мог быть красивейший

ансамбль, это была бы его Тамань: «Написать «Тамань» и умереть...»

Он был тогда моложе на тридцать с лишним лет, он принес свои ватманы и развернул на зеленом сукне, как разворачивают дитя из пеленок. И предстало его дитя голым на всеобщее обозрение.

Он еще не знал, что люди редко видят вещи своими глазами. Но господствующее представление охотно делают своим. И потому необходимо, чтобы мнение было подготовлено, чтобы прежде услышали о том, что предстоит увидеть. И даже те слова, которые скажут в итоге, должны быть умело подсказаны.

А он развесил ватманы, поставил макет на сукно и отступил, немой от волнения. И ждал. Потом, когда уже было поздно, он что-то жалко лепетал о законах архитектуры... Что законы архитектуры, когда, казалось, законы природы переделывались, чтобы утвердить над всем величие и власть человека.

И срыли холм. Тогда еще не было бульдозеров, не было экскаваторов. Его срыли лопатами, увезли на телегах. А позже возникли эти ступени.

Впрочем, Александр Леонидович не раз потом думал с удивлением, что хотя люди, разглядывавшие тогда его проект, в законах архитектуры разбирались слабо, что-то другое понимали лучше него. И здание, которое в конце концов воздвиглось и стало прочно, несло в себе идею и утверждало ее. Со временем он привык даже гордиться: это построил я.

И вот по этим ступеням, которые впервые возникли на ватмане под его рукой, он вел вверх Анохина и Медведева, все нужные слова сказав наперед, все сделав, оговорив и предварив.

ГЛАВА IV

Их ждали. Едва они вошли в приемную, предводительствуемые Немировским, помощник поднялся навстречу:

— Ждут. Уже ждут.

С достоинством и радушием он лично и в своем лице приветствовал их.

— Владимир Никифорович? — тихо спросил Немировский, глазами указав на дверь.

Помощник кивнул вполне утвердительно. Это означало, что заместитель председателя Митрошин там и настроен в их пользу.

В левой руке Немировский держал папку, а правая, когда он входил в учреждение на соответствующие этажи, была свободна для рукопожатий. И теперь он подал ее помощнику. Тот покал сердечно. Выпущенные белые манжеты, белый воротничок, галстук в косую полоску, заколка с цепочкой, склоненный к плечу седоватый зачес.

— Здравствуйте, Виктор Петрович! Здравствуйте, Андрей Михайлович! — с должным почтением, но и себя не роняя, говорил помощник и ответно пожимал руки и ласково взглядывал в лица.

Все, кто ждал в приемной и теперь обречен был ждать долго, тоже встали и отчего-то улыбались.

Даже прожив две недели отпуска в деревне, Андрей и Виктор все еще выглядели там белыми, незагорелыми горожанами. Но здесь они стояли бронзовые от солнца и воздуха. И все смотрели на них. А на столе помощника лежала спятая телефонная трубка, в ней попискивал измененный мембраной голос, но никто не обращал внимания. Вот этот царапающийся в трубке человеческий голос мешал Андрею в момент торжества. Но он стоял со всеми, улыбался, как все.

Зазвонил другой телефон. Со спокойной улыбкой доброжелательства помощник продолжал разговаривать с ними.

— Дятчин? — спросил Немировский доверительно.

С некоторой грустью, что Дятчин там, помощник прикрыл свои зоркие глаза, но в целом лицо его выражало, что хотя он и там, Дятчин, но мы же с вами знаем: сейчас это никакой роли не играет.

Информация, полученная вместе с рукопожатием, была исчерпывающей. Но еще важнее было то, что помощник счел нужным информировать, лично спешил присоединиться к царившему настроению. Значит, в те несколько часов, пока Немировский не держал руку на пульсе событий, ничто не изменилось.

Сделав три шага, словно три раза скакнув, помощник распахнул дверь и вытянулся около нее. Правая его укороченная нога только носком доставала до пола, от этого казалось, что он привстал на цыпочки.

И когда уже проходили мимо, помощник тихо, не для всех и не для разглашения, проинформировал:

— Должен подъехать Игорь Федорович. Большой души человек!

Игорь Федорович Смолеев, уже с полгода первый секретарь горкома, был человек в их городе новый. Если бы Андрей был настроен на ту особую волну служебных отношений, где столько своих тонкостей, сложностей и подводных камней, где ни одно слово зря не говорится, он бы уловил главное, что было понятно этим двум пожившим и послужившим на своем веку людям, из которых один сказал, другой понял, оценил и, чтобы уж не ошибиться, в глаза взглянул. Но Андрея вот это с жаром и поспешностью сказанное «большой души человек» покоробило. Никогда он не понимал радостной готовности к самоуничижению. А ведь немолод уже и на фронте был, наверное: нога-то перебитая.

Но Виктор, хоть и не подал виду, оценил услышанное. Докладывать в присутствии обоих руководителей города — это открывало свои возможности. Такие возможности выпадают не часто.

Помощник притворил за ними дверь в темноту между-дверного пространства — шкафа, — глушившего голоса и звуки. А следующая дверь была в кабинет.

И они уже не видели, как помощник кинулся к телефону: «Приемная!» — схватил трубку со стола: «Минутку!» И, управляясь с двумя телефонами сразу, еще и народу в приемной успевал показать: мол, теперь ждите, не нам с вами чета.

Те и сами усаживались надолго вдоль стен: да-а, не чета... Это успех прошел перед ними, а успех не ждет в очередях, перед ним сами растворяются двери. Он и разглядеть себя не дал хорошенько, мелькнул, оставив в приемной улыбки и тягучие уважительные размышления. И не последней была тут мысль, что подождать можно, чего не подождать, лишь бы потом войти к начальству под хорошее настроение.

По той невидимой дорожке, что сегодня сама раскатывалась перед ними и вела, вступили они в кабинет. И хоть разителен был свет после темноты, они увидели сразу, что все собрались вокруг их макета, установленного на отдельном столе. Сам Бородин с указкою в руке объяснял. Он положил указку, двинулся навстречу, несколько расставляя ноги: был он тучен.

Завесы солнечного света от широких окон делили кабинет пополам, и он шел, первым пересекая их, голая бритая голова его блестела, то на яркое солнце попадая, то в тень.

— Который же из вас Медведев? Который Анохин? — спрашивал он, оглядывая обоих. И поздоровался с Немировским; с папкою в руке тот имел при нем вид дисциплинированного служащего.

То, что они понравятся, можно было ожидать заранее. Они понравились бы сейчас, будь даже оба косые, кривые или заумные. И это бы простилось. Но перед Бородиным плечо в плечо стояли два рослых человека, таких нигде не стыдно показать. И он, довольный, оглядывал их. А они, как в армии перед высоким начальством, расправив груди, безошибочно выставляли то, что нравилось: хорошую выпрямку и скромное сознание своего места. И даже некоторую свою одинаковость.

— Жены вас не путают?

Бородин победно оглянулся на своих подчиненных. Все заулыбались.

— Не обижаетесь, что прервали ваш отпуск?

— Что вы, что вы, Алексей Филиппович! Как только получили телеграмму...

— Зря беспокоить людей не годится, а для дела... Дело превыше нас всех. Оно не ждет.

Бородин пожимал им руки своей мясистой рукой, внимательно всматривался в лица. Не только хорошей выпрямкой радовали они, было еще в обоих то, что особо приятно глазу. Никаким другим словом это не определишь как только словом «наши». А много в том слове. Оно еще должно было открывать перед ними закрытые двери.

— Мы тут посоветовались предварительно,— говорил Бородин, пока остальные в очередь пожимали им руки. Он озабоченно взглянул на часы, и наморщилось над бровями, где раньше был лоб; теперь обширный глянцевый лоб простирался до самого затылка.— Так кто, товарищ Немировский, доложит нам? Вы или доверим одному из авторов?

— Пусть уж авторы,— поощрил Немировский, используя предоставленную ему свободу действий именно так, как ожидалось.

И все испытали привычное удовольствие от этой несуетливой, но так сразу хорошо пошедшей игры, где каждый знал свою роль.

— Вот Андрей Михайлович. Или Виктор Петрович?
— Виктор Петрович,— сказал Андрей.

Все опять окружили макет: белые крошечные здания среди крошечных сосен, такие красивые, какими они бывают только на макете.

— Я думаю, правильней будет начать с основных идей, положенных в основу,— предварил Немировский.— Ведь, в сущности, ни один род искусства не несет в себе идею настолько, насколько несет ее в себе архитектура. Я бы даже сказал, вне идеи архитектуры вообще не существует.

Все кивали, слушая привычные слова в привычном порядке, и на лицах было строгое выражение.

— Это не абстрактные идеи, а непременно идеи своего общества.

— Добро! — сказал Бородин и из своих рук передал указку Анохину.

Для него все происходившее не было ни игрой, ни даже неким необязательным вступлением. Там, где касалось порядка, не могло быть необязательного. Каждый камень держит здание, ни один не должен шататься. И не было зрелища радостней для его глаза, как видеть порядок во всем: и в целом и в частностях. Порядок и незыблемость.

Виктор взял в руки указку, выдвинулся в центр.

— О чём мы думали, когда приступали к работе,— сказал он несколько театрально, от волнения.— Есть один, если так можно выразиться, принципиально важный вопрос: земля. Ее у нас, как известно, не покупают и не продают. Но иногда некоторые отдельные товарищи не совсем правильно пользуются теми благами, которые государство так щедро предоставило нам.

Все одобрительно слушали. Только очки Дятчина блестели настороженно. Даже когда Немировский, человек, многократно заслуживший доверие, говорил об идейности архитектуры, даже тогда Дятчин слушал настороженно. Он не высказал неодобрения, он присутствовал, но присутствовал так, что права ссыльаться на себя никому не давал.

Менялась обстановка, менялись люди. Дятчин был всегда. И всегда — зам. Даже когда его как бы уже и не было, вот как сейчас, он все равно был и слушал настороженно. Из-за голов и спин блестели его очки, в их тол-

стых стеклах свет слоился кругами, а центры этих кругов — два зрачка, глядевших слепо.

— Под строительство,— продолжал Виктор,— стараются получить земли, которые не требуют дополнительных затрат. А это всегда, как ни печально, лучшие пахотные земли. Если мы проанализируем рост отдельных городов, мы увидим, что они ползут в сторону пахотных земель. К тому же участки отводятся неоправданно большие. Отмечено желание отдельных товариществ прихватить с запасом.

Тут ветерком прошелестело веселое оживление. Неназванные «отдельные товарищи» — это были их соседи. Про соседнюю с ними область недавно писала в этой связи центральная пресса. Кому ж не приятно услышать правду про соседа?

Но то, что позволительно подчиненным, не могло быть прилично Бородину. И он сказал самокритично и строго:

— Не умеем, не умеем другой раз ценить, что нам дано. Не умеем ценить, не умеем по-хозяйски пользоваться.

Вот тут-то в образовавшейся паузе Андрей и сказал одну из тех цифр, которые они с Виктором приберегали про запас как главные аргументы:

— В целом по стране за один прошлый год ушло под строительство больше трехсот тысяч гектаров пахотных земель.

Сказал и почувствовал: не было услышано. Словно вдруг возникла вокруг него и распространилась пустота. И даже Виктор стоял с замкнутым выражением лица.

— Не умеем ценить, не умеем пользоваться.— Еще строже повторил Бородин.

— Вот об этом мы и думали, приступая к работе,— подхватил Виктор.— Это двигало нас. Новый микрорайон должен быть построен не на пахотных землях, составляющих бесценное народное достояние. Это принципиально важный вопрос, который я хотел подчеркнуть.

С того момента как спросил Бородин: «Так кто нам доложит?» — и дошло по цепочке до Анохина, и указка была ему вручена, что-то переменилось. С привычкой обращаться не ко всем сразу и не всех видеть, а того, кому поручено доложить, Бородин, а за ним и остальные обращались теперь к Анохину как к старшему. Даже Несмировский стоял в непривычной для себя роли: молча присутствовал.

Тем временем Виктор после длинного вступления перешел к их проекту. Он говорил о сочетании зданий по горизонтали и вертикали, о том, что их микрорайон не будет расплетанным по земле и подземные коммуникации не будут растянуты.

— Говорят, что строительство из типовых деталей не дает возможности нам, архитекторам, полностью раскрыть свои творческие возможности. Но вот пример «типового строительства»: музыка. В распоряжении композиторов всего семь пот. И при помощи все тех же семи пот, однотиповых во всех случаях, создана и великая музыка и то, что слушать невозможно. Значит, дело не в том, что типовые, а в том, как мы умеем пользоваться.

— Вот! — сказал Бородин, пазидательно поднял палец и оглянулся на всех. — Всего семь пот. А мы другой раз говорим.. Молодежи бы это надо послушать.

Тут как раз в момент общего оживления вошел Смолев. И получилось вдвойне удачно, потому что Бородин заставил повторить при нем про семь пот, в знак одобрения говоря Виктору «ты». И Виктор скромно, всячески отстрапая не принадлежащий ему успех, повторил. Смолев слушал, любезно улыбался. И знакомился, так же любезно улыбаясь.

Рослый, молодой еще, но с сильной проседью в курчавых волосах, он рядом с Бородиным, в его кабинете держался как приглашенный.

Александр Леонидович Немировский не упустил случая в такой аудитории блеснуть. Выждав момент, он рассказал об одной из гризас капиталистического Запада, с которой приходится сталкиваться архитекторам. В центре крупного города рядом с современными многоэтажными домами он сам видел старую деревянную развалиху, поражающую даже туристов. И никто — ни мэр, ни общественность, целый город — не может ничего попелать. Вынуждены терпеть это уродство, не могут застроить центр, потому что хозяин дома, видите ли, не желает продать участок.

Людям, привыкшим крупные вопросы решать по-крупному, слушать это было дико. Да уж, порядочки!.. Многие качали головами.

Но когда Александр Леонидович вновь попытался обратить все внимание на себя, Виктор не дал себя прервать. Конфуз этот Андрей заметил уже задним числом: ай да Витька!

Потом им вновь жали руки, еще раз поздравляли и Александра Леонидовича Немировского, и их двоих. И закреплялось, закреплялось радостными рукопожатиями то, что есть. И уже этого было не изменить.

ГЛАВА V

А внизу, в прохладном от каменного пола огромном вестибюле, все так же сидел у столика милиционер, поставив ноги на деревянную подставку. Пожилой, солидный, домовитый. Стол его покрыт обрезком зеленого сукна, толстое стекло, бумажки по ранжиру разложены под стеклом, так что каждая перед глазами. И телефон по правую руку.

Когда входили сюда, милиционер беседовал с гардеробщицей, она вязала на спицах за барьером. И сейчас они по-семейному беседовали, она вязала. Ничто не изменилось здесь. Только пахло в вестибюле щами: значит, пришло и прошло время обеда, вершина дня. Дальше день покатится с горочками.

Милиционер встал, отдал честь Немировскому, человеку уважаемому. И гардеробщица закивала. Во всем гардеробе, на многих рядах никелированных вешалок висело с краю несколько шляп, она дежурила при них.

Преодолев сопротивление тугой пружины и тяжелой дубовой двери, окованной понизу медной пластиной, они вышли из сумрака вестибюля на режущий белый свет солнца.

Для большинства людей эти двери ничем не отличались от многих подобного рода: двери и двери. Но у Немировского столько было связано с ними. Как раз тогда чистили реку, случайно со всем мусором выволокли на берег мореный дуб, бог весть сколько пролежавший на дне. И Александра Леонидовича осенило: а что, если сделать двери из этого дуба? Как он потом жалел, что его осенило. Ведь даже ручки для дверей — а они сразу потребовались совсем особенные, мореный дуб диктовал и форму и массивность, — ручки эти несчастные едва не довели его до инфаркта, до разрыва сердца, как тогда еще говорили. Зато теперь, берясь за них рукой, он испытывал особое чувство общения.

Проходят годы, и каждый камень, положенный тобою, обрастает столькими воспоминаниями. Смотришь на него,

а видишь все, что за ним стоит, что было тогда, когда его клали, что с этим связано. И уже все оно дорого на отдалении: ведь это часть твоей жизни.

Мы все торопим будущее. Едва начав что-либо, скорей хотим увидеть завершение. Но завершения нет, потому что оно же и начало. Да и мы сами приходим к завершению другими и смотрим иными глазами. Александр Леонидович с годами стал замечать особую над собой власть минувшего. Оно все больше и больше говорило ему. Будущее будет, минувшее не повторится.

Он шел рядом с людьми, перед которыми открылось будущее, которым он сам открыл его, но было ему грустно. Словно издали смотрел он сейчас на них и на себя.

Дубовая дверь из прохладного вестибюля отворилась в полуденный зной, в жару и сушь. Город отдаленно гудел, пахло бензином и асфальтом.

Вокруг площади на фонарных столбах в очередной раз меняли светильники. Ставили что-то приближающееся к современности: овальное и вытянутое.

Как только они трое появились под массивными колоннами на каменных ступенях, ожидавшая на другой стороне черная «Волга» выехала из ряда машин.

— А он проявил хорошее понимание обстановки.— Немировский ревниво оглядел Анохина.— Откуда что взялось?

Виктор помаргивал.

— Я очень волновался. Не знаю даже, что наговорил.

Покачивая в пальцах папочку, Немировский тонко улыбался, пожевывал губами: в них обкатывалась готовая шутка.

— Велик не тот, кто родит мысль, а кто сумеет прижить с ней детей.

И он сбежал вниз по ступеням к машине, которая, совершив круг, уже стояла внизу.

— Ну что же вы?

Они поблагодарили. Им хотелось вдвоем сейчас пройтись пешком по городу, поговорить.

— Слушай, старик ревнует,— сказал Андрей, взглядом провожая черную «Волгу».— Ты заметил? Чего-то вдруг расстроился.

— Нельзя, Андрюша, быть женихом на всех свадьбах одновременно.— Виктор говорил строго и твердо.— Не он один.

— Ну, старика тоже не надо. Каков бы он ни был,

но он сделал для нас. И вообще мне что-то сегодня жаль его.

— Вот-вот. Пусть привыкает.

— К чему привыкает?

Он не узнавал Витьку. Тон этот твердый, покровительственный.

— К чему старик должен привыкать?

Но Виктор вдруг опять стал прежним Витькой.

— Андрюша, ну его к черту! Сегодня наш день. Имеем мы, в конце концов, историческое право? Имеем, черт возьми?

Право они имели. И деньги тоже. И они зашагали по улице как люди, ясно увидевшие цель.

В те отдаленные времена, когда ни Ани ни Зины в их теперешнем значении не существовало, когда они вдвоем считали общую мелочь на ладони, в те времена любили они один бар. Душой его был Манукян, прозванный Великим. Он являлся из табачного облака с подносом в руках: десять кружек на подноссе, над ними шапки вздрагивающей пены. Всю эту тяжесть — чуть ли не пуд весом — грохал на мраморную плиту стола; потный, задыхающийся, вытирая пальцы о полотенце, висевшее у него на животе. Пиво ли здесь бывало особенное, или оно было таким из его рук, но по вечерам бар был полон, и электрические лампочки под потолком меркли в дыму.

Теперь здесь кафе-молочная. Пустовато, прилично, прохладно. Почти все столики свободны. Но хорошо то, что пиво тоже бывает. И все остальное по вечерам, ибо план выполнять надо.

Повесив пиджаки на спинки стульев, сели, закурили. У огромного, от пола до потолка, окна молодая женщина кормила мороженым девочку с бантом. В квадрате света четкие силуэты обеих. Женщина поджала перекрещенные ноги под стул, тупоносые туфли девочки качаются на весу, под ними блестит пол.

Свет, плоские блестящие поверхности, алюминий и пластик, невесомые столики, которые страшно задеть погой, — красное, желтое, зеленое — недавно это еще воспринималось как ниспровержение основ. Но в химически-ярком пластиковом мире уже угадывалась будущая серийность, стандарт, ничуть не лучший оттого, что он современный.

Был такой школьных времен рассказ про сыровара. О том, как он делал сыр в подвале. И вода там сочилась

по стенам, и плесень по углам, а сыр — замечательный, ни у кого такой не получался. Но вот разбогател сыровар, сделал подвал под масляную краску. Все теперь не хуже, чем у других, только сыр такой не получается. Оказалось, эта самая плесень и была ему необходима, в ней было его богатство.

Вот так теперь и в баре, где чисто, светло и много официанток в наколках. Сойдясь в круг у кассы, они живо делились новостями. Их было больше, чем посетителей в зале, но они знали правило: посетитель, он пождёт.

Пришлось потревожить:

— Девоньки!
— Доченьки!

Когда принесли пиво, неожиданно выяснилось: есть раки. Это меняло картину. Не то чтобы Россия окончательно обеднела раками, но встретить в пивной раков или воблу, ту самую воблу, которую прежде ни за что не считали, встретить их в пивной — это была неслыханная удача.

— Знаешь что,— сказал Виктор,— десяток возьмем все же. Как считаешь? Но не засиживаться. Жены у нас строгие,— сказал он официантке.

Та по-свойски усмехнулась:

— Так уж вы напугались!
Но пошла поживей.

— Знать бы, приехать нам с женами. Завалились бы на целый вечерок, как свободные люди,— затосковал Виктор по упряжке.— Двадцатый век называется! Со спутниками разговариваем, а жене за сорок километров позвонить по телефону нельзя. Вот что: на всякий случай позвоню теще. Мол, заседание кончится не скоро, вопрос важный. По крайней мере, если наши позвонят оттуда, будут знать.

— С той почты легче пешком дойти, чем дозвониться.

— Это когда нужно. А когда вот так, как раз дозвонятся. По крайней мере, мы отметились.

Виктор тщательно вытер пальцы бумажной салфеткой, надел пиджак, застегнул на одну пуговицу, поправил очки и пошел между столиками, покачивая плечами. Шел человек, знающий себе цену, умеющий держаться под взглядами людей. Виктор Петрович Анохин. Витька.

В сущности, все страшно быстро происходит. Гораздо быстрей, чем думалось лет пятнадцать назад. Уже их де-

ти говорят по-английски, не успеешь оглянуться — школу кончат. А он вот так иногда увидит и изумится: неужели это его дети такие огромные? Неужели это с ним так быстро все произошло? А что удивляться, если подумать? Ведь им с Витькой по сорок. В эту пору сыновей женят, дочерей замуж отдают. Но их поколение позже начинало жить. И женились позже, и дети позже родились. Как раз на те четыре с лишним года, которые взяла война.

Виктор вернулся от телефона повеселевший:

— Еще Фридрих Великий говорил: солдат должен бояться своего начальника больше, чем неприятеля.

— Фридрих не нашего министерства. А вот что теща сказала?

— Теща сказала: «Ну, дай Христос!» И еще она сказала: «Виктор... Только вы там с Андреем глядите!..» Из чего можно заключить, что она в вопросах архитектуры разбирается.

С тем Виктор снял пиджак, теперь уже надолго.

— Ну, Андрюша, сегодня мы имеем право.— Он смотрел на Андрея влюбленными глазами, а кружку пива держал на весу.— Мы знаем за что.

Пиво было холодное, светлое, они выпили его одним духом, и даже дышать стало легче. Огромные раки, темно-красные, с черной окантовкой, лежали на тарелке, свесив мокрые клешни на стол. В пустых кружках, шипя, оседала пена. А они курили, откинувшись на спинки стульев. Это был лучший момент: все только впереди.

— Да-а, завидует нам старик.— Остро заблестевшими глазами Виктор сощурился в свои мысли.

— А чего нам, в сущности, завидовать?

— Чего?

Виктор быстро взглянул на него. Но сдержался. То, о чем думал в этот момент, оставил в себе. Взялся за кружку.

— Выпьем, Андрюша.— Задумался на миг, опять хотел что-то сказать, но опять удержался.— Ладно, без сантиментов.

В общем, он чувствовал к Андрею нежность. А тот говорил тем временем:

— Гордость его уже в другом. Он мэтр.

— Думаешь?

— И думать нечего.

— А не роль?

— Так в жизни кто не играет роли? Это редко кто

остается самим собой. Таких единицы. А большинство надевает на себя роль. Он сегодня ввел своих, так сказать, учеников. Вывел на орбиту.

Но тут Виктор опять заговорил непримиримо, не желая признавать:

— Вывели мы себя сами и не будем забывать этого. А то много, знаешь, окажется...

Этой черты Андрей не знал в нем прежде.

— Ви-итька!

— Он придал нам некоторое ускорение, этого не отнимешь. Но ускорение оказалось большим, чем он ожидал. Этого, Андрюша, не любит никто. Вот он и маститый, и уважаемый, и обожаемый, но архитектор строить должен. А что он делает? Заседает последние двадцать — тридцать лет. Архитектора судят не по речам с трибуны. Да, не по речам!

Крупными пальцами он разломил рака, обиженно всосался в спинку, где была желтая икра. И вдруг Андрей понял: это старику отдавалось за его пристрастие к афоризмам: «Один рождает мысль, другой приживает с ней детей...» Андрей захохотал. Долго же до него шло, долго доходило.

— Ты чего? — спрашивал Виктор, видя, как он хохочет. И оглядывал себя.— Чего ты?

Андрей ладонью вытер слезы, мокрыми глазами смотрел на него. Мысль, конечно, не Витькина, старик это знает, он ведь на всех этапах присутствовал. Но вот в чем он не прав: с такой мыслью детей не приживешь. И уж завидовать им, конечно, нечего. Устарела она лет на двадцать, если не на все двадцать пять. Сегодня он это так ясно чувствовал! Когда ругают, тут злость в тебе, отстаивать можешь. А вот когда чувствуют, а ты знаешь, какова всему этому цена...

— Слушай, тебе не стыдно было сегодня? Ну зачем ты ввернул про эти семь нот?

Виктор сморгнул испуганно и заморгал, заморгал.

— Хотелось доходчивый пример...

— А потом нам же и скажут: построй чудо из шести палок. Вот так добиваемся сами себе.

— Считаешь, плохо я говорил?

И такой у Виктора был жалкий вид, что Андрею расхотелось укорять его.

— Да нет, нет. Ты как раз произвел впечатление. Но, Витя, не это главное. Я все удивлялся: отчего радо-

сти нет? Спешили, выбивались, волновались... Вот он, звездный час! А радости нет. Перегорело, что ли? Это, рассказывают, Форд приезжал. Подали ему на аэродром лучшую нашу машину, сел он: «Ну вот. Чувствую, помолодел на двадцать лет». Так и наш микрорайон. Чего уж там, мы-то понимаем... То все боялись: не примут, не будут строить. Прияли. Витя, если по-честному, так вот сейчас пам самое время сказать: давайте мы все заново. Это же вчерашний день архитектуры. Зачем?

Виктор смотрел на него с испугом.

— Ты не гляди на меня как на сумасшедшего. Что ты скажешь, я знаю. Но ведь это же правильно: врач похоронит свою ошибку, а тут полвека будет стоять.

Виктор заговорил горячо:

— Андрюша, ты прав. Тысячу раз прав! Мы еще построим с тобой.

— Можно построить.— Андрей сказал глухо и глядел незрячими глазами.

— А то все: Нимейер! Мис ван дер Роэ! Мис, Мис... А что Мис, если уж так уже разобраться.

— Мис? — Андрей словно проснулся, услышав.— Мис — гений. Даже ошибаться, как он, и то надо быть гением.

— Нам бы его условия! Когда ему все было дано...

— Слушай, ты понимаешь, какая возможность создалась? Витька, нельзя упустить. Мы сейчас можем продиктовать условия.

Тут Виктор действительно испугался.

— Андрюша, можно, можно. Но — нельзя! Сейчас пока еще нельзя.

— Чего нельзя? Чего нельзя?

— Что ты, разве можно откладывать, когда такой успех! Ковать, ковать, пока горячо. Потеряют интерес — не достучишься потом. Да мало ли что!

— Это я понимаю.

— А после мы построим. Давай дадим себе слово. Дадим слово и будем помнить. Но сейчас важней всего занять командные посты. Мы имеем па это право, черт возьми! Даже если сначала хотя бы один из нас...

— Я бы там сказал. Хотел сказать, да это ведь и твоя судьба.

-- Правильно, Андрюша. Еще будет у нас возможность. Тогда мы продиктуем условия, ты прав. Но не сейчас.

Подошла официантка:

- Ну что, мальчики, повторить?
- Надюша! — сказал Виктор прочувствованно.
- С утра была Зина.
- Фантастика! И у меня жена — Зина!

Официантка вкруговую загадочно повела глазами, рассмеялась тем испытанным смехом, от которого разве что мертвый не пробудится или уж совсем старый, совсем какой-нибудь никудышный мужчина.

Опытным взглядом она сразу разглядела то главное, что отличало этих двоих от остальных людей в зале. Тут даже не в деньгах дело, хоть денежных людей она умела с маxу замечать. От них, сидевших в свежих белых рубашках, в выглаженных брюках, куривших сдержанно, от них веяло удачей. Они были на гребне какой-то своей волны, это она поняла безошибочно.

Собрав пустые панцири раков, скомканные бумажные салфетки, она запустила пальцы в мокрые пивные кружки, глухо звякнувшие друг о друга, поставила их на поднос.

- Еще по одной?
 - А давай выпьем, что ли? — сказал Андрей.
 - А? Да! — решился Виктор.— Зиночка, в ваших руках жизнь двух людей, которые хотят есть. Все остальное вы слышали. Не накормите — помрем.
 - Таких случаев у нас еще не отмечалось.
 - Будет. И вот этими...— Виктор хотел сказать «ручками», но осекся несколько, увидев в пивных кружках Зинины растопыренные пальцы с ярким маникюром.— Вот этими руками поухаживайте за нами, как вы поухаживали бы за собственным мужем.
 - Пожалуй, не схочете. Я б его березовым веником накормила, да поперек спины.
 - Веник отменяется!
- Тут они вдвоем углубились в чтение и обсуждение меню, а Андрей сидел курил.
- Сержант в тебе, Витъка, пропадает,— сказал он, когда Зина подносом вперед шла к кассе, покачивая мощными бедрами.— Строевой армейский сержант. Ты с ней говорил, едва каблуками не щелкал.
 - Сержант сидит в каждом из нас. Из армии демобилизуются, но не уходят,— сказал Виктор значительно.
 - Это ты спутал. Это не из армии...

Андрей увидел, что стол, за которым сидели женщина и девочка, уже вытирали тряпкой; он не заметил, как они ушли. Две металлические вазочки от мороженого, темные против света, стояли на углу мокрой, блестящей плоскости стола.

Неожиданно он увидел обеих за окном. Они проходили по тротуару. Мать вела за руку девочку, девочка несла бант над головой. Ее маленькие, носками внутрь ножки семенили рядом с высокими, медленно переступавшими стройными ногами женщины. Молодой женщины. Он смотрел им вслед. Нет ничего красивей на свете: молодая женщина и девочка рядом с ней. Будущая женщина.

Вернулась Зина с подносом перед грудью. И среди закусок, украшенных листиками и зеленью, возвышалась бутылка «столичной», прозрачная на свет.

В полной тишине Зина расставляла тарелки, клала вилки, ножи, тихо звякавшие о пластик. Соответственно возможностям мужчин ставила перед каждым не рюмку, а стопку. И все сделав и бутылку откупорив, задала единственный, не лишенный изящества вопрос:

— Сами разлить сумеете?

— Разольем, Зиночка, ни единой капли не расплескаем.

Но прежде чем уйти, Зина еще раз оглядела стол, уже взглядом художника.

Виктор поднял стопку:

— Андрюша, сегодня у нас особенный день. Все-таки он особенный...

— То-то и жаль...

— Я понимаю тебя, но ты же понимаешь...

— Все мы понимаем, в этом и беда наша, что такие мы понятливые. Еще и подумать не успели, а уже понимаем.

— Андрюша, время работает на нас. Давай, выражаясь фигурально, за то, чтобы везло нам и дальше. Чтобы ехалось легко...

— Чтоб у нас, у дураков, хватило ума сойти вовремя. А то такие мы умные, так раньше времени понимаем... И духу чтоб хватило.

Со стопкой в пальцах, волнуясь, Виктор смотрел перед собой остро блестевшими глазами. В нем, как всегда, от мысли зажглась своя мысль.

— Давай, Андрюша, — сказал он, додумав до конца, и тряхнул головой.— Это ты хорошо сказал: вовремя сойти.

А часа полтора спустя они сидели за тем же столиком, громко разговаривая и смеясь. Зал был уже полон, зажглись огни, и кафе с огромными, до земли, окнами светилось изнутри, как аквариум, за толстыми стеклами которого проходили по тротуару, стояли люди. Потом вдоль окон пошла официантка с краем тяжелой репсовой гардины в руке и отделила улицу. Стало уютно, глухо, и сейчас же ударила оркестр. Андрей обернулся. На крошечной эстраде четверо нестриженых парней в разномастных пиджаках стоя дули в блестящие трубы, а ударник, играя плечами, локтями, глазами, подкидывая палочки в воздух и ловя, управлялся один с великим множеством сверкающих тарелочек. Грохот маленького оркестра заглушил голоса. Люди теперь кричали друг другу, сблизаясь лицами. И Андрей и Виктор тоже кричали.

— Хорошо! — Виктор оглянулся.— Высотный дом в Москве на Смоленской площади красив или некрасив?

— Он всегда будет уродлив. Эти парадные двери как врата. Человек перед ними крошечный. Эти каменные столбы как стражи с бердышами. И когда закладывалось! В сорок девятом году под Воронежем, в деревеньке Лаптевке от неурожая, от голода умерло семь человек. Уже яблоки на деревьях завязывались. Один такой столб — доход целой деревни.

— Кто помнит, Андрюша? Кто связывает одно с другим? Это интеллигенция куска в рот не положит, чтоб не облить слезами сожаления. Ест и жалеет, ест и жалеет. Но ест! Вот в чем дело: ест. И каждый, если поставят перед ним, будет есть. Люди забываются, а здания стоят.

— Не забывается и не исчезает бесследно. Есть еще и генетическая память.

— Мы с тобой сдавали: никаких генов нет.

— Вот-вот.

— Чистейший вейсманизм-морганизм и прочий менделевизм.

— Мы и не то отменяли.

— Андрю-ша! Миллионы со всего света ездят глядеть древние развалины: «Ах, хорошо! Ах, красота!» А во что эта красота людям стала, сколько там полегло, кому какое дело?

— Так ты и дальше хочешь?

— Мы с тобой не хотим. Но, Андрюша, что зависит от нашего хотения? Вот именно, что? А безымянным,— он

потыкал пальцем вниз, под стол,— нет, не хочется, знаешь ли.

Белая рубашка на нем промокла под мышками, и круги выходили дальше на грудь. Скомканным в кулаке платком Виктор вытер блестевший лоб. Сказал вдруг:

— А помощник Бородина — хитрован. Чмаринов Борис Ксенофонтович. Хитрова-ан! Левое ухо рваное видал?

— На черта мне его ухо?

— Не скажи.— Виктор подмигнул с превосходством.— Вот так сплошь поперек, и кусочка сверху недостает. Старый волк! Жизнь знает лучше нас с тобой. Да-а...

Сняв запотевшие очки, Виктор щурился на грань стопки. Мыслю был он сейчас не здесь. Мыслю он сейчас был там, где уже бывал не однажды, но куда сегодня перед ним открылись двери. Ведь могли не их, а чью-то другую судьбу поставить на рельсы, и покатилась бы с легкостью... Но вслух ронял только тягучес «да-а».

— Давай, Андрюша, вот за что.— Протерев, Виктор надел очки.— Кто-то сказал: дружба — это лодка, в которую в хорошую погоду вмещаются двое, а в бурю только один. За нашу с тобой лодку, Андрюша!

Как раз в этот момент оркестр смолк, стыдливо смолкали запоздалые голоса. Их тост раздался так, что от соседнего столика обернулся парень в спортивной кожаной куртке.

— Лодку, что ль, покупаете?

— Ну да, лодку,— сказал Андрей.

— Уважаю. Моторную?

— Двадцатый век!

— Уважаю. Бывай здоров!

Он повернулся к ним заскрипевшей кожаной спиной, опрокинул в рот стопку.

— И зачем им лодка, когда вот она водка,— мимо проходя, улыбалась Зина.— На ней дальше поплыешь.

Двумя пальцами за горлышко она словно печально со-ставила с подноса к ним на стол новую бутылку.

— Ну что за Зиночка! — вскричал Виктор.— Все понимает! И закуску тоже.— Тут он в целях конспирации спрятал под стол пустую бутылку, будто ее и не было совсем.— Что-нибудь, Зиночка, эфемерное такое. Можно нам что-нибудь такос обеспечить?

— Вам я могу обеспечить все.— Зина ясно улыбалась.

— Ну Зина, ну что за Зина! — вскричал Виктор, не- сколько увянув.

— Мужчин надо прежде всего кормить,— сказал Андрей,— поэтому для начала...

— Сосиски с капустой.

— Их еще на комбинате мясом набивают.

— Не будем тревожить, пусть перевыполняют план,— сказал Андрей.— А бифштекс, случайно, еще не на четырех ногах? Впрочем, мы и на яичницу согласны.

Зина смотрела, улыбалась.

— Жены-то небось молятся на вас?

И пошла, повлекла за собой взгляды. И Виктора и Евгения в кожаной куртке. Тот до тех пор поворачивал голову, пока на покрасневшей шее позволяли напрягшиеся связки мускулов.

— Уважаю,— сказал он потрясенно. И потянулся к сигарете Андрея: — Друг, дай огоньку!

Широкие плиты его скул блестели, черные глаза косились нетрезво. Он пыхнул сигаретой.

— Спасибо, друг.

Опять заиграл оркестр. Люди что-то беззвучно говорили, сближая головы над столиками, подымали кружки, чокались рюмками, и глаза сквозь дым сигарет и лица сияли одним общим выражением. Во всех в них — и в молодых и в старых — был интерес собравшейся вместе мужской компании.

То Андрей, то Виктор, взглянув на часы, начинали торопиться. И опять оставались на месте.

— Главное, не поверят, что мы ведь правда торопились, вот что обидно,— огорчался Виктор.

— Не поверят, Витя, лучше не объяснять. Не поймут.

И поражались, что водка не берет их. Слабая она, что ли? Только душно становилось, через силу душно, и Виктор скомканым влажным платком то и дело утикал лицо.

Люди входили с улицы, отряхивались. Платками вытирали волосы, рубашки у многих были мокры. И уже не только дым, а как будто пар стоял под потолком, окутывая плафоны. Люди за столиками все время менялись, уходили, новые садились на их место, но не менялась обстановка единой мужской компании.

На какое-то время Андрей остался один. Обернувшись на стуле, оглядывал зал. В самом конце, на освещенной эстраде, стояла у микрофона певица, вся блестящая. Чёрное, в блестках шелковое платье ее лоснилось и вспыхивало под электричеством на груди и на животе, руки бы-

ли голы, накрашенный рот улыбался, и только голоса не было слышно, словно выключили звук.

Вернулся Виктор с мокрыми зачесанными волосами, потрезвевший. Они расплатились, встали. И еще до дверей не дошли, а за их столиком уже рассаживалась оживленно целая компания.

Пока они сидели в дыму и зашторенной духоте, над городом разразилась гроза. И весь он с вечерними огнями отражался сейчас в мокром асфальте. Потоки мутной, кофейного цвета дождевой воды мчались под фонарями у края тротуара, с шумом всасывались канализационными решетками, окна домов были распахнуты, и так дышалось сейчас после дождя и прогремевшей грозы!

В мятых белых рубашках, перекинув через руку пиджаки, всем потным телом ощущая эту благодать, они стояли, дышали и поражались. А из дверей, из которых они только что вышли, как из духовки, валило тепло, табачный дым и запах жареного.

Весь город был сейчас на улице. Блеск огней, голоса, шум дождевой воды, сигналы машин, шаркающий звук подошв по асфальту — все это в одном потоке двигалось, обтекая их. И они тоже шли, дыша легким после грозы воздухом.

И столько было вокруг молодых женщин в летних платьях. Ветер обвевал их голые руки, открытые шеи. И свет на лицах, и особенный блеск глаз.

— Нет, ты смотри! — поражался Андрей. — Когда они родились? Когда они все вырасти успели? Витя, это же крайне обидно. Как будто уже нет нас. А мы все-таки есть, мы не только были.

На них обернулись, блеснули глазки, сразу несколько пар. Боже ты мой! Нет, жизнь прекрасна.

— Андрюша, мы есть и будем. И в этом своя историческая справедливость!

Тут Виктору вдруг захотелось, и непременно сейчас, ехать туда, где «будет город заложён». И ничего кроме он слушать не хотел, и шофера такси слушать не хотел, и кончилось тем, что они поехали.

В темноте взбирались по откосу, по мокрой траве, среди мокрых сосен. Взобрались. Внизу шумел, блестел город.

— Здесь будет город заложён! — Виктор топнул ботинком.— Понимаешь, Андрюша, здесь люди рождаются, будут жить... И никто не знает, что в начале всего стояли здесь мы двое. Но мы знаем. И с нас довольно. Потому что мы — знаем!

И еще ему хотелось непременно здесь дать клятву.

Андрей смеялся:

— Ты что, Герцен? Или Огарев?

— А что Герцен? Что Огарев? Привыкли: Огарев, Огарев... А что уж Огарев, если уже разобраться?

Шумели сосны, отвесно стояло небо, все в ярких звездах после дождя. Внизу был город. А они двое стояли здесь, на своей вершине.

ГЛАВА VI

Следующее утро, которое по пословице вечера мудрее, началось в посте и покаянии. Аня молчала, вопросы детей раздавались в пустоте.

— А мы пойдем на речку?

— Я думаю, мы пойдем на речку? — подхватывал Андрей несколько лебезящим голосом.

— Еще на лодке обещали покататься... Все только обещаете...

— Действительно, мы ведь обещали. Я совершенно из виду упустил.

— Ты, к сожалению, ничего не упустил из виду. Ничего из того, что стояло у тебя перед глазами...

— Да, ты совершенно права... То есть, наоборот, я хочу сказать, что у тебя не совсем точная информация в этом смысле.

А про себя подумал: «Вот у Витьки сейчас творится!..» От него хоть требовалось покаяние внешнее, а от Витьки будут добиваться осознания в душе.

В первый год семейной жизни Андрей все пытался доказывать свою правоту, как будто в ссоре бывают правые. Поистине молодой муж подобен новобранцу: не понимает, что не тот виноват, кто повторяет «виноват!», а кто оправдывается.

Тем временем Митя подводил грустные итоги:

— Рыбу ловить не пошли... На лодке не покатаемся... Лучше б не обещали.

— А правда, детонька! Возьмем с собой продуктов,

соль, спички, где-нибудь на острове разожжем костер... Честное слово, а? И тебе за нами не ухаживать. Сварим уху...

— Мамочка, давайте! — Митя вскочил из-за стола.— Я нож с собой возьму, фляжку с водой!

Вот тут Машенька, маленькая миротворица, подошла к ним, стала посредине:

— Давайте не ссориться. Ну почему мы ссоримся? Давайте жить мирно.

И целовала голую материну руку, а ладошкой своей теплой гладила отца по пебритой с утра щеке, как будто примирение обещала.

— Идите во двор! — крикнула на детей Аня: у нее слезы выступили на глаза.

Андрей обнял ее и, хоть отворачивалась, поцеловал в висок.

— Дети умней пас. Ну хватит, чего там... Поругала мужика своего — и хватит. Это ж такой дерь. Мы с Витькой хоть и подкаблучники, а все же некогда мужчинами были. Вот и просыпается порабощенный дух раз в пятилетку. Время такое: вся Черная Африка скинула иго, Азия бурлит.— Он опять поцеловал ее в висок.— Ты у меня умница.

— «У меня...» Правда что Азия в тебе бурлит.— Она вытерла щеки ладонью.— Ладно, давай устроим детям праздник. Они уж, во всяком случае, ни в чем не виноваты.

Андрей быстро побрился, замаливая грех, сунулся было мыть посуду, но не был допущен: излишней суетливости от него не требовалось. Собрали кошелку и по дороге на речку зашли за Анохиным; Виктора выручать. Пока жены разговаривали между собой в доме, Виктор и Андрей курили во дворе.

— Ну как, брат, раскаялся? Прощен?

— Да нет, понимаешь, не в том дело... Зинушка первая очень стала. С нервами у нее последнее время... Другой раз ничего особенного, а на нее вдруг так подействует.— У Виктора даже стекла очков блестели жалобно: то ли от раскаяния, то ли от тоски.— Когда дети, знаешь, в самом деле нехорошо. Привыкнет дочь встречать отца в таком виде, а потом к ней самой вот так муж явится. Хочешь, чтоб он ее уважал, относись к матери с уважением...

— Отличник! Урок выучил на пятерку.

— Да нет, понимаешь...— Виктор опасливо взглянул

на окна, откуда раздавался искаженный Зинин голос: «Аня, не знаешь ты их, Аня-а!..» — Ужасно первная.

— У тебя одна дочь, а у меня и дочь и сын. Тут как быть? Положение по тому анекдоту: «Как ваша дочь замуж вышла?» — «Великолепно! Она еще в постели, он ей кофе подает». — «А как сын женился?» — «Не говорите, ужасно! Она еще в постели, он ей кофе подает...»

— Да, — сказал Виктор, не слыша и не слушая. — Да, да...

Андрей потянулся, скосив на него смеющийся глаз, хрустнул пальцами за спиной. Был он в стираных джинсах с никелевой пряжкой на животе, в расстегнутой ковбойке и тапочках на босу ногу. Утреннее солнце, хоть и не жаркое еще, пекло похмельную голову. Кваску было сейчас холодного из погреба.

— Слушай, — сказал он, — у Леши бредень есть. Не даст он нам?

— Бредень? — Виктор глянул на окна, не зная, как поступить.

— Что командование решит, до нашего сведения доведут, а солдат службу знает.

Они обошли дом, пригибаясь под развешанным на ветрянках, хлопающим от ветра ситцевым бельем. Надутые наволочки были как подушки. Распугав на заднем дворе кур, вошли в коровник. С улицы показалось черно внутри. Хозяин, Леша, в резиновых сапогах вычищал навоз, соскребая лопатой с мокрых досок. Он поставил лопату к стене, осторожно взял испачканными пальцами сигарету из протянутой начки, потянулся прикуривать.

— Бредешок-то есть. Вон на потолке валяется не по назначению. Ловить чего будете? Ей и так здесь, рыбы, не было, сквозь пстребили, а как летошний год плотину прорвало, последняя ушла.

Леша в большом раздумье сбивал мизинцем пепел с сигареты. Томимый субботним пастроением, он и навозом-то занялся с утра не по доброй воле. Охотней пошел бы рыбу ловить, если б кто пригласил. Там поймают не поймают — «основной вопрос», как говорил он в таких случаях, «не в рыбу уперся...». Но Андрей и Виктор сами еще не были прощены, к тому же собирались с детьми, с женами и предпочли не попять.

— Да мы такие рыбаки, если только сама какая-нибудь в бредень заскочит с перепугу, — стыдливо засмеялся Виктор. — А на себя мы не надеемся.

— Ну да, ну да... — Леша был мужик сообразительный. — Тогда конечно.

Носком сапога он вдавил сигарету в навозную жижу и, припадая на левую ногу, похромал к дому.

Мальчишкой играл он с пацанами под берегом, и раскопали в песке поржавевшую гранату времен войны. Двух тут же положило наповал, а Леше в нескольких местах перебило ногу и крошечным осколком веко рассекло; с тех пор и помаргивал он не в лад.

Когда после прибыла саперная часть, нашли на дне реки, затянутые плом и песком, немецкие снаряды и мины общим числом больше сотни. Но основной склад обнаружился в деревне. В каждом доме была своя противотанковая мина, у запасливых хозяек по несколько штук. Стали отбирать — прячут так, что с миноискателем не найдешь. И не сразу в голову пришло саперам, что, помимо своего основного назначения, противотанковая мина может служить еще гнетом для капусты: «Тяжелая, круглая, как раз по размеру входит в кадушку. Ты найди мне такой подходящий гнет, тогда отдам...» Пробовали припугнуть — не пугаются: «Сколько лет солим — не взрывалась, чего это она вдруг взорвется?» Пришлось саперам выменивать мины прямотаки поштучно.

Со временем срослась у Леши нога неровно, вышла короче другой, колено не сгибалось. Из-за нее он и в армии не служил и в деревне остался чуть ли не единственным из сверстников. Зато женился рано и в двадцать четыре года, к изумлению своему, был уже отцом четырех детей, старший из которых, как все вокруг, звал его Лешей.

По приставной лестнице боком-скоком Леша взобрался на чердак и вскоре вылез оттуда со скатанным бреднем. В ячейках его застряла тина. Пересушенная на чердаке, она крошилась в пыль, пахло от бредня едва внятно рыбой и рекой: давно Леша рыбачил.

Наконец вышли из дома женщины.

— Здравствуй, Андрей...

Голос Зины сугубо холоден. Мужа она вообще не замечала: ни его самого, ни его робкого движения взять у нее из руки кошелку. Пошла вперед, как бы единолично неся всю тяжесть их совместной жизни. Но Аня подмигнула Виктору: прощен, прощен, можешь надеяться.

— Драсьте... — материным голосом поздоровалась Мила. И тоже не заметила провинившегося отца: натаскивается для жизни.

Четырнадцать лет назад вместе с Виктором, с бутылкой шампанского и горшком цветов, которые еле раздобыли в городе, заваленном снегом, подкатили они на такси на Колодезную, под горой, где у Зининых родителей жили молодые. И Зина, почти девчонка еще, покраснев от смущения ли, от гордости, вынула из коляски, придвижутой к печи, нечто маленькое, безбровое, в массе наглаженных кружев. Это «нечто» в голубом одеяле (ждали мальчика), перепоясанное розовой лентой, была Мила.

В соломенной шляпке с широкими полями Мила шла впереди, ведя за руку Машеньку в белых трусиках с кармашком. Пушистая коса щекотала ей спину между лопаток.

Шли напрямик через огороды, луг, на котором паслись индивидуальные козы и несколько телят, привязанных за веревку. Впереди за осокой слышны были голоса, плеск, и двигались, возникая в просветах, головы людей, плавущих в лодке. И кочки на лугу пружинили под ногой.

Пока отмыкали лодки, каждая из которых ржавой цепью примкнута к ветле, вычерпывали воду консервной банкой, дети полезли купаться. Голых и мокрых детенышей своих Андрей одного за другим втащил через борт в качающуюся лодку. Митя тут же вызвался грести. В худых его руках весла вырывались из воды, смоленая плоскодонка дергалась из стороны в сторону. Но уже прорезывался характер у мальчишки: хоть и выбился из сил, а весла не отдает.

Впереди на блестящем зеркале воды чернела против солнца другая плоскодонка. Два силуэта в шляпках на корме, низко осевшей в воду, взмахивающие по сторонам мокрые весла. Виктор греб ровно и мощно, от лодки к берегам расходились буруны.

Часа через два горел на песке костер, и в закопченном ведре варились уха. Они обшарили все побережье, и каждый раз, когда подтягивали бредень к берегу, дети кидались в воду, кричали, месили воду ногами, били по воде. Женщины с полиэтиленовыми мешочками, в которых уже плавало в воде, толкалось в прозрачные стенки

несколько рыбешек, давали с берега руководящие указания. Продрогшие до гусиной кожи Виктор и Андрей заходили снова.

Общими усилиями семерых человек, из которых четверо с высшим образованием, поймали десятка два пескарников, глупого щуренка, по жадности сунувшегося в бредень, да несколько плотвичек и полосатых окуньков. Но все же в ведре варились уха.

Весь освещенный солнцем, мускулистый, по щиколотки уйдя ногами в песок, Виктор в красных плавках помешивал прутником в ведре. Очки он снял и шурился над паром. А дети стояли вокруг животами к огню.

Когда-то их с Витькой было двое. Потом с Аней и Зиной — четверо. Теперь — семеро.

Виктор на прутнике достал из пара разваренную плотвичку с белыми от кипятка глазами.

— Разве это рыба? Если по правилам, так ее не варить, а выбросить.

И с великим презрением опустил плотвичку обратно в ведро.

Говорят, есть срок всему: и удаче, и уму, и силе. Вчера у них с Витькой был тот день, от которого начинается новый отсчет времени. Он видел вчера в приемной, какими глазами смотрели на них незнакомые люди.

Успех — как мода. Кто вчера знать тебя не хотел, сегодня спешит от других не отстать. Вот, может быть, теперь им удастся сказать свое слово в архитектуре. У других поколений этот день приходил раньше. Да, видно, каждому поколению свое.

Их первым костюмом — и повседневным, и походным, и парадным — была гимнастерка, единственная во все времена года. А единственным делом, которое они успели закончить к двадцати двум годам, была война. Теперь их дети изучают ее в школе в общих чертах и в главных датах. Как они когда-то проходили в школе первую империалистическую или гражданскую войну, от которой в памяти оставался только Чапаев и оборона Царицына. Войны всегда отодвигаются другими войнами, еще более страшными.

Он смотрел на детей. Босые, они стояли на песке вокруг костра. Когда дети стоят вот так, голыми животами к огню, кажется, не было минувших тысячелетий, а есть только вечное небо, и вечно течет река, и вечно горит костер...

Под радостные крики детей Виктор снял с огня ведро, смоляное от копоти, дымящееся.

— Папа! Папа! Глядите, папа заснул! — кричали дети.

Андрей встал, потягиваясь. Прилипший к телу песок осыпался.

— Неужели правда спал? — удивилась Аня.

В черном купальнике она сидела на краю расстеленного коврика, повернув к нему голову. Блестящие на солнце волосы сколоты на затылке тяжелым узлом, загорелые плечи золотятся. Красивая у него жена. И лицо хорошее. Она увидела себя в его глазах, какой он видел ее сейчас, и улыбнулась ему.

— Солдат спит, а служба идет, — сказал Виктор, держа горячее ведро на весу: он искал место, куда его поставить, искал центр.

Зина откинула полотенце, которым от солнца и мух была прикрыта еда. Красная редиска, огурцы, зеленый лук с маленькими белыми головками — все еще мокрое от воды, свежее.

— Товарищи, товарищи, к столу! — сывала Зина, словно собирала сотрудников. — Андрей, дети... Давайте, товарищи...

— Андрей, пойди к тому кусту и достань из воды что ты там спрятал. — Аня сказала это холодно.

Не задавая лишних вопросов, Андрей при общем нарастающем любопытстве пошел туда, куда ему было указано. Он опустился на колени и достал из воды две большие бутылки молока. А потом под восхищенный взгляд Виктора: «Ну, ты даешь!..» — одну за другой вынул три бутылки пива. С них капало.

— Аня! Ой, Аня-а!.. — тем самым голосом, каким ее мать в подобных случаях говорила, пропела Зина. — Не знаешь ты их, Аня!

— Дети! — торжественно сказал Андрей. — Если вас спросят, кто великий человек, говорите: «Наша мама!» Великая и великодушная!

Сущился распятый на кустах бредень. Чуть дымил дожгоревший костер. Остатки еды бросили рыбам, в малой степени возместив природе взятое у нее.

— Нет, вы чувствуете, воздух какой! — изумлялся повеселевший Виктор. Он сидел на песке, поджав босые ноги. — Вот дышишь — и не надышишься.

И по мужской логике тотчас зажег сигарету, чтобы вдыхать в легкие не этот речной воздух, а табачный дым. Андрей тоже сказал что-то о воздухе и закурил, глядя на бегущую воду. Женщины тут правильно заметили: «Зачем же вы курите, а не дышите воздухом?» Мужчины покаянно согласились, с удовольствием сознавая, что это все же хорошо, когда в жизни есть правила, иначе не так приятно было бы их нарушать.

— Ну ведь вредно курить? — добивалась ясности Зина. — Ведь вот пишут в газетах, сколько умирает от рака...

— А знаешь, сколько некурящих умирает?

— Ну, я, конечно, не знаю так точно...

— Сто процентов.

— Нет, ты меня не путай, Андрей. Курящих все-таки умирает больше.

— Тоже сто процентов.

— Как это?.. Подожди... Зачем же тогда в газетах... — Анекдот доходил медленно. — Ну тебя совсем! — Зина рукой на него махнула. — Я думала, он серьезно. Ты пользуешься, что я несильна в математике.

— Зиночка, вредно не табак курить, не водку пить — вредно на свете жить. И что-то никто от этой вредной привычки не отвыкает добровольно.

Тут еще несколько послеобеденных мыслей о вреде табака было подброшено в затухавший костер дискуссии. Аня рассказала кстати, как позавчера вечером пошли они с детьми в лес, и вечер был чудный: сырое, туман... Только в лес вошли, как он: «Махорочки бы сейчас...» И — сигарету в рот.

— Да-а, махорочка...

Мужчины вздохнули. Помолчали.

— В сорок втором весной стояли мы в лесу, — сказал Андрей. — Вы где тогда стояли?

— Весной сорок второго?..

Разговор тронулся проторенным руслом воспоминаний, и мужчины, лежа на песке голова к голове, закурили еще по одной из общей пачки. Дети уже вновь плескались в реке, женщины, при克莱в белые бумажки на носы, лежали в темных очках и чигали. Изредка до них доносился хохот, словно там не про фронт разговор шел, а рассказывали анекдоты. Таково уж свойство военных воспоминаний: кто дальше от фронта воевал, тот о подвигах рассказывает, об опасностях, о том, сколько раз его чуть не

убило, кто там был, тот охотней вспоминает смешное, а память погибших попусту не тревожит.

Зине вскоре наскучило читать. Она сняла очки, сразу потеряв некую загадочность: «блондинка в черных очках».

— Вот все говорят — Ларионова, Ларионова, красавица... Может, я, конечно, не понимаю.— Тут Зина отрицательно покачала головой по адресу тех, кто думает, что понимает лучше нее.— Не знаю. Вчера опять показывали по телевизору «Анну на шее», я нарочно стала смотреть. Во-первых, у нее ноги короткие.

— А во-вторых?

— Что «во-вторых»?

— Зиночка, у женщин за «во-первых», как правило, не следует «во-вторых».

— Не знаю, Андрей, каких ты имеешь в виду женщин.— В глазах Зины, ставших плоскими, кошечка уже выпускала коготки из мягких лапок. Это ему за анекдот, который она поняла не сразу.— Но лично я...

— Зиночка, ты все же учтишь: я — за,— сказал Андрей.— Я всегда за. Кроме тех случаев, когда за не вижу.

Тут Виктор закашлялся.

— А ты не кашляй!

— Да нет, мне какое-то насекомое в рот попало. Млекопитающее...— Виктор в подтверждение покашлял еще.

— ...лично я всегда знаю, что хочу сказать,— добившись тишины, продолжала Зина.— Короткие и с косточкой. Вот что «во-вторых».

Виктор усиленно мигал Андрею, а вслух говорил:

— Между прочим, в Италии, говорят, выходил журнал «Ля Ларионова».

— Для итальянцев каждая русская женщина — красавица.— Это было сказано Зиной безапелляционно.— Но вот когда она там с Жаровым катается, не знаю, мне, например, неприятно было на это смотреть...

А солнце полуденное жгло, и зеркало воды и белая страница раскрытоого журнала слепили. Странное ощущение было сейчас у Андрея. Так бывает в предотъездный день на курорте. И море то же, и солнце, и так же берег полон купающихся, но ты уже не здесь, мысленно ты в том поезде, который повезет тебя отсюда. Интересно, есть это чувство у Витьки?

— Дети где? — спросила вдруг Аня. Поднявшись на колени, она вглядывалась испуганно и от волнения не

видела детей. Только блестела река па солнце. У нее все в душе оборвалось, когда она увидела эту пустую блестящую поверхность реки.

— Да вон, вон они,— говорил Андрей.

И на том самом месте, куда она только что смотрела, где не было никого, она увидела всех троих сразу. Черные против солнца, дети играли у самой воды, строили крепость из мокрого песка.

Аня встала и пошла по берегу в ту сторону. А оттуда уже бежала к ней навстречу Машенька, маленькая частичка целого, влекомая силой притяжения.

Пожизни прошло с тех пор, когда они с Аней бежали на пригородный поезд. И опоздали. Задохнувшаяся, падышавшаяся морозом, она ела снег из шерстяной варежки, а он целовал ее ледяные от снега губы. А по платформе ходил милиционер в валенках с калошами. Прешел раз, прошел еще раз, сказал строго: «А ну выйдите на свет, чтоб я вас видел...»

Аня шла по солнцу в черном купальнике, сильная тридцатишестилетняя женщина: на мокром песке оставались глубокие следы ее ног. А навстречу летело маленькое ее повторение. Набежав, Машенька обхватила мать, втиснулась в нее лицом, и даже здесь было слышно, как она визжит от радости.

Он смотрел на них издали, словно из окна того поезда, который увозил его. К лучшему? К худшему? Он знал только, что уже ничего не изменишь.

ГЛАВА VII

Ночью, горячими ладонями гладя его лицо, Анна говорила:

— Так мне тебя что-то жалко! Ты прости, я тебе порчу радость.

— Ну чего, чего, трус Иваныч? Чего ты?

— Сама не знаю. Только жаль тебя. Так жаль, что я вчера даже сердиться на тебя не могла. И страшно...

— Ты еще на картах погадай.

— А я бы погадала. Карт нет.

— Чудная, честное слово. Беда случается — ты спокойней меня. Все хорошо — ты боишься.

— Я только чувствую: не будет уже того, что у нас было. Что-то сдвинулось. А нам было хорошо. И я не хочу!

Вот это она права: сдвинулось. И движется. Но странное только дело: не хочется торопить судьбу.

— Эх ты, охранительница своего гнезда. Ничего не бойся, пока ты со мной.

— Разве я боюсь? И уж не за себя, во всяком случае. Они у меня перед глазами, разве я виновата в этом?

Опять начинался их вечный разговор. А впрочем, он и не кончается никогда. Прошлое всегда при нас, как твоя собственная жизнь. И хоть не с тобой было, а твоё. Где-то он прочел: история народа — как ствол дерева; выпили из него круг, составь ствол вместе — дерево рasti не будет. Это так. Хотя чего в истории не бывало!

Гегель, кажется, заявил: история учит нас только тому, что она ничему нас не учит. Веселое напутствие детям, внукам и правнукам. Впрочем, Гегеля он не читал. Философов, всех вместе взятых, они в те поры сдавали на экзаменах по краткому философскому словарю.

— Ты сегодня лежал у костра, дети думали — спиши. А у тебя такое было лицо...

— Какое?

— Душа за тебя сжималась.

Глаза ее засияли в темноте. Андрей вытер их ладонью. Осторожно.

— Ты что, провожаешь меня? На фронт? А если бы сына, если б Митю нашего пришлось провожать?

— Фронт — это другое.

— Потому что не с нами. Я вот про свою мать думаю: великомученица была, только теперь ее понимаешь. Даже внукам не пришлось порадоваться... Тебя бы она любила.

— А что, я тебе хорошая жена.

— Может, и лучше, что не дожила. Ведь до радости надо было смерть Юры пережить. Вот что не дай и не приведи: пережить своих детей.

За окном по лопухам, по листьям сирени стукал редкий дождь. И пахло дождем и сырой землей. А за дощатой перегородкой неслышно спали дети. Их дети: Машенька и Митя.

Андрею снился однажды сон — он даже Анс не рассказал, зная, как на нее это подействует, — снилось, что он проходит мимо Мити, как будто не узнавая. Только так он может его спасти: виду не подав, что это его сын.

Почему? что? — ничего не запомнилось. Но вот это жуткое чувство: он должен не узнавать своего сына. И Митя смотрит молча, как он проходит мимо него.

— На войне хоть то было, что все общее,— сказала Аня.— Даже несчастье. Это со всем народом случилось.

— И тогда — со всем народом.

— Что ты сравниваешь? На фронт стремились. Это было святое. А перед этим — каждый в одиночку.

Он пощарил рукой, нашупал у кровати на полу сигареты, спички, закурил. И курил, глядя в окно, в темноту.

— Ведь им столько же было, сколько нам сейчас,— сказала Аня.— Подумай, ведь уже тогда дядя Женя делал операции на сердце, оперировал рак. Я тебе рассказывала, четыре года назад я встретила женщину, он ампутировал ей грудь. Она жива до сих пор, плакала, помнит его. А его нет. Я ведь фактически выросла в их доме. Мама шла на работу и оставляла меня на целый день. Дядя Женя все уговаривал ее: «Муська, дай вырежу Анечке аппендицит. Она и не заметит даже». Как мама потом ругала себя!

— Ничего в жизни не повторяется,— сказал Андрей, светя в темноте сигаретой.

— Да, да. И они так думали, наверное. Вы, мужчины... нет, это удивительно все-таки! Вам лишь бы логическое объяснение найти. Все хотите логикой, разумом...

Да, это их мужское занятие она не очень жаловала. Но и не вникала. Считала так: мужчины без этого не могут — и пусть забавляются. Им надо мыслить, искать объяснения в исторических параллелях, ну вот как необходимо им курить, выпить другой раз и при этом много разговаривать. Никогда ничего от этих разговоров не менялось в жизни, она была в этом совершенно уверена. Но вот что поражало Андрея: то, к чему он приходил сложными путями, оказывалось, она и так знает несомненно. Не по мысли — по чувству, в котором была совершенно свободна.

Он, конечно, не мог не знать, да и она, если спросить, сказала бы, что из них двоих умней он. Многие мысли ей были просто скучны, как скучны ей были газеты. И в то же время ей, как младенцу, бывало то открыто, чего не могли разрешить мудрецы.

Далеко где-то сверкнуло беззвучно из-под туч. Андрей подождал. Даже и не пророкотало.

Весь день давила сильная жара. Ближе к вечеру от горизонта, быстро закрывая небо, двинулись тучи; ветер гнал по улице пыль, белым пухом летели с кудахтаньем куры, мотались согнутые вершины деревьев, отрясая листву. В домах стало темно.

Потом вслед за сверкнувшей молнией низко над крышами ударили гром, в лампочках померкло, вновь разгорелось, грохнуло сильней прежнего, и свет погас. Небывалой сплы хлынул дождь, вмиг выполоскал сады, улица зашумела пенной глинистой водой, по воде босиком, прикрывшись мешками, рвущейся из рук целлофановой пленкой, женщины загоняли коров во дворы.

Гром вскоре откатился за дальний лес — оттуда и по-сверкивало, — а небо так и осталось низким, из него то сеялся, то принимался идти дождь.

— Они как-то жили гостепримно, — говорила Аня, — теперь так не живут. Всегда парод был в доме. Вечером в саду накрывали под электричеством стол. Сорокалетние мужья, красивые жены. Я только теперь это понимаю. Еще не начались болезни, и уже дети подросли. И уже что-то достигнуто в жизни. Помню, приходили братья Авдеенко, полярные летчики, красавцы. Доктор Никитин, комиссар гражданской войны. Все заслуженные люди...

— А если не заслуженные? Или жизнь не заслуженного не стоит ничего?

— Да, ты прав. Но я так их помню...

Опять пошел дождь, мир сузился, стал меньше, тесней: они двое и дети их рядом.

При разгоревшемся угольке сигареты Аня увидела его губы, сжатые жестко, горькие морщины у рта, увидела, как задрожал в пальцах уголек сигареты, когда он отнимал ее от губ, и сердце в ней повернулось. Он ведь мужчина, тот, кто должен защитить... Как часто в наш век самым беспомощным оказывался мужчина. И не его была вина.

Она целовала его мягкими, добрыми губами.

— Обожжешься. Сигарета же.

— А ты не кури, когда с женой. Жена, понимаешь, жена. Жену надо любить, а не злиться.

Она сама взяла у него сигарету из губ, выбросила за окно.

— И не о делах думать. Любить жену, любить.

— Что, сердце повернулось?

— А у меня все от сердца. Только от сердца. И не бывает иначе.

Такой он родной был сейчас. Она целовала его с закрытыми глазами. И так близко стало, так радостно обоим, так вдруг нестерпимо больно, казалось — вот сейчас лопнет сердце.

Потом они лежали молча, тихо. Слушали дождь. Аня так и заснула, носом уткнувшись ему под руку.

ГЛАВА VIII

Митя, бегавший к Анохиным, привнес новость: на речку они не пойдут, у них Мила заболела. Что с ней, ему не сказали, видел только — лежит на кровати поверх одеяла. Аня тут же предложила зайти.

— Да ерунда,— отмахнулся Андрей.— Съела чего-нибудь. Что с детьми бывает в летнюю пору?

Но по дороге с речки они все же зашли. Виктор и Зина обедали. Мила лежала на кровати с грелкой, ноги укрыты халатом.

— Ну как? — спросила Аня, стоя в дверях с кошелкой в загорелой руке.

Виктор хлебал окрошку, густо засыпанную зеленым луком.

— Здорово, товарищи начальники! — со двора приветствовал Андрей и положил локти на подоконник.— Не просите, не уговаривайте: сыт. Ну разве что пообедать, если уж так уж...

Он вспрыгнул, сел боком в окне, заслоняя свет.

— Чего вы нас перепугали?

— Шутки твои... — сказала Аня и покачала головой.

Сидя прямо, Зина от тарелки несла ложку к оскорблённо поджатым губам. «Кажется, в самом деле обиделись», — подумал Андрей.

Но с Зиной лучше не выяснять, это он хорошо знал. Тут если и не виноват, виноватым окажешься и уж так останется за тобой.

— Окрошка есть,— сказала Зина.— Вкус-сно!..

Она проглотила, и две продольные жилы на шее напряглись.

— Да нет, Зиночка, я пошутил. Вон дети во дворе, мы обедать идем.

Со двора слышны были восторженные взвизги: это оценилась Дамка, хозяйская собака, и Машенька обмирала вокруг щенят.

— Так что у Милы? — спросила Аня.

— В общем... — Виктор доедал, наклоня тарелку. Подавил отрыжку. — В общем, я вызвал машину. Пусть привыкают.

И приосанился. Сняв запотевшие очки — они всегда у него запотевали во время обеда, — протирал их, помаргивая. Надел, взгляд за стеклами прояснился.

— Вот так!

— Какую машину? — Андрей улыбнулся.

— Сходил на почту, позвонил Немировскому. А то целий день стоят, шоферы им фары надраивают. Опухли от сна.

— Ты представляешь, Аня, — заговорила Зина, — у нас ребенок заболел, а он говорит: «Не знаю, где машину взять...»

— Возьмет! — Виктор поднял широкую ладонь.

— Товарищ Бородин нашел время принять Виктора и Андрея. Да как он вообще может после этого?

Аня присела к Миле на кровать: ей не понравилось, как у девочки блестят глаза. Гладя ее по волосам, попробовала лоб.

— Ты думаешь, ей нужна грелка?

— Я им говорю, меня от нее еще больше тошнит. — В голосе Милы были слезы. И на руке своей Аня чувствовала ее горячее дыхание.

— Знаешь, я бы грелку не давала. — Она легонько подавила ребенку живот. — Больно? А здесь? А если вот так? Нет, я бы сняла. Зачем, если неприятно?

Она еще раз погладила Милу по волосам, глазами сделав Зине знак выйти. Во дворе тихо, потому что окна в дом были открыты, сказала ей:

— Ни в коем случае грелку! Это похоже на аппендицит.

— Не знаю, — сказала Зина.

В присутствии Виктора получалось так, что Аня понимает, а она не понимает.

— Я уж тогда совсем не знаю. Ничего такого она не ела. У меня простокваша была. Из погреба. Холодная. Очень вкус-сно. А тут Виктор бутылку кваса открыл, она тоже выпила...

— От кваса аппендицита не бывает.

— Ане сейчас, в общем-то, было наплевать, что Зина о ней думает. Когда болен ребенок, меньше всего надо заботиться о самолюбии родителей. Но она знала, что перевубить Зину невозможно. Ее можно испугать.

— Ты мать, ты смотри. Но я просто уверена, что это аппендицит.

— Да? Ты думаешь? Ее ночью рвало.

— Вы с ума сошли!

— Что ты пугаешь ее? — вступил Андрей.

— Я не пугаю. Я только хорошо знаю, что такое пропустить аппендицит. Вот это я хорошо знаю. Ты когда вызвал машину?

Виктор — он стоял в красной шелковой рубашке на выпуск, в джинсах, в тапочках на босу ногу — взглянул на часы. Плоские, они впечатались в шерсть руки.

— Да вот сколько... Час уже. Да... Часа полтора...

— Не понимаю, — волновалась Аня. — На поезде быстрей. Ты, Андрей на руках донесете. Наконец тут где-нибудь машину. Я бы ни за что не ждала.

Зина загорячилась.

— Ты представляешь, Аня, ребенок болен! Ребенок! А они не знают, где машину взять...

— Ничего, ничего. Найдут.

— Разве есть у нас что-либо дороже детей?

— Но это же твой ребенок! — не выдержала Аня.

— Вот именно! — сказал Виктор. — Если бы их детки — ого! Ничего, пусть почешутся.

Глаза у Виктора за стеклами очков были ускользающие.

— Виктор! — спохватилась Зина. — Разве час? Три часа уже прошло! Нет, как они могут? Это же так нехорошо...

Аня начинала чувствовать себя идиоткой.

— Глядите сами. Мы дома. Мне надо их обедом кормить. Но я бы не ждала.

Обедали, прислушиваясь все время. Только дети не умолкая рассказывали про щенят: какие они теплые, какие у них животы толстые.

— Я его прижала к себе!.. — Машенька даже зажмурилась от нежности, и отец, глядя на нее, начал таять.

— Не понимаю, — не выдержала Аня, раскладывая второе по тарелкам, — не могу понять!

— Ну принимай ты людей такими, как есть. Вот у тебя манера: всех исправлять, всех па свой лад переделывать.

мывать. Ты же знаешь Витьку. Хороший парень, но когда денег касается...

— Денег? А если жизни? И это твой друг!

— Нельзя же: либо по-моему, либо никак. А по их представлениям, мы не так живем. Наверное, не так. Честное слово, лучше, когда спокойней.

— Да? Ты бы так мог?

— Ну и плохо. Плохо, если хочешь знать.

— Плохо, что мы молчим. Если бы чужой ребенок на улице... А это твой друг — и ты молчишь!

Кончилось тем, что после обеда Андрей все же пошел к Апохинным. Шел и себя клял в душе. Он хорошо знал по опыту, что за сказанным вслух у Виктора и Зины всегда еще столько же, чего они говорить не хотят. И такие другой раз дальние расчеты, что они уже и сами толком не поймут. Начнешь добиваться — ты же дураком окажешься. Но в конце концов это их право. Даже к добру нельзя гнать людей палкой. Нельзя всюду и везде насаждать свои понятия, как это делала бы Аня, дай ей волю.

Однако вернулся он от Апохиных смущенный.

— Что-то мне не понравилось на этот раз. Зина плачет. У него ведь не поймешь: я думал, он со стариком говорил. Я еще удивился. Старик бы из-под земли добыл, раз такое дело. А не добыл, прислал бы кого-нибудь на такси. Оказывается, Немировского не было. Кому-то сказал, тот кому-то передать должен...

— И они ждали! — Аня смотрела на него и головой качала.— Знаешь, я тебя презираю!

— Ну, правильно.

— Мягкость твоя — это равнодушие. Тебе удобней не вмешиваться. Если ты можешь одобрять...

— Да я хоть словом...

— Ты такой же, как они, понял?

— Я с детства понятливый: три раза объяснят, уже начинаю понимать.

— И шутки твои...

— Молчу.

— С вечера — подумать! — с вечера болен ребенок, а они все как бы поденевше устронься. И эта ложь: «Разве есть у нас что-либо дороже детей?» Если ты сию же минуту...

— Уже иду.

— Нет, мы пойдем вместе.

Андрей сел на табуретку посреди кухни, вздохнул:
— Тогда я не пойду.

И руки на коленях сложил. Аня смотрела на него. Так смотрела, что у него волосы на макушке начинали потихоньку дымиться. Но он сидел с ничего не выражавшим лицом. И она знала: при всей его мягкости, сейчас с ним ничего не сделаешь. У него было однажды на фронте, когда он сел и не сдвинулся с места. Батальон отступал или рота — Аня никогда не могла запомнить, что часть чего и что во что входит, — так вот, они побежали, а он сел на землю. И они бежали мимо него. Потом начали останавливаться.

Лет восемь они прожили с Андреем, когда случайно она услышала об этом: приехал однополчанин, они выпивали вечером на кухне и тот стал вдруг вспоминать. Потом Митя много раз выпытывал у отца: «А что ты им говорил? А ты бы вверх стрелял... А почему ж они начали останавливаться?» Отец только улыбался: «Ну, может, подумали — я жаловаться на них стану». — «Кому?» — «Да, пожалуй что и некому». — «А если б не остановились? А тут немцы. Что тогда?» — «Тогда? Тогда, сын, могло тебя на свете не быть...»

— Хорошо, я не пойду, — сказала Аня. — Но ты даешь мне слово?

— Тебе бы дюжину детей, двоих тебе мало, — говорил Андрей, кладя лишнюю пачку сигарет в карман. — Может, мне с Виктором придется поехать.

— Деньги возьми. Дотянуть до таких пор!

— В наше время от аппендицита не умирают.

— Да? Тысячи по стране. Вот от такого невежества. Прежде рак научатся лечить.

У Анохиных творилось уже невообразимое что-то. До Зины дошло с опозданием, но теперь она была как безумная. То кидалась Милу одевать, то причитала над ней и до того запугала ребенка, что казалось — она и в самом деле умирает.

Андрей вызвал Виктора во двор:

— Вы хоть девочку-то пожалейте.

Виктор только сморщился жалко. Когда закуривал, дрожали руки.

— Вот что: я пойду на переезд. Какую-нибудь машину поймаю. Хочь грузовик. Но ты не жди. Найдешь раньше — езжайте. Договорились? Все равно переезда не минуете.

По деревне Андрей шел, а дальше побежал. Издали увидел грузовик с сеном, под которым и грузовика не было видно: огромный стог, покачиваясь, переваливал через переезд. Когда подбежал ближе, из-за грузовика вынырнул скрывавшийся в пыли «Москвич». Андрей кинулся к нему с протянутой рукой — в «Москвиче» подняли изнутри стекло.

А после сорок минут стоял на переезде, куря сигарету за сигаретой. Шлагбаум опускался, обдавая ветром и грехотом, проносился состав, и долго еще земля дрожала под подошвами. Вновь подымался шлагбаум.

Из будки вышла молодая стрелочница с синей эмалированной кружкой и хлебом в руке, села на вымытые деревянные ступеньки крыльца, натянула юбку на загорелые колени.

— Давно ждешь.

Андрей подошел ближе.

— Понимаешь, дело какое... — И рассказал ей.

— Дочка твоя?

— Приятеля.

Сладко причмокнув, стрелочница отхлебнула молока из кружки. Над верхней губой ее, как усы, темное пятно. И такое же темное пятно на лбу, словно загар неровно лег. Если верить примете, сын должен быть у нее.

Она отхлебывала розовое молоко и смотрела на закат. Тихо было вокруг. Пусто. Пахло мазутом от полотна. Железо, шпалы, щебенка, весь день калившиеся на жаре, теперь отдавали тепло, и вдали, где горели зеленые огни светофоров, блестящие рельсы зыблились над землей, словно превратясь в прозрачный пар.

Наконец на полевой дороге показалась машина. Она шла быстро, пыль далеко стлалась за ней. Попав под свет заката, блеснула на повороте ветровым стеклом. Стрелочница поставила кружку на ступеньку, пошла за будку, и шлагбаум начал медленно опускаться.

— Спасибо! — крикнул Андрей на бегу.

«Волга» уже приближалась к переезду, требовательно сигналя.

Андрей подбежал, потянул дверцу на себя:

— Шеф!

И всунулся под верх машины, не замечая на своем лице искательной улыбки.

— Шеф, выручай. Ребенок заболел... Целый час стою. Ты не думай, не заразно. Довезти только.

Не снимая носка летнего ботинка с газа, шофер слушал, смотрел большими блестящими глазами. Кивнул:

— Все понятно. Не могу.

И глянул на дверцу, за которую держался Андрей.

— Слушай, шеф, тут всего два километра!

Шофер постучал ногтем по стеклу автомобильных часов:

— Сколько на них, прочитай.

Было без трех минут восемь.

— Уже должен быть. Машина государственная, я человек государственный...

Голос тихий, сочувственный, слова заученные. А сам молодой, в свежей навыпуск рубашке на загорелом теле. Откинулся на спинку сиденья, смотрит ясно. Должно быть, по дороге искупался в речке: жесткие волосы мокры. Такой одним своим хозяйственным глаз радует. Да еще в чистой машине.

Андрей сел рядом, захлопнул дверцу за собой.

— Пойми, все равно не уйду. Час ждал.

— Машина государственная...

— А мы? Другого государства? Два километра туда, два обратно,— Андрей достал пять рублей,— оглянувшись не успеешь.

Шофер спокойно посмотрел на деньги, посмотрел назад на чистые чеклы.

— Да нет, нет, не думай! — поспешил заверить Андрей.— Девочка большая, нигде ничего не напачкают: аппендицит.

— Эх, режешь ты меня без ножа! — Шофер втиснул деньги в прорезной карман туго обтягивающих светлых брюк. Заторопился.— Приедем, а там еще ждать небось?

— Нас ждут!

Андрей высунулся, радостно махнул стрелочнице. Шлагбаум начал подыматься.

— Во-он что! — теперь только сообразил шофер. И пообещал: — Буду ехать обратно — вгоню ей чертей!

Андрей сбоку наблюдал его. Он знал эту породу. Но спросил простовато:

— Кого возишь?

Шофер повернулся голову, похолодевшими глазами глянул на него:

— А тебе зачем?

— Все ясно. Вопросов не имею, молчу.

- Ты понятливый,— насмешливо похвалил шофер.
— Ну так! Ты, кстати, на часы не гляди, они у тебя
бегут. Вот точное время.
— Что за фирма?
— Наши. «Полет». Направо, направо. И до магазина.
Вон под железной крышей.
— Сколько платил? Пятьдесят пять рэ?
— Вроде.
— Я себе такие хотел. В экспортном исполнении. Ко-
нечно, можно достать.
— Часы хорошие,— хвалил Андрей, радуясь, что он
хоть этим заинтересовался.— Десять суток — ни разу не
подводил. Вот в этот проулок давай. Видишь — ждут!
Я тебе говорил.

У калитки караулил Виктор. Завидя машину, кипулся
в дом.

— Давай скорей! — кричал Андрей, на всякий случай
не вылезая.

Пока разворачивались, Виктор вынес на руках дочь,
Зина и Аня песли вещи.

Обернувшись назад, шофер хмуро смотрел, как эти
люди, пригибаясь, будто кланяясь ему, лезут в машину,
усаживаются с ребенком на чистых чехлах.

— Кошелку не ставьте!

— Я молоко забыла выключить! — в последний мо-
мент из машины крикнула Зина.

— Не думай, посмотрю! За всем посмотрю! — Аня
уже махала им, торопила.

Леша, хозяйка, все их дети, человек пять соседок
стояли, пригорюнясь, словно отпевать собрались. Под
ногами у них металась охрипшая от лая Дамка.

— Ну, все, что ли?

— Поехали.

От трех калиток, как со старта, рванулись собаки
под колеса. Когда сворачивали в проулок, Андрей обер-
нулся. Ани уже не было, женщины стояли подпершись,
обсуждали событие. Серединой улицы бежала обратно
Дамка, мотая из стороны в сторону мокрыми от вислыми
сосками.

Миновали магазин, к крыльцу которого прислонено,
как всегда, несколько велосипедов, уже переезд показал-
ся, как вдруг — Зинин истерический крик:

— Мила! Доченька-а!..

У Андрея от этого ее крика холод пошел по затылку.

Когда обернулся, увидел Зинино безумное лицо, залитое слезами.

— Она... она... глаза закрыла...

— Господи, да что ж ты так! У меня и то...

Зина плакала, Мила с перепугу плакала, Виктор с усилием улыбаться белыми, располневшими губами.

— Ну, пассажиры попались! Знал бы — да ни за что! Такие потрясения переживать...

Они остановились у закрытого шлагбаума. Мимо проходил товарный состав, мелькали, катились колеса по прогибающимся рельсам, сухая щебеночная пыль росла над полотном, над мчащимися платформами с лесом. Шофер стоял рядом с машиной, смотрел, рукой держась за открытую дверцу.

Андрей сказал быстро:

— Из машины не вылезать!

— Как? Ты разве не договорился? — забеспокоилась Зина.

— Он до станции и то не брал.

— Нет, мы не можем. Как же так? Надо было договориться. У нас ребенок. Виктор!

Сжав тонкие губы, Виктор соображал:

— Правильно!

— Надо было ему сразу сказать. Как же ты так, Андрей?

— Тише!

— Он не должен, он не имеет права.

Мелькнула последняя платформа, шофер задом попятился в машину. Осторожно переехали пути, и тут он прибавил газ, погнал по грейдеру. Белая известковая пыль вихрилась позади, в глаза — красный свет заходящего солнца. Он блестел снизу на провисших в воздухе телеграфных проводах. Сквозь рокотание шин по щебенке Андрей слышал за спиной Зинин шелестящий взволнованный шепот.

Развилка. На станцию вправо, в город прямо. Андрей положил руку на локоть шо夫ера.

— Шеф, прямо.

— Что-о?

Резко, так, что всех влево потянуло, шофер крутанул к станции.

— Товарищ, послушайте, товарищ! Вы же не можете так поступить! Виктор, что же ты молчишь? Товарищ, вы же советский человек.

Виктор схватил его за плечо:

— Ты!

— А ну не лапай!

Взвизгнули тормоза, кинуло всех вперед.

— Вылезь!

— Вы не имеете права! Виктор!.. Товарищ!..

Всей ладонью шофер давил на сигнал. Машина стояла позади дощатой станции и сигналила так, что уши закладывало. Какие-то люди на платформе оборачивались.

— Милиция! — выскочив, орал шофер. И снова давил сигнал.— Милиция!

Зина плакала, что-то кричала, но голоса не было слышно. Андрей сидел белый. В замке торчал ключ зажигания: брелок в виде шины покачивался на цепочке. Решение было мгновенным: сесть за руль — и пусть догоняет. Но в следующий момент он выскоцил из машины.

— Не ори! Чего орешь?

— Милиция!

— Ори, ори! Громче.

Никогда в жизни не хотелось ему так ударить. Бить в это орущее лицо. Но уже бежали сюда по платформе люди, выскоцил человек в железнодорожной фуражке. И, заслонясь от машины спиной, Андрей отстегивал, срывал с руки часы.

— На! Бери! Все равно хоть тут милиция, хоть танки вызывай...

— Да? А вот поглядим!

Но видно было — колеблется. И, ненавидя, Андрей униженно просил:

— Бери, чего там... Хотел такие? С ребенком никто не выгонит, пойми. Шеф, давай по-хорошему. Честное слово, ну?

— А голову с меня снимут, это как?

— Шляпу наденешь.

И совал, совал часы в потную руку.

— Бери, не обижайся. Да ладно, ладно, бери.

Всунул наконец.

— Людям сделаешь, а потом они же тебе...

Но уже садился за руль. На виду прыгавших с платформы, бегущих на крик людей развернул машину и погнал обратно к грейдеру.

Андрей сидел рядом с ним, весь еще дрожа. Сзади всхлипывала Зина. Виктор — затяжка за затяжкой — нервно докуривал сигарету.

ГЛАВА IX

— Был бы пистолет, я б его, подлеца, застрелил! — Виктор сжал виски и застонал, раскачиваясь. — Вот они живут, им ничего, сволочам таким, не делается. Они живу-ут!

Въехавшая в ворота «скорая помощь» осветила его, согнутого на скамейке, и покатила к приемному покою. Попадавшие в свет ее фар больные в халатах и пижамах ослепленно жались к кустам.

Проехала, за красными стоп-сигнальными огнями ее скользнула темнота, и опять только шарканье больничных туфель по гравию, голоса.

Больница была старая, трехэтажная. Оштукатуренная и окрашенная в желтый цвет, с белой колоннадой посередине, она всем видом своим и столетними липами напоминала городскую дворянскую усадьбу прошлого века.

Андрей и Виктор сидели рядом на скамейке, курили. Операция шла около часа, и уже было известно, что аппендицит гнойный, запущен. Зина дежурила под дверьми операционной, а они сидели здесь.

И всего-то в тридцати метрах от них, за больничной железной оградой была улица, неоновый свет, мчались машины, в кафе и ресторанах полным-полно, на тротуарах толчая, громкие голоса, смех. В такие летние вечера, когда в домах, нагревшихся за день, духота, весь город на улице, как в праздник. Только у тебя песчастье.

— Почему, почему со мной это должно было случиться? — Виктор огляделся затравленными глазами. — Именно теперь, когда все так складывается. Именно теперь... Ты знаешь, что сегодня пятница?

— Пятница. Ну и что?

— В прошлую пятницу мы же сидели с тобой в баре. Понимаешь? За все в жизни приходится платить.

— Брось, Витька!

— Не-ет, я злаю. Это не случайно. За все, за все...

— Тысячи совпадений, только мы не замечаем. А когда случится...

По дорожке под фонарем провели молодую плачущую женщину. Под руки вели ее старик и старуха, что-то говорили. Старик нес кошелек с детскими вещами.

— Если Мила умрет! — Виктор бил себя кулаком по колену. — Если она умрет...

— Ты обалдел окончательно! Что ты несешь?

Виктор затягивался сигаретой как всхлипывал. У него озабочено постукивали зубы.

— Тут, когда под этими дверями сидишь, черт-те что в голову лезет,— говорил Андрей, чтоб отвлечь.— Когда Машенька должна была родиться... В пять утра мне сказали: «Началось». Сижу во дворе, вот как мы сейчас. А там у скамейки труба из земли торчала. Как ствол трехдюймовки. Курю и бросаю окурки в трубу. А в ней, как в пепельнице. Не один я так сидел. Позвоню в дверь — «Папаша, не волнуйтесь». Опять сижу. А голуби эти... Зобы лоснятся, ходят по двору на красных лапах. И воркуют как стонут. А мне все ее стоны слышится. Позвоню опять — «Папаша, не волнуйтесь. А вы как думали?» Сходил еще за папиросами, опять жду. Стыдливость эта наша дурацкая, боишься лишний раз надоедать. Она, оказывается, погибнула могла в тот раз, сознание уже теряла. А они христосуются над ней: пасха как раз была. И врач дежурный один на всех. Аня их просит: «Вы мужу скажите, он здесь где-нибудь. Он за профессором поедет». Так еще возмущалась акушерка: «До чего я этих женщин презираю! Вот ведь помирает, а о мужиках думает». Ну, кажется, я тебя успокоил.— Андрей засмеялся.— Вот так дочка нам далась, чуть мать на тот свет не отправила. А уж передумано было...

— Никогда не прощу себе. Если случится — не прощу!

— Отец! — Андрей положил ему на спину ладонь. Спина была потная под рубашкой.— Ну что ты, Витька?

Виктор курил, отворачиваясь:

— Ты правильней живешь.

— Брось.

— Нет, я знаю.

— Это со стороны. Мать моя восьмой была у бабки. А мы над одним, над двумя трясемся. Не меньше трех детей должно быть, иначе что за семья?

— Да... Да-а... — ронял Виктор в ответ тому, что не говорил вслух.— Она ведь у нас... С детства не очень удачная: сердце. С рождения еще. Да и не только... Во время операции это ведь опасно, а?

И спохватился в тот же момент:

— Ты только Зинушке не говори. Девочка, ей замуж выходить.

— Ну что ты! Зачем?

Но все же Андрей почувствовал себя несколько ошарашенным. Дети их с первого дня росли на глазах, и вот

за четырнадцать лет слова не было сказано. Правда, однажды как-то Виктор расспрашивал их про знакомого врача-кардиолога: кто? что? сколько берет? Расспросил подробно, но издалека. А когда Аня предложила поговорить с врачом, удивился: «Зачем? Нет, нам не нужно». Андрей запомнил это потому, что в тот раз даже некоторое охлаждение наступило. Аня чувствовала себя обиженной: она старалась, а из нее дуру сделали. Он, как всегда, уговаривал не принимать всерьез. В конце концов, никто о своих детях всей правды не рассказывает. Нельзя на это обижаться, нельзя осуждать.

Нельзя-то нельзя, но если Мила — сердечница, как же они ждали столько?

— Нам еще с вечера надо было,— говорил Виктор.— Леша предлагал сбегать за машиной. А я подумал... Я тебе, Андрюша, честно говорю... Подумал: какого черта! Есть же машины, ездят на них. Пусть пришлют! В конце концов, заслужили мы. Я знаю, ты бы не стал ждать.

Он жал на самый больной зуб, болью заглушал боль.

— Ну что ты себя грызешь?

— Ты в такие минуты не рассчитываешь, я знаю.— Растроганными глазами Виктор смотрел на друга, и ненавистная обида, зашевелившаяся было у Андрея в душе, исчезла.— А мы с Зинушкой... Ну зачем, зачем все, если ее не будет? Ведь все для нее!

— Слушай меня: кончится все хорошо. Я не успокаиваю, я знаю. У меня был аппендицит, а у Ани какой был!

— Да? А почему же врач?..

— Врач обязан. Мы, родители, жуткий народ.

— Да? — Виктор жалко щурился.— Думаешь? — Взглянул на часы.— Долго как. Что ж так долго?

Открылась дверь отделения, освещенная снаружи. Вышел врач в белом халате, в белой шапочке, оглянулся.

Они уже оба стояли. И с места двинуться было страшно.

Врач закурил. Стоял и курил на воздухе, в открытой двери под фонарем. Мимо него — тук, тук каблучками — пробежала в отделение полненькая золотоволосая, в перевязанном белом халатике. Когда протискивалась в дверях, она ли его выставленной грудью придавила, он ли ее придавил? Раздался смех.

Сели опять на скамейку ждать. Виктор только взглянул да вздохнул: тут дело о жизни ребенка идет, а они покуривают, смешно им. Дождешься от них сочувствия...

Врач докурил. Красный след в воздухе прочертила брошенная сигарета, и дверь отделения, все это время распахнутая в белую глубину, закрылась. Только горел над ней фонарь.

— Вот так не ценишь, пока не ударит по затылку,— говорил Виктор.— Неужели должно случиться, чтобы начать ценить? Ведь ничего, ничего не надо!..

— Ты посиди, я все-таки схожу узнаю.

Андрею уже и самому тревожно было.

— Думаешь? Обождем. Обождем. Андрюша, я даже не знаю, что бы я без тебя делал.

— Перестань, Витька.

— Нет, я хочу сказать.— Виктор положил ладонь на его руку. И смотрел в лицо любящими, растроганными глазами.— Вот так один, здесь... Андрюша, я все знаю. Все! И этого я тебе не забуду никогда!

— Знаешь, Витька, если мы еще считаться начнем...

— Я хочу, чтобы когда-нибудь...

— Да перестань!

— Нет, я хочу. Я имею право.

— Имеешь, имеешь.

Чудак Виктор. Из двух возможных — отдавать и брать — приятней отдавать. А он отплатить хочет.

Через две недели, когда минули волнения и Мила была уже дома — ни в лес, ни на речку она пока еще не ходила, целый день лежала с книжкой в саду,— к Медведевым пришла Зина, очень возбужденная.

— Андрей! Нет, ты только пойми меня правильно... Я даже не знала. Оказывается, ты отдал шоферу свои часы?

Андрей брился перед зеркалом, но и с намыленными щеками было видно, как он покраснел.

— Ты тоже не знала? — Зина перехватила Анин взгляд, и голос ее стал разоблачающим.— Вот видишь...

Самое стыдное было то, что он действительно не рассказал Ане. В тот момент, в машине, все было само собой разумеющимся. Но потом чего-то вроде стыдно стало. Он знал первый вопрос, который Аня задаст: «А он бы отдал за тебя?» Тут Аня была ревнива.

— Почему ты думаешь, что я не знала? — ровным голосом спросила Аня за его спиной.

— Нет, мне показалось. Ты, пожалуйста, Аня, не думай ничего. Просто Андрей как-то нам ничего не сказал...

— Но вот ты же знаешь. Надо думать, не от шофера. И потом, как ты вообще представляешь себе: он, что, должен был посоветоваться?

— Я не знаю, конечно, но все-таки мы тоже... Хотя бы тэт на тэт.

Андрей, выбравший угол рта, едва не прыснул. Зинаино уверенное «тэт на тэт» и еще «жаба грудей» доставляли Ане всегда огромное удовольствие.

— Я все-таки не понимаю,— говорила Аня, и в зеркале за спиной у себя Андрей видел ее смеющиеся глаза.— Часы его, имеет он право дарить кому захочет?

— Нет, ну как же? Если бы он сам... Но ведь и мы тоже в какой-то степени...— Зина была вся в волнении: ей и сказать хотелось, и надо было не сказать лишнего. Челочка на ее лбу трепетала.— Мы бы тоже как-то участвовали, если б знали заранее. Шофер — конечно... ха-ха... Почему ж ему не взять?

Андрей повернулся от зеркала.

— Мила как?

— Мила, конечно, лучше сейчас. Это я должна прямо сказать.

— Ну вот видишь. Значит, все слава богу.

— Нет, но мы обязательно со своей стороны...— Зина становилась уверенней, по мере того как позиции обеих сторон прояснялись.— Мы непременно, как же так? Мы так не можем. Хотя бы в какой-то мере.

— Слушай, мы ведь поссоримся.

— Нет, мы так не можем.

— Вот и хорошо.

— Нет, нет, Андрей! Как же так? Встань на наше место. Ты встань.

— А сидя можно?

Зина не враз поняла. Не потому, что она вообще трудно понимала, а потому, что мысль и слух ее были пачленены совсем не на шутки.

— Ты все шутишь, Андрей. А я думаю, и ты бы на нашем месте не захотел! Если уж так уж, тогда мы ко дню рождения... Вот будет у тебя день рождения, и мы со своей стороны обязательно... Так пельзя. Мы тебе очень благодарны, но мы не хотим быть должны...

— Дурак ты, дурак! — сказала Аня, когда Зина ушла.— А я рада. Если ты мог не сказать мне...

— Перестань!

— Нет, я хочу, чтоб тебе было стыдно. Ты что же, думал, что я...

— Да нет, нет!

— Я-то пойму, потому что я тебя знаю. Но ты! Столько лет прожили вместе — и ты не знаешь до сих пор...

— Ну не обижайся.

— Участвовать пришла... Дочь у нее тоже при участии?

— Знаешь, — робко сказал Андрей, — они ведь отставали здорово. И даже забегали вперед...

— Да? А мне всегда казалось, они точно шли.

— Что ты! Останавливались сколько раз.

— Подумать! И это были самые точные часы в нашем доме.

Она улыбалась. А в душе было больно за него. «И это твой друг! — хотелось сказать ей. — Да что ж его пытали? Каленым железом жгли? Кем надо быть, чтобы позволить ей прийти?»

Она звала Виктора, могла представить, как это обсуждалось. Как Зина пошла сама, потому что он тряпка, а она лучше сумеет сказать. И ему удобно: раз по ее сам, значит, ничего не было. В крайнем случае, глаза отведет в сторону.

Но ничего этого она не сказала. Его ей было жаль. Кто еще в целом мире пожалеет его, если не она?

— Только уж как хочешь, но день рождения твой в этом году отменяется. А то дождемся, что она за ручку поведет тебя покупать часы. В складчину.— И тут Аня позволила себе маленькое удовольствие.— Чтоб ты «встал» на ее место.

ГЛАВА X

Когда на лето вывозили детей в деревню, Андрей говорил: «Ну, полдела позади. Осталось вернуться». Это первое утро в деревне — а впереди все лето! —казалось бесконечным. Дети высакивали во двор как в мир. И все в этом мире только начиналось. Еще весенней была листва на деревьях, черными — грядки огородов, а лес — без грибов. За наседками на ножках-соломинках катились

желтые выводки пушистых цыплят. Народившиеся за весну телята, отнятые от матерей, недавно выгнаны на молодую траву.

И день, когда снова в школу, был так далек, что можно и не думать.

А потом как-то все быстро свершалось. Ночные зарницы освещали хлебное поле за деревней, а в садах в темной листве — белые яблоки. Цыплята бегали голенастые, с хищными клювами, у телят торчали короткие рога, а из горла рвалось грозное мычание, и глаз посвечивал диким фиолетово-красным огнем. И дети, открывшие за лето не меньше, чем за год узнают из книг, вытянувшиеся, загорелые и как будто похудевшие даже, становились не похожими на себя.

Первое купание дома в ванной смывало с них половину загара. Чистых, с вымытыми головами, Аня рассказывала их по постелям: «Спать!» — и в доме после переезда, после уборки наставала наконец тишина.

Хорошо было проснуться утром, сознавая, что все сделано и впереди до работы еще целый день.

— Рук не чувствую,— жаловалась Аня, с удовольствием оглядывая свое стерильное царство; все в их квартире она любила.— Ты посмотри, как пальцы опухли. Вот буду сегодня лежать целый день, ухаживайте друг за другом.

Но мысль «чем их кормить?» скоро подняла ее на ноги.

— Напеку я вам оладьев на завтрак.

— Ты же хотела лежать весь день.

— С вами полежишь.

Первой из детей в это утро проснулась Машенька. В рубашке до полу, сонная, глаз не раскрывая, протопала босиком к матери в постель. И только бухнувшись под одеяло, обнаружила отца.

— Ты какой жесткий! Все колени об тебя отбила,— говорила она, умешаясь у него под рукой и ерзая недовольно.

Длинноногая стала дочка за лето.

— Не шурши газетой, я спать буду. Фу! Она керосином пахнет. Зачем ты ее читаешь?

Спать она, конечно, уже не могла и, раскрыв ясные-ясные глазенки — Анины, только веселые всегда,— занялась любимым делом: начала считаться родинками.

— Смотри, у тебя на плече родинка. И у меня тоже. Мы — родные. И вот, и вот. А этой у тебя нет, ага! Это мамина.

Митя услышал их голоса из другой комнаты и появился в дверях босой, волосы после мытья торчком, жмурится от встречного солнца.

— Про что ты ей рассказываешь?

В кровать лезть стесняется: все же большой. А хочется.

— Лезь к нам,— сказал Андрей.

И Митя тут же забрался под одеяло, под левую отцовскую руку.

— И у Димки этой родинки нет! — кричала Машенька.— Ага, ага! У одной у меня мамина родинка. Мы с мамой — родные. А он — не родной!

Они уже затеяли возню, отталкивая друг друга от отца. Как котята. В ушах звенело от их голосов:

— Пап, скажи ему!

— А чего она?..

Он лежал между ними с газетой в руках. Вообще-то надо было позвонить Немировскому, узнать, как все же дела. Еще вчера, едва вошли в квартиру, телефон потянулся к себе. Но удержался. Хорошее не уйдет, беда сама разыщет. А портить себе настроение на ночь... Но проснулся с этой первой мыслью. И что-то опять удерживало.

— Э, нет, драться не надо, сын.

— Да? А ты посмотри, чего она!..

— Но ты же старший. Парень.

А зачем звонить? Сейчас ему хорошо. И пусть так будет.

— Лежат!.. Нет, вы посмотрите на них! Я там боюсь стукнуть, звякнуть: спят, думаю. А они вон что, оказывается...— говорила Аня с веселым ужасом в глазах, стоя в двери. Не было для нее на свете зрелища радостней: отец и дети вокруг него.— А ну марш! Чтоб через пять минут все были умытые. У меня завтрак готов. Быстро, быстро, как муравьи, перетаскать все из кухни на стол!

После завтрака неожиданно явились Анохины: Виктор и Зина.

— А мы знаете что? Нам вдруг идея пришла. Аня, у тебя есть какая-нибудь ваза? — громко говорила Зина, цветами прокладывая путь к миру.— Мы вдруг подумали: а что, если нам отметить этот день?

— ...подумал он,— из-за ее спины подал голос Виктор.

— Виктор, не мешай! И вовсе не он это подумал, а я. Аня, дай же вазу. Или ты хочешь, чтоб я так и стояла с цветами в руках, как... как...— И, застыдясь, выговарила наивно: — Как дурочка?

У нее это ласково получилось, будто не «дурочка» назвала себя, а «козочка».

— А цветы зачем?

— Вам.

— Нам?

— Конечно!

— Андрей, у тебя что, день рождения?

— Ну как же ты не понимаешь? Если хочешь знать, это даже принято.

— Вот именно.

— Виктор, не мешай! Знаешь, Аня, на Западе всегда приходят в дом с цветами. И надо, чтобы цветов было нечетное число.

Аня пошла на кухню, взяла трехлитровую банку из-под алма-атинских маринованных яблок, на которой еще наклейка сохранилась, налила воды и принесла. Зина даже растерялась, бедная: три ее тонких гладиолуса — нечетное число,— прилично обернутых в целлофан, и пузатая банка с водой.

— Нет, Аня, нет же... Нужно высокую, тонкую. Постой, у тебя же есть хрустальная ваза.

— Это надо искать: я еще не разобралась после переезда. Андрей, пойди принеси бутылку из-под кефира. И помой заодно.

«Ну язва!» — смеялся в душе Андрей, наливая в бутылку воды.

Цветы Зина установила сама: она знала, как нужно это делать.

— Цветы очень украшают жизнь,— говорила она, расправляя гладиолусы.— Да! Так вот мы подумали с Виктором: надо же как-то отметить окончание отпуска.

— Женщины захотели шашлыки! — вскричал Виктор.

— Все твои женщины сразу? Нет, мальчики-девочки,— сказала Аня,— мы к концу отпуска не о ресторанах думаем, переходим на подножный корм.

— Мы приглашаем!

— Я вот им сегодня оладьев к завтраку напекла.

Кстати, могу угостить.

— Аня, ты не поняла: мы вас приглашаем! Андрей!

— Нет уж, нет уж. Да у меня и дел полно.

— Вот так встречают полезную инициативу, — бодрился Виктор.

Кончились тем, что мужчины пошли на кухню курить.

— А может быть?

— Да нет.

— Жаль. Вот так и жизнь пройдет, как эти самые... Азорские острова. Где они, кстати?

— Где-то в Атлантике.

— А то все: Азорские, Азорские... А где они? Небось живут себе там, забот — никаких. Ходят все голопузые: тепло, Гольфстрим кругом.

Оба глядели мимо, пепел сигарет поочередно сбивали в раковину.

— Ты не звонил старику? — спросил Виктор.

— Не-а. А ты?

— Нет их никого. Воскресенье, закатились куда-нибудь, чего им? Там же дочь вернулась. С мужем разошлась. Но я думаю, если что, нас бы нашли.

— Должно быть, так.

Виктор открыл кран, сунул в струю воды зашипевшую сигарету. И вдруг поднял глаза. Такие они были томящиеся, жалкие, что-то само шевельнулось к нему в душе:

— Эх ты!..

— Андрюша, признаю!

— А призпаешь, — Андрей оглянулся на дверь, — тогда вот что, раз признаешь... Аня правду сказала: холодные оладьи в самом деле есть.

— Так под холодные еще и лучше, — сразу попал в тон Виктор.

Была приоткрыта дверь холодильника, прямо там, за ней, налито. Виктор смотрел на друга растроганно.

— Андрюша, мы знаем за что!..

Когда в коридоре послышались Аинны шаги, оба уже курили с повеселевшими глазами.

— Вам не надоело тут? — спросила Аня, злясь, что он оставил ее вдвоем с Зиной. — Чем это у вас тут пахнет подозрительно?

— Чем?

Оба начали руками разгонять табачный дым. Аня покачивала головой. То самое, что он только что говорил Виктору, сказала она ему сейчас одними глазами: «Эх ты-и...» И пошла открывать дверь: кто-то звонил.

— Борька! — раздался оттуда ее радостный голос.

Вот кому она всегда была рада: Борьке Маслову, самому беспутному из их приятелей. Стихийно талантливому, невообразимо ленивому, вечно неустроенному. Аня была убеждена, что, если бы Борькина жена была человек, Борька уже давно был бы скульптором с мировым именем.

Борька заговорил голосом похитителя:

— Мужа нет?

— Нет мужа! — крикнул из кухни Андрей.

— Бери самое необходимое, бери детей...

— Борька! Ты все грозишься только. Увез бы ты меня от них, закабалили совсем.

— Зачем добивалась равноправия?

— Так они мне все надоели!

— А муж — в первую очередь, — говорил Андрей, выходя в коридор.

— Мы застигнуты! Побег отменяется. Но после всего, что было, я не могу оставить тебя с ним одну. Я тоже остаюсь здесь.

Борька повесил на вешалку свою спортивную куртку, чмокнул Аню в щеку, огромной своей лапицей пожимал руки Андрею и Виктору.

— А ты, кажется, из средневесов переходишь в первый тяжелый вес.

— Мелкая месть озлобленного мужа-мещанина. Пренебрежем.

Аня взгляделась внимательно.

— Борька, у тебя что-то случилось. С Ольгой?

— Как всегда: Брестский мир.— Он оглядывался, ища тапочки.— «И сказал бог: сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И за то будут даны тебе тапочки.

— Не будут даны,— сказала Аня.— Иди так, на улице сухо.

— Но микробы! На моих подошвах до двух миллиардов микробов. И все болезнетворные.

— Еще смеяться будет! — Аня открыла дверь в комнату.— Иди!

— Зиночка! И как всегда — прекрасна. Постой, постой: я вижу что-то новое в прическе, что-то новое в лице.

— Оставь, пожалуйста.— Зина застыдилась, как девочка, и рукой на него махнула.

— Изведать неизведенное, изваять неизвяянное...

— Ты все обещаешь.

Борька Маслов повалился на тахту, на застонавшие пружины.

— Вот дом, где я дома. Единственный дом на земле.

Аня всплеснула руками:

— Опять!..

— Приму поношение из уст твоих и чарку из рук твоих.

— Да? Можешь не надеяться.

— Ибо не то, что из уст, а то, что в уста.

— Из рук моих ты получишь сейчас завтрак.

С тем Аня вышла на кухню. Борька подложил себе диванную подушку под шею — он сидел, опервшись спиной о стену, — подтянул к себе лежавшую на тахте книгу. Любимое его занятие, любимейшее положение: с книгой на тахте, зажмуря левый глаз. Чаще на боку лежа.

Однажды в момент своих семейных разногласий он прожил на этой тахте не вставая четверо суток. Дети затевали на нем игры, он засыпал под их голоса, просыпался, прочитанные книги шлепались на пол; стопка их под конец сровнялась с тахтой. Разговаривал он с детьми преимущественно кратко: «Приблизьтесь!.. Изыдите!» А они обожали его. И сейчас, едва только голос его раздался, две головы всунулись в дверь: одна над другой. Две пары карих Аниных глаз смотрели на него. Таким от них потянуло теплом, что Борькины толстые тубы сами поплыли в улыбке. Но он тут же остановил кинувшихся к нему детей.

— Изыдите, аборигены, с глаз моих. И обследуйте куртку.

А когда дверь за ними закрылась, сказал Андрею:

— Что делается, что делается! Лето не видал — ну, ну! Девка — красавица растет. Еще наплачешься с ней.

— Пока что гадкий утенок, — говорил Андрей обращенно.

— Помолчи. Твоей заслуги тут никакой. Авторство едва-а проглядывает.

Отвернувшаяся к окну Зина тем временем быстро на часала челочку перед раскрытой пудреницей. Она, быть может, и помаду обновила бы, но Виктор сказал самолюбиво:

— Ты смотри, что с бабами нашими происходит!

— Виктор! Какие ты пошлости говоришь! Фу!

— Спи спокойно, дорогой товарищ, — заверил Борька. — Разве Зиночка позволит? Зиночка не позволит.

— Вот правильно, Борис,— сказала Зина.

Вошла Аня с подносиком в руках.

— Может, ты все-таки к столу пересядешь?

На красном глянцевом помидоре дрожали капельки воды, огурец — вчера сорванный с грядки, еще колючий; двумя масляными нерастекшимися желтыми глазами смотрела со сковороды яичница; на пышных оладьях вздувались и лопались радужные пузыри — вот так подавалось Борьке в их доме! Сидя перед всем этим великолепием, он только руками развел и взмолился жалостно:

— Аннушка!

— И не думай.

— Аньют! Единственно чтоб оценить.

— Меня нет.

— Не горло зачествело — душа.

Аня глянула на него, вышла. Принесла в чайной чашке, будто от самой себя тайком, как приносят в кафе, где водку подавать запрещено.

— Хотели провести этот день с детьми. Последний день перед школой. Так вот на тебе...

Борька поднял чашку.

— Тост мой безгласен, ибо чувства слов превыше.

Он шумно выдохнул воздух, зажмурился, выпил.

— А этим двум не давай. Творческие работники, им вредно.

— Эти уже сами успели. Пойду поставлю чай.

Андрей следом за нею вышел на кухню. Аня мыла под краном заварной чайник.

— Дурак ты, дурак! — сказала она.

— Ну ты же знаешь Витку. Надавила Зина на него...

— Надавила... Ведь вот умный человек, а дурак. Дай заварку! Заставить можно того, кто сам этого хочет. Роли у них распределены. За спиной жены удобней. А то бы заставили его, если б не захотел...

— Он и так расстроен.

— Расстроен... Вот Борька никогда не предаст. На, отнеси. — Она сунула ему в руки солонку.

Борька ел, поглядывая сузившимися, смеющимися глазами.

— Аннушка! — вскричал он, когда Аня вернулась. — Да отчего же у тебя всегда так все вкусно? Брось ты его, соединим судьбы.

— Только с моим характером. И буду бегать к ним обеды готовить. Нет уж. Да и пропьешь ты меня.

— Не исключено.

— Нет, посмотри, как они! — с глазами, разбежавшимися от любопытства, и явно задетая, говорила Зина.— Аня так ухаживает, так она ухаживает за ним... Лично меня бы Виктор ревновал.

— И здря!

— По крайней мере, мне хоть можно спокойно помирать. Это года два назад, маленькие они еще были,— Андрей улыбнулся,— подходит ко мне Митя: «Пап, а мама от нас не уедет?» И Машенька за ним скрывается. Оба перепуганные.

— Уж твоя безгрешная жена!.. Ладно, благодарности все равно не заслужу.

— Пусть вот им лучше Борис расскажет, как он генеральше цветы подносил,— сказал Виктор.— Расскажи ей, расскажи, а то она мне не верит.

— И не верю! — подзадорила Зина.

Прижал руку к сердцу, Борька молча поблагодарил Алю. На ее: «Чаю?» — покачал головой и снова перелез на тахту, книгу на колени, подушку под шею. Кончилось тем, что Виктор сам при нем стал про него рассказывать.

История была давняя, военных лет. Сбитый в сорок первом году, Борька из госпиталя попал в училище: готовить курсантов. На три его рапорта с просьбой отправить на фронт ответа не последовало. Четвертым рапортом старший лейтенант Маслов добыл себе арест и возможность усвоить на досуге, что своими рапортами он непринято тревожит совесть старших по званию. Как будто он один хочет на фронт!.. Но родина потребовала, чтобы они здесь, в тылу, ковали победу. Они куют, а он, видите ли, не желает.

Борька это усвоил. Однажды в театре в антракте Борька вошел в ложу, где сидел начальник училища, и почтительно поднес заалевшей генеральше, молодой его жене, огромный букет роз. Так Борька мгновенно был отправлен на фронт.

— Неправда! Нет, скажите, Боря, это правда? — волновалась Зина, при этом стараясь не менять позы, улыбки и выражения лица: ей показалось, что Борька рисует ее.

— Слушай, имей совесть, это же Успенский! — сказал Андрей, увидя, что Борька рисует на обратной стороне обложки; он всегда рисовал на том, что окажется под рукой, а рисунки свои терял.

— Года через четыре... — Сощурясь пристально, Борька взглянул на Зину. Она сидела три четверти, в той позе, которая больше ей шла. — Я «через четыре» сказал? Ладно, не будем мелочиться: через пять лет! Через пять лет Лувр, Третьяковка и Эрмитаж будут драться за право иметь меня. А ты, обладатель, будешь только говорить: это ранний Маслов.

Он все взглядывал пристально, а глаза у него были невидящие, внутрь себя повернутые. Зажмурился, чтоб увидеть ярче. Некоторое время молча рисовал. Глянул, отдался, захлопнул книгу, спрятал фломастер.

— Что курит пехота? — спросил он Виктора. — О-о! Богато пехота живет. Артиллерия?.. И в артиллерию порядок. А я все тот же единственный сорт...

Он взял сигарету у Виктора.

— Огоньку даст артиллерия.

Зина первой схватила книгу с тахты как ей принадлежащую.

— Чур, сначала я!

Все потянулись смотреть. Борька сидел, опершись спиной о стену. Несколько раз подряд затянулся глубоко. Из глаз еще не ушло возбуждение.

— Я думала, ты меня рисуешь, — протянула Зина разочарованно.

На рисунке была Машенька. Но только еще больше, чем в жизни, похожая на мать: Аня Машенькиных лет. Ничего не закончено, отдельные сильные штрихи, но когда Андрей увидел эту кривую родную улыбку, которую, ему казалось, он один знал, и из детских глаз-вишеник Анина душа на него глянула, он физически почувствовал, как его кольнуло в сердце.

— Боря, я хочу быть нарисованной!..

— Нет, откуда в тебе это? — говорил Виктор, не скрывая зависти. — Ведь вот не подумаешь так, а? Со мной в палате два летчика лежали.

— Сейчас будет сказана гадость, — предупредил Борька.

— Ну, летчики, ты же знаешь, Андрюша, аристократия: рис, вино, шоколад, меховые сапоги...

— Ну? — торопил Борька.

— Ранило их. Понимаешь, Андрюша, их ранило.

— Ну?

— А у нас там врач была. Блондиночка лет двадцати пяти, незамужняя, такая, я тебе скажу...

— Виктор! Фу!

— Вот это дрессура! — восхитился Борька.

— Так она говорила про летчиков про этих: «Какие они раненые? Здоровые мужики. Думаете, они на перевязку ходят? Они ходят, чтобы халаты подать».

— Я вижу, ты там тоже халаты подавал. Вот, оказывается, как вы воевали!

— Зинушка! Меня возили ногами вперед. В гипсе.

— Ну разве что так только.

— И все дела? Запомни, пехота, и запиши: летчик, умирая даже, встанет и подаст dame пальто.

— Нет, ты послушай, Андрюша, что с ними в обед происходило! Госпитальный обед сам знаешь: жив будешь, а все остальное... Виноват, при дамах умолкаю. А летчики привыкли как? Карманы шоколада насовал — тогда воют.

— Торгашеская психология. Американцы до сих пор с нас требуют за свиную тушенку, а вы с летчиков за шоколад.

Борька посмеивался, но чувствовал себя беспокойно оттого, что Аня, войдя, взяла в руки рисунок.

— В сорок первом году, когда нас не было в воздухе, вы же землю грели животом. Как воткнулись носом, так и лежали, зажмурясь, пока звук мотора не услыхали над собой. Вот когда вы только голову подняли.

— Треплетесть? — сказала Аня. — Эх вы, друзья! Он годами пловчих лепит и пионерчиков с горнами, а вы треплетесть. Да он талантливей вас обоих. Свиньи вы, а не друзья!

— Аннушка... — Борька давил в пепельнице окурок, был он растерян и смущен. — Они, конечно, свиньи, само собой, но ты уж очень меня трактуешь с излишествами.

— И ты тоже... Как будто тебе вторую жизнь дадут. Аня вышла рассерженная. Даже покраснела.

— Ну, знаешь, Андрей! — Зина была возбуждена. У нее было выражение человека, который только что такое увидал, такое увидал... — Нет, я лучше ничего не скажу. Но Виктор бы меня уж ревновал!

— Вот что, ребята, все это хорошо, но я-то к Андрюхе по делу шел. Не знаю, может, это все раньше времени. — Борька чего-то мялся. — У нас же в провинции слухи — как эхо в горах.

Теперь его торопили:

— Ну!

— Ты говори, в чем дело?

— Ребята, толком ничего не известно. Но что-то вокруг вас происходит. Какое-то инуршание. То ли борьба с излишествами опять началась, то ли еще что.

Вот теперь Андрей почувствовал, как у него сердце упало. Видно, так: чтобы оценить, надо потерять.

— Кто тебе говорил?

— В том-то и дело, что никто ничего не говорит. Ну, вы сами знаете, как это бывает. Немировского видел, какой-то пришибленный ходит. Мне, сами понимаете, спрашивать неудобно.

— Та-ак,— сказал Виктор, и ничего, кроме растерянности, это его «так» не означало. И как всегда в такие моменты, он спял и начал старательно протирать очки. На одно стеклышко подышал, на другое.

— Ребята, вы на меня не обижайтесь.

— При чем тут ты!

— Я должен был сказать.

— Чувствовал я,— говорил Андрей.— Слишком все шло хорошо.

Борька глянул на дверь, в которую ушла Аня, сказал, поизнав голос:

— Ну, вы не кричите раньше-то времени.

— Что ж, Витя, будем упираться.

Глаза Виктора слепо щурились.

— Думаешь?

Надел протертые очки, стекла их отблескивали на свету. Сказал без всякой твердости:

— Я — за!

Но тут заговорила Зина:

— Я не знаю, почему ты сразу и всегда за? Виктор, я не люблю, когда ты обожаешь людей.— Капризный голос ее накалялся.— Нехорошо обижать людей. Слышишь? Я не хочу! Не хочу и не хочу!

И хоть оставалось пепонятно, каких людей обижает Виктор, общий смысл ее выступления был ясен вполне.

ГЛАВА XI

Пока им еще не дано было узнать, что же все-таки произошло. Потом стало известно, что Немировский — вот уж от кого и ожидать было нельзя — вдруг развесился старик, поехал к самому Бородину и будто бы

там был у него разговор. Во всяком случае, секретарша его Полина Николаевна в этот день пила валериановые капли и под большим секретом и, уж копечно, не всем сообщала, как Александр Леонидович сказал и заявил. А Немировский ходил с видом человека, решительно подавшего в отставку. И только Лидия Васильевна, жена Александра Леонидовича, она лишь одна видела в его решительном взгляде испуг и немой вопрос.

Прожив с ним целую жизнь, Лидия Васильевна так и не научилась разбираться в той далеко вверх уходящей лестнице, каждая ступень которой была для него, служащего человека, исполнена особого значения, смысла и интереса. И ничего она в этом не понимала, но, как мать с ребенком, была душой связана с ним, и всякий раз в ней отдавалось, когда он сильно ударится или его обидят. Он глядел победителем, а ей от предчувствия дальнего было страшно за него.

— Ну, что будем делать? А? — спрашивал Виктор. Ему словно на затылок надавили, весь пригнулся, и снизу вверх, как из-под порога, выглядывали томящиеся глаза. И жег сигарету за сигаретой, весь дымом напитался в эти дни.

— А ничего не надо.

Виктор сильней сосал сигарету, сощуренные от дыма глаза блестели, упервшись в свою мысль.

А тут еще выяснилось, что не вообще все отменилось, строить будут, но поставят пятиэтажные дома. А они с Виктором останутся авторами проекта. Главными, как это называется, его архитекторами.

— Как думаешь, а?

— Ви-итька!.. Ну это унизительно даже. Это все равно как Соловьеву-Седому...

— Ну, Соловьев-Седой!

— Ну не Соловьев-Седой, поменьше кто-либо. Кто за всю жизнь одну песенку сочинил. И скажут ему: «Нет, вы лучше-ка перепишите своей рукой «Катюшу», и у нас в городе она будет считаться вашей».

— Выбиться из этого положения. Из этого чертова положения! — Виктор от сигареты прикуривал сигарету. Вдруг глянул жалко.— Не будет понято, Андрюша. Не так поймут!

Ви-итьку было жаль, но и себя жаль тоже. С бедой надо переспать. И ничего умней тут не придумаешь.

Наконец их пригласил к себе Немировский. Стоя и не предлагая садиться, сказал не без торжественности:

— Я сделал все что мог!

И взгляд: надеюсь, вы знаете о моем разговоре?..

И жест руки, бросившей козырную карту на стол.

— Есть этика.— Александр Леонидович застегнул пиджак на обе пуговицы.— Я не могу говорить все. Но вы вправе решать, как сочтете нужным. Да, как сочтете нужным!

Чертова привычка видеть все со стороны! Андрей сдержался, чтоб не улыбнуться, хотя, по сути дела, тут плакать впору. Как будто двух послов пригласил и объявляет им о начале войны и о том, что его симпатии на их стороне. Начало военных действий местного масштаба. Но это масштаб их жизни. И другой дано не будет.

Вышли как с собственных похорон. Меньше всего им хотелось сейчас собирать сочувствие. Но к ним уже потянулись изо всех комнат на общий перекур. В первых, самых первых вопросах еще была надежда; хоть и знали уже, а все-таки:

— Ну что?

— Как?

— Ах, как это ужасно!

— Но, главное, зачем? Кому от этого польза?

А за всем этим у каждого — стыд за самого себя. Что вот ты понимаешь, видишь и бессилен сделать что-либо. Сразу же начали возникать проекты один другого смелей: куда пойти, что сказать. Словно бы высказался вслух — и уже что-то сделал.

Они стояли в коридоре, сбивали пепел сигарет в фаянсовую белую урну, а все обступили их, будто к стенке приперев. И тут подошел Епифанов, старый, пьющий, сильно бездарный архитектор, при котором обычно разговаривали только о погоде, да и то в урожайный год. Подошел, демонстративно молча пожал руки одному и другому и, совершив этот гражданский поступок, удалился, гордо неся свою усохшую лысую голову с припудренным губчатым носом. Всем отчего-то стыдно стало. Будто он их изобразил этим своим одушевлением. Кто-то пошутил от неловкости:

— Состоялся исторический рукопожим.

И другой сказал:

— Как говорится, извините за компанию.

Хорошо, хоть юмор не увядает, с ним все же не так стыдно жить на свете.

На улице Виктор говорил хмуро и деловито:

— Дожили: Епифанов сочувствует нам. Нет, Андрюша, дешевой славы нам не надо. Чтоб подходили руки жать. Чтоб всякая шушера вертелась вокруг.

— Противно.

— Вот именно. Вот именно, противно. Это ты хорошо сказал. Думаешь, раньше они радовались за нас? «Да, да, конечно, но Ямасаки...» Им все Ямасаки подавай, снобы проклятые. А теперь нас поливать будут. Успеха, Андрюша, никто никому не прощает.

— Какой уж тут успех? Успех...

— Зина — умная женщина, она права: у нас друзей нет. Все злые, все завистники.

Андрей вдруг увидел на той стороне улицы за-встречно движущимися троллейбусами бар: мелькал, мелькал сквозь их окна кирпичный угол дома и дверь. Тот самый бар, кафе-молочная, где они сидели с Виктором. И так все остро вспомнилось, как будто из другой жизни. А он еще тогда расстраивался, что не дадут сделать лучше, смелей. Вот уж правда: что имеем, не храним, потерявши — плачем.

— Нет, но вот я беру себя... Неужели не стыдно хотя бы?

— Андрюша, перед кем?

— Да хоть перед нами.

— Не говори наивные слова! Кто мы? Ты же сам говорил, про нас пока что и речи нет.— И тут Витяка сказал правильную вещь: — А если стыдно перед нами, так это только хуже для нас.

Это уж точно: не дай бог, если начальству стыдно перед тобой. Такому подчиненному не позавидуешь.

— Нас нет, но мы можем быть. И упускать такой случай...

— Витя, какой ценой?

— Но что же делать, что делать? Не мы, так другие найдутся. Если б можно было... А то ведь все равно другие сделают, пойми!

— Вот и пусть.

— Все уступить другим?

— Да что уступить? Позор? Витя, это все минет. Лет пять пройдет — и не вспомнят, кто приказал, зачем, почему. Еще и смеяться будут. А землю испохабим.

— Пять лет... Их надо прожить!

— Нам по сорок уже.

— Вот именно. Вот и именно!

— У меня сын растет. Чтоб я стеснялся пройти с ним по городу? Или чтоб он стыдился отца? Кто это, мол? «А это мой отец руку приложил...»

Мимо на мощных скатах ползли груженные глиной «МАЗы», оглушали ревом моторов. И у людей, стоявших под светофором, лица были напряженные, а они двое почти кричали друг другу.

Дали зеленый свет. С двух тротуаров устремился народ навстречу друг другу. Андрей впопыхах почувствовал, как кто-то жмется к нему в толпе. Старушка, очень приличная, оглядываясь на выстроившиеся в ряд, вздрагивающие радиаторы машин, испуганно жалась к живому человеку.

Едва перешли на другую сторону, едва ступили на тротуар, старушка и не оглянулась, засеменила, засеменила, побежала, деловая городская жительница, которой всюду надо поспеть.

— Витя, плюнем,— сказал он, жалея Виктора: у того ведь и тыл не защищен.

Аня сразу, как только узнала, сказала ему: «И плюнь!» Но за спицой Виктора — Зина.

— Да, плюнешь...— Виктор убито и сбоку глянул на него.

Неужели не понимает Андрей, что двери, которые распахнулись перед ними, второй раз не откроются? Захлопнутся — и как отрубят. Будешь потом всю жизнь спизу вверх поглядывать на тех, кто не побоялся.

— Ну хорошо, проявим геройство...

— Да какое геройство? Геройство...

— ...проявим, хорошо,— говорил Виктор с обидой в голосе.— Думаешь, нужно это кому-нибудь?

— А мы сами перед собой?

— И не вспомнят даже, ты прав. Андрюша, им терять нечего! Хоть тому же Немировскому. Что ему терять, он жизнь прожил.

— Витяка!

— Или этот... Руки подходил пожимать. Бездарен, как лысый пень. А нам талант похоронить? Обречь себя на творческое молчание? Какая от этого польза? Если даже по-государственному взглянуть?

Грустно было сейчас смотреть на Витяку.

— Талант, который не реализовался, это не талант. Ну что сделаешь, приходится чем-то жертвовать во имя главного. Не ради себя! — вскричал Виктор, не давая себя перебить. — Быть только хорошим — это кто больше ничего не может. А мы можем, Андрюша. Пусть только дадут. В чистом виде добра не бывает. Это правильно кто-то сказал: добро должно быть с кулаками.

— Тогда уж лучше с фицкой. С ножом.

— Не бывает добра в белых перчаточках...

— Витяка, милый, не выйдет. Не мы первые. Сначала жертвуют во имя главного, а потом и тем, во имя чего жертвовали. У этого пути конца нет. Сколько люди живут на свете...

— Обожди. Да почему? Ты смотри, Андрюша... Мы согласимся. Допустим! Подожди! Согласимся! Ну? Ну что это в масштабе вселенной, в конце-то концов?

— Нам еще только вселенную запакостить.

— Ну, не до конца. Не целиком. Просто проявим понимание. Ты же сам говорил...

— Витя, где та последняя черта, до которой еще можно, а дальше уже — все, нельзя? Ведь это как горизонт: удаляется по мере приближения.

— Да что нельзя? Чего нельзя? Все равно ведь построят, что решили. Так что нельзя?

— Через совесть свою переступать нельзя. Ну что я тебе такие вещи говорить должен?

— Что мы, Наполеоны? Жизнь, смерть зависит от этого?

— И я говорю: не жизнь зависит. Ну чего уж мы так будем? Чего боимся? Блага потерять?

— А что изменится?

Он видел сейчас в Викторе готовность к унижению и боязнь стыда. Но если не они друг другу, так кто же еще скажет им?

— Мы изменимся, Витя. И не воротишь.

Сами того не замечая, они вновь и вновь кружили по тем же улицам, стояли под теми же светофорами, переходя поток транспорта.

Однажды попали в толпу: кончился дневной сеанс в кинотеатре «Спартак». Это был единственный кинотеатр, уцелевший в войну. Восемьдесят с лишним процентов города было разрушено, лучшие здания погибли, а этот кремовый торт стоит. И все так же с вещими тру-

бами летают над его входом алебастровые амурчики, молочные, все в складочках. И вьются над ними алебастровые ленты. Живуче уродство, все переживает: и людей и войны.

Оттуда-то, из-под амурчиков, валил народ, жмурясь на свету, веселый, шумный. Странно это видеть — не изменившийся мир, когда с тобой случилось. Но Виктору он сейчас об этом не сказал. «Вот именно!» — воскликнул бы тот.

И так же, как они кружили по улицам, так же по кругам шел их разговор. Казалось обоим, что, в сущности, ничто не разделяет их, немного еще — и они поймут друг друга, как понимали всегда. А уже каждый начал свой путь. И эти пути никогда не сходятся.

Как бы между прочим, но приосанясь вдруг и тем подымая разговор на иной уровень, Виктор сказал:

— Видишь ли, Андрюша, меня тут вызывали...

И помолчал значительно, углубясь в себя.

— Пригласили меня, одним словом...

— Куда? — спросил Андрей.

Оба отчего-то пошли медленней.

— В общем, был у меня на этих днях доверительный разговор. С Алексеем Филипповичем. Не только он присутствовал...

После уж вспомнилось, и вспоминалось не раз: и тои, каким это было сказано, и слова. Не «Бородин», не «мэр»: «С Алексеем Филипповичем...» Но в тот момент у Андрея словно отшибло способность понимать.

— С кем, с кем у тебя был разговор?

Ведь надо было поверить в самую возможность, что Виктор сделал что-то втайне от него. А этого допустить он не мог, потому что тут кончалось главное. И он улыбался, глядя на Витьку. Но тот говорил уже покровительно, как старший:

-- Нам доверяют, в целом пока доверяют. Вот какое убеждение я вынес из разговора. Это главное. Понимашь, Андрюша, надо. На-до. Это тот случай, когда мы должны.

Они все еще шли в ногу. Шаг в шаг.

— Значит, ты разговаривал с Бородиным?

— Да. Состоялся большой творческий разговор.

Виктор так слушал себя, так себя он видел сейчас, что и не заметил перемены, произшедшей с ним рядом.

— Ты, значит, ходил к нему?

— Меня пригласили.— Именно на такой формулировке настаивал Виктор.— Бывают обстоятельства, когда приходится поступаться личным. Как говорится, на горло собственной песне... И для этого тоже нужно мужество.

— Ты что же, от нас двоих там? И вообще я не понимаю, как же ты один?..

— Впдишь ли, Андрюша, для пользы дела... Ну как тебе объяснить? Двоих — им было неудобно.

— Постой, когда это было?

Позавчера в перерыв он встретил Виктора в коридоре. Они всегда ходили обедать вместе, а тут Виктор спешил куда-то один и был переволнован. «Зинушка, понимаешь... — забормотал он как застигнутый.— Ну, в общем, бабские дела». Андрей посмеялся только: «Эх ты, подкаблучник». Это было именно тогда, он понял сейчас. И не к Зинушке отпрашивался Виктор с работы.

— Когда это было? — повторил Андрей.

— На этих днях. Не в том дело...

Да, это было в тот день. Оттого он и спешил и проскользнуть стремился. Почему-то мелочи задевают больней всего. Главное не уязвит так, как может уязвить мелочь.

— Значит, тебя пригласили — и ты пошел? — Андрей говорил тихо.

— Андрюша, обожди. Ты не так меня понял! — Виктор уже пожалел, что сказал.— Ты меня знаешь. Со мной ведь не так просто. Я им сказал сразу...

— Это твое дело, что ты сказал.

— Нет, но мы же вместе...

— Твое дело!

Андрей опять видел в нем готовность к унижению и убыстрял шаг.

— Ты не так расцениваешь. Я просто думал, что из тактических соображений...

— И это меня не интересует.

Потом они шли молча. И разойтись в стороны еще не могли, и говорить было не о чем. Но мысленно они говорили сейчас. И шли рядом. Получалось так, что Виктор, как виноватый, провожал его. У трамвайной остановки Виктор сказал, как попросил:

— Нам надо еще поговорить.

— Да, надо.— Андрей старался не встречаться глазами.

Дома он не стал ничего рассказывать Ане. Он знал, она скажет: «А что я всегда говорила?»

Обычно после так называемых семейных общений, наслушавшись Зининого щебетания, натерпевшись, Аня говорила: «Почему я должна нести этот крест? Должна, должна, а почему?» Он отшучивался: «Мы своим друзьям жен не выбираем. А то бы пришлось отдать тебя». — «Не подлизывайся!» — «Нам с Витькой скоро серебряную свадьбу справлять — вот сколько мы дружим». — «И дружите на здоровье! Но почему я должна? По-моему, вам вполне хватает вас двоих. И вообще, знаешь, я ее боюсь. Я тебе серьезно говорю. Это электрическая дура». — «У каждого века свои дуры. Дуры каменного века, дуры электрические, электронные, кибернетические. Можно провести исследование: «Дуры разных веков...» — «Но если он ее терпит... «Зина — умная женщина!» Если он все это способен терпеть, он точно такой же. Ты знай! И ты еще увидишь».

В их дружбе она чутко регистрировала малейшее отклонение. Стоило Виктору схитрить — и она уже ревниво переживает за мужа: «Ну что? Опять слаб трахмал?» Был старик маляр, покойник уже; всю жизнь клеил обои, и всю жизнь они у него вздувались пузырями. Объяснял он это тем, что нынче и крахмал делать разучились: «Слаб трахмал». Так это «слаб трахмал» и осталось в семье на все случаи жизни.

Но хоть он и не рассказал Ане, на следующий день она все уже знала. Вернувшись с работы, он сразу увидел это. Как всегда, она сидела над ученическими тетрадками: слева стопа непроверенных сочинений, справа — проверенные. Сорок два ученика в ее восьмом «А», сорок два раза прочесть одно и то же. До полуночи сидит, слепнет, пока две стопы тетрадок не соединятся в одну. Обычно она выписывала фразы из сочинений, читала вслух: «Добролюбов в нецензурных выражениях звал Русь к топору». Дети обожали это. Но сегодня не до фраз было, не до смеха. Взволнованная — щеки порозовели, глаза блестят, — она читала с поразительной быстротой; это скопившаяся в ней энергия гнала ее.

— Ужинать будешь?

Не хотелось ему сейчас этого разговора, совсем не хотелось. Но, видно, не миновать. Аня поставила перед ним тарелку.

— Ну?

Он молча ел.

— Что я говорила? Что я тебе всегда говорила? Нет, пойти тайком, одному...

— Перестань!

Но Аня от обиды за него, которую пережить не могла, его жалея, на него же и кричала теперь:

— Малой доли ты не знаешь, что он там говорил! И что скажет. Это теперь твой первый враг, знай! Потому что не ты, а он подлец оказался. Он им всегда был, только ты был слеп. Ничего для тебя не существовало. Весь опыт человечества — ничто!

— Перестань!

— Опи мне гадки! Гадки и омерзительны! Всегда, во всем — только своя выгода. И другом он тебе никогда не был.

Человечество, которое живет на свете не первое тысячелетие и ошибалось не раз, могло бы сказать ему из своего опыта: «Умей прощать близких, даже если они не правы; не они твои враги». Но он вдруг как на врага закричал на жену, которая его любила, для которой его боль была больней своей. И кончилось тем, что Аня забрала свою подушку и одеяло и ушла спать к детям. И дети, напуганные, притихшие, жались к ней там, в темноте, ее жалели. И перед этим он был бессилен. Что бы он ни делал сейчас, в глазах детей он был виноват. И за это он еще больше ненавидел ее сейчас и, если бы дети, ушел бы из дома.

А потом, среди ночи, сидел на диване, курил и мучился.

ГЛАВА XII

Какое-то время еще продолжала действовать сила инерции: «Андрей Михайлович? Минуточку, минуточку...» Все очень респектабельно, доброжелательно, в меру солидно: говорят с человеком, который принят. Но проходила минуточка — и голос делался неузнаваем: «Ивана Федоровича нет. Нет... Не знаю... Не могу сказать...»

Он уже знал, что «нет» — это не вообще нет, а для него нет. До холодного бешенства иной раз доводил его этот металлический голос в трубке. Его уже и узнавать перестали: «Кто? Не понимаю — кто? Громче говорите, вас совершенно не слышно...»

Они умели быть жестокими, эти опытные в жизни дамы, заслоном сидевшие на всех этажах, стрекотавшие на машинках со скоростью трехсот знаков в минуту, эти модные девочки в сапожках на длинной молнии, цена которых едва ли не превышала их зарплату.

Однажды в коридоре исполкома он встретил Виктора Анохина. Он ждал нужное ему должностное лицо, курил в маленьком закутке (когда-то тут был холл, но со временем его застроили для новых служащих, и остался вот этот закуток) и вдруг увидел Виктора и то лицо, которое он поджидал. Оба свежеподстриженные в исполкомовской парикмахерской, с одинаковыми кульками в руках, они шли по коридору, беседовали, наклоня головы. У обоих было то выражение, в котором равно соединились непреклонность к нижестоящим, готовность и почтительность к тем, кто поставлен выше. И достоинство. Особое достоинство: в осанке, в поступи — во всем. Не твое личное, а достоинство учреждения, которое ты представляешь в своем лице. Они прошли мимо, и протянулся за ними по воздуху запах парикмахерской, одеколона «В полет!».

Когда Андрей уже и надеяться перестал, ему вдруг было сказано, что Бородин примет его. И время назначили: в тринадцать часов в среду. Без десяти час в среду Андрей был в приемной. Дежурил Чмаринов. Как на что-то мелькавшее здесь в коридорах, чего и не упомнишь хорошенъко, взглянул он на Андрея и продолжал накручивать телефон.

— Мне сказали вчера, что в час дня Алексей Филиппович примет меня,— объяснил Андрей свое появление здесь.

— Сказано — ждите.

Андрей сел. Кроме него и Чмаринова был здесь еще исполкомовский служащий, явно без дела. Ему-то Чмаринов рассказывал, как на этих днях выдавал дочь замуж, где свадьбаправлялась, кто был. И все это были люди значительные (вот какие люди почтили его!), к именам отчествам их, как звание, добавлялось небестрепетно «большой души человек», «исключительно душевный человек» или просто «душевный человек», «человек с душой». Тоже своего рода табель о рангах.

Прошло десять, прошло двадцать минут. Слишком уж как-то спокойно было в приемной. Даже телефоны почти

не звонили. Не чувствовалось того напряжения, какое бывает, когда начальство за той дверью.

Чмаринов теперь уже перечислял, что и кем было подарено молодым: обстоятельно, подробно, ни один подарок не забыт. У Чмаринова белые манжеты выпущены так, что и запонки крупные видны, галстук прихвачен заколкой, седоватые волосы расчесаны и кок не явный. А белки глаз розоваты, взгляд влажен, и рука едва заметно вздрагивает: недавно была свадьба.

Сколько раз говорил себе Андрей, что не может его оскорбить отношение человека, которого он не уважает. На той шкале измерений, с которой единственно сверялся, каждого соотносил Чмаринов, свои были приняты масштабы, свои ни на что не похожие расставлены деления. Вот и сиди жди. А в душе накипало.

Открылась дверь. Вошел Дятчин. Все поднялись. Андрей видел, что он не попадает в поле зрения строго перед собой направленного взгляда. И тут тоже были свои понятия: не вошедший здоровался первым, а нижестоящие.

В новом костюме, выше ростом и шире в груди (только ботинки все те же растоптанные, с белыми разводами у самого ранта, словно соль выступила: промочил он их, что ли?), Дятchin задал два-три вопроса: «В шестнадцать тридцать совещание не отменено? Товарищи по списку оповещены все?» — и на все Чмаринов ответы дал, самые исчерпывающие.

Стоял Дятchin, стояли все. Сидеть одному — глупо как-то, по-мальчишески, вроде хочет доказать... Но еще глупей стоять вот так, когда тебе даже не кивают.

Вдруг Дятchin вполоборота к нему спросил строго:

— А товарищ кого ждет?

Как об иностранце, который языка не понимает (да нет, к иностранцам бы все почтение!), как о глухонемом при нем же сведения о нем запрашивает. А уж чтобы по имени-отчеству или по фамилии обратиться... Хоть скажо у Андрея внутри, как будто ухнул в глубину, ответил он вежливо, спокойно:

— Мне назначено к тринадцати часам,— и вот теперь встал.

В толстых стеклах очков Дятчина кругами слоился свет и отражались два матовых потолочных плафона. Не дослушав, Дятchin повернулся к помощнику:

— Что, Алексей Филиппович обещал сегодня быть?

— Нам ничего не известно...

Себя Андрей сейчас не видел, но Дятчин, глянув на него, заговорил вдруг мягко, увещевательно: действитель-но, на сегодня Алексей Филиппович назначил нескольким товарищам, но еще вчера стало известно...

— Вам надо было прежде позвонить, уточнить... Что же вы не предупредили товарища? — выговаривал он Чмаринову.

Он что-то говорил еще и снова Чмаринову выгова-ривал.

— Товарищ не спрашивает ничего,— железно стоял тот.

И долго еще Андрей не мог об этом вспоминать спо-койно. Понимать он понимал, что это Чмаринов давал ему образование — так-то, мол, кто гордится,— но думать об этом спокойно не мог.

Он позвонил Смолееву и неожиданно для себя на сле-дующий день был принят. Впервые Андрей входил в каби-нет, который, впрочем, знаком был ему зрительно: дере-вянные панели по стенам, письменный стол в глубине, торцом к нему стол для заседаний, два ряда стульев, книжный шкаф. Смолеев пригласил его за низенький стол у окна. Сели друг против друга, сюда же им привнесли чай в стаканах.

Искрился на свету хорошо заваренный чай, лимон в блюдечке зеленоватыми кружочками, конфеты шоколад-ные, сушки. Для начала было сказано несколько необязательных фраз.

— Игорь Федорович, вот вы меня приняли.— Жес-том руки Андрей обвел стол и все, что на нем.— Никто не ищет себе хлопот, я знаю.

— Разумеется.

— Честно говоря, не знаю даже как начать. Это Та-лейран наставлял молодых дипломатов: «Главное — не проявлять инициативы». Точно про нас. Ведь нам, архи-текторам, платят за должность. Хоть во всю жизнь ни одного проекта не создай.

Ему показалось, что Смолеев что-то хочет сказать, и он поспешил, пока его не перебили:

— Да нет, Игорь Федорович, я понимаю. Я даже до-казать могу, что их надо строить. Тут все высокие слова паготове. О самоотречении зодчих ради того, чтобы решить проблему массового жилищного строительства. Об умении по жертвовать своим творчеством, общественным прести-жем, о гражданском подвиге архитекторов... Слова эти я

знаю. Но не нужно ничем жертвовать, нет даже такой экономической необходимости. Дороже они выходят, эти пятиэтажные бараки, дороже, если все подсчитать. Вот расчеты, посмотрите сами.

Смолеев смотрел, слушал. Отхлебывал горячий чай. Он знал примерно, с чем идет к нему этот человек, что будет говорить. Но что для Медведева было главным из главных, заслоняло все на свете, для Смолеева было одним из ряда дел.

Знал Смолеев, что не с легкой душой расставался Бородин с проектом микрорайона, которым уже хвалился начал. С ним связаны были у «мэра» собственные честолюбивые мечты: новый район лежал на въезде в город с аэропромом... Не в возможностях Смолеева изменить сейчас что-либо; на то имелось много причин, которые он не мог объяснить.

В конечном счете, что бы ни делали люди, жизнь движется по равнодействующей сил. Тут ее путь пролегает. Но до этих пор каждый тянет ее в свою сторону, каждый по-своему направить норовит. Наверное, потому ни одной своей цели люди не достигали, как было задумано: путь лежит по равнодействующей, а цель намечает каждый свою. И еще то свойство есть у жизни, что даже неправильное поначалу решение она все равно обкатает по-своему. Но он слушал Медведева с интересом.

Перед ним был человек, в котором сильней личных выгод заложено стремление сделать то, к чему он призван. Может быть, в этом и состоит смысл жизни: осуществить заложенное в тебе природой. Такие люди движут жизнь. И движут бескомпромиссно.

— Я видел ваши работы.— Смолеев сломал сушку в руке.— Я мало разбираюсь в архитектуре... (Тут Андрей подумал: «Устраняется или не боится признать?») Жена у меня... Не знаю, может быть... Во всяком случае, она считает, что разбирается. Мне было интересно.

— Какие работы! — сказал Андрей.— Сам бы я хотел свои работы повидать. У архитектора одна молитва во всякий день: боже, дай...— Хотелось сказать: «Дай умного заказчика», но обидеть побоялся: — Дай заказчика, который бы стоял на уровне своего времени.

Однако Смолеев понял.

— А вы не тактик.

Вот и этот про тактику.

— Нет, не тактик.— Андрей вздохнул и закрыл блокнот.

И тут они встретились глазами, и заглянули друг в друга, и поняли больше того, что было сказано до сих пор.

— А нужно ли, Игорь Федорович? — сказал Андрей, обезоруживая улыбкой, ею же и обороняясь.— Все хотят приспособить тактику себе на службу, а кончается тем, что она приспосабливает человека. И уж где тут принципы, где что?

Откинувшись на спинку кресла, Смолеев смотрел словно издалека. Ни по лицу, ни по глазам ничего не прощать сейчас.

Андрей положил блокнот в боковой карман.

Дальнейший разговор уже не имел смысла, он ждал, когда удобно будет встать. А Смолеев, глядя на него, думал не впервые о том, что способности и умение пробиваться в жизни — это дается человеку, как правило, в обратной пропорции.

— Что бы вы еще хотели построить?

— Да уж хотел...— Андрей потушил сигарету, встал.— Виллу, Игорь Федорович, виллу.

— Ну, я не думаю, что у вас тут найдутся заказчики,— сказал Смолеев холодно.

— Я ведь серьезно. Мечта каждого архитектора — хоть раз в жизни построить виллу. Вы поглядите, сколько земли у нас пропадает. Газ прокладывали — пол-леса раздавили. Богаты слишком, оттого и не бережем. А отыхать — все на заплеванный юг устремляются. Да в нашей средней полосе... Я и овраг уж присмотрел. Наполнить — такое будет озеро! И дом отыха поставить на берегу.

— Ну, не с первого толчка,— Смолеев уже прощался.— Когда есть цель, должно быть и терпение.

— Терпение... Терпение есть.— Андрей улыбнулся, потому что хотелось ему сказать: «Терпение-то есть, жизни бы хватило».

ГЛАВА XIII

Зима в этом году была поздняя, слякотная. Несколько раз ложился снег и вновь таял, под колесами машин превращаясь в грязное месиво. Погода стояла самая гриппозная. Где-то в глубинах Азии, на каких-то ее остро-

вах, зародился новый, еще неведомый вирус и со скоростью реактивного самолета вместе с людьми, в них самих, перелетал океаны и континенты, распространяясь по всему свету. Разделенное границами и предубеждениями, барьераами языковыми, расовыми, классовыми, человечество дышало одним воздухом, болело одними болезнями. Не ведавший теорий и сомнений мудрецов, гипнозный вирус с первобытной простотой размножался в крови всех народов и рас, равно себя в ней чувствовал, тем самым говоря человечеству, что оно — едино.

Очень в эти дни ждала Аня морозов, очень в них верила. Уже в аптеках города стояли долгие очереди, а кассирши и продавцы повсеместно работали в марлевых повязках, уже половина детей в ее классе болела, но Митя и Машенька держались. И вот подморозило, подсушило асфальт. Повалил снег крупными хлопьями — на голые железные крыши, на шапки и спины людей; в кружащемся снегу зажглись фонари. И чисто среди ночи, светло, бело было в городе. К утру мороз окреп, в огромных серых дымах над трубами ТЭЦ красное встало солнце. Звучно хрустели снежком прохожие, пар валил у людей из рта, сильней запахло теплым хлебом из булочных. Как в шубу, город влез в зиму.

Вернувшись в десятом часу, попахивающий вином и потому с шоколадными «Мишками» в кармане — две для Ани, по одной детям,— Андрей застал дома то, что у них называлось «великим переселением народов». Мимо него с подушками и простынями, обдав ветром, прошла по коридору Аня: это в большую комнату переносили Митину постель. Значит, заболела Машенька.

Аня считала, что разделять детей бессмысленно: все равно заразятся друг от друга, пусть уж отболеют разом. Но в последний момент все же отделяла здорового.

— Это ты все с работы шел?

— Понимаешь, Борьку встретил...

— У Машеньки тридцать девять и шесть. Я голову потеряла. Хоть бы позвонил. Ведь трубку снять.

Задерживая дыхание, Андрей заглянул к дочке. Машенька сидела в кровати, свет настольной лампы, направленный от нее, блестел в черных стеклах незашторенного окна.

— Что все говорят: больна, больна... Ничего я не больна.

А голос плачущий, а глазки от температуры масленые.

Обычно к заболевшему переселялась мать. Но в этот раз, искупая вину, Андрей остался почевать с дочкой.

— Болеть, если хочешь знать, тоже приятно,— утешал он Машеньку тихим голосом. Всякое проявление жизнерадостности в такой момент было бы названо Аней «оптимизм от рюмки водки». — Болеешь — все тебя любят, в школу ходить не надо... Я, когда учился, любил болеть. Только вот не получалось. Ребята пропускают, а я все в школу хожу.

— Ты обещай, что разбудишь меня в школу.

— Договорились. Только и ты дай слово: если что попадобится, будишь меня.

Он лег с намерением караулить Машеньку. Зачем это нужно, он, честно говоря, не понимал. Аня умела спать и все слышать: стоило ребенку пошевелиться, она уже поднимает голову с подушки, взглядывается трезвыми глазами. Сегодня он был вместо нее, значит, должен все точно выполнять. И не заметил, как заснул.

Проснулся он от странного, страшного звука: там, где была кровать Машеньки, слышалось хрипение. Опрокинув что-то в темноте, включил лампу. Желтый свет ослепил на миг. Машенька стояла в постели длинная, в длинной рубашке, и, вздергивая плечиками так, что проваливалось под ключицами, силилась вдохнуть, вся красная, уже начавшая синеть.

— Только не бояться, только не бояться! — зачем-то схватив ее за руки, говорил он, сам леденея от ужаса.

Но уже бежала сюда Аня, на бегу не попадая в рукав халатика.

— Окно! — И выхватила у него ребенка. — Настенька! Морозный воздух дохнул в комнату.

— Ты дышишь! — говорила Аня сердитым голосом. — Чего ты испугалась? Дышшишь. Иначе бы ты задохнулась давно.

— Я... я... не могу... — с рычанием вместо дыхания говорила Машенька, по шее укрытая одеялом.

И уже не красное было лицо, а сплющенная желтизна проступила вокруг носа и губ. Он видел ясно: ребенок умирает.

— Можешь! — внушала мать. — Чего ты не можешь? Тебе дышать трудно?

Машенька кивнула, и слезы обиды оттого, что ее же еще и ругают, пролились из испуганных, как у совенка, глаз.

— Горячей воды! — тихо и быстро сказала ему Аня.— Ведро целое.

Понимать, рассуждать он был сейчас не способен. Он мог только верить и выполнять. Бегом внес ведро. Закрыл окно. Машенька дышала с хрипом, но была жива.

Закутанную в одеяло, посадили ее на постели ногами в горячую воду. Он сидел напротив на корточках. И в эти минуты, когда он смотрел на ребенка и ждал, все ценности мира потеряли для него цену. И то, что недавно казалось несчастьем, сделалось ничтожным в его глазах.

А когда дочка с мокрыми еще глазами, его пожалев, выговорила пресекавшимся голосом: «Папа, ты не пугайся... Я уже дышу... Видишь?» — в нем что-то дрогнуло, он еле сдержал себя.

Через полчаса прибыла «неотложная помощь». Врач, молодая, с мужской хваткой и мужским складом лица, выслушала ребенка, выслушала, что сделано: «Так... так...» — глянула поочередно на обоих родителей, определяя, кто тут более разумный, спросила Аню:

— Вы врач?

— Нет. Но двое их у меня...

— Можно было еще поставить горчичники. Вот сюда. Сухую горчицу в воду. Но в принципе все правильно. Вот так протекает этот грипп. С ложным крупом.— С телефонной трубкой в руке она набирала номер.— Иногда не ложным... Это я,— сказала она в трубку деловым голосом.— Вызовы есть? Записываю...

На исходе ночи Андрей, которого теперь переселили к Мите, услыхал, как щелкнула дверь, вскочил. По коридору шла Аня.

— Что? Опять?

Она прошла на кухню, села.

— Дай что-нибудь. Сердце... останавливается...

Она сидела слабая, вялая, даже глаза закрыла. Сказала как сквозь сон:

— Кофейник поставь... Моторчик завести...

Уже звенели трамваи. В осыпающихся с проводов синих пскрах, они проходили внизу в темноте, светя желтыми, обросшими морозным инеем окнами.

— Эх ты.— Аня улыбнулась слабой улыбкой.— А еще на фронте был. Как же ты там не терялся?

— На фронте другое.

Этого не объяснишь. Там от него зависело. Ну, не вся

война, а все же. А здесь он, мужчина, чувствовал себя беспомощным.

Между тем до Нового года оставалась последняя неделя. Уже началась предираздничная спешка. Несли елки по улицам, стояли очереди за апельсинами, и народу в городе прибавилось вдвое.

А в их квартире день только тем и отделялся от ночи, что под утро у Машеньки спадал жар. Раскрывались шторы, начиналось проветривание, умывание, уборка, на какое-то время ребенок, освеженный, чувствовал себя лучше. Потом температура вновь начинала расти, и впереди была ночь.

В доме разговаривали тихими голосами, телефон прикрывали подушкой, уходя, старались не стукнуть дверью. Отяжелевшая от бессонных ночей, раздражительная, Аня даже Митю забросила.

За окном хлопьями валил снег, мальчишки в валенках, разогревшиеся, дышащие морозом, расстегнутые, здоровые, сражались в снежки и галдели так, что здесь, за двойными рамами, слышны были голоса, и Машенька отраженно улыбалась их веселью.

— Ты знаешь, я никогда не завидую,— говорила Аня, и глаза у нее были фанатичные.— Я никогда не завидовала никому. Но я завидую здоровью детей!

А он ничего не мог поделать с собой: в эти дни ему как никогда хотелось работать. Был объявлен конкурс на строительство кинотеатра на две тысячи мест. Он решил в нем участвовать. Среди ночи он просыпался с ясной головой, бесшумно выходил на кухню. Он приспособил здесь чертежную доску. Шлотно закрывалась дверь, приоткрывалось окно. Щурясь на слепящий под электричеством белый ватман, закуривал сигарету, чтобы успокоиться.

Но иногда, глядя на ватман, он видел другое здание. Слово сказанное имеет свою силу. Он сказал, что хотел бы построить дом отдыха, виллу, и теперь видел его. И видел место на земле, где ему стоять. В прошлом году они шли с Митеем на лыжах, миновали поляну, перебрались через овраг, входили в лес. Он оглянулся и долго стоял и смотрел. Вот здесь. Небо, спечная даль, лес, ярусами поднимающийся вверх. Среди природы, и само здание — часть ее.

— Ты можешь хотя бы ночью не петь?

Заспавшая, в халате, Аня вошла в кухню, жмурясь от света.

— Ребенок болен, не знаю, отчего у тебя праздник?
Только удалось задремать наконец...

Он внутренне сжался, как сжимался все эти дни, оттого, что он такой здоровый, ни хворь, ничто не берет его.

— Я сейчас уберу. Это так просто,— говорил он, разгоняя дым рукой.

— Вот в этом вся разница между нами. Ты любящий отец, я ничего не хочу сказать. Но для меня они — вся жизнь, а ты... Ты и без нас будешь жить. Да, да, это так... Ты только без своего дела жить не можешь.

И увидела, что он смотрит на нее остановившимся стеклянным взглядом: он не видел ее сейчас и не слышал.

В воскресенье рано-рано позвонил Борька: он узнал телефон профессора. Молодой. Светило. Дождавшись десяти — до этого часа, ему казалось, профессора по воскресеньям спят,— Андрей стал звонить. По счастью, профессор был не за городом. Он долго отказывался, басил, не слушая заискивающий голос. Потом вдруг согласился:

— Хорошо. Сколько на ваших? Через полчаса можете быть у меня?

Через полчаса Андрей с шапкой в руке стоял в передней профессора. Внизу ждало такси. Профессор одевался. По временам из глубины комнат звучал его энергичный голос, отдававший приказания.

Передняя с блестящим от лака паркетом была увешана по стенам чеканкой, и две яркие африканские маски красовались на видном месте. С недавних пор это стало не просто модой, но как бы удостоверяло зримо, что владелец масок достиг определенных степеней и даже, как можно полагать, международного признания. И еще многое, чему пока еще не нашлось точных определений, удостоверяли эти видимые знаки.

Стараясь не замечать, Андрей почтительно стоял на коврике у дверей, преисполняясь доверием и надеждой: вот профессор посмотрит и скажет, что делать.

Профессор стремительно вышел из стеклянных дверей.

— Что же вы здесь дожидаетесь? И никто не сказал, не провел...

Он надел яркое мохеровое кашне. В расстегнутой шубе крикнул куда-то в комнаты:

— Я вернусь, еще поработаю часочка два-три!

И хоть Андрею стало неловко за него: не мог он не

понять, что производилось впечатление широким жестом,— он не позволил себе думать об этом.

— Профессор, такси внизу.

— Ах, вот какое обстоятельство... — Профессор на миг озадачился.— Нет, мы сделаем так: отпустите такси. Поехем на моей машине: мне еще надо будет заехать потом...

Руками в кожаных перчатках он уверенно вел машину по снежным улицам. Андрей попытался было рассказывать дорогой, как заболел ребенок, что было, что делалось, профессор прервал его:

— Ничего не надо заранее. Я все увижу сам.

Но тут же смягчился, счел нужным объяснить отцу:

— Вы приехали за мной, следовательно, хотите знать мое мнение. А вместо этого навязываете свои представления мне. Я должен увидеть непредвзято. Это очень важно.

«Нет, он дальний мужик». — Андрей охотно преисполнился верой. И Аня, открывшая дверь, смотрела на профессора косящими от волнения глазами. Впервые за последние дни она была тщательно причесана, напудрена, подкрашена. С чистым полотенцем в руках она ждала, пока профессор медленно и тщательно мыл руки, взбивая мыльную пену.

Волнение родителей передалось ребенку. Когда открылась дверь и все вместе, пропуская профессора вперед, вошли, Машенька сидела посреди крахмальных простыней (Аня срочно перестелила к визиту) испуганная, в желтой своей пижамке, как гусенок с вытянутой шеей.

Начался процесс осматривания, остукивания, оттягивания век.

— Прошу чайную ложечку... «А-а». Еще «а-а». Еще! Очень хорошо. Свет, пожалуйста, сюда. Сюда, сюда. Нет, дайте я сам. Отлично!

В эти минуты Аня видела ее не своими любящими, а чужими глазами, и покрывшаяся гусиной кожей Машенька казалась ей сейчас особенно жалкой и худой.

— Вы знаете, профессор, она такая крепенькая была,— начала она оправдываться, едва он вытянул резиновые шланги из своих белых чистых ушей.— На лыжах, на коньках...

С хмурым лицом Андрей одевал дочку: заморозили совсем. Он ждал приговора, страшился, и от этого ему казалось, что Аня говорит много лишнего и все не то.

— Воспаление легких. Да. Ну и что? Будем лечить! — Голос профессора стал тонким.— Кстати, вот этого,—

двумя пальцами, как мышь за хвост, он поднял со стула Машенькин яркий свитер,— избегать! Только чистый хлопок! Только чистая шерсть! Синтетика — лишняя возможность аллергических наслоений. Вот здесь, на фирменной этикетке, должно стоять «rigid wool». И то нет гарантии.

Сияющий чистоплотностью и здоровьем, розовый сквозь кожу, свежий, с влажным ясным взглядом голубых глаз, он казался из мира иного, где не болеют дети, где все разумно пытаются и носят исключительно «пур вул».

— Век химии, век синтетики стал веком аллергии. Мы не все можем лечить, но многого мы уже можем избегнуть.

Аня значительно взглянула, и Андрей тихо вышел. Он понял ее взгляд.

Все разузнавший Борька сказал утром, что за профессором надо будет заехать и положить в конверт десять рублей. На всякий случай, хоть и были стеснены в деньгах, они положили пятнадцать: профессор все же, неудобно как-то. Но сейчас, прослушав лекцию об аллергии, Аня поняла: надо дать двадцать.

— Ну что он, пап? — спросил Митя, совсем одичавший за эти дни. Сам с собой он тихо играл на полу в солдатики.

Андрей погладил его по волосам:

— Вот закаляйся, сын, не придется их звать.

Он вернулся, когда Аня с волнением спрашивала о том, что мучило ее все это время.

— ...я окно тогда распахнула настежь. Может быть, морозным воздухом охватило?

Профессор взглянул:

— Мм-м...

Встал. Подошел к окну. Аня ждала, волнуясь.

Приподнявшись на цыпочки, так, что видны стали носки в яркую клетку, профессор сверху смотрел на свою машину, стоявшую у бровки тротуара.

— Я вот так оставил педавпо, и грузовик — представляете? — ободрал крыло. Нарочно, я совершенно уверен. Все-таки удивительный у нас народ, что ни говорите. В нашем дворе человек купил «Москвича» цвета «белая ночь». И вот какой-то... трудящийся... выпил на него бутылку фиолетовых чернил. Ночью не поленился встать. А говорят, мы не трудолюбивы!.. Нет, нас еще сечь, сечь надо! У вас пять машины? Вы счастливые люди...

Он сел к столу, вынул бланки.

— Подумаем о назначениях. Прежде всего снимем лишнее...

Тут он отменил все, чем лечили до сих пор, и назначил два самых новых, самых последних лекарства: наше и голландское. Выписывая, он каждое произнес вслух, помогая усвоить.

Очень точно, придав этому особое значение, разъяснил, как следует принимать: одно за пятнадцать минут до еды, другое спустя пятнадцать минут после еды. До и после. В обоих случаях интервал пятнадцать минут.

— Вот вы увидите, как они это делают,— говорил он о голландском лекарстве.— На сладком сиропе. Не надо думать даже о дозировке: в упаковку вложена пластмассовая ложечка. Наливаете и...— Тут профессор высунул розовый, свежий язык, проглогил воображаемое лекарство и сладко облизал губы.— Ребенок пьет и пить хочет.

В передней Андрей держал ему шубу с целой, нещипаной выдкой на воротнике, от которой пахло мертвичной и пафалином.

— Спасибо, профессор... Значит, это вы разрешаете?.. А это не рекомендуете?..

Подержал и закрыл за ним дверцу лифта.

— Разрешите, профессор, если что возникнет, звонить?..

— Ты не забыл отдать ему деньги? — первым делом спросила Аня.

Оставшись в передней вдвоем, они взглянули друг на друга. У Ани сейчас были глаза верующей. И оба они испытали тот прилив надежды, который на непродолжительное время вносит с собой новый врач.

Андрей тут же помчался по аптекам. После долгих поисков выяснилось, что одно из прописанных лекарств должны получить в первом квартале, а про второе никто и не слышал еще.

Совершенно неожиданно на Анию это произвело меньшее впечатление, чем он ожидал. Воинственно блестя глазами, она открыла дверь.

— А, это ты...

— Что случилось?

— Ничего...

Оказывается, в его отсутствие, только Машенька заснула — дзы-ынь: соседка. Молодящаяся, бездетная, она

впорхнула показать платье, которое сшила к Новому году. А тут ребенок болен. «Ах, у вас всё болеют!..»

— Ты бы видел, с каким выражением она это сказала! Мне обидней всего, что я ничего не нашлась ответить. Ты понимаешь меня? Я растерялась, как будто я еще виновата перед ней.

— Да перестань, о чём ты...

— Нет, каким надо быть бессердечным существом, чтобы матери сказать: «А у вас все болеют...» За целую зиму ребёнок заболел впервые. Я хочу, чтобы она еще раз пришла.

Андрей рассмеялся:

— Не придет.

— Нет, я хочу...

К тому времени, когда вновь позвонили, Аня подготовила все, что она скажет. Но в дверях стояла Лидия Васильевна Немировская.

— Ну как же можно не сказать, не позвонить?

— Лидия Васильевна!

— Оп ведь как ребенок, Александр Леонидович. Я его спрашиваю сегодня: «Что это Медведевых не слышно?» — «Ах да, мне говорили, там кто-то заболел...» Я прямо из поликлиники, только закончила прием. Дайте мне руки помыть. Он в этом отношении совершение дитя.

Раскрасневшаяся на ветру, с растаявшим снегом на седых волосах и на усиках, она вошла и ласково улыбнулась ребенку. Ей рассказали о визите профессора. Она слушала, опустив глаза.

— Оп знающий человек,— говорила она сдержанно, с присущим ей тактом.— Если хотите, я попытаюсь достать это лекарство. Но самое последнее это всегда и самое непроверенное. Стоит ли? И потом грипп... Он ведь к нам оттуда приходит. Так что, если бы они могли лечить...

Слушая Машеньку, она по-матерински погладила ее исхудалую спину. И Аня не удержалась, расплакалась вдруг, стыдясь самой себя. Впервые за эти бессонные ночи.

— Ну что вы, Анна Ильинична, милая!

— Измучилась... И потом тут... Мелочь, по так обидно!..

— Не вырастают они без болезней. Сейчас болеют, потом начнут замуж выходить... расходиться. Я вот вспоминаю теперь как золотое время...

На двенадцатый день нового года Андрей стоял с дочкой у лифта, держа в своей руке ее руку в варежке. Одетая в валенки, шапку, шубку, Машенька смеялась — залпивалась, вспоминая, как профессор высунул розовый язык и облизнулся.

Смеялась дочка: смешно. Смеялся отец: выздоровела дочка.

ГЛАВА XIV

В первое же воскресенье Аня выгнала своих мужчин за город на лыжах. Она хотела, чтобы Митя подышал воздухом. Андрей хотел поглядеть ту поляну у леса: кто знает, может, все-таки придется ему строить там.

В ночь с субботы потеплело, подул южный ветер. Влажное дыхание его осело на деревьях, на проводах, провисших под тяжестью, и утром зимнее солнце осветило сказочный мир.

В снежном величии стоял лес, весь опущенный. Как в глубину облака, въехали в него. Тихо. Глухо. Белый мягкий свет, белое мелькание перед глазами. Подныривая под снежной лапой, Митя лыжной палкой ткнул в нее и выскоцил из обвала весь в снегу.

— Стой, обтряхну! — крикнул отец.

Но Митя убегал от него на лыжах, мелькал среди белых деревьев. Андрей закурил сигарету. Качалась взлетевшая вверх ветка сосны, сыпалась, пскрилась в воздухе изморозь. Он догнал сына, вместе вышли на просеку.

Мимо них прошел лыжник. Шумно дыша, он работал руками и ногами, как машина рычагами. Остроконечная вязаная шапка, мохнатый широкий свитер, тонкие в натянутых шерстяных чулках ноги. И по всей просеке — и впереди и позади них — шли лыжники, все в одну сторону. Блестело солнце, слепил снег, лежали тени попереck лыжни. Высоким было небо. Впереди, замыкая просеку, оно стояло стеной. Яркими точками возникали там лыжники на гребне и исчезали, как будто сваливались за горизонт.

Попав в пакетанную лыжню, как в общую струю ветра, Митя наддал шагу, радостно блеснули глазенки из-за плеча. Лежавшие попереck лыжни тени вскачивали ему на спину и падали.

Как по-иному видишь мир, когда есть дети. Даже прошлое начинаешь видеть через них. И жутко станет задним числом — за них, хотя тогда и на свете их не было.

Недавно смотрели телевизор всей семьей, какую-то комедию. Машенька взбралась к нему на колени. Она не знает, какой несаянной радостью способна одарить отца, когда вот так сама взберется на колени, пригреется... И ни с того ни с сего посреди комедии ему вдруг вспомнилось, как в сорок втором году на болоте немецкая разведка напоролась на них. «Ты чего?» — удивилась дочка. Оказывается, он прижал ее к себе и дышит в макушку. Через их жизни он и своей заново узнавал цену. Ведь это их могло не быть, их шли убить: Митю, Машеньку. И кому какое дело, что они сказали бы, прия в мир? Может, им что-то суждено сказать? Или нарочно, чтоб не смогли? Да нет, счет ведь не на единицы шел. Вследую, па миллионы.

И как просто было! Вот эта простота все больше вспоминалась па отдалении. В Венгрии такой же солнечный день стоял, полу зимний-полувесенний уже. Их наблюдательный пункт был в разбомбленном кирпичном доме. И до того надоело в каменном холоде сидеть, что они с капитаном Щеголевым вылезли в трапшею, стали за выступом стены, с непривычки жмурятся па солнце. А на той стороне, тоже в развалинах, исмцы пушчинку выкатывают. Простым глазом видно, как там за щитом копошатся, как разворачивают ствол. Они стоят смотрят. А те выкатывают. И солнце весеннее, снег подтаивает, в глаза блестит... Как рявкнула пушка! После сами удивлялись: когда успели па дно траншеи упасть? В доме крик поднялся: «Комбата убило!..» Пыль, дым, стрельба началась. А они лежат, и с перепугу даже смешно вроде. Молодые были, глупые все же.

Прошлой осенью в День артиллерии, 19 ноября, зашли они с Борисом в ресторан. На эстраде четверо парней в малиновых пиджаках с галуном, с электрогитарами па животах. От каждого электрический шнур по полу. Парни по очереди подсовываются мордашками к микрофону. Мяукнет по-английски и затрясется с электрогитарой па животе, словно его током пропзило.

Как водится, места все были заняты. Только в глубине, у колонны, один за столиком сидел человек в компании с бутылкой вина и свиной отбивной на тарелке. По-

казалось на миг — иностранец. Даже по тому, как он отпивал вино: не пил — дегустировал. Но вообще-то теперь так, с маxу не определишь. Может, из Москвы командировочный или из Ленинграда. Иностранного — только костюм на нем: светло-серый, в голубую клетку продержку. Но кто теперь заграницные костюмы не носит? «Разрешите?» — «Пожалуйста». Выговор старательно чистый. Очищенный. Из голубых глаз понимающая улыбочка: сядут или не сядут?

Сели. Взяли карту.

Выяснилось, что и предположить можно было: воевал в России, находился в плена. Тут он достал из внутреннего кармана лоснящийся кожаный бумажник, двумя пальцами вынул из него твердую визитную карточку. На матовой, имитирующей переплетенную ткань стороне сочное черное тиснение. Коммерц-директор.

За неимением визитных карточек представились так: скульптор, архитектор. «О-о!..» Снова не без удовольствия вынут был кожаный бумажник и оттуда — теперь уже с улыбкой — белыми мягкими пальцами достал глянцевую и тоже твердую фотографию. Сначала сам в нее глянул, потом им передал: «Meine Familie».

Химически-красные маки, химически-зеленая трава, а перед двухэтажным островерхим, под черепицей домом — четверо. Которая из них мать, которые дочери, разобрать трудно: все в белых шортах, все юные, все улыбаются в объектив. Вот сына сразу отличишь: рыжими кольцами волосы до плеч.

И еще машина сфотографирована на переднем плане рядом с домом: голубая на зеленой траве, свежевымытая, блестит чистыми фарами. Моя семья, мой дом, моя машина. Тоже визитная карточка.

Коммерц-директор постучал ногтем по глянцу фотографии, по длинным волосам сына: «У вас тоже... как называется?.. diese проблем?» — «Есть и у нас».

Вот такая общность проблем. Мирных? Мировых?

Интересно, жив немец, которого Андрей отпустил во время Ясско-Кишиневской операции? В тот день его контузило. Даже не контузило, а отбросило взрывом и ударило несильно обо что-то. «Прислонило к стенке», как он после говорил. Слабый, вялый — его качало, он еле сдерживал тошноту, — Андрей заснул под дождь на промежуточном пункте связи, один в окопе.

Уже был прорван фронт, уже наши танки на флангах далеко ушли вперед. Множество немцев из разбитых частей бродило у нас в тылу. Их даже не вылавливали: некогда было, да и не сорок первый год. Шел август сорок четвертого.

Проснулся Андрей как от толчка. Входила ракета. В ее смещающемся свете над окопом наклонился человек. Он увидел над собой — на всю жизнь запомнилось — длинный, желобом, козырек немецкой фуражки, светящиеся повисшие капли дождя, лицо в тени. Долгий миг смотрели они в глаза друг другу. Немец отпрянул, побежал.

Ракета подымалась в дожде. По мокрой земле, оскользясь, расплескивая сапогами блестящие лужи, бежал от смерти солдат чужой страны. Он был ясно виден весь: спина горбом, хлястик шинели на позвоночнике.

Шел четвертый год войны. Сколько за эти годы сложнейших вопросов, на которые мудрецы ответа не нашли, решалось нахватием пальца на спусковой крючок. И уже привычно сделалось, просто.

Посадив на мушку, отчего немец уменьшился сразу, Андрей вел за ним ствол автомата, четко видел пригнутую его спину, которую сейчас догонит пуля, а сам плавно нажимал спуск. Но вдруг отчего-то снял палец... Если жив тот немец, возможно, и у него сейчас свой дом, «meine Familie», визитные карточки.

Коммерц-директор уже ел мороженое из высокой металлической вазочки, когда им принесли закуску, бутылку «столичной». Он поднял свою рюмку на уровень глаз, они тоже налили. Выпили. А мертвые лежат в земле.

Ребята в малиновых пиджаках на эстраде забили разом во все, что звенело и громыхало, затряслись в исступлении, испустили в микрофон последний вопль. И выстроились с блещущими гитарами на животах, согласно качнули головами. Волосы накрыли лица и откинулись.

Интересно, не на их ли фронте был сосед по столу? Нет, оказывается, на другом участке. Севернее. Все же как-то приятней. Он указал на себя пальцем; «Infanterie! Пехота!» И Борька толстым пальцем ткнул себя в грудь: «Летчик. Самолеты, Flugzeug». И Андрей представился: «Артиллерия». Был он и пехотинцем, ротой командовал, он с середины войны стал артиллеристом. Так и считал себя: артиллерист. «Ну а сын ваш, их гене-

рация, что они знают о войне? Как относятся?» Бывший пехотинец, ныне коммерц-директор из Дюссельдорфа, улыбнулся просвещенно. Сделал жест рукой, что-то легкое отпуская от себя по ветру. И оно отлетело: «Безумие. Их генерация will nicht... как это?..» Он искал слово. Нашел: Гитлер был безумный. Безумный... Безумие... Но скольких оно охватило! Что же люди — трава под ветром? Подуло — и они вытянулись травинка к травинке, волна за волной...

Экономические причины понятны. Политические причины — это тоже все можно понять. Но вот сыну, ребенку, который еще прост умом, как объяснить? Как объяснить, что где-то по костям людей взобралась одна сволочь наверх и миллионы идут убивать таких же, как они, которых и в глаза не видели ни разу. А теперь еще проще, даже в глаза не надо глядеть, смущать свою совесть. Кнопку только нажать...

Синие морозные тени лежали поперек просеки, и солнце блестело в накатанной лыжне...

Весь разгоревшийся, Митя скинул капюшон. Маленькие лопатки старательно двигались под курткой, уши пылали, ложбинка на шее вспотела.

Но самое страшное, когда отцы и матери шли на гибель с детьми на руках. Даже собой не могли заслонить, могли только умереть вместе.

Березы в инее казались спреневыми в тени; слепящие стояли они на солнце. И снег был чище и белей их белой коры. А под каждой словно желтым песком посыпано: это из раскрывшихся сережек высыпались семена, начиная новый круг жизни.

Обогнали семью. Кукольная девочка лет четырех с локонами ковыляла на красных лыжах. Красный гарусный костюм такой яркий, что снег вокруг нее светился розовым. Обогнали маму. Молодая, в синих эластичных брюках в обтяжку, в снежно-голубом свитере. Стянув за помпон вязаную шапку с головы, она трясла на солнце золотистыми распавшимися волосами. Оглянулась на проходящих — глаза синие-синие. Улыбнулась ими. Людям? Или всему дню этому бездонному, полному солнца и света?

Митя бежал впереди, удаляясь. Его сын. Это чудо из чудес, что он есть, бежит по земле, где стольких не стало. А столько не родилось и уже не рождается вовек.

ГЛАВА XV

По всем домашним приметам, ожидали именинника сплошные удачи. На целый год вперед.

Александр Леонидович Немировский родился «на Евдокию», 1 марта по старому стилю. Теперь, на отдалении шести с лишним десятков лет, никто, конечно, не помнил, какой тогда выдался день в марте. А год был — первый год века. Но сохранился в семье рассказ, что мать Александра Леонидовича, будучи не в силах подняться с постели, попросила посмотреть в окно. Считалось, если в этот день «курочка водички напьется», лето будет хорошее. На той стороне, куда выходили окна, был мороз, синяя тень, нигде не текло, не капало. Но сбегали на другую, на солнечную сторону. Там блестели лужи, вовсю лило с крыши. И хотя примета не имела прямого отношения к новорожденному, в сознании матери все как-то само собой соединилось: хорошее лето, хороший год, хорошая жизнь. «Ну, слава богу!» — сказала она, успокоясь.

С тех пор всегда в этот день смотрели, напьется ли курочка водички. Вначале мать, потом ревностно смотрела жена, к которой вместе с этой приметой с рук на руки перешел Александр Леонидович.

Но были у Лидии Васильевны еще и свои приметы, унаследованные от собственной матери. Она всегда очень тревожилась, удастся ли пироги. Тут ни за что заранее ручаться было нельзя. И если тесто не выходило воздушное или вдруг подгорал пирог, настроение у Лидии Васильевны портилось непоправимо. Конечно, ни в какие приметы она серьезно не верила, просто привыкла и ничего с собой поделать не могла. Тем более что она всегда очень боялась за Александра Леонидовича.

Сегодня все удалось на редкость. Тесто подошло быстро, пироги были высокие, легкие, все пропеклись, и ни один не подгорел. Сажая кулебяки в духовку, Лидия Васильевна каждую из них куриным перышком, как еще мать учila ее, смазала сверху яичным белком, и вышли они румяные, с глянцевой корочкой. В тот момент, когда она вынимала их, заглянула в кухню младшая дочь Людмила с сигаретой в пальцах.

— Вот смотри... Не будет меня, запомни. — С наивной гордостью Лидия Васильевна прямо с пылу, с противня бесстрашно взяла кулебяку на ладонь. — Не обжигает! Первый признак, что пропеклась.

На столе ждали деревянные доски, покрытые бумажными листами. Эту белую бумагу Лидия Васильевна брала в кабинете Александра Леонидовича, чувствуя себя при этом так, словно уворовывает. И хотя он сам сказал ей, что вот здесь, слева на полке, специально лежит стопка, из которой она может брать не спрашивая, за руку подвел и показал, она все равно очень робела и не было у нее уверенности, что не перепутала чего-то.

Одну за другой она выложила на доски все три кулебяки: с мясом, с капустой и с рыбой. И, пышущие, накрыла чистыми кухонными полотенцами. Она не видела себя сейчас, румяную от жара духовки и седую, с живыми, молодо блестящими глазами, и единственno радовалась, что Александра Леонидовича нет дома, и он увидит ее уже не в старом халатике, потную, а когда она искупается и приведет себя в порядок.

— Не знаю, зачем это в наше время печь самой,— затянулась Людмила сигаретой.

От не смытой с вечера туши вокруг глаз темно, и сигарета куритсянатощак, после чашечки пустого кофе. Но Лидия Васильевна уж молчала, говорила дочь:

— У людей праздник, а у тебя всегда в этот день волосы на голове горят. Прекрасно можно все купить. Тем более вам. Стоит сказать только.

Дочери выросли, стали материами и теперь учат ее. Если б еще она могла научить их прожить жизнь так, как она с их отцом прожила. Особенно Людмилу, младшую.

— У меня в доме никогда по-холостяцки не бывало,— сказала Лидия Васильевна.— И отец ваш привык, чтобы в праздник пирогами пахло. Так я жизнь прожила.

— Думаешь, правда мужчинам это ценят? Мужчинам в наш век нужно совсем другое.

«В наш век» и «когда ты жила!..» — это были теперь постоянные аргументы Людмилы. Словно они с отцом из другого века. Словно их давно уже нет вообще. Но Лидия Васильевна не обижалась. Она жалела дочь: Людмила вторично и теперь как будто окончательно разошлась с мужем, забрала Олечку и переехала к ним. Не раз она замечала в эти дни, как дочь нарочно делает ей больно, именно против нее почему-то ожесточается. Но она не обижалась.

А вот дочерью об отце сказанное: «Мужчинам нужно совсем другое», было ей неприятно. Как будто себя с

отцом Людмила ставила на одну доску, где ей, Лидии Васильевне, и места нет. К Александру Леонидовичу вообще не относилось то, что Людмила, наверное, имела в виду и о чем Лидия Васильевна, жизнь проживши, могла только смутно догадываться.

А совсем недавно такая это была очаровательная, веселая девочка, вся в кудряшках и бантах, отцовская любимица; никто без улыбки не мог на нее взглянуть. И вот вернулась в дом женщина, временами чем-то чужая. Лидия Васильевна стыдилась делать замечания, когда Люда неодетая или так обтянутая шортами, что это еще хуже, чем неодетая, расхаживала при отце по дому.

И уже сами собой интересными становились рассказы о том, что у тех и у тех тоже дочь разошлась с мужем, начинало казаться, что теперь все так, у всех. Но в душе Лидия Васильевна знала, что нет, не у всех, не все.

Они с Александром Леонидовичем так не жили, вот это она могла сказать. За всю ее жизнь он был единственный, главный, самый дорогой для нее человек. Он был и мужем и отцом ее детей, хорошим отцом, и всю жизнь она относила к нему так, словно он был ее взрослым ребенком. Она всегда все помнила за него и радовалась этому. Ни дочери, даже когда совсем маленькими были, ни внуки теперь не заслонили его. Место Александра Леонидовича в ее сердце было совсем особенное. И она только страшилась за него: как он будет жить, когда ее не станет?

А то, что случилось восемь лет назад... Теперь она понимала, это бывает с мужчинами в таком возрасте. Что она тогда перенесла, она одна знает. Эта страшная женщина, онколог, которую она и теперь изредка встречает в райздраве на совещаниях... Но ни тогда, ни теперь она никому слова не сказала. Единственno написала старшей дочери. И та прилетела со своим мужем, и вместе с Людой они удержали отца от непоправимого шага. Страшно подумать, что могло бы быть! Люда сказала ей, когда уже снова все стало на свои места, и Александр Леонидович просил у нее прощения, и она простила, настолько простила в душе, что смогла забыть: «Знаешь, мать, отец еще святой. Ты ему в няньки записалась, а ему жена нужна». Глупая девочка! Ни с кем никогда Александру Леонидовичу не было бы лучше. Если бы он все же сделал тот страшный шаг, он рано или поздно все равно к

ней бы вернулся. Но вернулся бы старым и больным. Она врач, она знает. Ранние инфаркты, инсульты — вот чем это кончается. Они прожили счастливую жизнь, детям своим она могла бы такую жизнь пожелать.

К тому времени, когда Александр Леонидович вернулся с работы, она успела и душ принять и в парикмахерской побывать: сделала прическу и маникюр с бесцветным лаком. Волосы она не красила, как теперь все, в рыжий цвет. Не было ничего на свете, что бы она не сделала для Александра Леонидовича. Но врату ему она не хотела ни в чем. Они вместе радовались детям, вместе счастливы внуками. Что же стыдного, что у нее седые волосы? Ведь это она не где-то, а с ним прожила жизни.

Единственная ее ложь касалась сды. Она способна была поклясться, что ела, и клялась, когда ей нужно было в трудное время накормить его и детей. И честно смотрела ему в глаза. Она могла и теперь приготовить кролика и сказать, что это курица. Но то была святая ложь: иначе бы он есть не стал. Удивительно, как он ничего не понимает.

— Ну-у!.. — сказал Александр Леонидович, как бы повергнутый в изумление. — Пирогами пахнет уже в подъезде. Люди на улице останавливаются, трамваи сходят с рельсов!

Он подал ей букетик ранних фиалок, с молодой галантностью поцеловал руку. Торжествуя, Лидия Васильевна сияющими глазами оглянулась на дочь.

Она хотела тоже поцеловать его склоненную голову, на которой волосы были уже редки, по тут с криком: «Де-еда!» — вылетела из комнаты Олечка, словно за ней гнались, с прыжка повисла у него на шее. Вот кому все в доме было позволено. Как когда-то ее матери.

Подхватив внучку под колени — та сразу в своем коротком платьице и белых, треугольничком трусиках удобно уселась на его руке, — Александр Леонидович разогнулся; от напряжения паморщившаяся кожа на затылке покраснела.

— Оставляй нам Олечку и езжай себе куда хочешь свободная, — сказал он.

— А дочь уже не нужна? — Людмила подошла, покачивая бедрами, подставила щеку для поцелуя. — Всех эта паршивка заслопила.

Лидия Васильевна стояла, отвесившая, с букетиком фиалок и портфелем Александра Леонидовича в руках.

— Дайте ему хотя бы снять пальто,— говорила она, заявляя свои робкие права.

Через полчаса всей семьей накрывали дубовый обеденный стол. Дед с внучкой, взявшись, разодрали спинущуюся под утюгом крахмальную льняную скатерть. Все эти нынешние, привезенные из-за границы клееночки, все это модное не признавалось в доме Немировского. Все только натуральное, только естественное! И в человеке, и в жизни, и в архитектуре! Александр Леонидович любил говорить: «Человек родился в колыбели, где матерью природой было припасено для него все. К сожалению, он поздно догадался об этом и больше перебил и уничтожил, чем употребил с пользой. Наша задача не выдумывать, а выявлять. Кстати, для этого требуется гораздо больше ума и знаний. Выявлять законы, скрытые в глубине явлений. Природа скрыла их от неразумных, которые способны лишь сломать механизм. Выявлять природу творчества и красоты, которые заложены в основе мироздания». Длинновато несколько, но не так уж плохо сказано, если подумать. Скажи это Дарвин или, например, наш великий соотечественник Павлов, люди занесли бы это на скрижали.

Растягивая сейчас с внучкой крахмальную скатерть, Александр Леонидович чувствовал в себе тот первый подъем, ту взвадривающую энергию, которая, в сущности, и есть творческая энергия. И, сам за собой не замечая, он напевал в нос.

Колеблемая при каждом рывке, Олечка вместе со скатертью летела к деду и так хохотала, так хохотала, едва на спину не падала от хохота.

— Оля! Ольга! — пыталась сердиться Лидия Васильевна, но и ее глаза, которым полагалось быть строгими, смеялись. Невозможно было не улыбаться, глядя на этого здорового, веселого ребенка в коротком платьице, открывавшем все целиком полные стройные ножки.

Наконец скатерть была расстелена и заблестела под косым вечерним светом из окон. В центре стола будет помещено коронное блюдо, но его следует внести позже, на грубой доске. А пока что этот пустующий центр обставлялся всевозможными закусками.

Александр Леонидович, в костюмных брюках, в свежей крахмальной сорочке, с отпущенными галстуком, который к приходу гостей оставалось только подтянуть, в тонких

немецких подтяжках с никелированными зажимами, расставлял на особом столике водки и коньяки.

— Все как всегда. Все как всегда,— говорил он.— Мы никого не ждем и всем рады.

Конечно, он надеялся, что, может быть, придут те, чьим присутствием измерялось его положение и вес, но даже себе самому он бы в этом прямо не сознался. Что-то происходило вокруг него в последнее время, он чувствовал. Несколько раз уже забывали прислать ему пригласительные билеты. Дело не в самих билетах, хотя многие и за многие годы мандаты, делегатские удостоверения, билеты на торжественные заседания со штампом «президиум» он хранил. Дело в том, что это не бывает случайно. Он мог не прийти, скажем, на выставку книги, но билет ему полагалось прислать. И его секретарша Полина Николаевна не оставила это так просто, она отреагировала должным образом и созвонилась с кем следовало.

Он стал замечать какое-то нетерпение в людях. Он привык говорить простирающе, в несколько замедленной манере, с паузами, и егоенным образом всегда слушали. А тут с первых слов, как будто уже известно было, что он скажет не то и не так, начинали проявлять нетерпение, переглядываться. И он не чувствовал в себе уверенности. Что-то происходило, чего он не мог остановить. И Александр Леонидович делал единственное что мог: старался не замечать. В конце концов, сегодня все-таки не круглая дата: шестьдесят три года. Не шестьдесят пять даже. Сугубо семейный праздник.

Он переставлял бутылки, создавая одному ему ведомый беспорядок, который бы наглядно говорил, что никаких особых приготовлений, поставлено только то, что оказалось в доме. А в доме оказалось многое. На все вкусы. «Столичная» с красной этикеткой: водка с такими этикетками в их городе пока еще была редкостью. Экспортная, поль семьдесят пять литра, бутылка особой «московской» с зеленой наклейкой, золотыми медалями и завинчивающейся пробкой. Стояла «беловежская», привезенная приятелем из Минска. В графинчиках были водки собственного приготовления: зеленоватая на свету, настоящая на укропе, чесноке и красном перце; чуть желтенькая — на лимонных корочках; почти черная, так что хрустальные грани графина зажигались в луче темным рубиновым огнем, водка на черноплодной рябине, настаивающаяся целых полгода.

Подтянув брюки на коленях, Александр Леонидович присел у серванта, достал нераспечатанную круглую бутылку марочного молдавского коньяка «Кишинэу», взглядом поискав для нее место на столике.

— Тум, тум, трам-та-там, тра-та-там, тра-та-там,— напевал он в нос.

Да, да, никаких приготовлений. Только то, что оказалось под рукой. И при этом порядок дома неизменный: никто никого не уговаривает, не принуждает. Дело хозяев — поставить, дело гостей — распорядиться по своему усмотрению. И чувствовать себя свободно, приятно.

Все три женщины — бабушка, внучка, дочь — носили из кухни на стол. По временам у них вспыхивали бурные дискуссии, и громче всех раздавался голос Олечки.

Александр Леонидович в последний раз окунул содеянное взглядом творца. Стол имел тот вид, какой он хотел ему придать: словно эти бутылки и графины все вместе были взяты в охапку и поставлены вот так, без разбору. Он нажал пальцем клавишу радиолы, отрегулировал звук до приглушенной бархатистости и, бросив этот завершающий штрих, вышел на кухню, готовый к роли третейского судьи в своем доме.

В шестьдесят три года он был все такой же сухощавый, как в тридцать. Для Лидии Васильевны, смотревшей на него глазами жены и домашнего врача одновременно (а с годами все больше глазами врача), это значило многое. Он не носил на себе лишний груз в десять — пятнадцать килограммов, сердцу его не нужно было совершать непосильную работу, питать кровью всю эту бесполезную массу. «Как юноша», — подумала она.

— Твоя внучка командует. Все ты ее распускаешь! — по видимости возмущаясь, на самом деле гордясь, сказала Людмила, идя мимо него с салатницей. Оглядела отца. — Ты мне правишься сегодня, Немировский!

Все четверо друг за другом они прошли через переднюю с мисками, мисочками в руках. Здесь перед темным зеркалом, как будто в глубине его, горела электрическая свеча в желтом абажуре. От нее лица в зеркале, глядящие из темноты в темноту, казались коричневыми, как на полотнах Рембрандта. Это всегда очень сердило Лидию Васильевну. «Господи! — говорила она, торопясь на работу. — Вся моя косметика — нос напудрить. И делаю это на ощупь». Случалось, она высакивала на улицу с таким

перепудренным носом, что при ярком солнце он казался сине-белым. Но Александр Леонидович любил рембрандтовские тона.

Здесь, в передней, все было самое простое, на стенах, оклеенных обоями под кирпич, книжные стеллажи от пола до потолка. Не полированные, не лакированные даже: струганые доски. Лиственица. Но промореная так, будто время закоптило ее.

А потом из темноты передней — в свет комнаты с большим стеклянным эркером, где все современное: прямые линии, отражающие плоскости. Век нынешний и век минувший.

Женщины заставляли стол блюдами, Александр Леонидович всему давал последнюю отделку. Он был душой и центром. И спаса — единственный мужчина в их доме.

Если уметь радоваться тому, что есть, все хорошо у них. Но в самые счастливые часы в душе Лидии Васильевны жила тревога. За него, за внуков, за дочерей.

Кажется, все, что можно сделать для детей, делалось. Но вот встречается чужой, чуждый человек — и родители бессильны. Их опыт ничего не значит, их просто не слушают, слушать не хотят. А ведь дело идет о счастье их дочери. И нет никого беспомощней родителей: всё видят и ничего не могут изменить.

Высокая, в белой заструченной блузке с черным штуртом-бантюком, в ярком переднике, Лидия Васильевна сияла ровным, спокойным, устойчивым светом счастливой матери, жены и хозяйки дома. Быть может, ничего так не дорого в семье, как это неизменное, ровное, приветливое свечение.

Стол был как всегда, Александре Леонидовичу красоты не придется. И пироги удались. А если что не так, ей простится: ведь все-таки она работает. Вот уже тридцать с лишним лет. Ее недавние пациентки приводят теперь к ней своих малышей. А одна недавно принесла внучку в пеленках. В тот день Лидии Васильевне даже взгрустило.

— Ну что ж, — сказал Александр Леонидович, взглянув на часы, — можно ждать гостей.

Он надел пиджак, подтянул перед зеркалом узел галстука.

ГЛАВА XVI

Весь прошлый день мело, город опять стал белый, словно зима вернулась. Ночью под окнами скребли дюралюминиевые лопаты дворников, лязгали снегоуборочные машины. И вдруг с утра — солнце в ясном небе, засверкало, потекло, от тротуаров повалил пар.

Впервые после целой зимы Аня шла по городу в туфлях и без шапки. Она с вечера помыла голову, волосы были пушистые, блестели, солнце грело их, а мех воротника у щеки был теплым. Она шла, виском касаясь плеча мужа, опьяневшая от весеннего воздуха.

— Глаза у тебя какие! — сказал Андрей.

— Какие?

— Сонные-сонные, пьяные-пьяные.

— Знаешь, что я хочу сейчас больше всего? Вернуться уже домой.

Она смотрела на него снизу вверх.

— У-у, какие глаза!

Вдруг из-за угла с грохотом, так, что люди расступались, выкатился инвалид, ремнями привязанный к деревянной площадке на подшипниках. Высокий даже без ног, в зимней шапке на потном курчавом лбу, он мчался, как с горы, отталкиваясь деревянными утюжками от асфальта. Лихо крутанул на повороте — со сверкнувших подшипников отлетели брызги. Такой сильный, широкоплечий, и руки, которыми он отталкивался, большие, сильные. Посторонясь, Аня прижалась к мужу. Мелькнуло потное, отечное лицо. Затихал вдали грохот подшипников. Вновь во всю ширину тротуара шли люди, субботний праздничный поток.

— Но ведь если любишь, какое это может иметь значение? — сказала Аня. — Он вернулся с войны, и дороже нет никого.

Андрей промолчал. След войны длился и кровав, из бесконечности в бесконечность. И все летит, летит та пуля, что у матери убила сына, у жены — мужа, у не родившегося на свет сына отняла отца.

Они пришли к Немировским с опозданием. Внизу у лифта стояли несколько человек, смотрели вверх, нетерпеливо трясли дверцу.

Была известная история про архитектора, которую Андрей с удовольствием вспоминал всегда. Архитектору сказали, что он не учел пропускную способность лифтов:

в вестибюле постоянно скапливается народ, нервничает, ждет. «Повесьте здесь зеркало,— посоветовал он.— Большое зеркало». Повесили. И люди вдруг перестали спешить. Не это ли сегодня нужней всего людям: возможность видеть себя в определенные моменты. И способность видеть себя.

Они пошли наверх пешком. На четвертом этаже на двери, мягкой, как спинка дивана,— начищенная медная пластиинка: «Немировский А. Л. Архитектор». Каллиграфические буквы, сияние — как у пуговиц на мундире. Конечно, Лидия Васильевна начищала. И в передней Немировских, где под потолком красовалась голова медведя со стеклянными глазами, рогатые головы лося и олена, всякий раз Аня думала: «Неужели Лидия Васильевна лазает туда с пылесосом!»

Дверь открылась, на площадку вырвались громкие голоса, запах жареного. Держась рукой за цепочку так, что платьице потянулось вверх, стояла Олечка.

Аня вынула из сумки белого пушистого утенка с красным клювом и изумленными глазами, который ей самой понравился в магазине.

— Это тебе.

Олечка отступила, молча смотрела на нее, держа руки за спиной.

— Он пищит, вот послушай.

Сжатый в пальцах, утенок раскрыл клюв и крякнул. Девочка все так же молча смотрела. Не на утенка — на эту женщину. Смотрела, будто не понимала языка, на котором с ней разговаривают.

Никто из взрослых никогда ей не говорил ничего подобного, но у нее тем не менее сложилось ясное убеждение, что дед ее самый главный и потому все подлизываются к ней. И она строго смотрела на эту женщину, которая пищала перед ней утенком. Потом повернулась и побежала в комнаты, наскочив в дверях на деда.

— Наконец-то! — шумно приветствовал Немировский.— Оля! Куда же ты? Ты не поняла, это тебе.

— У меня уже два таких! — из комнаты крикнула девочка.

— Ольга! Ужасно дикое дитя.

— Боже мой, какая прелест! — за внучку преувеличенно радовалась Лидия Васильевна.

И четверо взрослых, чтоб скрыть неловкость, восторгались игрушкой, стоя в передней.

— Саша, он раскрывает клюв!

— Мне он самой понравился,— словно бы оправдывалась Аня.

— Прелесть, прелесть!

— Смотрите, как болгары научились делать.

— Они, между прочим, и раньше умели.

Внучке утенок, бабушке ветка мимозы («А мне за что? Ну спасибо.— Они поцеловались с Аней.— Спасибо.— Поцеловались еще раз.— Они ужасно сейчас дорогие». И, словно бы поколебавшись, поцеловались в третий раз).

Имениннику был подарен кавказский рог на серебряной цепочке. Поухаживав за гостьюей, Немировский тут же, как человек воспитанный, содрал обертку с подарка, чтобы вниманием отблагодарить:

— Мужчине — рога? Впрочем, в моем возрасте это можно. Уже можно. Но первым из него будете пить вы.

— Штрафную, штрафную! — кричали гости из-за стола.

— Они опаздывают, а мы тут надрывайся.— Это Борька Маслов загородил свет в дверях.— Анечка! Аинушка! Аютка! Вот кого я люблю! — Он обнял Аию.— Люблю и целую!

— Борька, ты пьян! Тебе что, целовать некого?

— Тсс!

Все посмотрели туда, куда испуганными глазами глянула Борька. Рядом с отодвинутым стулом сидело нечто молодое, белокурое, худенькое — козочка в очках. Так вот ради кого искал Борька ходы, одолживал деньги: срочно покупалась однокомнатная квартира в блочном доме. Не миновать ему и этой весной лепить старающихся пловчих, гимнасток с веслом, пионеров с горнами и дискоболов. Этим сопровождалась смена власти в Борькиной жизни.

— Слушай, Боря, ты все же предупреждай...

— Тсс!

Козочка очень внимательно оглядела Медведевых через толстые стекла очков.

— Очень приятно. Боря мне много рассказывал.

Еще внимательней оглядела Анию платье.

Тем временем Борька наливал в рог. Аня хотела выхватить у него бутылку.

— С ума сошел! Дай хоть сполосну.

— А как на фронте из копытного следа?

- Слушай, ты, инженер человеческих туш!
- Уш!
- Душ!
- Поимей совесть!
- Они опаздывают...
- Боря, лей!
- ...а мы тут, понимаешь, надрываются.
- Пей до дна, пей до дна, пей до дна!

По мере того как подымался вверх тонкий конец рога и глаза все подымались, Аня, тоже играя в этом спектакле взрослых людей, испуганно смотрела на мужа, как должна в таком случае смотреть жена.

- Пей до дна, пей до дна, пей!

Допил, крякнул, стряхнул капли на пол. Сел. Общий с хлопаньем в ладоши хор распался на голоса:

- Ешь.
 - Нашли чем штрафовать.
 - Закусывай сейчас же.
- В несколько рук ему накладывали в тарелку.
- Дайте отдохнуться.
- Он сунул сигарету в рот, щелкнул зажигалкой.
- Медведев, поухаживайте.

Голос низкий, чуть с хрипотцой. Это Людмила Немировская. Черные ресницы-опахала опущены, кончик сигареты тянется к огню. Андрей поспешно поднес зажигалку. Когда прикуривала, ресницы поднялись, темными зрачками поверх огня глянула в зрачки ему. И опустила ресницы. Откинувшись, выдохнула из легких долгую струю.

Холодное вино уже носилось туманом. И стало вдруг легко. Мягче свет, глупше голоса. И лица вокруг все улыбающиеся.

Аня сказала тихо:

- Ешь.
- Взяв у него сигарету изо рта, погасила в пепельнице.
- Следки положить?
- А за столом гул голосов, каждый говорит свое:
- ...намачиваете — и что?
 - Нет, лучше белый. Можно, конечно, можно!.. Но белый гриб — это соловьиная песня.
 - Там девятка на конце, а у меня нуль. «Это цирк? Цирк?» С раннего утра! «Цирк?» Цирк, говорю. С моей тещей у нас всегда цирк.
 - Ты мне говоришь — буро-набивные сваи, а я тебе

говорю — ритм. Ты пробурил, а он на миксере с бетоном за водкой поехал. А она, голубушка, стоит под дождем, оплывает...

— Восемнадцатый век, не спорьте!

— Но Лидия Васильевна, как всегда, на высоте! — Это голос Полины Николаевны, секретарши Александра Леонидовича.

— Учтите, копытко расширяет...

— Мы расширяемся!

— А я тебе говорю — ритм!..

— Семнадцатый, семнадцатый, перестаньте, пожалуйста. Семнадцатый век, уж в этом я все-таки понимаю кое-что.

— Я сказала: Боря, почему тебе не бегать по утрам? Теперь все бегают...

Это Борькина молодая уста отверзла. Оказывается, у нее и голос есть: тихий такой, тихенький. Но слышный вполне. А то все молчала, слушала, ела с большим аппетитом. Это первый ее выход. Все ей ново, все интересно: что как стоит, что говорят, что на ком. Она и у себя заведет так же. Непременно. А Борьку жаль. Талантливый парень.

Борька подмигивает издали круглым добрым глазом:

— Андрюша! Аннушка! За вас!

— То-то же...

А ведь побежит. Будет бегать по утрам.

— Бег — это мода. Полезней прыгать.

— Семен Семеныч!

— Нет, я как врач...

Но Борькина молодая отнеслась серьезно:

— Как прыгать? Через что?

— По тумбочкам, по тумбочкам пусть прыгает. И лучшие натощак.

— Семен Семеныч собственным опытом делится.

— Прыгаю, родные мои, прыгаю. Была жива моя Велиса Макаровна, ума не хватило догадаться. Так хоть для дочки теперь. А внуков подарит — с головой в кабалу к ним.

От полноты ли чувств или еще от чего-то глаза у Семена Семеныча мокрые. И у Лидии Васильевны, которая с того конца стола слушает его, в глазах слезы. Все живы, здоровы, приятные люди собрались за столом — что еще нужно? Но она знала — ей ли не знать! — как уязвлен Александр Леонидович. Он старается не показы-

вать, но тень лежит на нем оттого, что не пришел Митрошин, не пришел Мирошиченко, еще кое-кто не пришел, кто всегда в этот день бывал в их доме. Так пусть им будет стыдно, а ему никакие внешние подтверждения не нужны. Это ли несчастье? Несчастье — когда остаются вот так, как Семен Семенович.

— Семен Семеныч, милый, можно я вас поцелую? — Аня вскочила из-за стола.

— Целуй, родная, вовсе безопасно. Даже гланы вырезаны.

Добрая половина тех, кто здесь собрался, в детстве разевали перед ним рты, как скворчата перед скворцом: гланы, аденоиды, тонзиллиты — все это Семен Семеныч.

Под общий хохот и умиление Аня расцеловалась со стариком. Хотела в щеку — он лихо подставил губы. Так что все зааплодировали.

В минуты затишья доносился голос Александра Леонидовича. Он говорил в своем доме в своей манере — растягивая слова и с паузами:

— Есть чудное место у Дарвина в его «Автобиографии». Он пишет, как ехал в карете и ясно запомнил то место дороги, где решение проблемы неожиданно пришло ему в голову. В сущности,— Александр Леонидович произносил это слово так, будто у него сохло во рту: «в сущности»,— механизм этого дела во всех случаях один. Вот свидетельствует Альберт Швейцер...

Как песнь своей юности, слушает его голос Михалева, критикесса пе первой молодости. Злые языки утверждают, что в былые времена поровну делила она свою любовь между архитектурой и архитекторами. Но вот уже четверть века сердце ее безраздельно отдано архитектуре, ей одной.

Когда-то право трактовать Александра Леонидовича было ее персональным и неотъемлемым правом. Потом Зотов, более молодой, потеснил ее. С выражением легкой укоризны: «Вот так мы порой не ценим старых верных друзей», она возвращала утраченные позиции:

— Меня только беспокоит там деромантизация идеи,— слышит Андрей,— которая обозначилась в архитектуре. Та простота, я бы даже не побоялась сказать — то упрощенчество...

Осмотрев на вилке со всех сторон кусочек розового балыка, обезопасив от возможного присутствия кости, она положила его в рот, вяло прожевывала.

Деромантизация, дедраматизация... Научились слова произносить. Не это тебя беспокоит! Всю жизнь при комто, всю жизнь на страже чего-то — и вроде дело делает. Вот уж кого, честно, не переносил Андрей.

— Медведев, говорят, вы хороший отец.

В больших красивых пальцах Людмила крутила рюмку, в ней золотилась искорка недопитого коньяка. И рыжие коньячные искорки в ее глазах, смотревших на него.

— Хорошие отцы в наш век редкость. Мужчины вновь мечтают о матронахате.

За шею охватили ее сзади детские руки: Олечка. Людмила через спинку стула потянулась к ней, высокой стала напрягшаяся грудь под тонким свитером. Глянула на Андрея и сочно поцеловала дочь. Снова глянула и снова поцеловала. Еще слаше, еще сочней.

— Беги!

— За Лидию Васильевну! За Лидию Васильевну тост!

— Уже!

— А я предлагаю еще раз и настаиваю: за Лидию Васильевну, которая...

Выпили за Лидию Васильевну. Людмила курила, положа ногу на ногу. Белыми пальцами с отпущенными перламутровыми ногтями поглаживала икрину ноги в чулке телесного цвета. Андрей слышал этот шуршащий звук ноготков по кастрюле. Людмила. Люда? Мила? Людмила все-таки.

— ...и там, среди стада гиппопотамов, когда плыли по реке, Альберт Швейцер открыл путь к идее, которая его мучила. По этому поводу кто-то из менее известных англичан сказал — кстати, неплохо сказано, заметьте: «Если теперь спросят, зачем сотворены гиппопотамы, ответ должен быть один: чтобы просветить Альбера Швейцера». Неплохо? В моей жизни роль гиппопотамов сыграла молодая морковка. Да, да, не удивляйтесь. Тридцать лет прошло с тех пор, а я отлично помню, как Лидия Васильевна послала меня на рынок. Что-то Людочка заболела...

— Немировский, ты великолепен! — через всю комнату закричала Людмила. — Ты ходил для меня на базар задолго до моего рождения. И все это рассказывает на совершенно голубом глазу.

— Саша, ты, конечно, забыл. Это Галочка была маленькая.

— Да? Подымаю руки вверх. Тут я могу спутать. Но я отлично помню...

Кивая, Михалева улыбалась светлой грустной улыбкой, словно и это воспоминание принадлежало им обоим.

— ...я помню как сейчас: взял в руки молодую морковку, и именно в этот момент...

— Вас тоже посылали на базар?

— С ним это было единственный раз в жизни, и он всегда об этом вспоминает.

— Так, может быть, надо было чаще посыпать?

— Лида! Мы совершенно забыли: у нас там где-то была нога. Нога! Зять наш охотился, прислал вчера с оказией кабанью ногу.

Андрей и Борька переглянулись через стол: старик неподражаем. С какой великолепной небрежностью это брошено: «Зять наш охотился...» И момент выбран точно: все уже сыты, но сохранили еще способность оценить и восхититься.

Зять, муж старшей дочери Немировских, молодой по мирному времени генерал, командовал чем-то крупным в Зауралье или в Средней Азии. Можно было представить себе эту охоту, похожую на маневры.

— Ну, знаете, родители! — Людмила вскочила молodo.— Сейчас я ревизую, что вы еще забыли. С вами только так!

Она была возбуждена. Пробегая мимо радиополы, звучавшей едва слышно, прибавила звук. И почти тут же донесся ее голос из кухни:

— Медведев! Идите на помощь. Требуется мужская сила: нести!

Андрею показалось, что все вдруг смолкло. И особенно чувствовал он сейчас молчание Анны. Не глядя ни на кого, она встал.

Людмила стояла в центре кухни. Высокие каблуки, высокие сильные ноги, юбка в крупную клетку расклешена. В руке серебряная столовая ложка.

— Пробуйте.

Сунула ему в рот ложку с чесночным коричневым соусом, из своей руки кормила его.

— У-у?..

В глазах хмельные огоньки. Отняв у него из зубов, сама взяла ложку в рот. Одними зубами, не портя помады, пробовала.

— Вку-усно! — Даже носик у нее наморщился — так вкусно.— Вместе будем пахнуть чесноком.

В кухне горы вынесенной сюда посуды, вся мойка заставлена. Но это как в тумане.

— Ну что же вы, мужчина? Берите!

Она воткнула нож в толстую доску, на которой лежал изжаренный окорок, подняла и, как держала, вместе со своими руками, положила ему на руки.

— Не уроните! Тут есть что держать.

И смело глянула ему в глаза.

Он вдруг охрип, сел вдруг голос. Сердце билось редкими, сильными толчками.

А Людмила смотрела и улыбалась.

— Я тут, кажется, забыла...— Издали предупреждая о себе, говорила Лидия Васильевна. Она сунулась головой в холодильник, не глядя на них, не за дочь уже, за себя стыдясь.— Тут где-то было у меня...

— Ты точно уверена, что здесь забыла? — спросила Людмила весело. И только теперь медленно убрала руки из-под доски, из его рук. Взглядом она уже была с ним на «ты».— Несите. Я соус несу.

Окорок был килограммов на шесть весом. Андрей нес его перед собой: жареное кабанье мясо на грубой доске с воткнутым торчмя грубым ножом. Когда вносил в стеклянные двери, Людмила, замыкавшая шествие, говорила громко:

— Не уроните на кого-нибудь, Медведев! Это острый охотничий нож!

Хор изумленных голосов приветствовал их общим:

— Ну-у!..

Красный уже Борька Маслов кричал:

— Живы? Оба?

И хохотал. Жена останавливалась его.

Аня с сильно блестящими глазами и румянцем на щеках о чем-то живо спорила с Семеном Семеновичем.

— Ты знаешь, действительно целая нога,— садясь рядом с ней, сказал Андрей очень естественно. А самого стыдом обдало вот за эту свою ложь, такую естественную.

Аня быстро обернулась, глаза блестели:

— Что?

Тут Михалева застучала вилкой по графину, требуя тишины. Она уже произнесла один тост, в котором кратко осветила вклад Александра Леонидовича в архитектуру: все это слабым голосом, словно сквозь усиливающуюся

мигрень. Словно бы мыслительный процесс причинял ей острую боль, но, преодолевая себя, она продолжала мыслить и функционировать.

Когда стало достаточно тихо, чтобы можно было начать тост, позвонили в дверь. Лидия Васильевна встала — высокая, седая, в засторченной белой кофточке с черным шнурком-бантиком. Хоть и с опозданием, это мог быть Мирошинченко. Она радовалась за Александра Леонидовича, но тем больше врожденного достоинства было в ней сейчас. Нет, никогда в жизни ни к кому она не поддавалась, не играла ничью роль. Просто не понимала, не могла этого.

На площадке с чемоданчиком стоял домоуправленческий слесарь Николай. Трезвый. Лицо серое. Запавшие виски. Глаза тусклые, без света.

— Нет, нет, мы не вызывали.

Он повернулся и, приволакивая ноги в обтрепанных сзади и мокрых по обшлагам брюках, стал подыматься выше по лестнице. Лидия Васильевна закрыла дверь, постояла некоторое время. Чего-то она испугалась вдруг. Чего?

Николай жил в их доме на первом этаже: он, жена, дочь. Потом случилось это страшное несчастье с девочкой. Она возвращалась из школы, а из их двора, из арки, задним ходом выезжал грузовик с фургоном. «Девочка! — крикнул шофер, высунувшись в дверцу.— Погляди, дочка, чтоб никого не задавить!»

Она и глядела, стоя на улице перед аркой, глядела, чтоб никто не попал под колеса. Она только на грузовик не смотрела, который пятился на нее. И шофер не смотрел, он и дверцу кабины за собой захлопнул. Все это случилось почти что на глазах отца: он как раз вышел с чемоданчиком из подъезда, шел по заявке кран чинить. Когда он подбежал, дочка еще была жива.

С тех пор Николай тихо запил. В последнее время он дышал с хрипением и все худел. Лидия Васильевна каждый раз говорила ему прийти в поликлинику на обследование; он только рукой махнет худою.

Все страхи в жизни были у Лидии Васильевны связанны с Александром Леонидовичем. Но чего она так испугалась сейчас? Она не могла себе объяснить. Как будто беда хотела войти в дом, и она закрыла перед ней двери.

Справившись с собой, Лидия Васильевна вернулась в столовую.

- Кто это?
- Слесарь приходил.
- Так надо было ему... — Александр Леонидович владельцем засуетился.
- Ничего не надо.
- Опять позвонили.
- Я же ему сказала...

Лидия Васильевна, недовольная, пошла открывать. Но это не слесарь вернулся. В дверях, уже без шапки, снятый шарф держа в руке, стоял Зотов.

— Миллион сто тысяч извинений! — Схватив ее руку, он присосался сочными губами. — Одна надежда: повинную голову меч не сечет.

Еще недавно Лидия Васильевна относилась к нему как к сыну. Ни один обед без него не проходил; так ухаживал, так ухаживал за Александром Леонидовичем, едва под локоток в президиум не вел. Оставшись у дверей, взглядом провожал восьмой. И корзинки пытался ей подносить, из-за чего она всегда с ним скорилась. Людочке делал предложение. «А я еще неплохо сохранился», — сказал по этому поводу Александр Леонидович. — Зотов хочет на мне жениться».

Честно сказать, Лидия Васильевна никогда не понимала, чем он занят. Домов Зотов не строил, картин не писал: он специализировался на живописи и архитектуре. А с некоторых пор начал еще выступать по телевидению в местной программе, для чего отрастил бороду, как у передвижника. Во весь экран появлялось его бородатое лицо: «Я только что был на vernisажe...» Сочные губы умилительно сложены, словно он там, на vernisажe, семги поел и не успел рта отереть. В глазах кроткий духовный восторг, будто не о картине местного живописца идет речь, а о явлении живого Христа народу: явился, сбылось...

Со стремительностью человека, которому надо успеть раньше, чем скажут: «Нет дома», Зотов скинул пальто, оставшись в мохнатом свитере крупной вязки, «удобном для работы». Минутой позже он уже накладывал себе в тарелку винегрет, заняв место между Александром Леонидовичем и Михалевой, которая не успела произнести второй свой тост.

— В сущности, только одна проблема оставалась для меня неясной, — намеренно не замечая Зотова, говорил

Александр Леонидович,— колонны или пилястры? Это надо было решить, и это меня мучило.

— Да, да, да...— поймав знакомую мелодию, закивал Зотов. И с ходу вступил в свою должность истолкователя творчества, как не глядя вступают босыми ногами в разношерстные тапочки.— Я помню, как это вынашивалось...

Он даже зажмурился от ослепившего воспоминания, а может быть, от вкуса кабаньего окорока, в который вгрызся как раз.

— Это решение — собрать пилястры в пучки,— и с той и с этой стороны обсосал хрящик,— бессмертно! Совершенно иная трактовка!

Звук обсасываемого хрящика и это «бессмертно», которое могло и к хрящику относиться, оскорбили Александра Леонидовича. Но он сдержался:

— Надеюсь, вы позволите мне самому...

— Один штрих!

— ...поскольку я, так сказать, имею некоторое касательство. Позволяете? Благодарю вас. Ростислав Юрьевич не смог, как вы все, к сроку.. В силу занятости...

— Мильон сто тысяч извинений! Лидия Васильевна, стол — вне сравнения! Многоразличен и восхитителен! — Он высоко поднял стопку, разом присоединяясь ко всем произнесенным без него тостам, и, безмолвно провозглашая свой, опрокинул ее в бороду. Глаза его увлажнились.— Я только что от Анохина. Не хотел, верьте слову. Не отпускали: «Ростислав Юрьевич, будем обижаться. День свадьбы, как же так?» — «Да ведь я не генерал! Хо-хо-хо...» — «Будем обижаться!..» Пришлось, посидев немножко, прямо-таки сбежать.

Зотов так привык с разбегу попадать в тон и в нотку, что все это выскоцило у него раньше, чем он подумать успел. А никто не делает больших глупостей, чем ловкие мужчины и умные женщины, которые знают за собой, что они умны.

Когда Зотов поднял от еды сияющие, со слезою глаза, была общая неловкость. Только Борыкина молодая обводила всех по очереди изумленными стеклышками очков.

— Как день свадьбы? Чьей? Разве у них было вообще...— говорил Александр Леонидович, себя не слыша.

— Но сердцем! — взмолился Зотов, вмиг все осознав.— Сердцем я был здесь, Лидия Васильевна знает, я как сын...— И, свитера не пожалев, прижал к сердцу

масляные пальцы.— Самые отеческие... сыновние чувства...

— Они всегда здесь в этот день... Никогда прежде...— Смысл происшедшего доходил до Александра Леонидовича постепенно.

Многие годы Анохины обязательно являлись в этот день с поздравлениями и Зининым щебетанием. Они дорожили возможностью встретить здесь людей, от которых зависело многое; Александр Леонидович знал это и снисходительно покровительствовал. Так скрывать все эти годы... Решили — можно, пора, сами уже в силе. И Зотов первый побежал отметиться.

Со всей беспощадностью открылась Александру Леонидовичу, как невесома стала та чаша весов, на которой привык он ощущать свое значение. Уже Анохин позволил себе пренебречь, Зотов к нему спешит.

Тишина, образовавшаяся вокруг него, распространялась по комнате, и только в радиусе, прежде неслышной, виртуозно работал ударник, отбивая сумасшедшую дробь.

— Нет, вы бы видели эту свадьбу,— говорил Зотов, спеша загладить, заглушить.— Голову на отсечение даю — Лидия Васильевна не поверит. Полторы уточки на всех!

— Я попрошу вас!..— Немировский резко побледнел, и сочные губы Зотова, всегда произносившие одно лишь приятное, так и остались сложенными будто для поцелуя.— Я попрошу не приглашать меня за собой в лакейскую!

Он не на Зотова закричал — он закричал от обиды и боли. Но тут другая боль, незнакомая, страшная, все враз отодвинувшая, как гвоздь вошла ему в сердце.

— Саша! — Испуганная его бледностью, Лидия Васильевна пристально, как врач, глянула ему в глаза.

— Папа!

Прерывистыми частыми сигналами звонил телефон: междугородная. Людмила схватила трубку:

— Алло, алло! Галка?.. Алло, мы разговариваем... Нет, мы разговариваем, а вы подключились!.. Галка! Ты б еще позже... Она время спутала, слышите ее? — кричала Людмила весело, будто ничего не случилось. А сама испуганными глазами смотрела на отца.— Ты не спутала еще, как меня зовут? Ольга, не мешай...

Александр Леонидович сидел нахмуренный, плохо слыша, что делается вокруг, боясь вдохнуть, чтобы гвоздь не

прошел насквозь. Когда боль отпустила, он увидел перед собой лицо жены. Он не видел сейчас своих глаз, Лидия Васильевна видела их. Они были такие испуганные! Глаза человека, впервые близко увидавшего свою смерть.

— Папа? Все хорошо... Да, говорим, говорим. Ольга, не рви трубку!.. Сейчас мама подойдет! — кричала Людмила весело, чтоб Галю там не напугать. А еще и потому, что всегда, при всех обстоятельствах приличия должны быть соблюдены.

Обычно, возвратясь из гостей, как бы ни было поздно, Андрей и Аня ставили чайник и налили чай у себя на кухне. Это было любимое время: дети спят, тихо, они вдвоем.

Как-то давался большой праздничный прием. Странами Немировского (старик об этом скромно умолчал) Анохины и Медведевы оказались в числе приглашенных. По этому поводу было много волнений. Зина прибегала советоваться: что надеть? какую лучше прическу? Были волнения и там, в зале. Виктор все тянул вперед, к столу, поставленному во главе, в который все столы упирались торцами. Стол этот пустовал пока что. «Пойдемте ближе. Туда. Там все видно». Но вот туда-то, на глаза, Андрею как раз не хотелось. Пока пренирвались, в общем движении все переместились само собой, как и должно было произойти. «Ну вот видишь, Андрей! — говорила Зина, очень расстроившаяся.— Видишь, тут ничего не видно. Все из-за тебя!» И на цыпочки подымалась, чтоб хоть из-за голов рассмотреть, хоть глазами присутствовать.

Провозгласили тост, второй, третий, и Андрей шепнул Ане: «Пойду детям позвоню». — «Уже соскучился? Мы только из дома». — «Я быстро, ты не ходи». Аня после рассказывала не раз, как даже она, мать, ничего не чувствовала, а он почувствовал на расстоянии. Ничего он не почувствовал, просто после двух рюмок захотелось услышать голоса своих детей.

Мимо официантов, несших блюда с горячим, они шли искать телефон. «Нет, ты сумасшедший», — говорила Аня. — «Ты просто сумасшедший». Но оказалось, они звонят вовремя. Он услышал в трубке Машенькин голос: «Папа, он мне запретил говорить! Он у меня вырывает трубку. У него страшно порезана нога. Страш-шно!..»

Когда они примчались домой, оказалось, у Мити вся ступня распорота стеклом, и крови вытекло много. С сыном на руках Андрей выскочил на улицу. Город как вымер: праздник. Их подобрал автобус. Пассажиров в нем было половина салона: в гости, из гостей. Не тормозя на остановках, не по своему маршруту огромный автобус мчал их в больницу. Нет, не святые люди в обычной своей жизни. Но за то, что всегда есть такие ребята, как этот шофер — ни слова не сказал, увидел, открыл дверь и помчал их по городу, — пусть многое за это простится людям.

А потом, когда Митю привезли домой и он, как потерпевший, был обласкан сестренкой и матерью и лежал в окружении альбомов с марками, нацеля забинтованную ногу в потолок, Андрей вдруг почувствовал, что голоден смертельно. У Ани были кислые щи, его любимые. Она тотчас разогрела их. Андрей налил себе водки. «Тебе налить?» — «Знаешь, налей. — И, любящими глазами глядя на него, спросила: — Плохо быть папой?» — «Нет, хорошо».

Все хорошо. Мир, дети с ними рядом, хлеб, который они едят, заработан честным трудом. Хорошо. Костюм, и галстук, и крахмальная рубашка висели в шкафу, а они сидели у себя на кухне по-домашнему, и полная тарелка с огромной мозговой костью стояла на столе. Все хорошо.

Но отчего-то в этот раз, когда они вернулись от Немировских, кухня и передняя — вся их квартира показалась Андрею совсем уж какой-то маленькой.

Он зажег газ, поставил чайник. Аня переодевалась в ванной.

— Знаешь, — сказал он, — вот у Немировских есть то, что раньше называли домом. Дом... Это совсем особая вся атмосфера.

Аня выбирала шпильки из волос перед зеркалом, не отвечала ему. Но он почувствовал ее молчание.

— Но Анохин! Решил, что можно уже, пора...

— Меня не интересует твой бывший друг. И не интересовал прежде. Это ты был слеп.

Из ванной голос Ани раздавался гулко. Андрей взял более безопасную тему:

— Слушай, но что с Зотовым случилось? Так не попасть. Совсем на него не похоже. Мне даже жаль старика стало, когда он закричал: «Не зовите меня с собой в лакейскую!»

— Ах, скажите пожалуйста! — Аня вышла из ванной и стояла в дверях. В длинном застегнутом халате она казалась высокой. — Не зовите в лакейскую... А где он... жизнь провел? Только все это благородно обставлялось. Декорум соответствующий. Лживый, отвратительный дом! — говорила она с враждебностью, и глаза ее сильно блестели, как там, у Немировских, когда он вместе с Людмилой внес мясо и потом сел около нее. — Все насквозь лживое, изолгавшееся. Атмосфера тебе понравилась... Даже эта их естественность лживая вся.

— Ты детей разбудиши.

— Единственный нормальный живой человек в доме — Лидия Васильевна. Вот кого можно уважать. Так превращают ее в идиотку. И ребенка погубят. Погубили уже.

Со старательностью провинившегося Андрей расставлял блюдечки.

— Ты со сливой будешь? Или с вишней?

Все так же держа руки в карманах халата, Аня брезгливо смотрела на него. Она так близко чувствовала его сегодня, так хотела вернуться домой, и чтобы дети уже к этому времени спали.

— Эх ты-и!.. — сказала она. — Не много же тебе нужно, оказывается. Такой же, как все.

ГЛАВА XVII

Теперь Александру Леонидовичу Немировскому и не упомянуть уже и не сосчитать, сколько раз в своей жизни он выходил на сцену, чтобы занять место в президиуме. А ведь и тут когда-то было свое «впервые». И вот оно памятно.

К тому времени он уже столько раз слушал привычную формулировку: «Товарищей, избранных в президиум, просят занять свои места». Он сидел в зале, а они подымались, выходили из рядов, избранные. И настал день, когда он вот так поднялся впервые.

На сцену выходили, соблюдая неписаный ритуал, пропуская друг друга вперед. И там, где выстроились стулья, тоже было некоторое стеснение, все стремились в задний ряд, за спины. И вот впервые в жизни он — в президиуме, а внизу — зал, ряды, уходящие в темноту, головы, головы, лица.

Всю свою дальнейшую жизнь столько раз с тех пор он подымался и шел из рядов, словно бы неся груз нелегкой обязанности. Он сидел в президиуме и сзади, и сбоку, и в центре. Случалось, вставал, рукой направляя к себе микрофон: «Товарищи, поступило предложение... Кто «за»?.. Кто «против»?.. Есть воздержавшиеся?.. Принято единогласно».

Были собрания, совещания, пленумы, торжественные заседания. Надевалась свежая крахмальная сорочка, затягивался узел галстука под кадыком. На билете, присылавшемся ему, неизменный штамп: «Президиум». И вновь вместе со всеми он подымался на сцену, вновь выходил из-за кулис на яркий свет. Целая жизнь. Был даже специально куплен черный дакроновый костюм: для особо торжественных случаев. Кстати, и это решилось в президиуме. Сидевший рядом с ним директор горторга Турубаров шепнул, когда погасли направленные на них юпитеры: «Александр Леонидович, что же это вы так мучите себя в шерстяном костюме, так себя не бережете? Ай-яй-яй! И слова не скажет! Да кому ж тогда, если не таким людям?.. Не верите вы в наши творческие возможности...» И в следующий раз Александр Леонидович сидел уже в дакроновом костюме, невесомом, продувавшемся насквозь. «Жизнь узнал», — как говорил он после.

Случалось, опоздав, Немировский садился скромненько в конце зала, где-нибудь у дверей. Но и тут непременно находились двое-трое доброжелателей: «Александр Леонидович, вас выбрали в президиум... Туда, туда, Александр Леонидович. Вам туда...» Он делал отстраняющие жесты, как человек, стремящийся укрыться от излишнего внимания, но среда сама выталкивала его наружу. Потом председательствующий, выцелив орлиным взором, подымется и, прежде чем дать слово очередному оратору, скажет, заранее улыбаясь: «Тут, как нам стало известно, укрывается от исполнения своих прямых обязанностей товарищ Немировский. Как, товарищ Немировский, может быть, уважим волю большинства?..» И при веселом оживлении зала он бывал вынужден идти на сцену, всячески стараясь не привлекать внимания, так сказать, не заострять его на своей персоне.

Но сегодня, вот сегодня как раз ему не следовало опаздывать. Был ряд не совсем приятных симптомов. Так, например, ему почему-то не предложили выступить. Прежде он, как правило, выступал на городских активах.

И в этот раз тоже по привычке начал готовиться, запросил некоторые материалы. Уже выстраивался в голове общий каркас выступления.

Вначале о недостатках, это придаст выступлению нужную остроту. Не смакуя, не размазывая наших теневых сторон, он будет говорить с сознанием долга и ответственности. Один остроумец, правда, сказал как-то: «Наш Александр Леонидович и критику умеет преподнести поздравительным тоном». Но от остроумцев никто из нас не защищен, в последнее время их вообще развелось слишком много.

Итак, вначале о недостатках. Потом, сделав паузу, он скажет в раздумье, с оттенком самоиронии, как мысль, сейчас только пришедшую ему в голову: «Впрочем, когда мы поражаемся нашему несовершенству и реагируем порой излишне горячо...» И тут он приведет какой-нибудь удачный исторический пример.

Все счастливо блеснувшие мысли, все, что вдохновенно творится на трибуне, на глазах у людей,— все это должно быть тщательно подготовлено и даже отрепетировано. Александру Леонидовичу принадлежала фраза: «Прежде чем сымпровизировать, надо завизировать...»

Умение придать обычному хозяйственному мероприятию исторический смысл и глубину, привлечь пару-тройку древних мыслителей, которые, как выяснилось, и на этот счет успели высказаться,— все это составляло персональный багаж Александра Леонидовича. Его выступления как бы приоткрывали дверь в сокровищницу мирового интеллекта, и становилось ясно, о чем мечтали мыслители на протяжении веков и тысячелетий.

Но почему-то сегодня ему не предложили выступить. Многолетний опыт говорил, что тут случайностей не бывает: столько судеб за годы прошло перед ним! Но сейчас это касалось его, и хотелось думать, что все это еще ничего не означает. Тем не менее он сделал на всякий случай контрольные звонки людям своего уровня. Обычный деловой разговор и как бы между прочим: «Ты, кстати, думаешь сегодня в своем выступлении поставить вопрос о...»

Выяснилось, что из троих не предложено выступить только Осокину, про которого последнее время все чаще говорилось с оттенком нетерпения: «он недопонимает», «он не хочет понять». Дело явно шло к пенсии. И все видели это, один Осокин терялся в догадках, не мог взять

в толк, чего он «не хочет понять». Оказаться с ним на одной доске... Александр Леонидович тревожно стало.

Подумав, он сделал еще один звонок. Выше. Посоветоваться о возможной инициативе, так сказать, провестилировать вопрос. Ему показалось, что разговаривали с ним на этот раз как-то вяло, интереса проявлено не было. К инициативе? К нему? И даже во время разговора несколько раз: «Минуточку!» — клали трубку и говорили по другому телефону. Он слышал обрывки этих разговоров, смех. Но даже «извините» не было сказано. Александр Леонидович почувствовал растерянность. И телефон сегодня как-то странно молчал весь день, словно отключились связи.

Ближе к часу, когда он уже надевал пальто, раздался звонок. Он услышал бас своей секретарши: «Кто? Не понимаю, кто?..»

Не только по фамилиям — по именам-отчествам Полина Николаевна знала в городе всех, кого следовало знать; близко знала жен, их вкусы, помнила даты. Она не могла ошибиться. И тем не менее раньше, чем прозвучало: «Товарища Немировского нет», он крикнул через стену: «Я взял!» — и нервно схватил трубку.

Говорил какой-то Клейменых — так, что-то вспоминалось отдаленно. И разговор абсолютно бессмысленный. Только в конце:

— Так вы там будете? Я тоже буду там...

Болван! Он, видите ли, тоже и с этим обзванивает человечество.

В шляпе несколько набекрень, пальто расстегнуто, концы мохерового шарфа висят, Александр Леонидович вышел к секретарше:

— Я на актив.

С пониманием серьезности его занятий, с уважением к месту, куда он направлялся, Полина Николаевна прикрыла глаза и наклонила голову.

Вот дома он, к сожалению, такого понимания не находил. Помнившая все малейшее, что касалось его самого, немногочисленной его родни, к которой он был прохладен, тут, в этой сфере жизни, Лидия Васильевна была на редкость беспонятна. Сущим мучением было рассказывать ей что-либо. Дело даже не в том, что посреди рассказа, в самый, что называется, кульминационный момент она могла спросить: «Ты не забыл принять желудочный

сок?» Хуже другое: все то, что человек, живущий интересами службы, хватает на лету, ей нужно было растолковывать. А объяснять механизм интриги — это все равно что разъяснять анекдот: самая соль пропадает.

Она сохранила себя в каком-то первозданном состоянии. Вечно путала, кто звонил, не улавливало, что этот звонок мог означать. Случалось даже так, что была особенно сердечна с совершенно незначительным человеком и могла не оказать никакого внимания тому, кого, уже во всяком случае, знать следовало. Александр Леонидович раздражался, устраивал сцены, но объяснить жене так, чтоб она поняла, он не мог. И не потому только, что она все равно бы не запомнила. Объяснять — значило в словах высказать и признать самому тот факт, что для него тоже люди распределялись в соответствии с их положением и весом. А это, конечно, не так, потому что так это быть не могло.

Пониманием, которого не встречал он дома, в высшей степени была одарена Полина Николаевна. Вот уже лет пятнадцать говорил он ей: «Я на актив... Я в горком!» И была в этой как бы небрежно брошенной фразе особая сладость.

Вернувшись, ей первой сообщал: «Произошел интересный обмен мнениями». Правда, после того как широко распространился анекдот о том, что значит обмениваться мнениями с начальством (прийти со своим, уйти с его мнением), Александр Леонидович несколько изменил формулировку: «Был интересный диалог...» И встречал у Полины Николаевны полное понимание.

Курящая, яркая, молодящаяся, она боготворила его. Раньше она боготворила своего мужа, генерала интенданской службы, который, как она говорила всем, умер от ран. Память Николая Ивановича была священна, но без кумира она жить не могла. Обладая не только базом, но и многими чертами генеральского характера, которых так недоставало ее мужу при жизни, Полина Николаевна должна была повелевать и подчиняться. Лишь в этой цепи, где есть пижестоящие и есть люди, поставленные наивысше, все обретало выстроенный порядок и смысл. Ее кумиром стал Александр Леонидович. Она же — его деловой памятю, его амортизатором, смягчавшим вспышки толчки и грубые прикосновения жизни. Все шло через нее, и многое здесь отфильтровывалось.

Для Александра Леонидовича не оставалось тайной,

что камеи, массивные броши на массивную грудь — все это надевалось для него. Но женщины такого типа и такого возраста для него просто не существовали. С тонкой иронией он позволял себе иногда при гостях копировать некую даму, и всякий раз Лидия Васильевна очень сердилась. Она жалела ее холодную бездетную старость, за полтора десятка лет сроднилась и на все праздники, на Новый год непременно звала Полину Николаевну к ним, понимая, что для одинокого человека праздник — самое безрадостное время.

Встревоженными глазами Полина Николаевна оглядела его от ворсистой шляпы до носков сверкающих ботинок.

— У вас что-то вот здесь...

И с осторожностью, с какой она мысленно коснулась его шарфа, Полина Николаевна рукой в перстнях дотронулась до своего бюста. До правой половины. Александр Леонидович, как в зеркале отразясь, посмотрел соответственно на левую часть шарфа, но скорректировал себя и снял пушинку. И вдруг легкомысленно подул на нее, пуская по воздуху, как прощальный привет. Ах, Александр Леонидыч, Александр Леонидыч! Никакой строгости...

Он уже был в дверях, когда вновь зазвонил телефон.

— Здравствуйте, Людочка! — басила Полина Николаевна: с ней, с отцовской любимицей, у нее были особые, интимные отношения.— Александр Леонидыч?

Черные, навыкате, с масленимыми белками глаза Полины Николаевны испуганию остерегали, она даже рукой помахала, чтоб он не возвращался. Нехорошо возвращаться. Но он вернулся в кабинет, прикрыл за собой дверь.

— Па? Здравствуй. Я позвонила сказать, что я тебя люблю. Тебя это интересует?

— Ты одна?

— Если не считать Ольги.

Она помедлила, прежде чем ответить, и он по-своему понял это. Он понял, что это связано с его вопросом «ты одна?». Но причина была иная. Лежа на тахте и разговаривая по телефону, который стоял у нее под рукой, Людмила делала то, что делают незанятые женщины: подрезала и пилкой шлифовала ногти. Случайно больше, чем нужно, отрезала заусеницу, выступила капелька крови. Людмила пососала палец, посмотрела, опять по-

сосала. И сейчас вновь смотрела на него и думала, что предпринять.

- Что делаешь?
- С тобой говорю, па.
- Курю?
- Спрашиваешь!

Он мысленно увидел сейчас ее в обычной ее позе на тахте, с телефоном в обнимку и с книгой. На ковре у ножки тахты — пепельница, в которую она стряхивает пепел сигареты. И пара вышивных бархатных туфелек без задников, с помпонами и загнутыми вверх золотистыми носами. Никогда Александр Леонидович не был на Таити, но дочь свою в минуты нежности почему-то называл «тайтчиночка».

В двенадцать лет — этот возраст был ему особенно памятен — она бегала длинноногая, худая, смуглая, коленки вечно разбиты. Как все в жизни быстро свершается!.. На заднем дворе в вечной тени была у них кирпичная стена. Старая, зеленая, сырая; кирпич в ней выкрашивался, как песок. Они ставили к стене бутылки и по очереди с Лялькой стреляли из мелкокалиберки: «Лялька!» — «Па!»

В этот ее приезд они особенно сблизились. Наверное, потому, что плохо ей сейчас.

Александр Леонидович снял шляпу, положил на чертежный стол. Она поехала вниз по скользкой кальке. Подхватив — запелестевшая калька над чертежом поднялась с ней вместе, наэлектризованная, — переложил шляпу на пустой стул. И когда клал, увидел на своей руке темное пигментное пятно. Впервые увидал. На тыльной стороне кисти, на вздувшейся вене сидело пятно.

Он разговаривал по телефону и рассматривал его, сжимая и разжимая пальцы. И пятно вместе с кожей то растягивалось и светлело, то делалось коричневым. Как же он раньше не замечал? А ведь это уже необратимо. Это старость отметила. Все можно исправить, изменить, но это необратимо. И кожа глянцевитая, истончившаяся.

- Необратимо, — повторил он, делая себе больно.
- Па, ты мне сегодня не нравишься.

У него сладко защемило в душе, глазам стало горячо.

Взять бы да поехать с Лялькой куда-нибудь в дом отдыха. В глушь. Она бодрится, а конечно, надо нервишки поправить. Да и ему тоже отдохнуть.

Нет, двенадцать Лялькиных лет не вернешь. Это ему радостно и гордо быть отцом молодой красивой женщины. А ей радость поехать не с ним.

Он взглянул на часы. Время еще оставалось, но сегодня следовало приехать пораньше, кой-кого повидать, почувствовать общую атмосферу.

— Ergo, договоримся так: сама продумаешь мероприятия на субботу и воскресенье. При этом должно быть учтено: а — мнение матери, бэ — мнение Ольги. Никаких дел, растительный образ жизни, на травке, на травке попастись. Созыв за вами.

За час до начала совещания Анохин еще был в аэропорту: провожали японскую делегацию, которая посетила их город. Делегация прибыла вечером, ужинала, с утра осматривала промышленное предприятие, водохранилище, церковь XVI века, жилой массив. Все прошло хорошо: и беседа с рабочими и поездка по водохранилищу. Они мчались по воде на подводных крыльях, а машины двигались по берегу, чтобы встретить их. Правда, в жилом массиве произошла небольшая накладочка, но, кажется, никто не заметил, а значит, и не было ничего.

Бородин лично показывал город и даже старался не только своими, но ихними, японцев, глазами взглянуть на свой город. И убеждался, что им все нравится.

Обед был дан с размахом. Бородин, на полголовы выше любого из делегации и много крупней, произнес тост, и японцы понравились ему окончательно. А тут еще перед их приездом рассказали ему подходящий анекдот про то, как японского архитектора водили по новостройке, он везде улыбался, кивал, все ему нравилось, но только он почему-то повторял: «Опень пецально, опень пецально...» Наверное, все русские слова у него переменились. И вот теперь, глядя, как они едят и хорошо пьют русскую водку, Бородин думал про себя: «Вот тебе и опень пецально...»

В число лиц, занятых с делегацией, был включен и Анохин, «в число официальных лиц», как он это мысленно для себя сформулировал. Бородин даже оказал ему определенное доверие, перед самым приездом делегации сказав: «Подготовьте мои возможные соображения». Анохин чувствовал себя поощренным, старался, выдержанной и непроницаемостью превосходя японцев.

Перед отлетом на аэродроме, растолковав через переводчика, что оно означает по-русски, «посошок на дорогу», Бородин повел делегацию на второй этаж, где крахмальными скатертями был накрыт стол. Анохин и еще несколько человек остались ждать внизу. В пальто, в шляпах, они курили, любезно разговаривали друг с другом, как будто представляли разные делегации: тон официальности сохранялся и в отсутствие японцев.

Конечно, было нечто обидное в том, что его не позвали наверх. Но Виктор умел не замечать, он умел ждать терпеливо. Он знал: придет время, когда он будет сидеть там, наверху, в зале. На одну незримую ступеньку он все же поднялся сегодня.

Сунув руки в карманы пальто, весь как бы расширившийся, он стоял спиной к стеклянной стене, к свету. Ноги расставлены крепко, голова склонена, на лице, неясно видном против света, думающее, сосредоточенное, творческое выражение. Из-под полей шляпы поблескивают очки.

Наверху зашумели, показалась японская делегация. У всех блестели очки, блестели лица. Рядом с Бородиным они были как дети. Прилично одетые дети, в костюмах, в галстуках, в очках, все улыбающиеся. И те, кто спускался с ними по лестнице, тоже улыбались. Но еще радостней улыбались ожидавшие внизу. «Все мы для них на одно лицо, как они для нас,— мысленно утешил себя Виктор, поскольку было все же что-то неловкое в его положении.— Помнят они, что ли, кто с ними был, кто здесь оставался?..»

Соблюдая определенный порядок, вышли на летное поле. Японцы поднялись по трапу. Маленькие издали, они махали оттуда и по одному скрывались в темноте распахнутой двери самолета, по бокам которой стояли стюардессы. И провожающие, подняв шляпы над головами, прощально замахали.

Последние улыбки. Последние минуты. Чувство облегчения. А в мыслях у каждого уже свои дела.

Идеально было бы прийти минут за пятнадцать до начала, но, как нарочно, на улице Александра Леонидовича задержал Иванчишин.

Занятый своими мыслями, Немировский прошел мимо, потом по зрительному впечатлению обернулся. И пожа-

лел, что обернулся. С палкой, в бобровом воротнике, остановясь посреди сквера, на него смотрел человек, в злых глазах стеклом блестела старческая слеза.

Не в том еще возрасте был Александр Леонидович, чтобы мысль отставала от ног. А способность мгновенно отличать людей определенного уровня, с ходу сказать несколько приятных слов, даже и не вспомнив хорошенько, кто это,— такая способность была развита в нем. Но он не узнал Иванчишина потому, что того нельзя было узнать. Все повисло на нем. Ратиновая шуба с бобровым, от прежних времен, широким потершимся воротником была ему велика, словно с боярского плеча. На ярком весеннем солнце она казалась пыльной, тяжелой, особенно зимней рядом с франтоватым, до колен джерси Немировского, какие только начинали входить в моду, редкостью были в их городе, но Александр Леонидович имел смелость надеть такое пальто.

Длинными полами шуба тянула книзу, и Александр Леонидович со свойственной ему живостью воображения физически ощущил, как шуба гнетет худой позвоночник Иванчишина, его худые лопатки.

— Да, да, да... Не узнают... — Не слушая приятных уверений, Иванчишин непримиримо тряс головой, и желтая кожа под подбородком тряслась. — А узнавали... — Тут он погрозил кому-то худым и даже на вид холодным пальцем. И вдруг, избоченясь, юродствуя, расставя руки с палкой, пропищал: — Уже не узнают!

«Ведь он моих лет...» — со страхом думал Александр Леонидович, так ясно, близко в другом человеке увидавший смерть и инстинктивно отстраняясь.

Иванчишин был местный драматург, «певец рабочей темы», как писали о нем, когда успех неожиданно настиг его. Робкий поначалу до самоуничижения, он привнес в театр нечто полуграмотное. Усилиями главного режиссера и двух привлеченных для этого опытных инсценировщиков, которые в дальнейшем остались в тени, действие из железнодорожных мастерских перенесли на крупный металлургический завод, героя переделали в героянью, и пьеса с шумом пошла. Устраивались премьеры, коллективные просмотры, Иванчишин выходил кланяться публике, весь потный пятился со сцены и снова выходил, протянутыми руками молитвенно адресуя успех величественному режиссеру. Но потом купил себе шапку, палку, влез в шубу и уже маститым драматургом поучал, встре-

чался со зрителями, делился творческим опытом с молодежью.

Жена его, полжизни проведшая в байковом халате у плиты, позабавила местных дам на премьере своим специально сшитым платьем, которое словно из реквизита было взято. На вежливые вопросы о творческих планах ее мужа сообщала всем простодушно: «Он теперь готовит новый подарок к празднику».

«Новому подарку» не суждено было увидеть сцены, а нашумевший спектакль закончился изнурительной финансовой тяжбой драматурга с главным режиссером.

Александр Леонидович и раньше знал, как опасно попасть на глаза Иванчишину. Того хуже оказаться с ним рядом в президиуме. Начинались сразу же раздраженные жалобы на врагов, которые засели повсюду и непускают. И не было жалобам конца, и надо было все это выслушивать, а в голубых глазах Иванчишина мерцал временами такой пещерный мрак, какой не электричество даже — лучина не осветила еще ни разу.

— Пишу, пишу! — пришепетывая, отчего получалось «пищу», но громко, на весь сквер, чтоб люди слышали, говорил Иванчишин с угрозой, и Александр Леонидович страдал от этого неприлично громкого голоса, оттого, что их видят вместе. Но все же шел рядом со стучащей в землю палкой, и лицо его держало солидное выражение человека, занятого деловой беседой, тем самым как бы делая стыдное не стыдным.— Тружусь! Вот новую пьесу завершаю в первой редакции. Полифоническая народная драма! (Все это громко!) Поторопились списать Иванчишина со счетов...

Он театрально приподнял потертую, выбитую молью бобровую круглую шапку с бархатным верхом, и крашеные, седые от корней волосы поднялись и мертвое легли на отпотевшей голове.

Боже мой, ведь этому человеку жить ничего не осталось, а он все клокочет, сводит счеты, кому-то грозит. Неужели и мы все так?

Александр Леонидович чуть было ботинком не ступил в малую лужицу на дорожке, уже и ногу занес, но вовремя поберегся, успел обойти в последний момент, не намочив тонких кожаных подошв.

Наконец ему удалось отвязаться от Иванчишина. Отойдя, он расправился, вдохнул всей грудью весенний воздух. Мудрей ли делает нас чужое несчастье, или оно

дает иное измерение собственным бедам, но в эту минуту он с особенным удовольствием чувствовал, как эластично расширяются и вновь сходятся межреберные мышцы и мышцы его груди. Он ощущал пружинистую силу своих ног, несших его. И даже то, что он, кажется, опаздывал, было ничто в сравнении с главным, дарованным ему.

Два лифта, как две чаши весов, попеременно подымались и опускались. И вновь за металлической сеткой несли вверх тесно стоящих друг к другу людей.

Машущие наружные двери не успевали закрываться. В какой-то момент они так и остались распахнутыми, и от лифта было видно, как из подъехавшей машины вылез Смолеев. Стремительно пересек тротуар, мимо тех, кто уступал ему дорогу, мимо выстроившихся у лифтов очередей направился к лестнице, показывая мужчинам пример. И, устыдившись под его веселым взглядом, устремились за ним гурьбой. Толпясь, бодрясь, отчего-то испытывая радость, множество людей громко подымалось по лестнице, множество подошв топтало ковровую дорожку, белый, как нескончаемое полотенце, холщовый половик, расстеленный без единой морщины.

А внизу с выражением человека, которого не взяли с собой, стоял инвалид на двух расставленных протезах, палкой упираясь в пол. К нему одному мимо бодро идущих людей опускался лифт как бы его персональный, блестая внутри зеркалом и полированным деревом. Устремившийся было за всеми, утянутый общим ветром, Андрей увидел его, и стыдно вдруг стало.

Когда на повороте лестницы со строгостью, но и с улыбкой, зовущей к общему веселью, Смолеев оглянулся, внизу у открытого лифта стояли двое. Одного он узнал. Это был Медведев. Он смотрел на идущих вверх людей, будто за всех за них стыдился. И вот это Смолеев увидел, это впечатление осталось четко.

Смолеев не задумывался над причиной того радостного оживления, которое вызывал он в людях. И его не приятно поразило, как смотрел Медведев, стоявший внизу.

Оба лифта были наверху, вестибюль пуст, и Александр Леонидович решил не ждать. Он шел по знакомой лестнице, сдерживая себя, чтоб не торопиться. Один марш, другой. И вот из зеркала на площадке, как из-за холма,

начал подыматься навстречу ему он сам: голова, плечи и наконец весь он, во весь рост, ступивший кожаным ботинком на холщовую дорожку. Сойдясь, они поправили друг перед другом галстук, повернулись спинами и разошлись по маршрутам лестницы: один от зеркала, другой в глубину его.

За то небольшое время, пока сходились, Александр Леонидович припрочиво рассмотрел себя. Нет, ему не дашь его годы. И есть то, что он всегда хотел в себе видеть: достоинство при общей обремененности заботами, солидность и некоторая независимость. Даже в том, как сидел на нем пиджак.

Подымаясь по последнему маршруту, он успевал о ступеньки, о холщовый половик незаметно почистить на ходу носки ботинок, на которых в зеркале заметил несколько брызг засохшей грязи. Оглянулся. Нет, никто не видел. Ботинки вновь засверкали, будто он не пешком сюда шел, а приехал в машине, с коврика на коврик соступил, даже не запылив подошв.

Наверху в фойе все двери в зал были закрыты. Лаком блестел паркет, ряд окон слева, ряд закрытых дверей справа. И далеко видно вдаль. По тишине и голосу, едва внятно раздававшемуся за дверьми, Александр Леонидович безошибочно определил: доклад начался. Нехорошо. Очень不好.

Несколько опоздавших, запыхавшись, нагнали его:

— И вы тоже? Ну, значит, мы не одни...

И устремились в приоткрывшуюся дверь. Он хотел было проникнуть с ними вместе, но они запротестовали уважительно:

— Ваши двери там... Туда, туда...

Александр Леонидович еще колебался, какое-то сомнение пошевелилось в душе, но женщина, стоявшая у входа изнутри, тоже улыбкой направила его дальше, одновременно строго покачав головой на опоздавших. И прежде чем он решил что-либо определенно, ноги сами уже несли его, достойно шагали, пересекая завесы солнечного света, косо упираясь в блестящий паркет, в котором и он отражался, как в мутном стекле.

А от тех двусторчатых белых дверей, которые вели за сцену и в президиум, вставала пожилая дама в форменной одежде, издали завидя и узнав его. Сто лет Александр Леонидович знал ее, и сто лет она его знала. Она почтительно называла его по имени-отчеству, он же вся-

кий раз спохватывался, что опять забыл, как ее зовут, и отдельывался неразборчивым бормотанием, где отчетливо звучало только заключительное «...вна».

Улыбаясь, она привычно открыла перед ним двери.

И за сценой, где громко звучал голос докладчика и ощущалась тишина зала, а в полутьме кулис блестели масленые трясы, свешивались веревки и полотнища, кто-то сделал движение остановить, но, узнав (Александр Леонидович дал время узнать себя), почтительно отступил.

Чуть колыхалась тяжелая кулиса. Глянув из-за нее, Александр Леонидович высмотрел mestечко с краю в заднем ряду. Собрался, решился и, мягко ступая, пошел на виду у всех, на ярком свету, с тем деловитым выражением опоздавшего, который хотя и не присутствовал физически, но все время функционировал и вот теперь включается непосредственно.

Ослепленный в первый момент, он все же заметил главное: сидевший в центре стола у микрофона Бородин недовольно глянул в его сторону, что-то сказал, оттуда начали оборачиваться на Немировского, некоторые с веселым любопытством. Александр Леонидович кивал, сохраняя деловитое выражение, и даже сделал отстраняющий жест рукой: ему показалось, что его приглашают пересесть из заднего ряда к столу. Поблизости от себя он тоже слышал шепоток: его опоздание развлекло всех.

Постепенно световая завеса перед глазами рассеялась, дыхание улеглось; всего-то несколько шагов сделал по сцене, а сердце заколотилось, как будто стартовал на дистанции. Александр Леонидович видел зал, узнавал многие лица.

Его появление и здесь вызвало интерес. В первых рядах перешептывались, кто-то даже показывал на него снизу. Что ж, его знали в городе, это он мог сказать. Он был сейчас в своей среде, на своем месте, часть единого целого.

Все шло как всегда. Положа руки на крылья трибуны, докладчик то приближал себя к тексту — и тогда голос его в микрофоне усиливался, то отдалялся — и голос затихал. А две стенографистки за маленьким столиком записывали то, что, отпечатанное, выверенное и заранее обсужденное, лежало перед ним. По временам появлялся из-за кулис человек с бумагами, бесшумно подходил к столу президиума и, пошептавшись, исчезал. Это старин-

ным пешим способом действовала связь на том небольшом промежутке, где современные средства связи отсутствовали.

Знакомое думающее выражение видел Александр Леонидович на многих лицах. Под это выражение, солидно кивая, удобно переговариваться негромко о делах и даже решать вопросы.

Сложа могучие руки на груди, сидел во втором ряду президиума директор химкомбината Николаев. (Между прочим, все-таки подтверждается слух, что он станет одновременно и замминистра!) Сидит, стеклянным грозным взглядом упервшись в дальнюю стену, а мысли еще дальше. У этого человека орденов столько же, сколько выговоров. В свое время, когда отводилась территория для поселка химкомбината, Александр Леонидович смог убедиться, что перед напором Николаева не устоит никто и ничто.

От стола через спинку стула перегнулся к нему Смоловев, говорит что-то. И Николаев оживился. Они всегда в президиуме переговариваются друг с другом.

Рядом с Александром Леонидовичем — Кузовлева, директор трикотажной фабрики. Мужского склада блондинка с накладной косой на голове, она всегда сидит торжественно-прямая, всегда записывает в блокноте. Что она там записывает?

Привыкнув с шуткой выходить из затруднительных положений и многое в шутку обращать, Александр Леонидович создал себе своего рода защитный механизм. С тонкими смешными подробностями, с иронией, прищурясь, рассказывал он об официальной стороне своей жизни и уже действия других людей заранее видел и оценивал в ироническом плане. Постоянным персонажем его рассказов была эта, пардон, ответственная дама с сооружением на голове, Кузовлева, которую он прозвал «летописец наших дум и дел». Тем почтительней бывал он с ней при встречах. И сейчас, наклонясь, хотел спросить с большой серьезностью, на сколько времени рассчитан доклад. Но тут вспыхнули юпитеры, застремотала кино-камера. И пока объектив направлен был в его сторону, думающее выражение сохранялось на его лице. Потом он вновь стал видеть вокруг себя.

Те, кого за столом президиума камера искала особо, как от муhi надоедливой отворачивались от нее, представляя оператору самому ловить момент. Другие и шею

вытянут, и меж чужих плеч высунутся, и лицо сделают, а объектив все мимо да мимо.

Удовольствием Александра Леонидовича и завгорздрав-отделом Ленюшкина — они обычно рядом садились,— особым удовольствием двух людей, ценящих юмор, было наблюдать присутствующих. Неизменно радовал Сеченов, завгородно. Однофамилец великого физиолога был известен в городе еще и тем, что однажды, развлечавшись, запутался в многочисленных «анти» и с трибуны назвал чье-то выступление антипозорным.

Обычно в моменты киносъемок и фотографирования Сеченов совершенно терял себя. Весь извертится, чтобы хоть краешком попасть в объектив, но такое уж его везение, что вечно он оказывался за чьей-либо спиной или за корзиной с цветами. Александр Леонидович представлял, как это происходит дальше: «Вон видите па фотографии корзина белых хризантем? Так за ней — я...»

Ленюшкин сидел за Кузовлевой, покусывал дужку очков, щурился, собрав морщины у глаз. Александр Леонидович ждал, когда погаснут Юпитеры, чтобы спросить Ленюшкина будто невзначай (фраза сама уже обмаслилась в уме): «Вы не заметили, случайно, удалось все же бедняге Сеченову избегнуть объектива?»

Юпитеры погасли. Желтые, будто померкшие, горели люстры. Они разгорались постепенно, видней становился зал внизу, и странное волнение чувствовал сейчас Александр Леонидович. Встреча ли с Иванчишиным подействовала или та неуверенность, которую он испытал, когда, опоздавший, шел по гулкому фойе, а потом его чуть не остановили за кулисами, но пропустили, узнав. Всегда охраняемый положением, именем, он вдруг почувствовал беспомощность и страх: сейчас подойдут и скажут, что ему сюда нельзя. И надо будет выйти с позором. (Этот миг неуверенности он стоял с пачальственно-нетерпеливым выражением, сверху вниз глядя не на подходивших к нему, а на пространство пола, которое их разделяло. И они это пространство не переступили.)

Тем радостней, отдохновенней ощущал он себя сейчас в своей среде. Он был на своем месте и чувствовал это. В конце концов, он всей своей жизнью заслужил право. Он, может быть, и не построил и не создал многое из того, что хотел и мог, потому только, что добровольно принес себя в жертву. В молодости еще он признал над

собой власть «надо». «Надо» — и он отрывался от дел. И, если хотите, это было тоже самоотречение.

Откуда вообще пришло это поветрие, и люди достойные начали чего-то стесняться! Откуда эта неуверенность взялась в последнее время?

Он чувствовал, как привычные понятия обретают в его глазах привычную цену и смысл. И волновался.

Чуть наклонясь, он спросил Кузовлеву:

— Простите, Алла Кирилловна, сколько времени попросил докладчик?

Он решил в перерыве подойти, напомнить о себе в удобной форме. Быть может, следует послать записку и все-таки попытаться выступить в прениях.

Но Кузовлева, почему-то отстранясь от него, смотрела так, будто не понимала языка, на котором он говорит. И тут же высунулся Ленюшкин:

— Час пятнадцать.

Добрые глаза его жалко помаргивали, лицо пристыженное. Все это было странно. Больше чем странно. И уж совсем непонятно, почему так нетерпеливо оглянулся на него Бородин.

Александр Леонидович не мог знать, что Бородин и не видит его сейчас, оглядываясь вокруг себя. Возбуждение, в котором Бородин находился во время приема и проводов делегации, прошло. Теперь все выпитое и с аппетитом съеденное за обедом подпирало, дышать было тяжело. Казалось, и доклад длинен непомерно и душно как-то в зале. Он морщил лоб — на воспаленной коже проступала лимонно-желтая полоса над морщинами,— смотрел на часы, оглядывался беспокойно.

Но словно вызванные его взглядом, явились из-за кулис четверо. Их не было видно из зала. Там, у кирпичной стены, куда со сцены откатили рояль, стояли они — пожилая дама в форменной одежде, имя-отчество которой Александр Леонидович всегда забывал, женщина помоложе, незнакомый мужчина с решительным лицом и помощник Бородина Чмаринов. Что-то случилось: пожилая дама оправдывалась, Чмаринов недовольно выговаривал ей. Александр Леонидович наблюдал с интересом. Встретясь взглядом, он поздоровался с Чмариновым: не явно, слегка наклонил голову. Тот как будто не заметил, хотя они взглядами встретились. Странно. Очень странно. И тревога, непонятная в его положении, коснулась Александра Леонидовича. Все четверо смотрели в его сторону;

Чмаринов делал жесты, а другой мужчина стоял нацеленный.

Совершенно естественно, Александр Леонидович посмотрел дальше, туда переадресовывая их взгляды. Но и там тоже сидели люди уважаемые; он, оказавшийся с краю, душой потянулся к ним. (Внешне это выражалось лишь в том, что он сел еще прямее, еще достойней и перестал смотреть в ту сторону, где происходила закулисная возня: к нему это не могло иметь никакого отношения.)

Но тут Кузовлева не почему-либо, а просто считая себя обязанной, сказала громким шепотом:

— Вы знаете, что вы не избраны в президиум?

И тем отдала себя от него.

Александр Леонидович остался сидеть как сидел. Только лицо его ото лба начало бледнеть, бледнеть, словно опускался в нем уровень крови!

На ярком свету, на виду всего зала, выставленный на позор, он сидел белый, ничего не видя, не слыша. Перед глазами стоял сплошной световой туман. И страшная мысль, что вот сейчас он упадет и все увидят, держала его прямо.

Даже не высматривая специально, Смолеев заметил, что Медведев сел слева у прохода. Он исключил из поля своего зрения левую часть зала, и это мешало ему. И во время разговора с Николаевым — разговор этот заинтересовал его — что-то все время мешало.

Смолеев был незлой человек, но неблагодарных людей он не любил. И, честно сказать, не понимал их. Не всегда встречается в жизни, чтобы кто-либо добровольно заслонил тебя от неприятностей. Он это сделал. Только глупый человек способен не понимать, что значит между прочим сказанное слово. Такое слово иной раз решает судьбу. Неужели ошибся? Самолюбие его было задето.

Что-что, но в людях он разбирался. С годами он вообще привык считать, что это самое главное — разбираться в людях. Никто не способен знать все. Никому это не под силу, да и не нужно. Но если ты знаешь людей, если тебе видны пружины, движущие ими, ты можешь сделать все. Он наперед многое прощал человеку, если тот заинтересовал его. Но если уж терял интерес, так окончательно.

Подавив слегка большим и указательным пальцами глазные яблоки, Смолеев стал слушать очередного оратора.

В последнее время от яркого света у Смолеева начали уставать глаза. Скорее всего от привычки, задумавшись, смотреть широко раскрытыми глазами. Иногда прямо на свет. (Жена говорила, что в такие моменты у него на редкость глупое выражение. Однажды поставила перед ним зеркало. Действительно, не самое умное выражение.)

Повернув голову, он заинтересованно смотрел в сторону трибуны. Что-то поблескивающее внизу привлекло его внимание. Он глянул. Слева сидел грузный человек, выставив ноги в проход между рядами. Как живые, они были обуты в ботинки, а между носками и подтянутыми брюками поблескивали никелированные пластины протезов. И палка стояла рядом. В тот же момент возвратной памятью Смолеев вспомнил и увидел этого человека внизу у лифта на расставленных ногах и Медведева с ним рядом. Вот почему Медведев так смотрел на них. Вон что оказывается...

Веселыми глазами Смолеев смотрел на людей. Ну, ничего, ничего. Не такие уж мы хилые да унылые, чтоб расстроиться на весь день. А собственно, и расстраиваться не из-за чего. Порядок должен быть. А если ради дела кому-то наступили на самолюбие, не беда. Умный поймет, дураку не докажешь. Так нам же не с дураками строить.

Смолеев давно руководил людьми — и в цехе, когда был начальником цеха, и на заводе главным технологом, и теперь, — и он знал: для того чтобы люди были способны сделать дело, совершив подвиг, у них и мысли не должно быть о том, что они могут этого не делать. И мысли такой подавать нельзя. Только очень немногие, все понимая, способны по своему убеждению действовать самоотверженно и самоотреченно. Большинству нужна вера. И убежденность. Эту убежденность людям надо дать — и они пойдут за тобой. Ошибки простятся. Обиды простятся. Бездействия не простят люди. Вот чего люди не прощают никогда. А хуже того — скучи, если жизнь начинает мельчать.

Как только объявили перерыв, Александр Леонидович незаметно и стараясь никого не замечать спустился в гардероб. Кто-то увязался за ним со своим делом, но он не слышал, не понимал. Он хотел скорей скрыться с глаз.

Теперь все ранило стыдом. Ему еще, главное, показалось, что его приглашают к столу президиума пересесть, и он из заднего ряда делал отстраняющие жесты, и все это видели. Он зажмурился и застонал. Ведь он хотел вместе с опоздавшими войти в боковую дверь. Почему он не пошел туда? Как мог он так ошибиться? И все словно нарочно направляли его, сами открывали перед ним двери. Так выставить себя на позор!..

Посторонние люди, идущие по тротуару, обрачивались, слыша, как застонал от боли приличный, модно одетый человек, поднеся к глазам руку в замшевой перчатке.

Но Кузовлева! Как она сразу отстранилась. Теперь все отстранится. Завтра весь город узнает, весь город будет говорить. А Ленюшкин всегда был хороший человек. Какими глазами он смотрел! Ах, боже мой, боже мой!..

Шофер такси, везший на аэродром пассажиров (они опаздывали и всю дорогу в спину ему долбили: «Шеф, давай по газам! Шефчик, милый, давай, давай...»), издали увидел и рассчитал, что успеет проскочить переход в тот самый момент, когда транспорту будет дан зеленый свет. В среднем ряду, не сбавляя скорости, он шел на красный, чувствуя, что уже время переключать светофор. Но и пешеходы чувствовали, что сейчас будет переключен свет, и спешили перейти: заведенные часы городского ритма отстукивали в каждом эти последние секунды.

Все было бы так, как рассчитал шофер. Переход пустел. Но тут какая-то женщина с кошелькой, пожилая, на толстых ногах, побежала через дорогу. Шофер на всякий случай взял правей. Но и она еще наддала, так что ноги от нее отставали; с глупой, испуганной улыбкой бежала изо всех сил.

Незримо они уже были связаны друг с другом. В тот самый момент, когда шофер затормозил и пассажиров бросило на спинку переднего сиденья, она испугалась и стала. Вот теперь бы ей бежать, но она стала. Потом кинулась назад.

Пешеходы заметались, рассеиваясь перед радиатором, и только эта кидалась со своей кошелькой из стороны в сторону, всякий раз туда же, куда и машина. В последний миг она с криком вырвалась, как курица из-под колес, и открылся за ней мужчина в коротком пальто ликерс: прямо, гордо, никого не видя, переходил он

через дорогу, исс свою шляпу выше всех. А машину на тормозах неотвратимо влекло на него.

Не опасность раньше всего увидел Александр Леонидович; он наткнулся на взгляд ребенка. С той стороны улицы, в немом крике раскрывая рот, мальчик с ужасом смотрел на него. И словно через глухоту прорвалось — услышал он крик, визг тормозов. Вздрогнув, Александр Леонидович отпрянул, но его сшибло, в голове сотряслось.

Еще не осознав ничего, но лежа на асфальте, Александр Леонидович увидел свою белую в задравшейся штанине худую ногу и капающий радиатор над ней. Он выдернул ногу. И даже в этот момент главным был не страх смерти: страх позора. Он, Александр Леонидович Немировский, на мостовой, под ногами людей...

Кто-то поддерживал его, когда он энергично подымался, кто-то подавал шляпу в двух руках, кто-то отряхивал пальто. Люди вокруг него кричали, размахивали руками:

- Гоняют как бешеные, по улице невозможно ходить!
- Приличный человек, пальто хорошее...
- А эта где? Эта, с кошелькой?..
- Ее теперь с собаками не сыщешь.
- Милиция!
- Граждане, дорогие, на аэродром опаздываем.
- Значит, дави людей? Нет, обождешь.
- Вот билеты у нас. Бог они. Вы запишите его, а мы при чем? Самолет улетит.
- Улетит... Не улетит!
- А этот шляпу надел, думает — все можно.
- Милиция!..

Александра Леонидовича поддерживали, отряхивали и коленки и локотки. Шофер шапкой своей оттирал какое-то пятнышко; все бы сейчас отдал, только бы всего его восстановить в целости. Но просить ни о чем не смел, снизу вверх глазами побитой собаки заглядывал в лицо.

Еще недавно Александр Леонидович знал бы, как поступить. Все то, что находилось вне его, но составляло его силу, немедленно пришло бы в действие, сами стали бы нажиматься все кнопки и, раздвинув людей, предстал бы милиционер, живое олицетворение защиты прав и порядка. Но сейчас, никем и ничем не защищенный, Александр Леонидович чувствовал себя совершенно беспомощным на улице, где свои какие-то действовали неписанные законы.

Все, что случилось с ним, теперь связалось в его сознании. Он ощутил неизмеримое расстояние между тем, как он сидел на возвышении, на виду и на свету, и тем, как теперь, вывалиенный в пыли, стоял в толпе и кто-то, понимавший, что его можно оскорблять безнаказанно, теперь все можно, кричал со злой радостью: «Шляпу надел!..» Он в центре уличной сцены, посреди кричащей толпы... Это было концом падения, этим завершалось все.

Шофер предлагал отвезти домой, кто-то советовал:

— В больницу езжай, пускай засвидетельствуют...

Не слушая, не отвечая, Александр Леонидович выбрался из толпы, пока не пришел милиционер, пока его не узнали.

Никто не видел, как и где оттирал он пятнышки, оглядывая себя со всех сторон, стараясь за спину себе заглянуть. Он и домой не мог явиться в таком виде, пережить еще и это унижение. Потом, потом, но только не сейчас. Потом, когда можно будет все обратить в шутку. Если можно будет.

В передней, не зажигая света, он тихо повесил пальто. Не на вешалку, где Лидия Васильевна могла увидеть, а в шкаф: надо будет потом еще раз оглядеть все, почистить.

— Это ты? Я даже не слышала, как ты вошел.

Раздалось шипение горячей сковороды, запахло жареным. Вытирая на ходу мокрые руки, Лидия Васильевна шла из кухни. У нее сегодня был вечерний прием в поликлинике; одетая на работу, но в переднике, она заканчивала домашние дела.

— Тут Полина Николаевна звонила.

— Что?

Александр Леонидович успел задернуть плотную штору на окне.

— Советовалась. У Олечки ведь скоро именины. Она говорит, в универмаг должны привезти... Что с тобой? На тебе лица нет!

— Съел что-то.

Зазвонил телефон. Александр Леонидович испуганно замахал на него рукой:

— Меня нет. Нет! Убери.

Но Лидия Васильевна не стала брать трубку, она выдернула шнур из розетки.

— Что ты съел? Где?

— В буфете.

— Но что? Что ты ел там?

— Крюшоп... Мне показалось, когда я попробовал... Ах, оставь меня, пожалуйста.

Она так приучила его, что каждая мелочь, малейший ушиб становился предметом внимания. А сейчас о самой главной боли он не мог сказать ей.

— Я бы лег, знаешь.

Больше всего ему хотелось сейчас остаться одному. И лечь. Вот что ему нужно было сейчас: лечь в постель. Он был рад, что ни Ляльки, ни Олечки нет дома — они ушли в кино, — как мог уговорил жену, что все это так, пройдет, просто решил на всякий случай перестраховаться. Обещал звонить, если что, согласился с тем, что она позвонит, и, уже опаздывая, Лидия Васильевна убежала на работу. А он остался один со своим позором.

Та жизнь, выше которой он был всегда, над которой проезжал и проходил не соприкасаясь, в эту жизнь оказался онброшенным. Что делать? Как быть? Ему было страшно.

Болела голова от сотрясения. Болело ушибленное колено. Но сильней всего, нестерпимо болела душа. В свежих крахмальных простынях, на мягкой подушке, он лежал загнанный, униженный и слабый. Его знобило. И во всем мире не было сейчас человека, которому он мог бы пожаловаться: рассказать.

Дважды звонила Лидия Васильевна; перед уходом она поставила телефон рядом с ним на тумбочку, только руку протянуть.

Укрывшись с ухом, дыша с дрожью себе на руки, Александр Леонидович согрелся и, как дитя малое засыпает в слезах, заснул, обессиленный.

То, что для Александра Леонидовича казалось концом жизни, падением, которое и пережить невозможно, почти никем не было замечено. Объявили перерыв, и люди устремились в буфет, где обычно образовывались большие очереди. Здесь можно было зимой купить даже свежие помидоры и парижковые огурцы. Радуясь удаче и вместе с тем испытывая известную неловкость, люди спешили раньше других занять очередь, чтобы дома побаловать детей. И после уже с кульками досиживали совещание.

Но была еще и другая причина, почему никто почти не заметил произшедшего с Немировским. На больших собраниях, где обсуждаются общественные вопросы, есть

у людей еще и те дела, которые удобно решать в разговоре. Здесь просто можно встретить нужного человека, к кому в другое время не так-то легко попасть на прием; можно пройтись с ним рядом, переговорить. И многие соображения одолевают людей, много надо успеть, а перерывов мал.

Еще в самом начале, когда только утверждали регламент, произошла некоторая неувязка с общим подсчетом часов. Бородин, который председательствовал, объявил:

— Сейчас четырнадцать ровно. Есть предложение работать до шестнадцати часов. Потом сделаем получасовой перерыв. Снова поработаем два часа, еще прервемся на пятнадцать минут и еще час поработаем. И закончим все в девятнадцать часов. Возражений нет?

Возражений не было. Проголосовали. И уже после этого поднялся в конце зала человек с вытянутой рукой (он, правда, говорил, что с самого начала подымал руку, но его не заметили) и стал объяснять, что не получается закончить в девятнадцать часов. Два плюс два, плюс один, плюс три четверти часа — не получается девятнадцать. И все это — через зал, громко.

Бородин помолчал и, не напрягая голоса (не будет же он перекликаться через зал), не вдаваясь в подробности, сказал в микрофон:

— Товарищи поработали, подсчитали вот тут. — Он приподнял со стола бумажку и положил ее. — Что ж мы будем так не доверять? Я думаю, все же правильней будет доверить товарищам.

Так и решили.

— А по окончании, — тут Бородин сделал паузу, выждал соответственно, — по окончании нам обещали показать фильм. Какой фильм, этого я пока еще сообщить не могу.

По залу сразу прошел шепоток, и вскоре все знали, что фильм покажут французский, получивший премию на каком-то фестивале. И во втором перерыве народу не только не убавилось, но некоторые успели позвонить женам, и в фойе усилилась толчеея.

Андрей и раньше наблюдал не раз то взаимное взвешивание, которое постоянно происходит там, где собираются вместе разные по положению люди. Есть сотни признаков, по которым люди безошибочно определяют свое сиюминутное положение. И взвешивают, взвешивают себя в своем уме и в чужих глазах. Оно всегда каза-

лось ему не слишком достойным, это занятие, но если бы все в жизни решалось по трезвому размышлению да логикой! Когда у входа в зал Чмаринов, радостно пожимавший руки одним и не замечавший других, глянул на него как на пустое место, Андрей почувствовал ненависть к этому человеку. А ведь понимал умом, что Чмаринов не определяет погоды, он только отражает ее.

В перерыве, жалея, что нет Борьки Маслова, Андрей стоял у окна, задумался и не заметил, как прошла мимо дама в шуршащем платье и очень внимательно посмотрела на него. Только уже вслед — она шла в компании еще с двумя дамами и Зиной,— машинально вслед глянув, узнал.

Когда-то ее звали Аля. Аленькая — звал он и был в нее влюблен. Сколько же это лет прошло с тех пор? Да ведь лет шестнадцать. Тогда она была беленькой девочкой, наивной, с паивным голоском. И в комнате у них все было белое: и кружевные накидки, и кружевные салфетки (Аля вместе с матерью вязала их из катушечных ниток), и свежевыстиранный парусиновый чехол на диване блестел от утюга. А подушки диванные вышиты болгарским крестом, и даже картины на стенах под стеклом вышиты крестом: белолицые дамы в длинных, со складками и шлейфом малиновых платьях.

Все это белое, чистое удостоверяло с несомненностью, что тут невеста, сохранившая невинность и чистоту. Он был влюблен, и все здесь ему нравилось. И нравились ее родители, совсем простые. «Мы по-простому,— говорил ее отец, наливая по стопочке,— по-рабочему». Он работал на мясокомбинате, и в доме у них все было. Хоть и экономично, но по-семейному хорошо и так всегда вкусно.

Взволнованного близостью нравившейся ему девушки, по-студенчески голодного (а годы были голодные), нагулявшегося с Алей по морозу, его непременно усаживали за стол, ни за что без этого не отпускали, и отец из четвертинки наливал им по стопочке. А горячая картошка была такая рассыпчатая, и чайная колбаса, заранее нарезанная, так пахла чесноком! И все вокруг само говорило ему здесь, в тепле: вот и у тебя так может быть по-семейному, по-доброму. И путь указывался. Аля. Алевтина Семеновна.

Дойдя до конца фойе, они поворачивали в общем кружении. Года три назад он что-то слышал про нее: муж ее занимает какое-то положение. Ну что ж, он за нее рад.

Запыхавшийся Борька Маслов налетел на него:

— Ты не догадался меня зарегистрировать?

— А предупредить не мог? Ты что так опоздал? — спросил Андрей, обрадовавшийся ему.

— Начальство не опаздывает, начальство задерживается. Что-нибудь было?

— Да так, в общем... Слухали: земля вертится...

— Вот я и понадеялся, без меня справитесь. А мой госконтроль звонил уж специально: «Боря, ты манкируешь. Нельзя манкировать». Меня теперь дрессируют этим словечком — «манкировать».

Андрей говорил с ним, но Алевтину, медленно приближавшуюся, не упускал из виду. А что, мог бы тогда и жениться, если б Аню не встретил. Близко уж к тому было. Не страшно, что женился бы, а вот дети... Крупная, широколицая, ширококостная — ох, как же она раздалась за эти годы! Где-то читал он, что в камне, пока он не обработан, и дефектов не видно. Но стоит отшлифовать — и все трещины, даже мельчайшие, скрытые, становятся видны.

Уже слышно было Зинино щебетание — точно как у Алевтины в ту пору, наивный голосок:

— ...и вообще это необязательно в двадцатом веке — учить девушки играть на рояле. Теперь везде продаются проигрыватели, есть со стереоскопическим звуком.

— Стереофоническим, — авторитетно поправила Алевтина.

Только на какое-то мгновение Зина смешалась, но не позволила сбить себя. Мягким голосом, а в то же время давая понять, что теперь это им лучше известно, сказала с улыбкой:

— Нет, у этого звук стереоскопический...

Проходя мимо, шурша своим голубым платьем, на котором всего было много, и материи и блесток, Алевтина сверху вниз глянула на него. «Вот что ты мог иметь, — говорил ее надменный прищуренный взгляд. — Да, вот что ты потерял...» Он поклонился ей молча.

— Кто это? — спросил Борька.

— Знакомая, — сказал Андрей.

— Ну-да, брат. Таким женщинам нравишься! Надо Аню рассказать.

Борька был возбужден.

— Работал? — спросил Андрей ревниво.

— Да так, немногого... Бросать не хотелось. Но как стал называть мой госконтроль... Накрыл мокрыми тряпками — и сюда: надо.

У Андрея даже в душе засосало, когда услышал «бросать не хотелось». Вот чему он завидовал, если уж завидовал чему-либо. По себе знал, как радостно бывает в такие минуты жить на свете. Но, кажется, в обозримом будущем ему это не угрожало. А уж если есть смысл жизни, так вот он. И если есть счастье, так вот оно. А все остальное — суэта сует.

— Скоро покажешь?

— Да черт его знает. Сам не пойму. Пока работаешь, ты — бог. Никто не может, можешь один ты. А отошел на время, глянул заново — молотком бы разбил. Может, вообще ерунда и обман зрения,— сказал он поспешно, заметив, как расстроился Андрей.— Покурим, что ли? Только у меня опять тот же сорт — твои.

Вот и без папирос Борька и, как всегда, без денег. А бывал и без дома. Но счастлив. И ничто с этим не сравнишь, все отдашь.

Они уже направились курить, когда па них налетел Чмаринов. Не наткнулся случайно, а явно искал.

— Здравствуйте, Андрей Михайлович! — говорил он. И двумя руками руку жал, ласково заглядывал в глаза.

Сам от себя не ожидавший, Андрей вдруг пальцем поманил его, серьезно отвел в сторону (Чмаринов весь навострился слушать) и тихо, по секрету, доверительно спросил:

— Есть указание? Приказали любить?

Только самое первое мгновение слушал Чмаринов. В следующий момент заулыбался по-родственному:

— Эх, Андрей Михайлович, Андрей Михайлович, все шутки шутите.

— Ну, вы же знаете, я шутник.

— Вот вы смеетесь, а я вам скажу: вас будущее ждет.

— Это как же вы узнали?

— А вот не цените вы нас. А я душевно рад, что могу вас порадовать.

— И в этом будущем вы мне первый друг?

— Всепременно! — И смогрел на него Чмаринов многоопытными глазами. Хоть и улыбался, мудрость жизни излагал.— Я и буду вам самый первый друг. Вот вспомните тогда Чмаринова.

Что-то произошло. Борыка так и определил:

— Андрюха, что-то на тебя грядет.

А вскоре все само разъяснилось (уж как сумел Чмаринов раньше всех узнать, это ему одному ведомо). Через фойе к двери за сцену — оба видные, крупные —шли Смолеев и Николаев. Был у Андрея маленький осадочек от сегодняшней встречи там, у лифта, внизу. И, ожидая встретить холодность, он сам первый поздоровался сдержанно и холодно. Но Смолеев, наткнувшись на него взглядом, остановился. И громко Николаеву, так, что оборачиваться стали:

— Вот про него я тебе говорил. Давайте я уж вас и познакомлю сразу.

И пока знакомились, Смолеев говорил:

— Ты дом отдыха собирался строить? Вот поговори с ним. Это он все мечтает виллу построить. Есть у него такая несовременная мечта. Поговори, поговори.

Николаев смотрел по-хозяйски: определял, на что годен человек. Хмуро сказал свой телефон, когда звонить.

А вокруг, словно что-то особенно радостное происходило, стояли и улыбались люди.

Ночью Лидия Васильевна проснулась, услыша, как ворочается рядом Александр Леонидович.

— Ты что?

Включила ночник.

— Так что-то... Не знаю... Не по себе.

Он был беспокоен.

— Сесть повыше.

— Обожди.

Уже в халате, только запахнувшись на груди, Лидия Васильевна нагнулась над ним. Глаза его смотрели испуганно, а в глубине такая смертная была тоска, что она похолодела. Но больше всего боясь его испугать, она заговорила спокойно:

— Возьми меня за шею... Руки положи... Нет, ты не напрягайся, ты ничего не делай. Я сама!

Руки его не держались, сползали, и весь он тяжелей, тяжелей повисал. И вдруг потянул ее вниз, грузно вдавился в подушки...

Всю свою жизнь она вспоминала потом, что в этот последний час он к ней потянулся, к ней руки протягивал, от нее помочь ждал. А она отпустила его одного.

ГЛАВА XVIII

Даже горе, даже самое страшное горе прибавляет нам опыта, если мы остаемся жить. Полина Николаевна пережила смерть мужа, смерть Николая Ивановича — память его священна! — теперь она должна была помочь Лидии Васильевне пережить. И, укрепясь этим сознанием, она взяла на себя все заботы, все хлопоты.

Телефоны города, лиц, от которых зависело, были у нее на проводе. Самые разные люди, побуждаемые ею, звонили другим людям, выясняли, зондировали почву, ставили в известность, в удобной форме высказывали свое мнение.

Маленькое преддверие кабинета Александра Леонидовича, зажатое двумя стенами и вытянутое к окну, где под открытой форточкой в табачном дыму помещалась Полина Николаевна со своей пищущей машинкой, телефоном и непременным букетиком цветов в вазочке, превратилось сейчас в штаб. Сюда входили, отсюда выходили, и всем она отвечала:

— Будет дана команда.

Дело шло о чести, о добром имени Александра Леонидовича, о том уровне, которого он заслужил. И вновь многие люди, побуждаемые ею, звонили другим людям, а Полина Николаевна держала руку на пульсе событий; это от него к ней перешло выражение, от Александра Леонидовича: «Держать руку на пульсе событий».

Напряжение и ожидание ощущалось во всех звеньях цепи. Одна лишь Лидия Васильевна не понимала важности совершающегося; в ее положении это, впрочем, так объяснимо. По всем вопросам Полина Николаевна сносилась с Людочкой, с ней была сейчас особенно близка.

Сама она поминутно чувствовала сердцебиение и перебои, пила сердечные капли, и запах валерьянки мешался с запахом табачного дыма и крепких духов.

Букетик фиалок, стоявший рядом с пищущей машинкой, подарил ей Александр Леонидович. Он вошел тогда такой весенний, такой разморенный солицем и со своей иронической улыбкой положил ей на машинку цветы. И прошел в кабинет.

Белыми пальцами с вишневым маникюром Полина Николаевна трогала сжавшиеся, засохшие фиалки, и на се-

крупные глаза наворачивались крупные слезы. Никто уже теперь никогда не принесет ей цветов, эти — последние.

При жизни Александр Леонидович иногда шутил: «Я не возражаю, если меня похоронят по третьему разряду, разницу в деньгах отдадут мне сейчас...» Ах, как она не любила такие шутки, как она сердилась.

В середине дня раздался звонок. Едва Полина Николаевна положила трубку, все пришло в движение. Отдавая приказания, разрешая сомнения, она всякий раз с особым значением указывала на телефон; своим молчанием он освящал ее действия и слова.

Потом она взяла машину и помчалась к Лидии Васильевне. Она чувствовала прилив сил, была возбуждена. Если бы не такой трагический час, можно было бы даже сказать, что она чувствовала в себе радостную жажду деятельности. Она исполнила свой долг перед Александром Леонидовичем. Да, она свой долг исполнила. Она добилась всего, чего он мог желать.

Проснувшись в этот день рано, Виктор с трудом дождался газеты. Раскрыл. На второй полосе сверху, справа — некролог в две колонки и подписи, подписи. Одним взглядом охватил все разом, пережил мгновенный испуг, не увидя своей фамилии, а потом аж в пот бросило: Смолесв, Бородин, Митрошин, Сильченко, Николаев, а tremya строчками ниже — он, Анохин.

Еще с вечера знал Виктор, с вечера было ему известно, что его фамилия в списке. Но все же Зинушке он не сказал: мало ли что может произойти в последний момент. Так до утра это и оставалось его тайной, его ожиданием.

Четверо сложив газету, он вошел из передней в комнату. Зина, уже одетая, начесывала челочку перед зеркалом. Она торопилась до работы в магазин.

С лицом печальным, но и торжественным тоже Виктор положил газету на стол. Некрологом вверх.

— Посмотри.

Она глянула.

— А-а. Да! Но ведь он был старый. Сколько ему было?

Виктор в задумчивости прошелся по комнате:

— Посмотри...

Зина посмотрела в раскрытый кошечек, посчитала

деньги, посоображала про себя, сомкнула «молнию». Тогда уж глянула в газету:

— Ну что тут? Я же знаю...

И тут собственная фамилия прыгнула ей в глаза. Не поверила. Глянула на Виктора. Он прохаживался по комнате какой-то не такой. Еще раз прочла из рук.

— Ты знал?

— Знал...

— Почему же ты ничего не сказал? Мне не сказал!

Он обнял ее за плечи и с нею вместе, наполненный молчанием, начал ходить по комнате. А она взглядывала на него, то ли робясь, то ли впервые разглядев то, чего и она в нем раньше не знала.

Он привлек ее, поцеловал за ухом. Зина не поняла. Он поцеловал еще раз. Зина взглянула вопросительно:

— Виктор, цельное молоко бывает только в это время.

— Ну, Зюка. Ну, Зюзенька. Ну один раз можно и без молока.

— Какой ты сегодня, честное слово... Прямо не узнаю. Ну, закрой дверь на цепочку... И кефир разберут... Штору задерни. Главное, оделась уже. Ох уж эти твои... — Она засмеялась мелко: — Помнешь всю.

Через четверть часа Зина, переволнованная многими соображениями, спешila в молочную. По дороге она купила в киоске три газеты: по собственной инициативе решила сделать Виктору подарок. Такие газеты надо хранить.

В молочной ей повезло: кефир еще не разобрали. И молоко было пастеризованное, цельное. А в палатке был репчатый лук. Невыгодный, правда, кубинский, крупными головками — целиком такую в суп не положишь. Но все же лучше, чем ничего. А то приходилось на базаре покупать.

Нет, явно снабжение в городе улучшилось.

Люди входили к Немировским и выходили, и почти каждый начинал с того, что высказывал свое свежее возмущение таксистом, который до сих пор не разыскан:

— Подумать только, средь бела дня, на улице...

— Вы знаете, я не поверила своим ушам.

— И номера никто не записал. Говорят, из третьего парка.

- Как распустились!..
- Мало сказать — распустились.
- Но милиция? Она куда смотрит?
- Вот и я хотел бы тоже спросить: куда милиция смотрит?

Тут входил следующий, высказывал свое возмущение милицией и шоферами, а для тех, кто давно сидел, это был сигнал: вот момент, когда удобно, прилично уйти. Однако, прежде чем уйти, настоятельно советовали Лидии Васильевне поесть чего-нибудь и выпить хотя бы глоток чая, потому что «она нужна дочерям и внукам, она им еще нужна, и если не для себя, так для них, по крайней мере...». И, уходя, просили не провожать, на этом особенно настаивали, как будто в этом и заключалось для Лидии Васильевны самое мучительное, от чего непременно старались ее оберечь. Провожала до дверей Людмила, и ей с легким оттенком замеченного упущения говорили в передней еще раз:

- Ей обязательно нужно поесть...

Но Людмила смотрела так надменно, так понимающе, что осекались. В этой заботе «не провожать» было стремление скорей отделиться от их горя, и она не считала нужным скрывать, что видит это, понимает. А главное, давала понять, чтобы не думали, что уже что-то переменилось местами.

Другой непременной темой разговора, которой так или иначе касались все, был приезд на похороны старшей дочери, Гали, Галины Александровны. Выяснилось, что она вылетела, но муж, генерал, к сожалению, быть не сможет. И это принимали с пониманием:

- Конечно, военный человек...
- Военные люди собой не располагают.

И умолчание тут значило больше, чем слово сказанное.

Один лишь Зотов с уверенными приемами человека, умеющего все поставить на свои места, ходил быстро, говорил, не снижая сочных звуков своего голоса, в то время как все двигались и говорили замедленно, будто среди ночи. Он уезжал, приезжал, складывал и вновь надевал пальто. Для него не могло быть трудным то, что представляло определенную трудность для других. Он сразу взял нужный тон, весь был объят деятельностью. И минуты времени не было у него на то, чтобы чувствовать какую-то неловкость, тем более что искренность его чувств оставалась вне всякого сомнения. Взгляд его гово-

рил ясно: «Я не могу позволить себе расслабиться, отаться переживаниям. Без меня все станет. Я действую».

Даже денежные расчеты, которые особенно не прости в такую минуту, для него не были ни неловки, ни трудны. Отзывая Людмилу к окну или в другую комнату, он говорил убедительно, доступно, точно, поскольку имелось в виду, что ей сейчас трудно понимать. И вновь хлопала дверца машины у подъезда: Зотов отъезжал. А возвращаясь, одним взглядом оценив обстановку, смирял, смягчал, облегчал, все между всеми наилучшим образом устраивал.

И во всем происходящем непостижимо спокойной казалась Лидия Васильевна. Ей некому было показывать свое горе, она не следила за тем, какое она производит впечатление. Она слушала слова сочувствия, но не слышала их, она смотрела в лица и не видела. Все то же и одно и то же пыталась она понять и понять не могла: как же случилось, что она оставила его одного в самый страшный для него час? Всю жизнь она знала за него, за него чувствовала, от малейшего дуновения оберегала. Как могла она не чувствовать, не понять? Как она вообще заснула в ту ночь?

Ей говорили, что необходимо поесть, она смотрела разумно, понимала как будто, но думала свое. Она заново и заново видела, как он вошел, как он старался быть незаметным. Он, привыкший гордо нести голову, был такой униженный, ее стыдился. Теперь-то она видела, но почему не поняла тогда? За что вдруг поразило ее такой страшной слепотой? Как она могла уйти?

Все говорили о шоферге, о милиции, о безобразиях, которые творятся на улице.

— Неужели этого шофера не будут судить?

— Да я первый пойду!..

И только она, видевшая синяки на его теле — лиловые-синие, холодные, не растекающиеся уже,— только она не понимала, о чем они говорят. Случилось страшное, стыдное, он вернулся такой жалкий. И с этим стыдом в душе, униженный, ушел из жизни. И этого уже не изменить.

Никто не видел, как она собралась; хватились ее значительно позже. Она делала все точно, быстро: оделась в коридоре, в темноте наощупь поправила волосы, сунула свой халат в сумку. Она шла к Александру Леонидовичу.

Не отвечая на вопросы гардеробщика, Лидия Васильевна бросила пальто на барьер, и никто ее не остановил,

когда она в своем белом халате врача решительно шла по коридору. Навстречу ей везли на каталке укрытое простыней тело. Это была женщина. Лидия Васильевна ждала, посторонясь, пока разворачивали каталку поперек коридора, ввозили в открывшиеся двери. Заторопившись пройти, она мельком глянула туда. Блестели обитые цинком пустые столы, на одном из них головой к двери, ногами к окну (остро под простыней обозначились пальцами вверх торчащие ступни) лежал старик. Седой хохолок, голый, наморщенный о холодный цинк затылок. И с ужасом она поняла вдруг, что этот чужой старик, лежащий на столе, это — Александр Леонидович.

Санитарка что-то делала над ним. Увидя ее лицо, санитарка стала испуганно оправдываться:

— Вот сами смотрите, чтоб после ничего не говорили... На месте металлический зуб, вот он. А то скажут потом...

И пальцами подымала его верхнюю губу.

— Не смейте! — от боли вскричала Лидия Васильевна.

Мертвая губа так и осталась оттянутой, и сквозь падет золотой зуб Александра Леонидовича тускло блестел. Дрожащими руками она гладила его холодное лицо, отросшую щетину, которая тоже была седая.

В этот момент в раздувающемся халате быстро вошел врач.

— Кто пустил? Зачем? — Говорил он на ходу.— Лидия Васильевна, родная, голубушка! Ну вы бы меня позвали... Нельзя, нельзя... Как же так?

Он под руку увел ее в гардероб, одел.

— Вы на чем приехали? Вас отвезут.

Она плохо понимала. Она все время видела голый наморщенный затылок, физически чувствовала холод металла. Никогда при жизни не была у него такая голая голова. И такая седая.

В доме уже творилось бог знает что. Прилетела Галя (на аэродроме ее встречал Зотов), и вместе с Людой они обе не знали, куда кинуться, где искать.

— Мама! Слава богу!.. Ну разве можно так? Мы с ног сбились.

И тут Лидия Васильевна увидела внука Леню, он тоже прилетел с матерью. Худой, вдвое вытянувшийся за один год, лицо — копия отцовского, но только удлиненное испугом. А из растерянно косивших глаз мальчика живой Александр Леонидович глянул на нее. И впервые

за эти дни Лидия Васильевна заплакала. Руками она прижимала к себе теплую колючую голову внука, мочила ее слезами, вдыхая его родной мальчишеский запах, уже и незнакомый чем-то.

Ночью сестры тихо разговаривали вдвоем. Отплакав в самый первый, самый больной для родных людей момент встречи, пережив этот долгий день, словно павек опустившийся на них, а теперь искупавшись с дороги, Галя сидела рядом с сестрой на диване, в ее мохнатом халате, в ее бархатных туфельках. У ног сестер в мягкком ворсе ковра стоял телефон. Все спало в доме, кроме них двоих. Горел торшер как почник, сверху па него еще и платок был наброшен. Розовый сумрак в комнате, темнота в передней, блики света на стеклах серванта, на полированных поверхностях. Тяжелые шторы во всю стену глушат поздние шумы улицы. И так ощутима пустота, как будто вместе с отцом и жизнь ушла из дома.

Вот Галя искупалась, тело вздохнуло, и еще виноватей почувствовала себя: он там один, и вечный холод, ото всех его отделивший. Но даже и сейчас все еще он есть, не с ними, но здесь. А скоро его и вовсе не будет.

— Это ужасное сознание, что ничего не можешь изменить. Ведь вот только что, только... Невозможно привыкнуть.

Люда кусала мокрый платочек.

— Тебя он особенно любил,— сказала Галя, чтоб прilаскать сестру,— я даже ревновала в детстве.

Звякнул телефон. Галя схватила трубку. С вечера ей не удалось соединиться с домом, а там у младшего мальчика и у дочери свинка, обоих она оставила с высокой температурой. Но в трубке опять был устойчивый длинный гудок.

— Ты когда позвонила тогда... Помнишь, в день рождения,— Люда кивнула на телефон,— у него как раз в тот момент что-то было с сердцем. Но мы не поняли. Все задним числом, все задним числом. Он был такой спортивный, здоровый человек...

— Со здоровыми так и бывает. Вот Кирьяновы... Да нет, ты не можешь знать, разве только от отца слышала. Когда Кирьянов женился, его теща была очень пожилая, больная, умирающая женщина. Все так и говорили: «Ей уже недолго скрипеть». И вот он жизнь прожил и умер,

а она все такая же пожилая, очень больная, умирающая женщина. А здоровый человек...

— Мать, врач, не придала значения. Ах, как ужасно, как ужасно! — сказала Люда, потому что в этот момент опять увидела стол, как он стоял, широко развинутый во всю комнату от окна к дверям, и живого отца за столом. Теперь во всем этом ей виделась какая-то предопределенность, словно отец уже был незримо отмечен.— Ты говоришь, любил... Я отравлена ими на всю жизнь. Ты не знаешь, ты рано ушла из дома...

Так всегда говорилось в семье и считалось, что Гая рано ушла из дома, хотя она вышла замуж двадцати четырех лет, а Люда в неполных девятнадцать выскочила. Но между сестрами было тринадцать лет разницы, и когда Гая выходила замуж, родители были еще молоды. Потому и осталось так в памяти, что она рано ушла из дома.

— Ты это не можешь чувствовать, как я. При теперешней расчетливости, когда в гости зовут, а за этим дальние виды. Противно! Мерзко! Весь этот современный меркантилизм. Забыта простая радость гостеприимства, принять людей у себя в доме. Только у нас всегда широко раздвигался стол, все на широкую ногу. Отец никогда ни перед кем... Гордость, достоинство! Кто бы то ни был, для него не имело значения. Он всегда это говорил. А таких отцов, таких мужей нет больше. Мне ни один муж никогда не будет хороший. Потому что я их жизнью отравлена. Мать никогда его не понимала. Я ей сказала однажды: «Был единственный муж па свете, так ты у меня его отняла».— «Да, говорит, он самый лучший. Но выходила я за мальчика избалованного и капризного». Ну ты ж ее знаешь. Ее *idée fixe*.

Опять звякнул телефон. И опять тишина. Сестры сидели на диване тесно друг к другу, грязясь общим теплом. И в этом соединявшем их тепле была часть его, которая в них продолжала жить. Теперь только в них.

Междугородный звонок раздался резко, обе вздрогнули. Гая схватила трубку.

— Да... Да.... — говорила она приглушенно.— Вызываю, давайте... Павел? Я в во... Не слышно, девочка! Павел? Я говорю, я в восемь часов заказала разговор. Вот именно... Вот именно... Мама? Мама как раз. Ты знаешь...— Взглянув на дверь, за которой была Лидия Васильевна, она взяла телефон и с ним отошла в даль-

ний угол комнаты, волоча за собой длинный шнур по ковру.— Знаешь, мама как раз не так ужасно, как я ждала. Потом скажется. Да... Как Соня? А Ванечка? Но вы смотрите, не опухает?.. Не на шее, я тебе говорила. Ты понимаешь, что я имею в виду? Он мальчик, это важно не проглядеть.

Была пауза. Гая слушала. Вдруг лицо стало замкнутым, заговорила она железным голосом:

— Не знаю. Пока не знаю.

Это муж спрашивает уже, когда она думает возвращаться. И Галин железный тон означал: мне неудобно сейчас говорить об этом, ты понимать должен.

Людмила курила, смотрела на сестру. Целый день ее преследует запах мокрых хризантем и земли: запах похорон. Даже еда этим пахла, она не могла есть. Сейчас опять запахло. Она курила, чтоб отбить этот запах.

Гая здесь недолгий гость, побудет и уедет. А она, младшая, она остается. Горе у них общее, оно и свело. А жизнь у каждой своя.

Людмила глубоко затянулась сигаретой. О господи, господи!.. Папа, мама, милые, хорошие. И она — девочка с бантами... А потом наступает время, когда уже не папа и не мама, а — ты. Все — ты. И за все — ты. И за себя, и за свою девочку с бантами. И никого не спросишь, только себя одну. И сказать некому: у каждого своя жизнь.

Ну, она не помнит войну. Но и без той войны сколько в мире тряслось и рушилось. Но был дом. И мир был незыблем. Могло что угодно случаться с ней, она всегда знала: горит для нее свет в окне. О, как много значит этот свет в окне! Когда ты можешь прилететь на него отовсюду. Там, для других, ты, может быть, плохая, злая, грешная. Но не здесь. Здесь ждут тебя твои старички. И все поймут и все простят. И ты опять чище чистого. Проснешься утром в своей девичьей кровати вновь — дочкой. Любимой... Ничего не стало. И не будет. Никогда уже этого не испытать.

Она прикурила сигарету от сигареты.

— Люда, Павел хочет тебе сказать.— Старшая сестра отчего-то сейчас робела перед младшей.

Людмила взяла трубку. Слушала. Отвечала. Слова все — слова. Слова и соблюдене приличий. Словами люди отражают себя от чужого горя, словами не пускают к себе в душу.

С телефоном в руке она вернулась к дивану, сунула его под подушку. Теперь уже никто не позовит до утра.

Они опять сидели рядом, родные сестры. Но после разговора с мужем, с домом Гая как будто виноватой себя чувствовала. И так само получилось, что она вдруг стала то ли оправдываться, то ли жаловаться:

— И за детей волнуешься постоянно и за него тоже. Что я могу от него требовать? По своему положению... он едва ли не самый молодой генерал в такой должности. Но он совершенно больной человек. Двадцать три года календарных. И это не считая фронта, где год за три. У него все сожжено внутри. Но он же не слушает врачей, все они его подчиненные. Ест, курит, приходится и выпивать другой раз. А когда он садится за руль и Лёню сажает рядом с собой... — У Гали появилось то выражение, какое бывало у матери, когда она готовилась терпеть. Такие же остекленелые глаза, на сто лет вперед покорные. — Я не знаю, какие нервы мне нужно иметь, когда они мчатся сто, сто шестьдесят километров в час. А еще горные дороги. Но он считает — мальчика надо с детства воспитать. В этом есть правда.

Гая всегда была недалекой. И тонкость не главное ее достоинство. А жизнь в этой среде... Она даже не понимает, что «мне тоже плохо» особенно оскорбительно.

— И дети еще маленькие. Сейчас лечить, потом учить надо будет. В институт поступать...

Когда-то Гая была одно лицо с матерью. Но с годами, с морщинами все больше мужское что-то, жилистое стало проступать в лице; такое еще у спортсменок встречается. Людмила знала этот тип женщин на вкус военных. Есть жены художников, крикливо-безвкусные, как курицы в крашеных перьях. А есть офицерские жены или служащие военных учреждений, стремящиеся офицерскими женами стать. Замкнутый, свой круг интересов, одни и те же разговоры, словечки, строевые остроты. Особая сквердность. А посмотреть Галины платья... Каждое как сооружение. Все капитальное, дорогое, опаздавшее лет на двадцать пять.

— Зачем ты так подтягиваешься? — сказала вдруг Людмила. — Дело даже не в том, что это сороковые годы. В таком лифчике просто трудно дышать.

И старшая сестра смущалась перед младшей:

— Знаешь, мы жены военных... У нас все так...

Тут обеим послышался шорох в комнате, где спала

мать: слава богу, что заснула наконец. Замолчали. Пристально слушались. Потом Галя без туфель подошла к двери, бесшумно приотворила.

Горел ночник. На расстеленной кровати лежал костюм отца, снятый вместе с плечиками. Мать стояла перед ним на коленях, молча гладила ладонью рукав. Она собирала отца в ту дальнюю дорогу, откуда никто не возвращается никогда.

ГЛАВА XIX

Давно уже и снег стаял, пылили асфальтовые городские дороги, а весна все ждала чего-то, будто не решалась, прислушивалась. В потеках копоти и грязи стояли голые деревья, и пасмурно было, и дым в сыром воздухе низко повисал над заводскими трубами.

Но вот в тихий час перед утром, когда самые первые трамваи звенели на улицах, лопнул гром, звучно раскатился над железными крышами; в домах за пыльными стеклами, где рамы заклеены еще с зимы, мало кто слышал его. А потом хлынул дождь, весенний, шумный, смыв копоть и грязь с деревьев, пенные потоки устремились по асфальту. И утром во всем городе запахло молодым тополем. Все было мокрое, свежее, все блестело, тополя светились желтым цыплячьим пухом. Покидав в кучи портфели и куртки, сотни школьников, для которых повеяло близкими каникулами, сгребали мусор. И уже тянуло, как за городом, дымком костров.

Этот дымок, сизый против солнца, и запах костра проникли даже сюда, на лестницу, по которой вместе с дочерьми спускалась Лидия Васильевна вся в черном. И пока они шли со своего этажа вниз, попадались им заплаканные женщины, большей частью пожилые, одетые просто; Лидия Васильевна всем им благодарно кланялась.

Женщины тоже шли вниз, а там, внизу, были настежь распахнуты двери подъезда и во дворе собралась небольшая толпа. Лидия Васильевна не ждала этого, многих из тех, кто пришел проводить Александра Леонидовича, она и в лицо не знала. Разволновавшись, она молча поклонилась им всем. А когда подняла голову, увидела, что люди не на нее смотрят и стоят вокруг чего-то. Расступились немного, отодвинулись, и ей видно стало: гроб низко на двух табуретках, ветер шевелит жидкие волосы покойника, женщины горестно прижимают платочки ко ртам.

Ничего не понимала Лидия Васильевна. И оскорбительно показалось ей в первый момент. Какие же еще могли быть похороны в этот день? Во всем мире хоронили сегодня одного человека, только его одного.

Но она уже видела по ту сторону гроба плачущую женщину в черном платке; двое мужчин без шапок, с угрюмыми лицами держали ее под руки, как будто выставляли вперед. И другая женщина, совсем старая, сидела на стуле, расставив опухшие ноги, не плакала, тупо глядела перед собой.

И покойника узнала Лидия Васильевна. Это был Николай, домоуправленический слесарь, который приходил в день рождения Александра Леонидовича, а она испугалась его как дурного предзнаменования. Плоско он лежал в гробу, вровень прикрытый простыней и цветами. И только голова и желтый лоб выставленный возвышались на твердом изголовье. Ввалившиеся виски, липовые губы, мученический мертвый оскал. На желтом-желтом лице в неплотно прикрытом глазу — блеск желтого белка. И хоть ни о чем не способна была сейчас думать Лидия Васильевна, ничего, казалось бы, не воспринимала, сама собою прошла мысль: «Это рак... Желчь разлилась...»

А потом не раз она убеждалась, как ей все запомнилось, чего она как будто и не видела в тот момент: и люди, стоявшие во дворе, и лица, а позади на ярком солнце — костер посреди двора, его особенный весенний запах и стелющийся понизу сизый дымок. На всю ее дальнейшую жизнь запах костра связался для нее с этим днем.

И чужое горе, показавшееся ей оскорбительным в час горя своего, вдруг примирило ее с чем-то большим, перед чем покорным становится человек. И она еще раз поклонилась этим двум женщинам и всем столпившимся во дворе людям.

В девятом часу утра, когда Смолеевы, как обычно, завтракали, Женя спросила утвердительно:

— Ты будешь на похоронах?

В шерстяной безрукавке — красные, серые поперечные полосы, — в синей английской юбке, принявшая душ, причесанная, одетая на работу и уже мыслями наполовину там, в своем Гидропроекте, Женя серебряной ложечкой ела творог, политый вишневым вареньем. В этом она не могла себе отказать: чуть полить творог вишневым вареньем. Иначе очень скучно становилось жить на свете,

— Я думаю, тебе надо быть. Я тоже подъеду.

Вишенку, случайно попавшую вместе с соком, она отложила на край блюдца, приберегла, чтоб заесть.

Его всегда поражал контраст между утренним ее разумным спокойствием, холодностью и той страстью, которую он в ней знал. Именно тут больше всего была уязвлена его гордость. Потому что такой же, как с ним, она была до него. Он не мог опускаться до сравнений, но, проходя на кухню за кофейником, строго, как на другого кого-то, глянул в зеркало. Увидел себя — крупного, большого, и это было ему приятно.

Вернувшись, стал наливать кофе в чашки — ей и себе. И тут тоже было удовольствие, которого он не знал раньше. Раньше жена наливалась ему, пододвигала ему, а он, ткнув нос в газету, не видел ни ее, ни того, что она пододвигает.

— Полней,— сказала Женя, всегда следившая, чтоб он наливал ей по самый край. И это тоже почему-то ему нравилось.

Кроме них двоих, в доме жила и вела хозяйство дальняя Женина родственница Елена Андреевна, тетушка. Родом из Астрахани, из кунической фамилии, о чем раньше умалчивалось, а теперь Елена Андреевна всякий раз поминала, дескать, вот какого мы роду-племени, вот откуда происходим, она баловала Смолеева расстегаями с рыбой, своими, особенными, какие «в вашей-то столовке и не поешь», грибочками солененькими и маринованными, помидорами мочеными: «Красавцы один в один, ровно с куста». Ревностная домоправительница, она считала неколебимо, что все нынешние болезни «от химии от етой», и верила в гомеопатию. Вся ее комната — и комод, и подзеркальник, и подоконник — все было заставлено флакончиками, коробочками с крупинками, которые она принимала по часам, вечно опаздывала и расстраивалась, что вот никак не удается наладить лечение, подумать о себе. Женя посоветовала ей заводить будильник, с тех пор в доме то и дело раздавались звонки, Елена Андреевна вздрагивала, кидалась к телефону или открывать дверь.

Была она непременной зрительницей всех телевизионных программ, на свой лад перетолковывала увиденное и многим возмущалась не без тайной мысли побудить Смолеева к действию: «Не знаю, не знаю, может, уж глупа, стара стала,— тут она начинала сердито трясти щеками,— но зачем это все молодежи показывать? Чему оно

хорошему может пынешнюю молодежь научить? Не знаю... Вам, конечно, видней, а только я бы, на свой глупый разум, я бы етот филем запретила совсем. Вот как будет по-нашему, по-простому...» И еще непримиримей трясила щеками.

Была Женя бесконечно терпелива к тетушке и только в одном оставалась непреклонной: не позволяла закармливать Игоря Федоровича жирным и печь ему блины, что тетушка пыталась иной раз делать тайно. «Пожалуйста,— говорила она,— если тебе хочется стать таким, как Бородин. На одно лицо его посмотреть... Пищу переваривает. Я думаю все же, ты на что-то другое способен». Она завела порядок: раз в неделю они шли в бассейн. Женя выходила там в ярком купальнике, в японской резиновой шапочке, от которой голова делалась маленькой. Плавала Женя прекрасно.

Смолеев смолоду не был избалован женщинами. Он всегда много работал, всегда голова была занята. Учился, работал, ради дела не жалел ни себя, ни людей и не любил тех, кто себя жалеет.

Варю, первую свою жену, он встретил на заводе. Он был мастером, она автокарщицей. Раза три сходили вместе в кино. Один раз были в театре, смотрели «Анну Каренину»: профком закупил весь спектакль, провели такое мероприятие. Когда возвращались, Варя говорила: «Это она потому под поезд бросилась, что делать ничего не делала и обеспечена кругом. Все слуги, да горничные, да кормилицы... А ломила бы, как мы, да в очередях, так небось бы дурь вся из головы повыскочила». Женщины соглашались с ней.

Свадьба была через месяц. Варе многие завидовали, она сама бесхитростно рассказывала ему об этом. Жили они спокойно, хорошо. Он работал еще больше, стал начальником цеха, потом главным технологом завода. Варя раза два принималась учиться, записалась в вечерний техникум, но родились сыновья-погодки — и даже работу пришлось бросить.

Когда при Смолееве рассказывали о любви, из-за которой люди вешались, стрелялись, бросали все на свете, он не то чтобы не верил, но относился к таким рассказам спокойно: прошлый век, дворянское занятие. Потом он встретил Женю. Молодой инженер Евгения Аркадьевна Константиновская.

Не помогли и заявления, которые Варя рассыпала во

все инстанции. Его вызывали, с ним беседовали, увещевали. Кончилось тем, что Женя оставила мужа, он оставил семью, и они переехали в другой город. Потом переехали еще раз. Его собственная мать не простила ему, до самой смерти ни разу не была у них. А он любил мать и с детства почитал ее.

Но даже теперь, шесть лет спустя, если б он встретил Женю, он бы так же круто изменил свою жизнь.

— Бородин, как я понимаю, не будет на похоронах,— Женя прихлебывала кофе из чашечки и щурилась: кофе был горячий.

Поставила чашку, доедая творог, взглянула на него. Несколько раз сегодня она вот так взглядывала: внимательно и странно как-то. Но он понял это по-своему. Вот ведь умна, по-мужски умна, а все-таки женщина есть женщина. Не хватало только дать пищу для пересудов: Смолеев приехал, Бородин не приехал...

— А не зря невзлюбила тебя Дарья наша Фоминишина.

Женя сказала безразлично:

— Положим, невзлюбила она меня совсем по другой причине. Но тут я могу ей только сочувствовать.

Он знал: местные дамы считали Женю гордячкой. Многое не прощали ей. И молодость и ум. Но особенно не прощалось то, что от детей, от живой жены мужа увела. Отца и мужа отбила. В самом таком примере выделялась грозная опасность. И строже всех были те, кто сам в свое время вот так построил семью. Они-то в первую очередь были против любых возможных перемен.

Неприязнь началась еще в ту пору, когда они отказались от квартиры бывшего секретаря горкома. Смолеев привез Женю смотреть. Гордый водил он ее по комнатам: все это — тебе. Но она смотрела без интереса и сказала холодно: «По-моему, нам и половины через край». Он оторопел немного. Потом обрадовался. Но местные дамы дали свое объяснение. Хоть и никого постороннего не было при разговоре, дамам все стало известно. «Детей нет, вот и отказалась,— решила Дарья Фоминишина Бородина.— Понимает: в большой-то квартире да без детского голосу все ему детей не хватать будет. Крутит им как хочет, а ему и невдомек».

И таково свойство у слова сказанного, что дошло оно. Будто сбоку присматривался он к Жене некоторое время. Потом сердце сказало свое, и еще жальче ее стало. Нет,

он благодарен судьбе, что встретил умного друга. Умного, надежного, с которым все радостно.

И опять он увидел, как она внимательно смотрит на него.

— Ты что? — спросил он.

Она прихлебывала кофе и щурилась. Три дня назад врач подтвердил определенно: она ждет ребенка. Но вот отчего-то сказать об этом она не могла до сих пор. Все тут не просто. Не просто потому, что у него есть дети, а теперь, она понимала, многое изменится. И потому, что ей не двадцать, а тридцать один год. И многое, многое не просто. Но вот опять она не чувствовала в себе этой возможности, не могла сейчас сказать ему.

Как всегда утром, они вместе вышли из дома. Дежурил сегодня не Василий Егорович, степенный горкомовский шофер старого поколения, старой выучки, а Женни тезка. Этот всего лишь год как вернулся из армии и сейчас не знал хорошенъко, то ли на стройку податься какую-нибудь на сибирскую, то ли в институт поступить, благо сдать ему надо всего-то на троеки: «Эх, тройка, птица-тройка, кто тебя выдумал?..» А пока что, пока вся жизнь впереди, завел он себе кожаную куртку с карманами и «молниями» и возил начальство.

Когда случалось ему днем приехать с поручением или со свертком, Елена Андреевна бывала рада побаловать его. Особенно же тому рада, что, паскучив сидеть вдвоем с телевизором, имела случай побеседовать с живым человеком. Про то в основном, что нынешняя молодежь вся никудышная. А потому найти ему надо не вертихвостку какую-нибудь, выворотню, а дочь собственных родителей, да приглядеться к ней, приглядеться получше, чтоб не получилось, как у большинства: поживем — увидим. Сначала видеть, жить-то приниматься потом... «Ну что, проведена была политинформация?» — спрашивала его обычно Женя. «На высшем уровне».

За два квартала до работы они высадили Женю, и оттуда она, как всегда, пошла пешком.

ГЛАВА XX

После гражданской панихиды на полквартала растянулись похороны: автобус, широко опоясанный траурной полосой (к стеклам его изнутри притиснулись тепло оде-

тые спины), грузовик с венками, поставленными на обе стороны, как для обозрения, а дальше — машины, машины, машины.

Привлеченный зрелищем народ останавливался на тротуарах, выходили из магазинов, из учреждений, высказывали официантки в кокошниках, заслыша траурную музыку. Из непрерывно звонивших трамваев, пробиравшихся в тесноте, выглядывали в окна.

— Кого хоронят?

— А венков-то, венков!..

На перекрестках милиционеры останавливали движение, и машины скапливались по обе стороны.

День был яркий, одна сторона улицы вся в солнце. Белые халатики парикмахерш, оставивших клиентов в креслах глядеть на себя в зеркала, белые халаты в дверях аптек слепили. И далеко, долго было видно их: не хотелось девочкам уходить с солнца.

На улице 26 Бакинских комиссаров другие похороны перегородили дорогу. Повязав рукава чистыми носовыми платками, восемь мужчин — по четыре в ряд — несли на плечах открытый гроб, подставляли покойника солнцу. И в такт их мерному шагу качался над ними среди цветов желтый лоб и заострившийся нос.

В городе, на асфальте, было уже сухо, а по этой низинной улице стремились потоки воды, мощные ключи бурлили над канализационными решетками, и трамвай съезжал осторожно, будто не по рельсам, а пускаясь вплавь.

Выбирая дорогу посушке, люди шли гуськом, как по тропкам, вдову в черной шали вели стороной. И только эти восемь ступали сапогами по воде посреди улицы. А следом за ними то ли ехал, то ли медленно плыл грузовик, в кузове которого стояла кованая ограда, покрашенная серебрянкой, а в ограде тоже серебрянкой покрашенный обелиск с красной звездой, приваренной наверху. Они двигались за покойником, ограда и обелиск, которые будут стоять на его могиле.

Это всю ночь клепали, варили домоуправленческие слесаря. К утру успели покрасить. И в том, что гроб не поставили на машину, а несли его по городу на плечах невыспавшиеся, но выпившие в меру, во всем этом было желание потрудиться, хоть после смерти отдать человеку, что недодали ему при жизни. Он тоже был домоуправленческий слесарь-сантехник, и в сорок с лишним лет все —

Николай. Жил, работал, случалось, сшибал с жильцов рубли и двугривеные, не давали — не очень обижался; на Великой войне был солдатом — вот и вся его рядовая жизнь.

Из листового железа сварили ему памятник, такой же точно, как те фанерные со звездой обелиски, что ставили на одиноких и братских могилах по всем дорогам войны аж до Вены и за Веной, аж до самого до Берлина. Над сколькими из них, теперь уж смытых дождями, смытых временем, над сколькими теми могилками давно сеют хлеб, стоят города! Вот и он поравнялся с товарищами-однополчанами, вновь стал в один с ними ряд. Теперь уже навсегда.

Эти-то похороны и задержали растянувшиеся на полквартала похороны Александра Леонидовича Немировского.

При жизни, хоть и были они жильцами одного дома, мало знали друг друга, почти не соприкасались. Ну разве что придет Николай исправить кран или потекший бачок в туалете. И тут, если Лидия Васильевна по какой-либо причине не смогла избавить его от этого, Александр Леонидович, в чистой рубашке, в подтяжках, оказывался вынужденным присутствовать и побеседовать с Николаем о понятных ему вещах.

Перед решетчатыми воротами, на асфальтовой, нагретой солнцем площадке все общество вышло из машин. И стало видно, что здесь собралось много хорошо одетых, интересных, устроенных женщин с уверенными манерами. Они выходили из машин и взглядами, не допускавшими превосходства над собой, оглядывали друг друга.

И как во всяком большом собрании, тут тоже имелись центры притяжения, к которым стремились. Таким неофициальным центром притяжения стала жена Смолеева Евгения Аркадьевна, едва только она вместе с сослуживцами подъехала на такси. Она сразу была замечена, с ней здоровались, и двое-трое, кого она даже по имени-отчеству не знала, успели предложить ей место в машине на обратный путь.

А солнце светило так ярко, так слепили невысохшие лужи и мокрая земля, так свеж был воздух за городской чертой, где еще не начинали распускаться деревья, потому что здесь не дышат заводы и воздух ночами холодней; так вблизи этих голых, в шапках вороньих гнезд, старых кладбищенских деревьев было по-особенному сильно ощу-

щение жизни, что живым потребовалось время собраться, что-то преодолеть в себе, прежде чем войти в раскрытые ворота, за которыми покоятся вечно.

Наконец все сгруппировались должным образом, и небольшое шествие двинулось. И тут подъехал Смолеев, подъехал Бородин, и одна за другой стали в спешке прибывать машины. Из них высаживали, торопились присоединиться.

Андрей и Борька Маслов шли с краю растянувшегося по аллее шествия. Как много знакомых имен было высечено в граните, знакомые глаза смотрели с фотографий, барельефов, бюстов, многие из которых Борька же высекал.

В спешке жизни все как-то некогда задуматься и не когда считать, а люди уходят, уходят по одному. И сейчас Андрей увидел ясно: едва ли не большая часть тех, кого он знал, переселилась сюда. Значит, и его жизни большая часть здесь, за этой чертой.

На маленькой площадке под деревьями открылся траурный митинг, и вышел первый оратор. Но не все там поместились, многие курили здесь, среди оград. Андрей из отдаления отыскал глазами Аню. Стояла она позади Лидии Васильевны, с ней же вместе в автобусе ехала. Аня прикрыла глаза веками, показывая, что видит их обоих. И покачала головой: куда они запропали, она уже тревожиться начала.

Не все слова оратора доносились ясно, да Андрей и не слушал. Вертелась в голове строчка чьих-то стихов: «Ту землю, где столько лежит погребенных...» Сейчас опустят, засыплют, пройдет время — и как не жил человек. Все тонет во времени: и судьбы и миры. Самый великий из всех океанов и самый бездонный.

Он опять глянул на Аню, и они встретились глазами. А рядом стояла Лидия Васильевна с дочерьми. Старшая, лицом похожая на мать, уже немолодая и потухшая, задумалась покорно, упервшись взглядом. Но Людмила, похудевшая в эти дни до синевы под глазами и все равно яркая, в черной кружевной косынке, с медными концами волос, былазывающе красива. Она глядела надменно поверх голов.

А на блестящем отвале мокрой глины, как на бруствере свежевырытого окопа, отдыхали могильщики. Курили в облепленных тяжелой глиной сапогах, накинув ват-

ники на потные спины. Один что-то ровнял сверкавшей, как нож, лопатой. Рукоятка у нее была укороченная: рить приходится в тесноте. Но, в общем, и лопата и ручка — по образцу тех немецких лопат времен войны.

Уже другой оратор говорил, и все так же молча, без шапок стояли люди. А наверху, над старыми березами, каркали вороны, то садясь, то взлетывая над гнездами.

Нечаянно Андрей наткнулся взглядом на Зину в толпе. Вся расхоронясь и сияя, Зина что-то щебетала около Смолеевой. Та без любопытства смотрела на нее, холодно улыбнулась. А Зина по своей близорукой манере говорила близко-близко к лицу, только что в глаза не прыгала.

В нем не было суеверного страха вблизи смерти. За четыре года войны достаточно нагляделся он и думал о смерти спокойно. Детей вырастить, поставить на ноги, чтоб никто походя не отпихнул локтем. А тогда и его черед. Это справедливо. Смерть вообще справедлива по своей сути, как она всегда была в природе. Для нее единственной нет ни преград, ни запоров. От многого она избавила человечество. Не будь ее, давно бы жизнь прекратилась. Или вечно всем скопом муравьиным волокли бы камни для какого-нибудь бессмертного фараона, строили бы пирамиды египетские... Она тогда несправедлива, смерть, когда люди сами направляют ее. На невинных, на детей, на целые народы.

Он вздрогнул внутренне, услыша вдруг объявленную громко фамилию — Анохин. С упавшими на лоб волосами и шляпою в руке вышел ко гробу Виктор.

— Товарищи!

Постоял скорбно и вновь поднял голову:

— Невозможно поверить! Два дня назад мы все...

Андрей слышал вчера, как Полина Николаевна просила Анохина выступить на траурном митинге: «Было бы хорошо, если бы именно вы как знавший близко...»

Виктор прокисло смотрел на нее: «Ну почему же я именно? Я ведь не мастак речи произносить. Да.— надулся важностью: — И вообще это же так не делается».

Он знал уже, как делается. И сверху вниз твердо дал понять, что не ей с подобным предложением обращаться к нему. Поскольку, мол, его выступление это уже не просто частное мнение, а отражение той оценки, которая сложилась в результате учета всех плюсов и минусов.

Воспитанная в дисциплине, Полина Николаевна враз оробела и сникла. «Подумать только! — говорила она по-

сле и всплескивала руками.— Александр Леонидович столько для него сделал, так из-за него пострадал! Мог ли он ожидать при жизни?..»

Но и это потихоньку, доверительно, прикрыв дверь.

А вот Анохин сейчас при всем, что именуют «весь город», говорил прочувствованные слова. Значит, доверили, сочли. Что теперь Полина Николаевна, кто услышит ее? Да ей и самой неловко станет бросить тень.

— ...Александр Леонидович Немировский знал творческий трепет перед пустынной белизной чистого листа ватмана. Критерием красоты была для него истина, а критерием истины — мораль. Но истина, лишенная добра и человечности...

Андрей видел с удивлением: слушали весь этот набор слов, переглядывались значительно. Что-то недосказанное чудилось людям, смелое даже.

Давно Андрей не наблюдал вот так бывшего своего друга, хоть и встречал каждый день. Он весь расширился, словно затвердел в суставах. И эта ложная значительность в новой роли, эта поза, которую, впрочем, можно и за скорбь принять. Да нет, все это было. Было и раньше. И позерство тоже. Просто он не видел, потому что другими глазами смотрел.

Звучали слова: «Бескорыстие... Творческое горение... Мучительные поиски...» И вновь: «Истина... Правдивое выражение всех сторон... Красота...»

И сам он стоял весь в окружении этих слов как в ореоле. Вот ведь какой тон взял. Как бы только о высшем, отметая все прочее. И трогательно и глубокомысленно. Дамы любят, когда трогательно.

— ...Александр Леонидович Немировский всегда был центром, вокруг которого кипели споры и рождалась творческая истина. Когда мы молодыми архитекторами пришли в мастерскую, Александр Леонидович сказал слова, которые остались на всю жизнь в моем сердце.— Рука Анохина сама легла на сердце, и какое-то время он молчал, вслушиваясь.— «Я верю,— сказал нам тогда Александр Леонидович,— вы никогда не превратите архитектуру в средство достижения карьеры, но отдадите ей весь свой талант, всю свою жизнь».

Даже Лидия Васильевна смотрела на Анохина полными слез глазами, а ее старшая дочь с чувством пожала ему руку, которую он до этого держал на сердце. И все были растроганы этой сценой. Дамы говорили:

— Как это благородно с его стороны!

— А ведь, говорят, Александр Леонидович что-то в свое время против него...

— Вы тоже знаете? Да. К сожалению, да...

— Очень благородный человек, так приятно видеть.

Анохина проводили взглядами, он смешался с толпой, на какое-то время вовсе исчез и возник уже вблизи Смолеева. Стоял, скромно потупясь, ждал.

Как будто и для Андрея сейчас что-то решалось, он смотрел издали. Было стыдное в этом — что он словно подглядывает исподтишка.

Он видел, как Смолеев несколько раз с интересом взглядал на Анохина.

А почему, собственно, стыдно? Разве стыдно хотеть, чтоб люди не были слепы, видели происходящее? Ведь человек умер. Если не совесть, так пусть хоть бы страх древний, неосознанный остававливает: вот оно, место на земле, где не суетятся, не лгут, не строят расчетов. И если не здесь задуматься о главном, так где же?

ГЛАВА XXI

— Слушай, давай не пойдем на поминки,— сказал Андрей.

Борька посмотрел на него.

— Паньськи планы?

— Может, посидим вдвоем?

Сознавая, что в отношении Ани совершается предательство (правда, там и Борькиной молодой блеснули в толпе очечки, но если уж кто не видел их, так это именно Борька), они дождались удобного момента и по глухой аллее выбрались с кладбища.

А вскоре уже входили в ресторан второго разряда «Садко».

В зале пустом и прохладном блестели белыми скатертями накрытые столы, составленные в один общий стол. Приборы, приборы, и на каждом углу вверх синеватая крахмальная салфетка; дотягиваясь над ними, официантки с двух сторон уставляли стол серийными холодными закусками. Все они, и молодые и постарше, заулыбались, как только Борька вступил в зал.

— Кого женим, девоньки? Кого взамуж отдаём?

— Офицеры справляют,— раздалось на разные голоса.— Годовщина полка.

— То-то рано мы в запас поторопились.

В углу на самом уютном столике словно их специально ждала табличка «Занято». Молоденькая официантка — носик, губки вытянуты вперед, как мордочка у личинки,— схватила лишние стулья, ножками по полу отволовила их к стене. Борька сел, как богданхан.

— Иронька, ты поухаживай за нами.

И прикурил и Андрею протянул огонь.

— А что вам принести?

Она уже стояла у стола в белом своем кружевном кошнике, в белом переднике на животе, очень деловитая; от пояса на бумажной веревочке висел на боку карандаш.

— Да уж принеси чего-нибудь. Мы с похорон сейчас, хотели посидеть. А что нам по деньгам — сама знаешь.

— Вы прошлый раз свои стихи читали.

— А я тебе прошлый раз ничего должен не остался? Гляди!

И познакомил ее с Андреем. Ирочка, очень вдруг застыдясь, дощечкой подала ладошку, чуть потную и холодную.

— Человек он погибший,— говорил Борька,— женат, любит жену и двух чудных детей. Конечно, мы это переживем. А руководящее указание будет тебе от нас одно: спешим начать.

Ирочка поменяла местами солонку с перечницей, тем самым наведя порядок на столе, ушла, будто встревоженная, не улыбнувшись ни разу.

— Какие ты ей стихи читал?

— Да, может, Пушкина под настроение. «Буря мглою небо кроет» запомнили со школы, а что-нибудь еще, так, думают, сам сочинил. И вот смотри: великая поэзия опять звучит, как будто сегодня сказано. Я им как-то Фета читал: «Не жизни жаль с томительным дыханьем. Что жизнь и смерть? Но жаль того огня, что просиял над целым мирозданьем, и в ночь идет, и плачет, уходя...» Фет! Так Ирочка вот эта слезы утирает. Тут ведь каждый от них норовит, а чтоб по-человечески — некому.

Они как раз успели покурить не спеша, когда Ирочка с напряженным лицом внесла поднос и начела составлять на стол. И все это являлось перед ними: маслята маринованные с луком, селедка, горячая картошка, соленая

капуста, хлеб черный, свежий, масло холодное, в каплях воды.

— Ну не умница? — чистосердечно умилился Борька. — Ты посмотри на стол: и врагу не жалко, и хорошего человека угостить не стыдно. Это она меня спасает от разорения.

Он разлил по рюмкам замороженную «столичную»; на побелевшем, заиндевелом стекле остались протаявшие следы пальцев.

— Ну, помянем старика.

— Вот от кого не ждал...

Выпили. А все как-то сосало в душе, тянуло беспокойно. Андрей поискан глазами повместительнее что-либо. В фужере шипел, постреливал боржом. Но Ирочка на расстоянииглядела, очень уж она за Борькиным гостем ухаживала:

— Вам чистый фужер?

Налили в эту посуду. Потом Андрей медленно жевал хлеб, ждал. И наступил этот момент, когда все отодвинулось на расстояние, потеплело перед глазами.

— Жаль старика.

Борька сказал:

— Умер он не сегодня. Сегодня только выпос тела. А вот когда свой талант загубил.

— Жаль, Борька. Все равно жаль.

— Разве ж не жаль? Жизнь прожить — тут мужества надо поболе, чем один раз смело умереть. На целую жизнь.— Борька с сомнением покачал головой.

А в общем, это и их жизни часть ушла вместе с Немировским. И не в том дело, что они крепче его оказались или смогли устоять, но дело еще и в том, что на изломе их жизни время обнажило многое и увиделся простым глазом иной масштаб цен.

— Нет, ты подумай, ведь не от пули! На войне хоть пулей, миной убивало. Ну от чего умер человек? Танки шли? В президиум не выбрали. И вот этого сердце не выдержало.

— Болезнь века! — басил Борька.— На первом месте среди всех. Рак, автомобильные аварии и те уступают. Отстают.

— Ну что терял, если подумать? Блага? Всем им две копейки цена в базарный день.

— Так это разве умом решается? Давай за твоих детей.

— За них — давай.

— За Машеньку, за Димку. Ох, долгий путь! Ладпо, отец. Давай. Хорошие у тебя дети. Мне другой раз кажется, что это мои.

— Учту, когда помирать буду. Спротами не останутся.
— Давай.

— Меня Митя на днях спрашивает,— заговорил Андрей, когда опять закурили.— «Папа, почему вы говорите «вечные вопросы»? Они потому вечные, что на них ответить нельзя?» Ведь вот маленький еще, а головенка работает. Чего-то она думает там... Это чудо, если представить... Миллионы, миллиарды лет. А между миллиардами и миллиардами — свет всыхнувший. Искорка. Сколько затоптано таких! И вот думает, понять хочет. Нет, говорю, сын. Они потому вечные, что на них самому отвечать надо. И каждый раз — своей жизнью. Страшно за них, Боря.

— А ты не страшись. Может, еще гордиться будешь.

— Да, так... Я тебе другой раз завидую.

— А я тебе.

— И все же ты — свободней. Знаю, не дети, не семья, характер вяжет. А все-таки, чтоб делу служить...

— Какой тебе свободы надо?

Но тут в зал, соблюдая субординацию, теснясь в дверях, начали входить офицеры.

Открытые кители, свежие рубашки под галстук, сами все как после бани, офицеры рассаживались за столами, очень сдержанные в предошущении. И изо всех концов зала, где обедали штатские, смотрели на них дамы, светло улыбались.

Сразу забегали, замелькали с подносами официантки: в присутствии такого множества военных мужчин зримый интерес обрели их старания.

Места занимали по чину. На нижнем конце стола по-тесней усаживались взводные. И такие они были только что выпущенные, в звездочках, блестящих пуговицах, золотистые и новелькие, как выщелкнутые из обоймы на ладонь пистолетные патроны. Из всех возможных боевых наград их груди пока что украшали значки выпускников военных училищ, очень похожие на значок гвардии.

На этом нижнем конце стола не хватило и приборов и мест. Все это срочно доносились, доставлялось, трое лейтенантов, хмурые от смущения, ждали стоя. А у окна препирались, тыча пальцами в счет, метрдотель в черной тройке, почтительный, но непреклонный, и пожилой, докрасна разволновавшийся майор.

— Твои,— сказал Борька.— артиллеристы.

— Артиллеристы,— сказал Андрей.

И улыбались, в юность свою глядели. В их лейтенантскую пору и звездочки и эмблемы за пеинением вырезали из консервных банок, а молоды они были так же. Но, странное дело, не казались себе молодыми.

Их ровесники сидели на другом конце стола: майоры, подполковники. Но и капитаны там были тоже. Всё еще капитаны. Лица словно заветрены на всю жизнь. И многие, видно, надорваны. Но все прямые, долго способны еще тянуть лямку.

Волнуясь отчего-то, Андрей смотрел на них. Ах, какими выносливыми были те артиллерийские лошади со стервой до кожи шерстью, с растертой в кровь кожей, как они яро влегали в постремки, как упирались дрожащими от натуги ногами. И тянули, тянули, где и трактор глух. А когда убьет бомбой, жиловатое мясо, навылет пропахшее потом, бывало, не уваришь в ведре. Ему даже запах тех костров почудился, будто допахнуло издалека.

Грохнув стульями, встали офицеры: это в конце стола поднялся полковник с рюмкой в мясистой руке. Он молод годами, моложе многих за столом, плотный, свежий, с двумя рядами наградных колодок: все послевоенные медали. А из той поры голубенькая «За отвагу». Видно, самый краешек войны застал. РОС полковник уже в мирное время.

Он говорил, не напрягая голоса, не все его слова были слышны на отдалении, но офицеры стояли прямые, повернув головы в его сторону. Полковник чуть-чуть улыбнулся тугими губами, поднял рюмку на уровень глаз, строго смотревших сквозь улыбку. Все выпили махом, сели. За столами, где обедали с дамами, сочувственно улыбались, особенно понимающие — дамы.

И загудел зал множеством голосов, запорхали над офицерскими погонами белые кокошники официанток. И уже оркестранты раскладывали на эстраде, доставали из футляров блестящие, как в операционной, инструменты.

А Андрей все поглядывал на своих ровесников. Не так уж много их за столом, где поколение за поколением — как волна за волной: к концу спадающие, в начале самые полноводные.

Может, в том все дело, что отбился он от строя, а ему по силам лишь в общем строю? Как все было ясно, как в ладу с самим собой! И долг, и совесть, и приказ —

все слилось, в одну сторону нацелено. И нужно было не рассуждать, а выполнять.

А Борька смотрел на него, как с листа читал.

— И ты же, Андрюха, свободы хочешь? Нет, она тебе не нужна.

Опустив веки, Андрей разминал сигарету. Лицо спокойное до безразличия.

— Свободы мне нужно одной: выполнять свои обязанности.

— Так это же каторга. Из тюрьмы бежали, из-под расстрела бежали, а от этого еще не убежал никто.

— Может, так.

— Так, Андрюха, так! И все дано, а не свободен. И отнято все — тоже не свободен.

«Да, к стае вновь не прибываешься, — думал Андрей. — А что-то заложено, что не дает поступать иначе. Что это? Зачем дано?»

— А знаешь, кто свободен? Твой бывший друг. Я видел, как ты глазки опускал, когда он толкал речь свою. А я смотрел. Я слушал и смотрел. Вот истинно свободный человек. Любым стилем в любую погоду. Пловец в море житейском. Великих вопросов для него не существует. Что там смысл слов! Для этой породы слова — защитная окраска. То простачком: «Разрешите доложиться!» То глубокомысленно: «Истина, мораль, красота...» То непримиримым борцом. И во всех случаях — своя выгода. Только глуп до многозначительности. А если бы еще не страх!.. Вот страх всю жизнь будет его мучить. Сейчас — «получить, не упустить». Потом — «не потерять».

— Слушай, ну его к черту. Не хочу я говорить о нем.

— Ну да, мы же интеллигенты. Но тебя он любит, учти. С совестью, как с неверной женой: если уж остался жить с ней, враги все те, кто знает про нее. — Борька выпил рюмку, хмурые глаза глядели трезво. — Мы по своей рабской глупости думаем: великие злодейства совершить — это ведь что-то великое надо нести в себе. Да ни боже мой! Надо только ничего не иметь. Свободным от всего. Смотри на них просто. Самый примитивнейший механизм. И пережил века. Слушай, что вообще вас связывало? Я всегда удивлялся. Вы же разные люди, как вы могли дружить?

Это и Аня всегда говорила. В лучшую пору она не верила Анохину. А может быть, действительно в дружбе слепнешь и видишь в человеке то, чего в нем нет? Или,

наоборот, один ты видишь, что не видно другим? Сегодня на похоронах он смотрел на Анохина — чужой человек. Чуждый, позер. Неужели он был слеп пастолько? Честно сказать, он и сейчас не знает, что было, чего не было.

Странная все-таки вещь дружба. Ведь вот он любит Борьку. И Борька умеет, не чета Анохину, по мыслям близок, по всему. И уж не продаст, это точно. А дружба у них никогда не получалась. Что же это за штука вообще, дружба? Ведь в ней тоже человек не волен. И она отбирает у него свободу, делает его зависимым от другого человека, а он этой несвободе рад, сам налагает на себя неписаные законы, готов жертвовать, поступаться. В чем дело? Чужой человек, а делается вдруг как брат.

Бот брата ему всегда не хватало. Жена — это жена. И дети — это дети. Но всю взрослую жизнь ему не хватало брата. Есть вещи, о которых только с ним станешь говорить, только с братом.

Брат был старше Андрея на три года. В школьную пору это много: три года. После уж войны сравняла, а тогда это были разные поколения. Конечно, каждому времени свои мысли, и принимают за свою мысль ту, чтоносится в воздухе. И все же сколько он помнит брата, их поколение думало, оценивало события, хотело понять. А они, младшие, уже не рассуждая принимали на веру. Думать они начинали после войны.

Всю жизнь ему стыдно, что он сказал тогда брату эти слова: «Случись война, ты не пойдешь на фронт. Такие, как ты, не идут умирать за родину!»

А брат смотрел, его же еще жалея. Ведь по годам мальчишка, школьник, а была в нем мудрость, уже понятно было ему: «Ибо не ведают, что творят». Теперь, когда он вдвое старше своего брата, он знает, что думал тот, почему так на него смотрел.

Скора началась тогда как будто случайно. Но не случайно, если подумать. Было это в воскресенье утром. Андрей рано выбежал за хлебом, но уже толпился во дворе народ. Люди смеялись, а ниже всех, на скамейке, где дети играют в песок, сидела женщина из второго подъезда и тоже смеялась и плакала.

Это была та пора перед войной, когда за двадцать минут опоздания на работу стали судить. Андрей учился в школе, он только понаслышке знал, что делалось утрами на трамвайных остановках. Двадцать минут — и вся жизнь переломлена.

Оказывается, женщина эта из второго подъезда вскочила со сна, глянула на часы и с воплями, едва платье паяннув, выскочила из дома. Только во дворе под общий хохот дошло до нее, что не опоздала она: воскресенье, не надо на работу идти. Люди смеялись, а она плакала от радости.

С этим-то известием, с хлебом в руке и громким готовом Андрей влетел в дом. «Что ты смеешься? — спросил брат. — Ты хоть понял, что ты видел сейчас?» И тихо, внятно, как больному или глупому, стал говорить о том, что не безразлично, какими средствами достигается даже благая цель. И многое еще он говорил, чего в свои тридцать-четырнадцать лет Андрей конечно же не мог понимать. Но и не понимая, он различал на слух, где, от каких слов должна взорваться в нем законная нетерпимость. И он крикнул брату: «Такие, как ты, не идут умирать за родину!»

Не исправишь и не изменишь. Так это и осталось навсегда. И не скажешь брату, что не всю свою жизнь он вот таким дураком прожил, что живы в нем и сегодня и слова, и голос, и взгляд, которым брат смотрел на него.

Брат погиб в сорок первом году, в ту страшную осень, когда впервые решилась судьба нашей победы, когда вот такие, как он, жизнями своими безымянными заслонили Москву.

— Это теперь слава и звезды сияют, — говорил Андрей. — А все над ними. На них все воздвиглось. Они в земле, в основании нашей победы.

— Так, Андруха, так.

— И то мне, Боря, самое обидное, что ведь он за всю свою жизнь целых брюк не износил. Знаю, не это жалеть надо, но вот почему-то брюки его протертые так мне обидны... Может, помнишь, тогда плату ввели за обучение, перед войной? А он в Москве, на втором курсе, хоть институт бросай. И мать, что она могла одна? Да он и не хотел, он какой-то самостоятельный был рапо. И вот эти уроки, по которым он бегал, ботинки мокрые, брюки протертые его... А уже девушка была, она после войны замуж вышла.

Несколько раз бодрой походочкой выходил к микрофону певец, становился, сложив руки. От повисших фалд, от тонких в брючках ног носками врозь к лоснящимся черным плечам, раздутой белой груди, весь он тянулся вверх, как стриж, вставший на раздвоенном хвосте. Друж-

ицей окутывались дымом офицеры: это про них, для них песня — «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат...». Курили штатские, будто завидуя. Курили дамы, относясь от накрашенных губ сигаретки в накрашенных погтях.

Совсем забегавшаяся появилась Ирочка:

— Клава сменами обменялась, три стола ее на меня навалили. Все такие первые, такие нервные...

Смела салфеткой крошки со скатерти, переменила бутылку. Еще раз пробежав, поставила на стол черную сковородку с поджаркой.

— Ну умница,— хвалил ее Борька.— Дай тебе бог хорошего жениха.

— Нам хороших не дождаться, они рано спать ложатся!

Но и это на бегу, мелькнув передничком в дверях.

А на нижнем конце стола, но все же и к середине поближе, взводные со стульями вместе обсели своего нового комбата капитана Рыженю: фамилия его часто произносилась вслух. Черноволосый, со строгим лицом, в очках с темной оправой, похожий больше на дипломата, он говорил взводному, который полной рюмкой тянулся к нему:

— А ты меня еще как комбата не знаешь. А ты еще со мной как с комбатом не пил.

И ничего наперед не сулил улыбчивым взглядом.

Тут на углу поднялся лейтенант:

— Я предлагаю тост...— Бледный сделался, лицо решительное.— Я предлагаю тост за командира нашего полка полковника товарища Градополова!

Выпил, крикнул «ура», сел, будто нырнул в гул голосов.

Вновь на эстраде загрохотало, зазвенело, длинная выбилась дробь. И смолкло. И тихо, будто не в микрофон, а каждому особо на ухо зазвучала песня: «Мне кажется порою, что солдаты, с кровавых не пришедшие полей...»

Песня была новая, только появилась. Они слушали ее молча — глубоко затягиваясь сигаретами.

Неужели же главное дело его жизни осталось там, на войне? А он все живет так, будто ему дано еще совершить. А ведь сорок лет пробило...

В чем-то все же Борьке проще. Хоть до какой-то поры он сам себе спрос и судья. А что архитектор может сам? Заказывает заказчик. А может, дело в том, что тебе не дано? Анина мать говорила, бывало: «Даст бог его, даст и на него». Они тогда с Аней ждали Димку, и ничего еще

не было, и жить было негде, а мать спокойно так говорила: «Даст его, даст и на него...»

Вот так и талант. Когда настоящий талант, ничто не остановит, «заложим жен и детей...». А если нет, так что уж! Но еще и не додумав до конца, увидел стыдную изнанку этой мысли: мы не гении, какой с нас спрос... Несчастен тот народ, где спрос только с гениев, а остальным в утешение: «Что мы можем?» Уж это он повидал и знал, что можем. Если б они все четыре года не месили глину, ни один бы маршал не выиграл войну. Это в школе все заучивали по Тургеневу: без каждого из нас родина обойдется, но мы не обойдемся без нее... А час пробил — и поняли: не обойдется родина без нас. Я ее должен защищать. Сам. Каждый. Кроме — некому. Может, потому и победили, что поняли.

А песня говорила с ним один на один:

Летит, летит по небу клип усталый,
Летит в тумане на исходе дня,
И в том строю есть промежуток малый —
Быть может, это место для меня.

Да, так. И пусть так будет. И спокойно и твердо было сейчас на душе. Человек не бывает свободен. Ни от тех, с кем вместе жизнь свою жил, ни от тех, кто жил до нас и нам жизнь оставил. И ни от тех, кто после нас жить будет. Не дано людям освобождение от того единственного, что сделало их людьми.

Когда они уходили с Борькой и гардеробщик, отставя кружку с горячим чаем, подавал им плащи, Андрей увидел в зеркале позади себя лоточницу, толстоватую в своей белой куртке. Видно, торговала она от ресторана вразнос и сейчас, с пустой корзиной, обшитой изнутри белой матерью, от которой пахло жареными пирожками, смотрела из-за портьеры в зал на офицеров. Там не столько на старших по званию поглядывала молодежь, сколько старалась обратить на себя внимание пробегавших официанток. Женщина смотрела из-за портьеры и улыбалась:

— Какие молодые. Какие красавцы все! Сколько же их там осталось...

Они вышли из ресторана. Красное закатное солнце в сизоватом тумане стояло в конце улицы, низко над блестящими трамвайными рельсами. Оно сулило покой ушедшему, оно светило живым, кто вновь увидит завтра его восход.

ГЛАВА XXII

Кончался этот долгий день. Было поздно, когда Виктор и Зина вышли подышать перед сном. Одетые тепло (весна — самое обманчивое время), они гуляли по переулку, где не горели фонари. В их шестнадцатном доме гасли окна: пройдут до угла — погасло окно, дойдут до другого угла — и вот еще окно погасло.

Зина экономии ради надела старое пальто, хоть и тесноватое, но еще совсем хорошее, драповое: в темноте ведь никто не увидит. А новое ее пальто с узким меховым воротничком из голубой, нигде еще не потершейся норки, в котором она сегодня была на похоронах, висело в шкафу в специальном мешке с «молнией». И еще нафталин она повесила туда: насыпала в старый носок Виктора, завязала узлом и повесила внутрь — никакая моль не проникнет. От сознания, как ему хорошо висеть, Зине хорошо было в старом.

— Как тебе показалось, — спросил Виктор, подтыкая шарф на горле, — понравилась ты Смолеевой? Произвела впечатление?

Зина и сама себя спрашивала об этом. Очень ей хотелось понравиться, но какая-то она странная, Евгения Аркадьевна. Только смотрит своими глазами и молчит.

— Ну ты сам подумай, — сказала Зина, и голос у нее был сейчас как у девочки, — ну чем я могла ей не понравиться?

Остановившись под фонарем, Виктор протирал очки концом мохерового шарфа. Он думал. Глянул сквозь стекла вверх на свет. Потом еще теплой подоткнул шарф на горле.

— Да, ты права.

— Вот и мне кажется.

— Да.

— А знаешь, ко мне сегодня подходили, поздравляли. — Зина засмеялась как застеснялась. — Всем так твоё выступление понравилось.

Виктор сделался вдруг значителен и строг.

— Да многие теперь подходят...

После похорон им целиком завладел Зотов. С воодушевлением и горячностью, а главное, совершенно искренне — вот это особенно приятно было Виктору! — он говорил, как остроб, как умно («умно» — это больше, чем «умно»: тут вместе соединилось «умно» и «политично»), как смело, с таким тактом, но и глубиной Виктор Петрович сказал, какое глубокое впечатление это произвело. Оказывается, к Зотову тоже подходили поздравить и выразить.

Пока они шли по аллеям, а потом стояли среди отъезжавших машин, Зотов все говорил, а Виктор слушал, солидно наклоня голову, с неллицеприятным деловым выражением, абсолютно исключавшим какую бы то ни было комплиментарность. Так оно и выглядело со стороны: беседуют, головы наклоня, два ответственных человека: ведут деловой разговор.

Но, слушая, Виктор из виду не упускал, с кем идет к своей машине Смолеев Игорь Федорович. Почему-то ему казалось, до последнего момента всеказалось ему, что Игорь Федорович, который так ничего и не сказал, позвонит его с собой в машину. И он готов был отреагировать должным образом.

А когда у Зотова проскользнула почтительная фразочка об особом к Виктору Петровичу расположении Бородина, о большом доверии к нему, Виктор решительно пресек это и отмел. И ему самому понравилось, как он, не глянув, пресек и отмел. Бородин сейчас — Бородин. Но уже видно, что он — фигура сходящая и совершенно ни к чему, чтобы числилась за тобой особая к нему близость, не нужны эти разговоры. Зотов на лету смекнул и для себя тоже сделал полезные выводы, сориентировался, словно инструкцию получив.

— А знаешь, кто еще подходил? — вспомнила Зина. — Вот эта... Ну как ее?.. Она еще при Немировском состояла всегда.

— Михалева?

— Она! Так хвалила, так хвалила, всю прямо забрызгала слюной.

Не сговариваясь, они почему-то отошли от стены дома, где были окна, и начали прогуливаться на отдалении, под деревьями. Словно там хотели рассмотреть вдвоем те приобретения, которые каждый из них внес в дом сегодня.

Михалева — это хорошо. Виктор поцеловал Зинушку в висок. Михалева — это добрый знак. Пришла, значит, отметиться. Хозяйна ищет. Ничего, пусть... А там поглядим. Пусть пока.

Вдруг ему как-то беспокойно стало. Словно подуло со стороны. Он не сообразил хорошенько — откуда, что? Как будто бы все хорошо, а вот сделается вдруг так беспокойно... В последнее время это бывало.

Почему так странно смотрел Смолеев? Он тогда подошел, скромно стоял вблизи него, солидно молчал, весомо кивал. Крепче всех истин знал Виктор: никогда так умно

не скажешь, как умно промолчишь. Он стоял с тем думающим выражением, которое у всех здесь было. А когда завтранспортным отделом Паншин похвалил его речь и по пояснице похлопал, как бы слегка выдвигая вперед, Игорь Федорович улыбнулся. Но тоже странно улыбнулся: вот и одобрительно, а взглядом не приблизил. Не возникло того радостного чувства, того прилива сил, когда хочется делать и сметь.

Виктор уже привыкать начал, что ему рады. Вот хоть то же пальто с воротничком потребовалось Зинушке. «Да господи, Виктор Петрович!..» Хорошо, когда люди рады друг другу. А вблизи Смолеева он как-то связенно себя чувствовал. Видел он издали, как Смолеев садился в машину. Сел, занес ногу, дверцу захлопнул за собой. И уехал.

И еще то заметил Виктор, что уехал Игорь Федорович без жены. А она, хоть многие предлагали ей место в машине, ловила с сослуживцами такси, и набилось их туда не то четыре, не то пять человек друг другу на колени. Она вообще может его и, говорят, имеет влияние. Но говорят-то говорят, а тут тоже важно не ошибиться.

— Ты когда разговаривала с Евгенией Аркадьевной, у нее не могло создаться впечатления, что ты уж так уж?..

— Виктор, ты меня удивляешь!

И, мягко ступая своими толстыми каучуковыми подошвами, Виктор сказал вслух понравившуюся ему фразу:

— Хорошо, когда люди просто радуются друг другу. Хорошо, когда в жизни все естественно.

Как это важно, как важно в жизни не ошибиться! Ведь не исправишь потом. Был у него такой момент два года назад. Все начали выступать с трибун, становились известными... И мысли, которые они высказывали, могли быть его мыслями, а известность их могла быть его известностью. Один раз он решился. «Не могу молчать!» — говорил он тогда себе мысленно и Зине вслух. Что с ней было! Это же счастье, что в последний момент он все же удержался. Прямо вот что-то сказали ему, как за руку взяло в последний миг.

Он опять с нежностью поцеловал Зинушку в висок, и некоторое время они молча ходили, оба закутанные тепло. Хорошо пахло в воздухе молодым тополем, первым клейким листом.

— Ты чувствуешь, какой воздух? Как пахнет? — Виктор глубоко вдохнул носом.— Есть в этом во всем... Вот

в этом весеннем воздухе, в этом мерцании близких звезд, близких и таких далеких, есть во всем этом что-то такое,— начав говорить, Виктор почувствовал волнение,— что-то невыразимое...

Зина сбоку с удивлением, с уважением смотрела на него. Он чувствовал этот взгляд и возбуждался, очки его блестели сильней.

— ...что-то такое прекрасное. Мы всё спешим, всё чего-то хотим достичь, как будто оно там где-то. А оно здесь, и это «здесь», если вдуматься, прекрасно. Надо только уметь видеть его и ощущать в полной мере.

— Виктор, ты прямо как поэт. Прямо как книгу хорошую читаешь.— Зина опять чего-то застеснялась.— И вот тоже сегодня, когда ты там говорил... Так хорошо, так вот все как-то, знаешь, я даже не все поняла.

Виктор покивал значительно и грустно, как бы сознавая, что ему суждено оставаться непонятым. Он давно заметил: люди с особым уважением слушают то, чего не понимают. И теперь он иной раз, как человек, который не наблюдает себя со стороны, поскольку не этим занята его мысль, говорил как бы в творческом озарении фразы, значения которых и сам не попимал вполне. И видел, что это слушалось.

— Боюсь, ты переоцениваешь несколько... и вообще. Мы люди маленькие,— говорил Виктор в сознании тех больших возможностей, которые, как он надеялся, перед ним теперь открывались.

— Почему это мы люди маленькие? — обиделась Зина.— Так уж тоже себя не надо. Это дать повадку — многие захотят. Это Андрей все раньше хотел. А теперь с этой своей завидуют.

— Мы не должны судить людей только по тому, как они к нам относятся,— сказал Виктор.— Пусть он так. А мы не должны.

— И ты же еще его жалеешь! — возмутилась Зина.— После всего, что он тебе сделал! Вот так мы всегда. Поэтому что мы всегда такие!

— Да, есть это в нас. Но мы уж себя не переделаем.

— Не говори, пожалуйста! У меня нервная система!

Зина никогда никаких определений больше не добавляла: что ж еще можно добавить, если вся ее система — нервная?

— У меня вот сердце начинает биться...

— Ну что ты, Зинушка. Ну зачем уж так уж...

— Нет, но как ты после всего можешь еще жалеть? Так нам и надо за нашу простоту!

Сознание собственного благородства приятно было Виктору. Приятно было прощать. Он не враз дал убедить себя, не сразу пришел к непредвзятому выводу. А когда заговорил, голос его был печален, трогателен и тих:

— Если отнять у человека руку, у него останется другая рука. Если отнять у человека ногу, у него останется другая нога. Без руки и без ноги человек может жить и даже функционировать. Но стоит сделать вот такую крошечную дырочку в сердце — и человек умирает. Этую рану он мне нанес.

И Виктор опять подоткнул шарф, сильней укутал себя.

В доме гасли окна. Погасла лужа на асфальте, как будто исчезла враз: это выключили настольную лампу, стоявшую на окне третьего этажа. Теперь светился там зеленый аквариум.

Виктор и Зина некоторое время еще прохаживались по переулку, оба тепло одетые. Они прожили в этом доме девять лет. Они знали: скоро они переедут в другой дом, в лучший.

ГЛАВА XXIII

Борька позвонил в пятницу среди дня:

— Андрюха? Живой, здоровый и гениальный? Чего делаете сегодня?

Обычно в мастерскую Борька не звонил. И вообще без крайней нужды сюда не звонили. Телефон был один, говорить приходилось от стола Полины Николаевны, она же очень беспокоилась, что именно сейчас, сию минуту Александру Леонидовичу потребуется позвонить. И потому, перестав печатать, сидела, держа руки наготове. Энергично ждала.

Теперь и заботиться было не о ком и печатать нечего; одна она сидела там, откуда ушла жизнь. И рада бывала, если заходили к ней поговорить. Среди всех служебных перемещений и назначений, которые совершились в мире, где и премьер-министров свергали и королей, одно-единственное тревожило и занимало ее целиком: кого теперь назначат руководителем их архитектурной мастерской. С этим вся ее дальнейшая жизнь была связана. Да и всех в мастерской это теперь волновало. Различные были сообра-

жения, различные слухи циркулировали, называли Анохина. И когда сейчас позвонил Борис, у Андрея мысленно все сразу с этим связалось: что-то он узнавал. И в глазах Полины Николаевны, смотревших на него, был немой вопрос.

— Ты что звонишь? Зайти хочешь?

— Нет, тут другое. Ты вот что прежде скажи: дети здоровы?

Если бы мысль не вращалась вокруг все того же, Андрей понял бы сразу простой смысл, который в Борькином вопросе содержался: тот хотел узнать, свободна ли вечером Аня, и потому начал с главного для псе — здоровы ли дети?

— Здоровы, здоровы. Давай выкладывай, что имеешь. Сообщай.

— Нет сообщить, пан. Пригласить. Конечно, я немолодая, пехороша уже собой, и все же, все же... Вот если бы вы с Аннушкой смогли прибыть ко мне сегодня...

Андрей стал быстро вспоминать: день рождения? день свадьбы? Вот на что у него не было памяти! Впрочем, с днями свадьбы тут и запутаться не мудрено. А родился Борька осенью. Кажется, осенью. Аня это знает точно. На всякий случай спросил:

— Форма одежды?

— Чего-о?

— Скажи честно: тезоименитство?

— Я же в мастерскую зову! И вообще, когда зовут, приличный человек лапу к уху — и выполняет!

Испуг не испуг, а что-то в душе оборвалось:

— Борька, закончил?

— Не задавай суеверному человеку такие вопросы. Придете?

— Само собой.

До конца работы дожил в нетерпении: что же там Борька такое сотворил? По голосу, по всему его шутовскому тону чувствовалось: волнуется.

А у самого нескладно все шло в последнее время. Надо бы хуже, да уж, кажется, некуда. Отправил проект на конкурс, срок конкурса продлили. Известий, естественно, никаких, а слухов много.

Широкий жест Смолеева так широким жестом и остался. Ничего, кроме досады, из этого не вышло. Ему с тех пор не звонят, он пробовал звонить — не преуспел. «Когда есть цель, должно быть и терпение...» Эх, если б только в терпении дело!

К тому моменту, когда он вернулся домой, Аня была уже одета. И детям все распоряжения даны, и ужин оставлен. Его только ждала.

— Смотрите, как мать наша разнарядилась сегодня!

Аня стояла в передней у зеркала. Подняв обе руки к голове, закалывала шпилькой волосы. Спросила спокойно:

— Как же это я особенно разнарядилась?

Вообще-то, правда, все это Аня надевала не раз. Белый шерстяной свитер (он ей особенно идет), черная юбка джерси, белые короткие сапожки. Но так все сидит на ней, такая она сегодня в этом во всем! И глаза блестят по-особенному. Или он свою жену раньше не разглядел? Что-то ревнивое шевельнулось в душе. Оттого, наверно, и пошутил глупо:

— Враги человеку домашние его.

Аня взяла пушок из пудреницы, подула и сквозь обличко пудры в зеркало внимательно посмотрела на него.

— Вот правильно: ты — человек, мы — «домашние его». И детям есть что послушать.

А Машенька сзади поправляла на матери свитер: это ее мама, самая красивая. И Митя рядом стоял гордый, только что в ладости не хлопал: он любит, когда родители оденутся и вместе идут куда-нибудь, любит оставаться старшим с сестрой. Они двое — это тоже она. Их глазенки на нее светят, всю ее освещают.

— Вы как на праздник, — сказал Митя.

— На праздник, сыночек. На самый настоящий праздник. Вот с таким хмурым отцом. Но мне он все равно настроения не испортит.

И не глядя Аня сунула руки в рукава пальто, которое Андрей держал.

Мастерская Борькина была в старом — лет двести, если не больше, — осевшем деревянном доме. Когда-то и улицу эту, и переулки, и дворы заселял ремесленный люд и мелкое купечество. Они и поставили все эти дома, теперь уже покосившиеся. А строили их из брошенных барж. С верховьев пригоняли баржи с товаром, тянуть бечевой пустые против течения было дорого, и нередко бросали их здесь, баржи, плоты. Из них-то и построились дома, пережившие своих хозяев. Под окнами во дворах — палисадники, земля, удобренная многими поколениями, черная, жирная, вся проросла сиренью: старые кусты отмирают, новые ростки сами прут из земли.

Когда сносили один такой дом, из-под фундамента

зачерпнул экскаватор корчажку, и вместе с черепками, с глиной посыпались в кузов самосвала золотые и серебряные монеты. С тех пор стали искать тут клады. Едва из развалих переселят жильцов в новый дом, а уже взломаны крашеные деревянные полы, расковыряны печи: ищут, что купцом зарыто.

Вот в таком доме, который ждал сноса, в углу двора помещалась Борькина мастерская. Может, и был когда-то порожек у входа — вроде бы все же ощущается камень под ногой, — но врос давно, дверь наружная едва не чертит по земле. Внутри все перекошено, пол покатый к одной стене, из зеркала печи половина кафеля повывалилась: старинный, крупный кафель, весь в мелких трещинах. Но окна высокие, свету днем много.

Они и дверь еще не раскрыли, а Борька уже стоял в сенях. Был он не в обычных своих парусиновых брюках, рабочей куртке с засученными рукавами, а во всем параде: костюм, рубашка, галстук повязан.

— У тебя народ? — негромко спросила Аня, глянув вглубь, где дверь в мастерскую была закрыта.

— Никого!

Это он их двоих ждал в костюме и в галстуке. Борька снял с Анны пальто, повел их прежде в крошечную боковую комнатушку, где был у него топчан и низкий стол. На столе — тарелки с нарезанным сыром, холодным мясом, тарелка с красными крупными венгерскими яблоками. Раскрытая коробка конфет: вишня в шоколаде, Анны любимые. И бутылка коньяка в центре. Все это он к их приходу и нарезал тут и расставлял.

— Так... Значит, так... — говорил Борька и был как-то суетлив. — Сначала мы все же по рюмочке возьмем. Прием такой грех на душу.

Аня свободно села на топчан, покрытый шерстяным одеялом. Она одна сидела, пусть за ней одной ухаживают. Борька откупоривал бутылку. Был он абсолютно трезв и выбрит.

Аня снизу смотрела на него.

— Зачем сейчас, Боря?

— Дай ты нам. Аннушка, хоть перед тобой гусарами побить. Чтоб с весельем и отвагой!

Она видела, он страшится того момента, когда поведет их в мастерскую, трусливо оттягивает его. Непривычно было видеть Борьку таким.

Аня не вставая забрала у него бутылку.

— Гусар... Повесь сначала мое пальто с весельем и отвагой. Или положи куда-нибудь.

Тут только и заметил Борис, что пальто все так же у него на руке; с ним в обнимку он открывал коняк.

Аня и сама что-то начинала волноваться, на него глядя. И когда он опять взялся за бутылку, рассердилась:

— Перестань. Ведь не будем сейчас.

— Да? Ну ладно! — сразу согласился Борька.— Тогда я вот что: я все же несколько слов скажу. Ну, в общем, это не то чтобы закончено совсем. Нет! Но... сам не пойму. Чувствую только — начинаю портить. В общем, поглядите. Поглядите в самых общих чертах...

И пошел вперед, быстро раскрыл дверь в мастерскую. Но сам не глянул туда. В тот момент, когда они входили, засуетился, вернулся, начал искать сигареты на столе. Закурил. Сел.

Все было в нем напряжено. И чем дольше длилась там тишина, тем труднее становилось ждать. Затяжка за затяжкой он докуривал сигарету и морщился, как будто на больной зуб себе давил.

Не усидев долго, пошел туда. Тихо ступал на половины, которые не скрипнут под ногой.

Они не слышали, как он встал в дверях. А он быстро, испуганно схватил выражения их лиц. У Ани в глазах были слезы. И в тот момент, когда он увидел их, ему обожгло глаза, и толстые губы его задрожали.

Здесь стоял великий человек, великий и счастливый. За миг такого счастья все простится. И все готов он претерпеть вновь и вновь, сколько бы ни пришлось ему идти тем же путем.

То, что они видели, каждому из них говорило свое. На камне сидела военная девушка. В шинели, жесткие рукава длинны и подвернуты, пилотка, снятая с головы, повисла в руке. И такая долгая, не дня одного, не одного месяца, усталость лежала на ней, что она и втянулась и привыкла. Но сквозь нее, сквозь все, что впереди ждало, вглядывалась она без улыбки в даль, а в самой глубине ее глаз жила печальная радость: дайте отоспаться — и вновь оживет.

Ни поля этого не было — осеннего или весеннего? — ни того, что видит она впереди, а все видно, все здесь. Сапоги ее почти что по щиколотки ушли в грязь — столько ими пройдено по этой войне, где одним мужчинам оказалось не справиться. И больно было на нее смотр-

реть. И гордо. И что все мужские подвиги перед ней, заморенной такой и святой.

А на Андрея из глаз ее, от усталости суровых, Аня смотрела. Так увидеть, так понять мог только тот, кто любил. И любил в Ане то же, что и он сам: правдивую ее душу. Она-то и светилась из глаз. Вот ведь через все прошла, а ни грязь, ничто к ней не пристало. Чище мы чистого!

И Аня смотрела на серую, из камня высеченную военную девушку в шинели. И прощалась. Она прощалась с тем, что так долго, как воздух, окружало ее.

Какие-то подавленные сидели они потом. А Борька, ошпаренный радостью, разливал коньяк, проливая мимо рюмок.

— Ребята, вы ж мои самые дорогие! Анпушка, родная моя! — Он схватил ее руку, поцеловал, прижал к своему лицу.— Андрюха! Давайте!

И ждал их слов, жаждал и стыдился.

— Да, черт возьми, в конце-то концов давайте упьемся!

И, вытащив другую бутылку из-под стола, срывал с нее металлическую пробку-«бескозырку».

Выпили по рюмке. Мужчины вдвоем еще по рюмке выпили. Но не пилось что-то. Пустыми глазами глядя перед собой, Андрей ронял только:

— Да-а, Боря... Черт тебя знает... Да-а...

Чувствовал он себя придавленным, оттого и в глаза трудно было взглянуть.

Была, наверное, уже вторая половина ночи, когда Аня проснулась, услышав, как кто-то ходит. Андрея рядом не было.

— Ты что? Куда ты?

Он обернулся от двери:

— Спи. Курить пошел.

Ей очень хотелось спать, и она заснула. Но вдруг проснулась совсем. Его не было. Не было и не было. Уже тревожась и сердясь, Аня надела халат.

Он сидел на кухне на низенькой табуретке. Горела одна прикрученная конфорка, синие зубчики газового пламени.

— Ты что, с ума сошел? Зачем ты газ жжешь среди ночи?

Он коротко взглянул на нее. Непривычно как-то, робко. Встал, прикурил от конфорки, сбоку потянувшись сп-

таретой. От синего газового пламени лицо его наклоненное было бледным, с резкими тенями сквозь скулы и надбровий.

— Я знаю, я тебе испортил жизнь,— говорил Андрей.— Я не имел права.

Аня молчала. Шевелились над плитой целлофановые пакеты, взлетали над газом и все не могли отлететь.

— Ты могла бы быть счастлива. Хотя бы... с Борькой. Да...— говорил он жестко и все жестче и при этом робко взглянул на нее.— Я — никто. И права не имел.

А она все молчала и смотрела на него, еще чего-то требовала. Даже когда молодой говорил он ей, что любит, что не обещает ей легкой жизни, но любить будет верно, даже тогда она так не смотрела на него и не ждала.

— Вот помни! — Аня страшными глазами глядела на него.— Когда я буду старая, некрасивая и ты захочешь мне сказать... Помни, что ты мне сейчас говорил! — И она прижала к себе его голову.— Дурак ты мой, дурак! Нет, какой ты все-таки дурак! Дети ведь скоро взрослыми станут, а они все такой же.

Он говорил недовольно:

— Обожжешься... Сигарета ведь... Ну что ты? Ну, обожди...

Странно бы показалось, если бы кто увидел их сейчас: в четвертом часу ночи стоят, обнявшись, посреди кухни, как будто им кроме нигде места нет. Но уже все окна в доме были погашены.

ГЛАВА XXIV

Неужели это были лучшие дни его жизни? Тогда они стояли в Болгарии. Война кончилась.

Нет, даже не самый День Победы вспоминался ему. Это в Москве творилось великое торжество, и весь народ вышел на улицы, и люди пели, и плакали, и салютовали. И, себе не веря, что это они совершили, искали того, кому обязаны победой. Это в поверженном Берлине, откуда вышла с маршами война и где в гроб загнали ее, налили вверх со ступеней рейхстага. А у них буднично получилось на их наблюдательном пункте далеко за Веной, в Австрии. Даже вина в первый момент не оказалось.

Уже после погибли коней, и старшина привез откуда-то бочку вина, и тоже устроили у себя салют: стреляли вверх из автоматов, стоя на холме. И сфотографирова-

лись все вместе: 9 мая 1945 года, последний наблюдательный пункт. А все вроде чего-то не хватало: слишком ли долго ждали этот день, поверить ли еще не могли? Казалось, что-то еще должно быть необыкновенное. А должно было время пройти, надо было привыкнуть к самой этой мысли: свершилось! Понять, что мир настал.

И вот вспоминалось ему, как стояли они в Болгарии. Удивительнейшее было чувство, никогда больше он этого не испытал: ничего, совершенно ничего не нужно. Что дальше будет? А пусть что будет. Знал: что бы ни ждало впереди, это уже не повторится. И на всю жизнь берег.

Многие суетились начинали, списывались с кем-то, одолевали соображения о будущем устройстве, а ему сейчас было хорошо. Главное сделано: победили. Война кончилась. Все по сравнению с этим ничто.

А уже присыпали молодых из России: тех, кто после них будет служить. Начинались мирные учения. Ночью подымали по тревоге, днем дивизион уходил в горы играть в войну. Занимали огневые позиции, рыли наблюдательные пункты. Он приказывал разведчикам выставить стереотрубу и наблюдать неусыпно: не показалось ли где-либо, не движется ли на них начальство? А остальным — спать.

Приносили разведчики виноград, вчетвером растирав плащ-палатку за углы. Чему он мог учить своих стариков, прошедших войну? Так же, как он сам, ждали они демобилизации. Пусть отсыпаются за все, что на войне недоспали, что впереди доспать не придется. А молодые... Молодых ему было жаль: в войну росли. Пусть хоть пока поживут, скоро служба подтянет им лямку.

Ах, какие это были дни! Никогда уже больше этого не было. И не скажешь себе теперь: главное сделано, чего же ты? По рассуждении, по трезвой логике вроде бы можно. А не скажешь. Ненадолго хватает человеку прошлого, не получается жить у себя взаймы. «Пришел — будь добр!..» — говорил их старшина. Видно, и на все случаи жизни так: пришел — будь добр.

Теперь он подолгу возился с детьми. В субботу и воскресенье никуда не выходил из дома. Как-то за два вечера, сидя с Митей на полу, построил на фанерке из спичек целый дворец. Спичек не хватало, Митя бегал к ребятам во двор, приносил по коробке, по полкоробки, в люблению заглядывал отцу в глаза. Аня вернулась из школы после родительского собрания, в доме нечем за-

жечь газ. Послала к пим Машеньку одну спичку взять, Митя, бледный, кинулся на сестру с кулаками.

И только с Аней после той ночи Андрей был сдержан, избегал смотреть ей в глаза, а иногда, ей казалось, он как-то враждебно смотрит. Не прощал ей момента своего малодушия. Она знала, нет для него сейчас человека обратительней, чем он сам. Но по мужской логике, он на нее смотрел враждебно. И нессора, а тишина в доме такая, что и дети притихали поневоле.

Иногда он и света не зажигал в комнате. Курит в темноте или ходит из угла в угол, насищивает арию Каварадосси. Спросишь — отвечает однозначно. Только один раз, когда она, его жалея, стала говорить, что все придет в свой срок, он сказал нехотя: «Для истории все в свой срок. Но у нее сроки другие».

Давно еще, когда Машеньки на свете не было, а Митя был совсем крошечный и жили они особенно трудно, пошла она получать деньги за частный урок: тогда она еще давала уроки. Был вечер, темно, Андрей пошел ее провожать и ждал на улице; они вообще любили ходить вместе, и все им хорошо было вдвоем. Получила Аня двести рублей старыми деньгами: за десять уроков собралось. Двести — это все же звучит, не то что двадцать. Но так у них ничего не было, столько им надо было купить, что Аня сказала с легкостью: «Давай купим тебе бутылочку водки и пойдем домой ужинать. Мама картошки паварит».

Они тут же зашли в магазин, купили еще селедки, грибов, тогда совершенно просто можно было зайти и купить, например, маринованные грибы. И так все хорошо было в тот вечер, особенно; он не раз потом вспоминал ей.

И вот Аня приготовила к воскресению опять все как тогда. Знала, что дважды в жизни одно и то же не бывает, а все-таки старалась, ездила за баночной селедкой через весь город: кто-то из учителей сказал, что видел там. Дети, спавшие по-воскресному поздно, обмирали от восторга, а Андрей даже не видел, что ел, и она сидела красная от обиды.

После завтрака он неожиданно предложил съездить в деревню договориться с хозяйкой на лето: дело к тому подвигалось, скоро детей вывозить. Аня ехать не могла, у нее только что два класса писали сочинение, и горы непроверенных тетрадей лежали на окне. Да он, кажется, и хотел ехать один.

От станции Андрей шел пешком. Мимо пересезда, где тогда сидела стрелочница на вымытом крылечке и пила из кружки молоко, глядя на закат. Теперь автоматический шлагбаум сам ходил вверх-вниз, подымался и опускался. У первых домов встретил на улице Клаву-почтальона. И так что-то обрадовался ей, чуть не погладил рукой по голове.

— Ну что, Клава, как живешь?

— Живу — старюсь.

А брови подчернены, сама принаряжена. Жизнь берет свое.

— Сын растет?

— Бегает.

Куда-то Клава торопилась. В новых туфельках, чуть припыленных, спешила, догоняла свою судьбу, и была вся как этот день воскресный.

Встретил он и Лешу. Посидели, покурили на берегу под старой веткой, у которой вся сердцевина выжжена: мальчишки костер разводили в ней.

Внизу вровень с водой лежала на грунте затопленная лодка, только нос и корма немного выступали из воды. Хорошо было сидеть вот так и смотреть на реку. Спокойно. Изредка ветром наносило с полей рокот трактора, еще чутче становилась тишина.

Вернулся он домой под вечер. Аня встретила его известием:

— Тебе звонили от Николаева, от директора химкомбината.

Обрадованная за него, она ждала, что и он обрадуется.

— Просили сразу же, как только приедешь, позвонить.

Но известие он принял до безразличия спокойно. Нет, не будет он звонить, да еще в воскресенье вечером. Что за срочность такая? Столько дней было, никто не спешил. Разыщут, если нужен. Достаточно он сутился последнее время. Весь этот год прошел в суете. И все не по делу. Даже мысли в голове одни суетливые: кто посмотрел? как посмотрел? где, что, кем сказано? Он не места себе ищет под солнцем: опоздал — займут. Он работник, а работники сегодня в цене. И все нужней, нужней становятся.

В жизни человек должен делать одно дело — свое. Главное. А в вечном стремлении совместить несовместимое чем-то одним платить приходится. И для начала вся-

кий раз платят совестью и талантом. А потом уже и дать нечего. Вот так на этом пути обретений и потерь. Каждый думает, что он перехитрит жизнь, а перехитрить удастся себя самого.

Конечно, все это и до него было известно и понятно людям. И сто и тысячу лет назад. Но мы-то живем свою жизнь впервые и всего один раз. В молодые годы о многом думается с легкостью: это до меня было. Старше становишься, начинаешь понимать: это было со мной, потому что их жизни — часть нашей жизни. И чужой опыт тогда только твоим становится, когда свой есть, когда побьешься об жизнь боками и она тебя чуть-чуть уму-разуму научит. И не все дело в том, чтобы понять. Надо еще решиться, твердость в себе найти. Вот это главное.

Ему позвонили утром в мастерскую:

— Товарищ Медведев? Вы самый и есть?

Голос какой-то запаленный, словно человек не по телефону говорит, а бегом бежит.

— Сейчас с вами говорить будут...

Андрей сел на стул. Достал сигареты. Между ним и Полиной Николаевной — стол, пишущая машинка, телефон, от которого растягивается к трубке провод-спираль. Дверь в кабинет, пустовавший теперь, как раз перед его глазами.

— Давайте закурим, Полина Николаевна.

Она что-то почувствовала, заволновалась, массивная брошка задвигалась на ее груди. Привстав, Андрей протягивал газовый огонек зажигалки, а в трубке уже другой был голос. Молодой, умягчающий слух, с бархатистыми нотками:

— Андрей Михайлович? Это вас химики беспокоят. От товарища Николаева.

«Беспокоят...» Ох, беспокойте нас, беспокойте! И удивлялся себе одновременно: что так спокойно ему? Словно не про него речь.

— Сейчас с вами будет говорить лично Константин Прокофьевич.

Как будто даль открылась там: слышны стали голоса и шум какой-то. Но все же рано включили кабинет: как раз Николаев спрашивал грубо: «Как его имя-отчество?» За это время Андрей и сам прикурил и затянулся хорошо так пару разочек. «Андрей Михайлович», — подсказали там.

— Андрей Михайлович? — раздалось в трубке. — Здравствуйте. Вы могли бы сейчас приехать к нам?

«К нам». Не «ко мне». И отчество подождал. Это где-то без отчества обходятся, а в России оно не просто далось, потому и многое значит. Вот если по отчеству, разговор приобретает смысл.

— Смогу,— сказал Андрей.

А все что-то в нем упиралось. Потому, наверное, что это последние минуты, пока он еще свободен, пока ему нечего терять.

— Машина за вами выходит.

Время опять начало разгоняться. А пока что они сидели с Полиной Николаевной и курили. Как перед дальней дорогой.

— Кажется, жизнь запускает меня на новый виток,— сказал Андрей.

И показалось ему, что Полина Николаевна вдруг быстро зашептала что-то про себя. Она засмеялся, сжал ее руку:

— Милая Полина Николаевна!

Честное слово, он был тронут.

Его ввели в директорский кабинет в тот момент, когда совещание там кончилось. Люди складывали бумаги, сворачивали чертежи на длинном столе и выходили. Остались кроме Николаева двое. Он их представил: парторг Скурихин Андрей Павлантьевич, заместитель директора Милованов Георгий Лукич.

— Мы с вами тезки.— Скурихин улыбался ласково и ласково руку пожимал.

Конечно, для такого разговора надо бы знать поточней, что ему предшествовало, по каким линиям шло, почему спешка началась. Информация — мать интуиции. Но нет так нет. Все же сорок один год он прожил на свете.

От той мимолетной встречи в перерыве совещания, когда Смолеев, сказав несколько полушуточных, как бы неизбывательных слов, познакомил его с Николаевым, который глядел хмуро, от той встречи к сегодняшнему разговору, песоннепно, прочерчивалась линия. Скурихин мог улыбаться. И если получше поглядеть, то выходит, что они со Скурихиным не только тезки по именам — они еще и по делу крестники. «Однодельцы», как скажет юрист.

Тем временем сели, и разговор начался. Николаев говорил, не напрягая голоса: установочно, властно. И чем масштабней он развивал мысль о том, какой дом отдыха, вернее, комплекс намерены строить, тем все более похоронным становилось лицо Милованова. Он за каждым директорским словом рубли считал. Неожиданно завозил

короткими руками по столу, как будто сгребал что-то или искал.

— Вы бы нам хоть нарисовали что-либо для видимости. Хоть на бумаге поглядеть, подо что деньги бросать. Деньги-то ведь какие!

— Ну, ты уж сразу-то не пугай, Георгий Лукич,— взял Андрея под свою защиту Скурихин.— Тут все же творческий процесс. Это мы к твоему характеру привыкли, а человек творческого труда — это, знаешь, совсем другой механизм...

Директор снял очки, дужкой почесывал широкую переносицу.

— Сразу не испугаешь, потом не испугается, Лукич дело знает.— И улыбнулся враз всем лицом.

— Лукич, Лукич... Последний человек на комбинате Лукич!

При небольшом росте и женственной мягкости форм лицо у Милованова было желчным. А может, напускал на себя, роль такая.

Но Скурихин и тут шуткой смягчил:

— Так ты нам, Георгий Лукич, всю свадьбу испортишь. Фигурально выражаясь, невесте только еще предложение делают...

— То-то, что оженят, меня не спросивши! — И Милованов по мягкой шее похлопал себя звучно. И даже покраснел.

Роль. И должность. Чтобы директор мог делать широкие жесты и выглядеть красиво, должен быть у него и такой хамоватый зам. Не беда, если переберет через край, в случае чего можно его и одернуть. Но дело придется иметь с Миловановым, это уж точно. Впрочем, до дела далеко еще. А пока что его Николаев интересовал. Вот кто его интересовал сейчас.

Из всех проблем архитектуры есть одна, менее всего от архитектора зависящая, сложнейшая из сложных: заказчик. Рядом с великими творениями ему надоставить памятник: не он создал, но он оказался способным понять и потому создано при нем. И на том кладбище, где столько человеческого гения зарыто безвестно, ему же надо отлить памятник до небес. Андрей курил под мягкое жужжение вентилятора, при каждом повороте повевавшего на него ветерком. Слушал.

Что директор химкомбината мужик властный, в городе знали все. Но сейчас Андрей видел, что он еще

и самолюбив. По глазам его это прочел. Это хорошо. А если стройка эта станет любимым детищем, тут многие возможности открываются для архитектора. Только не напугать заранее. Пусть поставят одну ногу, а вторую ставить придется. И улыбнулся, на себя взглянув: они еще и одной не поставили, а он уже двумя там стоят.

А в общем, все происходило, как в век реактивной авиации: полтора часа до аэродрома, полтора часа с аэродрома и двадцать минут в полете. Весь этот предварительный разговор длился двадцать три минуты, как показали электрические часы над дверью против директорских глаз. Много ли нужно, чтобы сделать человека счастливым? Двадцать три минуты разговора. Впрочем, для этого достаточно и трех минут.

Прощаясь, как бы теперь только вспомнив, Андрей руками развел:

— Я совершенно забыл предупредить, может, вы не совсем в курсе дела... Есть еще организационная сторона вопроса. Я ведь, в сущности, не частное лицо. У мастерской есть право...

Но они были в курсе дела, как он себе это и представлял. Не такие вопросы им решать приходилось.

Прощаясь с Миловановым, Андрей пообещал:

— Непременно все нарисую на бумаге.

— Да уж нарисуйте, нарисуйте что-нибудь такое капитально.— И Милованов щеками затряс, не суля мира наперед.

А Скурихин, тепло пожимая руку, сказал — как о выполненном задании доложил:

— У Игоря Федоровича будете, привет передавайте. Простой он человек. И человечный, вот что главное.

Не разубеждать же, что не каждый день он ходит пить чай к Игорю Федоровичу. Один раз случилось. А если все же такое впечатление создалось, значит, Смолеев счел нужным создать его. Вот и примем это как аванс.

ГЛАВА XXV

В центре города Андрей отпустил машину, обнаружив по часам, что сейчас в школе время большой перемены. Значит, Аня в учительской. Он вышел у первого телефона-автомата, и, стоя в стеклянной будке, волновался и ждал, пока ее подзывали. Почему все эти дни он смо-

трел на нее как на своего личного врага? Затмение, что ли, нашло?

— Я слушаю,— сказала Аня.

Когда он из дома говорит с ней по телефону, дети в соседней комнате кричат: «Можешь не повторять, что мама велела! Мы слышали!»

Вот такой поставленный учительский голос.

— Слушаю! — повторила Аня, уже беспокоясь.

Он сказал, приблизив трубку к губам:

— Ты — наша мама.

Аня помолчала.

— У тебя все хорошо?

— Все хорошо. Но не в этом дело.

— В этом. Именно в этом. И я уже привыкла.

— Ну прости.

— Хуже, что и ты начинаешь привыкать. И дети зависят от приливов и отливов.

А интонация все та же ровная, как в классе; кто не слышит слов, ни за что не догадается, о чем разговор. Но и слушать некому. В учительской сплошное гудение: не только ученики — учителя тоже рады, что вырвались на перемену, курят сейчас, и женщины не уступают мужчинам.

— Ты моя лучшая самая. Ты мама наших деток. Ну прощай ты и мне, дураку, иногда.

Она молчала.

— Аннушка!

Вот и Борька называет — Аннушка. У него украл, подлец.

— Ну все же я не самый худший из мужей?

— Вот только что!

Он слышал: она улыбается.

— Ты моя единственная.

— И еще ты не воруешь,— сказала Аня.

Самые нежные слова говорил он ей, стоя на улице в будке автомата: собственной жене объяснялся в любви на пятнадцатом году совместной жизни. Да еще средь бела дня. И обещал, что никогда никаких ссор между ними не будет. И сам верил в это. А она знала: будут, будут не раз, потому что это жизнь. Но когда она была молодая, когда еще не умела прощать, ее это так обижало, что жизнь временами казалась невозможной. И вот тогда ссоры между ними бывали ужасны. А потом родились их дети, столько было с ними пережито, и жизнь научила ее и добрей быть и мудрей.

— Аинушка, родная, ну что же ты молчишь?

— Я из учительской,— напомнила она. А голос был глуше, глубже, но она все же владела им.

Когда Андрей вышел из автомата, он с удивлением обнаружил, что день-то пасмурный. А ему казалось — солнце с утра.

Люди шли по улицам, скапливались у переходов, нетерпеливо ожидая, когда вспыхнет зеленый свет и не машинам, а им будет дано наконец право идти свободно, не опасаясь.

Что за странное человеческое сообщество — город! Все всегда здесь бегут, снуют. Случилось у человека горе — все спешат по своим делам. Случилась радость — опять ничего не случилось. Бегут. Ведь не огородами, плетнями, дворами разделены, на одной лестничной площадке живут, дверь в дверь, и могут быть незнакомы при этом.

— Девушка, милая.— Стоя посреди тротуара, Андрей протягивал мелочь на ладони бежавшей навстречу молодой женщине.— Разменяйте по две копейки. Или дайте монетку насовсем. Вся жизнь от этого зависит.

И она улыбнулась, как в лучшие его молодые годы улыбались ему девушки. Нет, удивительное все же создание человек: стоит посмотреть на него по-человечески — и он на тебя по-человечески глядит. И улыбается даже. А кругом шум, бензин, пневматическим долотом долбят асфальт и бетон под ним. Богатый мы все же народ! И откуда у нас быть безработице, когда четвертый раз за последнее время вскрывают асфальт на этом месте, и все по принципу: не рой другому яму.

Дрожит вокруг все и грохочет, как при артподготовке. И при этом грохоте они с девушкой улыбаются друг другу, и он кивает и благодарит, и она тоже кивает: мол, не за что; как два иностранца объясняются в своем городе жестами и мимикой, потому что от этого грохота все равно ни слова не разобрать.

Из автомата, дверь прикрывая, глянул ей вслед. И она обернулась. Ну почему мы не мусульмане?

В последний раз стрельнули глазки и скрылись за углом. И улыбку унесли с собой. Вот это и есть город: еще двадцать лет рядом проживут, по одним улицам будут ходить и не встретят друг друга.

Странное человеческое сообщество — город. И войнами правит, и мир на земле творит, и разум и талант весь стремится вобрать в себя, и все шире, шире расползается

по планете. И шумно в нем, и дымно, и грохотно, а вот нет же нам места милей.

Всю войну не речку и луг, не стога и родные дали, а двенадцатиметровую комнату с одним во двор окном вспоминал он, где так тесно, так тесно они жили. И не было для него лучше места на земле. И без того единственного окна, что с третьего этажа через всю войну ему светило, не было для него родины.

В телефонной трубке давно уже и устойчиво раздавались долгие гудки. Нет Борьки. Поискать еще по двум телефонам. Нигде нет. В такой день его нет. Занят смертельно. Все заняты. Борька занят, Аня занята: сеет разумное, доброе, вечное. Отметить и то не с кем. Но и не отметить — грех. Великий, непростительный грех.

Он пересек улицу, пошел по другой стороне. Ну, Георгий Лукич, держись, товарищ Милованов! Ты еще со мной хлебнешь сладкого. Ты ведь небось и в архитектуре разбираешься? Кто в ней, родной, не понимает лучше нас, грешных? В ней да в медицине. Разве только врачи да архитекторы в чем-то сомневаются еще, а все давно уже знают всё. Дело с тобой начнется, Георгий Лукич. Ты к концу его таким станешь изящным, тебя снова девушки будут любить.

Пожилой гражданин, мимо которого проходил в этот момент Андрей, остановился и недоуменно и гневно поглядел вслед. Что такое, почему этот незнакомый молодой человек таким превосходством обдал его, да еще и подмигнул при этом? Но Андрей ничего не видел. Он разговаривал с Миловановым, с Георгием Лукичом.

Ты и слово такое знаешь: капитально! Теперь вообще много разных слов. Где бы сказать просто — сабантуйчик, теперь непременно — симпозиум. У всех везде сплошные симпозиумы. Нельзя, престиж! «Капитально...» Может, еще китайской степной обности? Из всего живого один только человек живет в искусственной среде обитания, которую сам себе создал. И с нею вместе, со сплошным бетоном, железом и грохотом перенести его туда? Нет, мы уж что-нибудь поинтересней придумаем. Пусть хоть раз в году открывают люди для себя мир таким, каким он до них был. Ну не совсем он такой теперь, а все же что-то еще осталось, что-то сбереглось, несмотря на несколько тысячелетий полезной человеческой деятельности. В общем, есть у нас, Георгий Лукич, несколько мыслей на этот счет, так пока что скажем для начала.

После стольких дней, когда все было мрачно и жизнь не имела смысла, Андрей вновь чувствовал в себе силу свершить. И какое ему сейчас дело до всех мировых проблем, вместе взятых? И как оно там обстоит, с той великой равнодействующей, которая слагается из общих, из разнонаправленных усилий отдельных людей, целых народов и стран, как оно там с этой равнодействующей его дело соотнесется, ему сейчас было абсолютно безразлично. «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется», — сказал поэт. Но нам дано счастье видеть свое дело, любить его заранее, верить, что никому кроме, только мне под силу это свершить.

Андрей снова перешел улицу, и спустя за угол свернул, и перешел два раза трамвайные пути, а где он, вряд ли он сознавал. Он шел по своему городу.

И увидел арку кирпичную во всю высоту первого этажа дома, чугунные фонари по бокам, три каменных стертых ступени вниз, к дверям. А напротив дверей у тротуара стояла машина, и шофер в машине читал книгу. Когда-то здесь были склады, а на той стороне — разрушенные в войну дома. Вот что значит молодость! Ведь на одном чистом энтузиазме все тут делалось. И убеждали, и разгружали склады, и сами отскребали сводчатый кирпичный потолок. Нашелся дурак, который тут же хотел его оштукатурить.

Четверо их было тогда, недавних выпускников. Борька был, он был. Все делали вчетвером: и мебель, и светильники проектировали, и фонари чугунные над входом, которые потом кузнец отковал (нашли и кузнеца!). А пол в елочку выложили из пережженного кирпича, по штуке подбирали. Вот никак санинспекция не разрешала, чтобы пол был посыпан опилками. Вспомнишь — сколько тут пережито! А увлечены были — ничего кроме не видели. Кто поверил бы тогда, что со временем это и будет самый модный ресторан, что под Новый год здесь по великому знакомству столика не достанешь.

Андрей спустился по трем стертым ступеням, за черное кольцо потянул па себя дверь на кованых петлях. Давно он здесь не бывал.

Он вошел под сводчатый кирпичный потолок и по опилкам (по опилкам все же!) прошел через полусвет к ярко освещенной стойке у дальней стены.

— Филипп Андреевич, живой?

— Живой, Андрей Михайлович, живой, некогда пам
помирать.

А сам, прижмуренный глаз не открывая, наливал на
весу и на свету коньяк в графинчик. Незнакомая офици-
антка ждала рядом, она покосилась на Андрея как на
свидетеля. Голова Филиппа Андреевича расчесана гладко,
седоватые усы подстрижены раз и на всю жизнь. Если бы
нужно было специально заказать сюда буфетчика, отко-
вать у кузнеца, так вот такого и никакого иначе. Но
он сам отыскался на это нескучное место.

Рюмка водки, которую Филипп Андреевич налил,
сверкала на свету, как бриллиант. А бутерброд был по-
дан на тарелочке: две распластанные кильки, темные по
спинкам, серебристые; зелень, срез крутого яйца — жел-
ток, белок. Жаль вот, один пришел.

— Будь здоров, Филипп Андреевич.

Потом он оглянулся от стойки. А все же они молодцы,
ребята. В сущности, личем не разгороженный зал,
только у стен чуть-чуть обозначены перегородки. Но так
столы поставлены, такой свет, что каждый сидит как в осо-
бом кабинете. И кабинеты эти разные как будто. Молодцы!

Его позвали негромко:

— Андрей Михайлович!

Ослепленными ярким светом глазами взгляделся в зал.
Не понял, кто зовет. Расплатился. Когда отходил от
стойки, позвали опять:

— Медведев!

Кирпичная стена. Свет — как желтый огонь свечей.
Людмила Немировская сидит за столиком. Не одна.

Он не видел ее с тех самых пор. Подойдя, Андрей
почтительно поздоровался. Людмила познакомила его:

— Всеволод Вячеславович.

Лет пятьдесят Всеволоду этому Вячеславовичу. Могет быть, с двумя-тремя еще годочками.

Удивительно, как способна меняться женщина. В за-
висимости от освещения, от того, кто с ней. В черном
дорого и просто сшитом костюме, будто все еще носит
траур, без косметики, то есть с той искусственной космети-
кой, которая не видна и тон кажется собственным зага-
ром, Людмила выглядела сейчас лет на тридцать пять.
Она ли это с коньячными искорками в глазах крикнула
тогда ему при всех: «Требуется мужская сила! Нести!»
И посреди кухни с ложки серебряной кормила его чес-
ночным соусом...

— Пожалуйста, не подавись костью...

Всеволод Вячеславович поднял вполне осмысленные глаза, что-то промурчал и опять уперся ими в карпа. Заботливая жена сидела рядом с ним за столом.

Андрей мысленно посчитал столы от стойки. Да, шестой столик. И тогда, лет пять назад, вот здесь же, за шестым или седьмым столиком, сидела Людмила, только что вышедшая замуж. Молодые, веселые, голодные, они ели карпа, целиком запеченного в сметане, одного на двоих. Все вернулось на круги своя. Опять карп, запеченный в сметане, только перед каждым свой.

Подняв лицо, Людмила снизу смотрела на него.

— Вот кого папа любил. Быть может, единственного из всех...

Глаза без блеска, глубокие, как темный бархат. Вглядываясь — и утонешь в них. Милая девочка! Пусть от того пирога в жизни твой будет самый сладкий, самый из середины кусок. Но жаль того огня...

На улице все так же ждала машина и шофер читал толстую книгу.

В ясный солнечный день, ведя внучку за руку, вышла Лидия Васильевна из дома. Не так давно они проводили Людмилу. С мужем она уехала в другой город, к месту его назначения. И была уже телеграмма, и она уже звонила оттуда. А Олечка оставалась с бабушкой. Пока что.

Совсем седая, но в той же застроченной белой кофточке с черным шнурком-бантиком, Лидия Васильевна шла с внучкой по городу. И день был ясный, такой же солнечный, как день его рождения, как день похорон. И это было невозможно понять. Все в жизни она теперь видела его глазами, которых уж нет. И солнце и смеющиеся, чему-то радующиеся людей.

Олечка шла рядом, припрыгивала, и тормозила ее, и спрашивала непрерывно. И в этой маленькой ручке, которую она держала в своей руке, была великая правота, примиряющая даже с тем, чего мы не можем понять.

Что бы ни думали о себе люди, как бы им ни представлялось то, что с ними происходит, у жизни есть своя мудрость и свое милосердие.

РАССКАЗЫ

ХОРОШИЙ ИСХОД

В суде первой инстанции слушается дело профессора Осипова. Летом прошлого года он оперировал больного, и больной после операции умер. Судебно-медицинский эксперт Корзун, производившая вскрытие, дала свое заключение, и возникло дело. Была внимательнейшим образом исследована тридцатипятилетняя практика профессора Осипова, от тех времен, когда он еще не был профессором, до этого последнего случая. Несколько месяцев длилось следствие, и вот теперь идет суд, допрос свидетелей.

— Свидетельница Боборыкина! — вызывает судья и смотрит в зал. — Боборыкина явилась?

— Она только что была здесь, — отвечают из группы экспертов, сидящих на двух отдельных скамьях.

Эксперты — люди пожилые, убеленные и умудренные. Помимо ученых званий и степеней каждый из них обременен многими обязанностями, и слушание дела откладывалось уже не раз: сначала один эксперт должен был уехать в Ленинград, где шла научная конференция, потом из Австралии ждали возвращения другого эксперта. Что-то около двух недель ждали.

Моложе всех Корзун. У нее нет научных степеней, но на ее стороне молодость и она — женщина. Она хорошенская, темненькая, с живыми умными глазами. Ее присутствие сообщает старикам ту живость, которой они в силу своего возраста давно уже лишены, живость по воспоминанию. С галантностью, заменяющей пыл, они слегка ухаживают за ней, хотя для большинства она противник в этом заседании. Это она проводила вскрытие. Последний ее вопрос свидетелю защиты, которого допрашивали только что, был настолько тонок и невинен внешне, что адвокат не сразу разгадал его скрытый, грозный для обвиняе-

мого смысла. И долго еще старики эксперты переглядывались между собой, значительно подымая брови.

— Вы не будете любезны позвать Боборыкину? — обращается к ней судья и улыбается. В улыбке этой признание. Ценное признание, поскольку судья тоже женщина, и женщина интересная. У нее большие с холодком серые глаза, мужской склад лица. В своем кругу она пользуется успехом.

Вне этого судебного разбирательства, в обычной жизни сферы влияния этих двух женщин настолько различны, что они могли бы даже дружить, каждая признавая достоинства другой и не заходя за условную черту.

— Охотно позову, — говорит Корзун и возвращает улыбку.

Простучав энергично каблуками меховых сапожек, она выглянула в коридор.

— Боборыкина!

Серое с черной отделкой платье джерси, дорогое, но чрезвычайно скромное внешне, сидит на ней так, что, и вставши, она не оправила его. И пока, приотворив дверь, она зовет свидетельницу, эксперты смотрят на нее. Она знает это, чувствует их взгляды, и один ее сапожок, носочком опертый об пол, поводит каблучком из стороны в сторону, из стороны в сторону.

— Боборыкина!

Безответно. Покачав головой — такое легкомыслие свидетельницы! — вновь улыбнувшись судье, она выходит в коридор. Слышно, как она там зовет Боборыкину. В зале ждут. Сквозь пыльные после целой зимы, еще заклеенные окна ломится горячее весеннее солнце, в зале будто дым стоит. У экспертов слипаются глаза, от спины прокурора в шерстяном мундире только что пар не идет. Народу в зале немного. Рядом слушается дело об убийстве из ревности, так там и сидят, и стоят, и у дверей толпится народ.

Наконец вернулась эксперт вместе со свидетельницей: в соседнем зале ее нашла. Корзун садится на место как свой человек. Боборыкина стоит у всех на виду, испуганная. Она в готовой драповой красной шубе с пушистым песцовыми воротником, в высокой пушистой шапке: косые черные и белые полосы. За этими шапками с осени душились в очередях, а теперь их встретишь через две на третьей.

Обстановка суда вызывает у Боборыкиной робость. Привычные для нее понятия тут смешены. Когда кто-либо из профессоров появляется в больнице и в белой шапочке, белом халате идет по коридору во главе целого шествия врачей, настает тишина, больные в палатах волнуются и ждут. Здесь же профессоров безо всякого почтения, всех вместе усадили тесно к стене за маленький стол, а молодая женщина, судья, сидит на возвышении в высоком дубовом кресле, и стол огромный, и двое заседателей в креслах поменьше так далеко от нее, что и локтями не касаются. Боборыкина смотрит на судью и от волнения вначале плохо понимает, что ей говорят, и только кивает и вся, не сходя с места, с готовностью подается грудью вперед. И комкает, комкает платочек в потных пальцах.

У нее спрашивают, и она, волнуясь, очень сознательно произносит имя, отчество свое, фамилию, словно подписку дает. Потом ей показывают, где расписаться, она расписывается. Пятаясь от стола, возвращается на место. Ждет.

— Скажите, Боборыкина,— обращается к ней судья,— кем вы работаете?

— Лаборанткой,— говорит Боборыкина и при этом отрицательно качает головой, как бы заранее отметая от себя любые возможные подозрения.

— Вам приходилось прежде встречать профессора Осипова? Вы знаете его в лицо?

— Как же мы можем не знать? — Боборыкина не столько оборачивается на профессора, который сидит отдельно от всех, сколько отстраняется испуганно, хоть и стоит далеко от него.

Судья облокачивается о стол, ложится щекой на руку, чтоб из-за солнца лучше видеть свидетельницу, пальцы запускает в свои пушистые волосы. Ее только недавно научили простому средству: не мылом мыть голову и не шампунями, а яичным желтком и промывать отваром ромашки. И волосы особенно золотятся, пушистые-пушистые, ей приятно чувствовать сейчас их пальцами.

— А скажите, Боборыкина, вы помните тот случай с больным Шаничевым?..

— Ну как же этот случай не помнить! — перебивает ее Боборыкина и дышит чаще. Адвокат сразу начинает что-то записывать. Боковым зрением судья видит это, понимает, что он там записывает, какой готовит уличающий

вопрос. И, все так же лежа щекой на ладони, не сводя со свидетельницы своих серых больших глаз, сама задает этот вопрос:

— А почему он вам так памятен, тот случай? Вы что, уже знали, когда вам принесли из операционной...

Тут судья несколько затруднилась в словах, не зная точно, как назвать то, что принесено было из операционной, и один из экспертов пришел ей на помощь:

— Материал!

— ...когда вам принесли этот материал из операционной, вы что, уже знали, что больной умер? — спокойно заканчивает свой вопрос судья, даже взглядом не поблагодарив пожилого эксперта.

— Ну как же!..

И тут же Боборыкина снохватилась, побоявшись, что сказала не то. Она видит, все чего-то ждут от нее, все на нее смотрят, и она, волнуясь, оглядывается за помощью на Корзун. Но та, просвещенно улыбнувшись, только головой покачала над такой ее простотой, показывая тем самым, что здесь они не врач и лаборантка, здесь Боборыкина свидетельница и должна самостоятельно отвечать суду.

— Ну как же! Конечно... Как я могла знать? Я ничего не знала. Принесли и принесли из операционной.

— Значит, — уточняет судья, — вы не знали, что больной, материал которого, — она делает ударение на слове «которого» и теперь уже твердо взгляывает на эксперта, пытавшегося помочь ей в обращении со словами, — материал которого был принесен вам на биопсию, вы не знали, что больной этот умер?

— Нет, не знала! — Боборыкина трясет щеками. — Не знала.

— И биопсию вы делали, как всегда?

— Как всегда! А как же можно иначе? Мы иначе не делаем.

В сущности, и судья, и адвокат, который готовил свой уличающий вопрос, оба понимают, не может свидетельница помнить сейчас, что она тогда знала и чего не знала. За месяцы, прошедшие с тех пор, столько было в больнице разговоров об этой операции, о деле профессора Осипова, что у Боборыкиной неминуемо спуталось или, во всяком случае, могло спутаться, что она знала в тот момент, а что узнала потом. И, как бы ни старалась она сейчас вспомнить, все это в большей мере недостоверно.

Однако судья задала свой вопрос и выбила у адвоката оружие, которое тот приготавлял исподволь. Незаметное для посторонних маленькое сражение закончилось в ее пользу.

— Так. Значит, вам принесли из операционной. Расскажите, в чем принесли и что это было?

— Ну, я, конечно, не помню сейчас... Принесли в лотке, и помню только, что было там много всего,— Боборыкина делает рукой жест, показывая, что было с верхом.— Помню, печень была там.

В своей красной шубе, спицой в талию, отчего сильно обтянуты грудь и зад, она стоит посреди зала на солнце. Ей жарко от волнения, от солнца, от прилегающего к лицу и шее мехового воротника, щеки ее сквозь пудру горят, они уже свекольного цвета.

— Много было? — спрашивает судья и сама не замечает, как пальцами повторяет при этом жест Боборыкиной.

— Много. Полный лоток.

— Это же не могло быть так! — вскакивает обвиняемый.

— Осипов, я вам слова не давала,— холодно прерывает его судья.— сядьте на свое место!

Обвиняемый садится и возмущенно пожимает плечами. Потом оглядывается за сочувствием на людей, которые так же, как и он, понимают нелепость сказанного. Но в зале, кроме адвоката, прокурора, секретаря, экспертов и нескольких человек, забредших сюда из любопытства, никого нет больше. В углу, отдельно ото всех, сидит женщина в черном зимнем пальто, вся напряженная, бледная, смотрит блестящими глазами на судью. Обвиняемый еще раз возмущенно пожимает плечами и покоряется.

Последние тридцать пять лет, примерно столько же, сколько судье от роду, никто никогда не называл его вот так повелительно: «Осипов!» Даже за глаза о нем говорили «профессор», коллеги и близкие люди обращались к нему по имени-отчеству: Дмитрий Иванович. Его звали «папа», «дедушка», и только жена, как в молодости, как мать когда-то, звала его Митей. Но сейчас ему говорят «Осипов!» и он не замечает этого.

Он берет одну из трех толстых тетрадей, лежащих рядом с ним на скамье, и быстро записывает в нее, возмущаясь. Тетради эти уже целиком исписаны, он пишет вкось на обложке что-то язвительное, это по лицу видно, и один из экспертов с болю смотрит на него.

Для людей, кто знал его прежде, профессор Осипов за эти месяцы переменился неузнаваемо. Он изменился не только физически, внешне, но у него стал совершенно другой характер. Он сделался подозрителен, мелочен. Адвокат, который готовится защищать его, уже четвертый по счету, и ему он тоже не верит. А полтора месяца назад, не дождавшись суда, умерла его жена.

Профессор Осипов кладет тетрадь на стопку рядом с собой. На лице его мстительное выражение. Он прячет до времени во внутренний карман автоматический карандаш, и рука его, которой он больше тридцати лет оперировал больных, дрожит.

Судья еще некоторое время выясняет подробности биопсии. Заседателей двое: женщина-врач и пожилой мастер литейного цеха. Он слушает напряженно, и сочувствие его не на стороне профессора.

— А куда же вы все это дели потом, что в лотке-то было? — спрашивает он.

Боборыкиной кажется, что все люди знают, куда в таких случаях после биопсии девают материал. И потому она объясняет так, что никто ничего не может понять.

— Я чувствую, теперь все окончательно запутались, — говорит эксперт Корзун. — Разрешите, я поясню.

И она улыбается судье.

— У нас есть такая эмалированная кастрюля на десять литров, — своими изящными маленькими руками Корзун делает округлый жест, и все смотрят на ее руки. Украшением их служит не маникюр, который был бы так естествен, а отсутствие маникюра, срезанные до самой кожи ногти. Эти маленькие женские руки — рабочие руки хирурга. — Вот в этой кастрюле в формалине — адвокат видел, он интересовался — мы храним в подобных случаях материал. Каждый в отдельном марлевом мешочке.

С самого начала ее объяснения пожилой мастер, смущенный тем, что объясняют главным образом ему и к нему обращаются, начинает усиленно кивать, показывая, что он-то как раз все понимает и знал и от этого половины объяснения пропускает. Тогда другой заседатель, врач, задает специально для него уточняющий вопрос:

— Значит, вы храните в общей кастрюле, но в разных мешочках?

— Да, — подтверждает Боборыкина.

— Но в общей кастрюле! — подчеркивает адвокат.

Корзун улыбается, ей понятен смысл этого уточнения. И она спокойно и подробно, чтобы исключить в дальнейшем любые сомнения и разнотолки, объясняет, почему части тела различных людей, которых уже нет, почему весь «материал», опущенный в индивидуальных мешочках в общую кастрюлю и так сохраняемый, нельзя перепутать между собой. Это исключено.

А в углу зала сидит бледная в черном пальто женщина и, вся напрягшись, смотрит сильно блестящими глазами на судью. Это жена того больного, который умер после операции.

Закончив допрос Боборыкиной, допросив еще одного свидетеля, судья встает и уже в свободном разговоре с адвокатом и экспертами выясняет, в четверг или в пятницу вернется из научной командировки последний свидетель защиты. И назначает следующее заседание через неделю.

Через неделю в том же зале вновь слушается дело профессора Осипова. Народу на этот раз побольше собралось: должны выносить приговор. И еще пришли сюда из соседнего зала, где слушается интересное дело о квартирном хулиганстве и где сейчас перерыв. А несколько человек ждут речи адвоката, которая еще не произнесена, но о которой уже говорят.

Позади профессора через ряд сидит его дочь, уже немолодая женщина, по временам сжимая пальцы в волнении и зажмутиваясь, словно молясь про себя. И так же, как в прошлые дни, сидит в самом углу женщина в черном пальто, отдельно ото всех.

Выслушивают последнего свидетеля, который вернулся из своей научной командировки загорелый и посвежевший. Потом произносит речь прокурор. Потом с блеском произносит свою получасовую речь адвокат. Объявляется перерыв.

В перерыве друзья — и те, кто слышал его речь, и те, кто, к сожалению, сам не слышал, но кому уже рассказывали о ней, — поздравляют адвоката. Они говорят, что независимо от исхода дела речь имеет самостоятельное значение, ее необходимо издать.

Окруженный людьми, адвокат стоит в коридоре спиной к стене, вытирает платком влажный лоб с прилипшими уже редкими волосами, и руки его тоже влажны. Он взволнован, он благодарит всех, он не ждал. Потом все устремляются в зал.

— Встать, суд идет!

Все встают. Из боковой двери выходит судья и, сопровождаемая двумя заседателями, подымается на возвышение. Они становятся по бокам ее, а позади — три дубовых кресла. Приговор уже вынесен, сейчас его огласят. Зал ждет стоя. Профессор один стоит впереди своей скамьи, такой же, как у всех, но которая называется скамьей подсудимого.

— Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики...

Дочь профессора быстро зажмуривается и что-то шепчет про себя с закрытыми глазами.

После нескольких месяцев тщательнейшего расследования, после нескольких судебных заседаний судья оглашает оправдательный приговор. Профессора сразу же окружают, и в коридор он выходит посреди радостных возгласов и заверений, что мы все всегда, с самого начала были уверены и не сомневались ни на минуту. Дочь его еще сидит на скамье над раскрытой сумочкой, вытирая глаза тонким платочком, мокрым нас kvозь.

Спустя время по коридору движется целое шествие. Судья идет рядом с Корзун, они о чем-то беседуют, обмениваясь улыбками, и судья незаметно и с интересом разглядывает ее туфли, ее платье, опять очень простое и, видно, очень дорогое. Это та сторона женской жизни, где она не чувствует себя уверенно и нуждается в совете и руководстве.

Адвоката ведет под руку его коллега и, сильно жестикулируя, ему же объясняет, почему эта его речь («Ты же знаешь, я ведь не стану... Я в глаза говорю то же, что и за глаза...»), почему эта его речь приобретает значение, далеко выходящее за рамки данного процесса.

— Да, да, да, да, да... — со значительно наклоненной головой кивает адвокат, одновременно не упуская из поля зрения судью, с которой ему надо переговорить о следующем деле. — Да, ла, да.

В коридоре трется еще один адвокат: для мелких дел. Он мал ростом, лысоват и грустен, пиджак его на локтях блестит. Он уже наслыпан, ловя взгляд, хочет поздороваться, поздравить с успехом, но его не замечают. Шествие движется мимо, тесня его к стене.

Профессор идет, окруженный экспертами, теперь уже вновь его коллегами. Он в черном костюме, воротник которого как пеплом осыпан, он совершенно седой. Дочь со

страхом смотрит на красную сквозь серебряную седину кожу его головы и шеи, хочет и не решается остановить его. А он ничего не замечает, говорит, говорит громко. Справедливость восторжествовала, он победил, счастлив и не помнит в эти минуты даже о том, что у него умерла жена. Он просит всех, кто был с ним в течение этих месяцев, пожаловать к нему. А правая, опущенная вдоль тела рука его, которой он более трех десятилетий оперировал больных, тряслась все сильней, так что издали видно.

И позади всех, отдельно, идет женщина в потертом черном пальто. Несколько месяцев назад она знала только, что муж ее умер. И она уже начала свыкаться, потому что у нее дети и жить надо. Но теперь, после суда и следствия, она никому не верит. Никому из них, думает она, нет дела ни до нее, ни до ее детей. Вон они идут все вместе и разговаривают, значит, все они заодно.

И уже никто никогда не разубедит ее в этом.

1976

РАЗЖАЛОВАННЫЙ

Он достал сигареты, вытряс одну из помятой пачки, схватил ее губами, а пачку протянул мне. Я поблагодарил: третий год не курю.

— Бросал... — сказал он, краем глаза следя за грузовиком, который из третьего ряда прижимал пас к троллейбусу. И ловко прикурил. Вместе с грузовиком, колесо в колесо, мы влетели в гулкую тьму туннеля, сизую от выхлопных газов, желтую от электричества. Но из туннеля на слепящий блеск солнца вынеслись одни.

— Бросал, — повторил он, продолжая наблюдать за отставшим грузовиком, среди множества мчащихся за нами машин его не выпуская из поля зрения. — Год целый не курил. Один черт! Вон что, вон что делает!.. Где перестраиваться надумал. Вот раздолбай! И не видит никто.

Но тут по мчащимся машинам хлестнул милицейский свисток. Я оглянулся. Все так же мчались, и только грузовик, теряя скорость, один-единственный виновато откатывался к тротуару. Когда от светофора я глянул второй раз, шофер уже шел через шоссе, нес повинную свою голову и какие-то бумажки в руке. Милиционер и не глядел даже, стоял к нему спиной, уверенno зная: никуда не денется, придет. И к этой-то спине, запахиваясь на ходу, торопился, перебегал перед машинами шофер грузовика.

— Та-ак... Один накололся... — повеселел таксист. — Сейчас его причешут.

Он еще некоторое время глазом в дрожащем зеркальце ловил, что там происходит. И вперед смотрел, и сзади старался не упустить. Но мешали другие машины. Потом автобус надвинулся и все закрыл собой.

— А курить я бросал... Нельзя мне курить, язва желудка раздражается.

Я сказал, чтоб поддержать разговор:

— Марк Твен еще говорил: ничего нет проще, как бросить курить, я раз тридцать бросал.

— Вот и я не хуже того. Да бросишь тут, когда правды нет!

И строго глянул в мою сторону, словно это не он, а я сказал, что нет правды. Было что-то профессиональное у него во взгляде: он и поощряет, он и стережет как будто. А строгость эта — мол, тот ли еще ты человек, кому доверить можно?

— Нет правды,— повторил он. Вздохнул. Помолчал. Мы шли по Садовому кольцу, скорость восемьдесят километров в час.— Вот дочка у меня. Три раза поступала. Ну? Физику эту, математику она вообще, если уж так честно сказать, с детства уважает. В меня пошла. Другой сидит, сидит, ну, чего, спросить, сам себя мучаешь? А ей сразу видно, где, в чем какое затруднение. Ничего ей все это не составляет. «Задачку не решила»... Может это быть? Ну, вот вас я спрошу,— он опять строгим взглядом примерился,— может это быть? Да она физику лучше всех предметов! А не решила, спроси. Еще спроси, ведь жизнь решается. Занималась — себя не жалела. Или мне моргать, шутка в деле? А-а-а...

Это «а-а-а» его, короткое, стонущее, всех нас вместе как будто уличало: мол, видим, что делается, знаем...

— Не задачка виновата, сказать за нее некому. А ведь хочется восхищаться. Ладно, подали в юридический. С одного захода поступила. Нам бы сразу догадаться, а то, шутка в деле, два года потеряли, можно сказать, зря. Она эту историю вообще с детства обожала. Другой сидит над книжкой, штаны протирает, ничего этого ей не надо. Послушает на уроке, любой вопрос может отвечать. Когда, например, была революция девятьсот пятого года? Или другой сложный вопрос... В ночь- полночь разбуди, будет отвечать. Конечно, два года жалко, но замуж ей рано, считаем, как в армии отслужила.

Утром я — на работу, мать — на работу, дочка — на учебу. Ну? Все нам рассказывает, какие преподаватели, какие предметы, как, что, где. Месяц прошел, стипендию приносит. Восхищаемся. А как второй месяц к концу стал подходить, тут она сама во всем призналась. Но я не поверил, пошел лично. Все при мне подняли, достают ее сочинение. Ну, уж не знаю! Ошибки это тоже как посчитать. Каждое дело две стороны имеет. А ты как себе посчитай, вот тогда я тебе поверю. А-а-а...

Мы думаем, она в институт, а она к подруге идет. День сидит, не евши, вечером приходит, как будто из библиотеки. Видим, конечно, видно нам: учеба влияет. Но не догадываемся. Это же надо такой скрытной! Это в кого же такой характер? Уж, кажется, воспитывали без баловства. У меня не забалуешься. Еще вот такая была, уже предупреждал: от меня пощады не жди. Они ведь себе какой принцип присвоили? Было б сказано, забыть недолго... Так вот учи, ты мною предупреждена. И со всеми вытекающими последствиями. И после этого ни отцу, ни матери!.. Ну хоть бы матери-то, матери тайком! Та, дурища, жалеет ее: «Ложись, доченька, сколько можно себя истощать? Ложись, спи. Вон уж до очков дочиталась». Ничего, говорю, сдают один раз, живут с дипломом всю жизнь. С дипломом куда хочешь пойдешь, все можешь требовать. А она остальные экзамены вовсе даже не сдавала совсем. Во характер! Во какая в себе скрытная. Такое дело на себя взять!..

Двое парней, стоя у бровки тротуара, ловили такси. Они устремились, протягивая руки. На одном была студенческая, выгоревшая на солнце и все равно нарядная строй-отрядовская форма, другой в джинсах, белая с короткими рукавами обтягивающая майка. И черный Мики Маус улыбается во всю грудь. Оба махали издали.

— Берите, если по дороге, — сказал я.

Он молча, яростно, так что ребята шарахнулись на тротуар, промчался мимо.

— Я этих длинноволосых вообще не вожу. Ко мне они лучше не садись! — и так сжал челюсти, аж прогнуло в лице. — Все с высшим образованием, а работать некому.

Шелущиеся губы его побелели. Он закурил опять. Было жарко и, наверное, горько курить. Сбросив газ, мы катили по инерции: впереди у Смоленской площади образовалась пробка у светофора. Светило отвесно полуденное солнце, блестели сгрудившиеся машины. Из черного, свежего асфальта вытапливался мазутный жир. И туда, в общий бензиновый чад, вкатывались и вкатывались новые машины. Подкатили и мы. Стали.

Шофер надел темные очки, лицо его в них сразу стало похожим на кого-то. Оно разделилось на три части: покатый, уже залысый лоб, не по-летнему бледный, черные очки, как маска на глазах, и подбородок и рот, сжатый жестко.

Высунувшись в дверцу, он смерил взглядом, сколько стоять. Потом сидел, откинувшись на спинку сиденья, выставив голый локоть наружу. Работал мотор, подрагивала рукоятка скоростей. Теперь уже и сзади пас было не меньше машин, чем впереди. А из-за перекрестка, из-за линии «Стоп» нацелились на пустую половину улицы выстроенные в ряд радиаторы машин. И их и нас удерживал на месте красный огонь светофора.

И над всем в стеклянном скворечнике парила белая милицейская фуражка. А еще выше блестал шпиль высотного здания.

Светофор мигнул. Устремились из-за перекрестка встречные машины. Двинулись и мы наконец. И когда уже рядом и впереди освободилось пространство, нас обогнало с ходу другое такси. Словно подхваченная ветром, в тот же миг устремилась следом наша машина. Не поняв, в чем дело, я видел только, как шофер машет тому водителю. Жест, взгляд — властные. И прижимал, прижимал его машину к тротуару.

— Видал, что делают? Это он защелку у дверцы вынет, отожмет вот так вот и грузит за здоровово живешь холодильник в салон.

Теперь и я увидел в той машине покачивающуюся белую глыбу холодильника.

— Он за живые деньги работает. В рейс выехал, сейчас у него свежая копейка. Цыг-ганское посольство. Ну я их жал! К бровке! К бровке! — хоть тот слышать не мог. И свирепо сжимал шелущающиеся губы и махал от себя рукой, как муху сгонял со стола.

Водитель такси давно уж заметил нас. Скорости не прибавлял, спокойно шел в первом ряду и даже поглядывал с интересом. Мы поравнялись.

— К бровке тебе приказывают!

— Приказывать мне будешь... Иди ты знаешь куда?.. И свернул в переулок. А нам надо было прямо.

— Та-ак, — неожиданно повеселел шофер. — Значит, в наглую пошел. А никуда ты, эм-эм-эл четырнадцать — шестьдесят девять, не уйдешь... Они еще так ухищряются: загонят во двор и стоят. Час будет стоять, два будет стоять. Его ищут, а он, как заяц, уши прижал и пережидает.

Под эстакадой курил регулировщик. В ковбойке, с повязкой, загорелый до медного блеска, он курил в косой тени опоры и оглядывался с полосатой, как шлагбаум, палкой в руке. Таксист затормозил. Издали не слышно

было, что он там кричит, указывая на переулок: мимо проходил панелевоз, обдавая ревом и черным дымом из выхлопной трубы. Потом опять мы мчались и таксист говорил:

— Им по три дня к отпуску прибавляют. Три лишних дня каждый гуляет, а он забрался в холодок и покуривает, на курорт ездить не надо.

Он весь дышал возбуждением. Завидев милиционера, вновь остановил машину, выдернул ключ из трусском, труском, пересекая поток транспорта, побежал к нему перед машинами. И что-то говорил там и рукой указывал назад. Милиционер переместил на груди радио, поговорил в микрофон. Потом они вместе закурили.

Они курили посреди шоссе между двумя встречно мчащимися потоками, то в одну сторону глянут в даль, то глянут в другую сторону, и даже на расстоянии было видно, как это шоферу приятно на виду у всех стоять рядом с таким человеком, как ему гордо.

Простились за руку. И возвращался он уже не труском, а медленно, с достоинством шел. Не он перебегал перед машинами, машины обезжали его. Сел. Захлопнул дверцу. Со всей внушительностью пересел повыше. Когда отъезжал, рукой милиционеру помахал, все еще переживая приятность близкого общения. Но заговорил презрительно:

— Он раньше-то подо мной ходил. Митрохин... Это судьба заскинула меня бараку крутить. В цыганское это посольство. Дали каждому право жаловаться. Они и пишут, и строчат,— он опять сбоку глянул на меня своим взглядом.— Бумага — это же страшное дело. Кто на себя возьмет? Никто. А правильно как? Ты жалуйся. Нет, ты жалуйся! Но пощады не проси! Вот тогда будет порядок. И довольны все. А если б не этот частный эпизод, да разве ж бы я?.. Или разве ж бы дочь моя? Хо-го-о!.. Вот он подо мной ходил: капитан! Разве теперь его догонишь, дорастешь?

И грустно закончил:

— А хочется восхищаться...

Он остановил машину, глянул на счетчик. И как о всей своей теперешней жизни сказал:

— Рупь восемьдесят пять...

И выключил счетчик.

ПУБЛИЦИСТИКА

СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК НИЧЕМУ НЕ УДИВЛЯЕТСЯ

Шесть лет минуло с тех пор, как я впервые в жизни летел над Атлантическим океаном в Америку. И вот снова октябрь месяц. Год тысяча девятьсот семьдесят пятый. Взвевели турбины, и в ясный осенний день спачала дымкой, летящей под крыло, заволоклась земля, потом ее наглухо закрыло облаками. А мыслю ты все еще дома; не сразу приходит это освобождающее сознание: что не доделал, не успел, теперь уже не успеешь. Теперь уж как есть.

Нас в делегации трое: Фрида Лурье, Анатолий Апаньев и я. Целых десять часов будут реветь турбины, а когда смолкнут, мы окажемся на другой стороне нашей планеты, за океаном, в Канаде.

Намного теперь оживленней стала заоблачная трасса. Все время, пока летим, расходится над нами инверсионный след: кто-то раньше пролетел и летит впереди, выжигая турбинами широкий коридор кислорода. И ниже, правой, над самыми холмами снежных облаков, до слепящей белизны освещенных солнцем, то скрываясь в них, то возникая вновь, не отстает от нас крошечный самолет величиною с сигарету или с палец, ярко-красный хвост его гордо задран вверх. Он все время в моем иллюминаторе, словно я в перевернутую, уменьшающую подзорную трубу смотрю.

И мы оттуда, из его иллюминаторов, наверное, такие же, с сигарету длиной. Но в этой сигарете нас примерно сто шестьдесят человек в креслах. Большинство пассажиров — канадцы. А по проходу между креслами, взявшись за рукоятки, две стюардессы катят передвижной бар на колесиках: одна пятится, другая на нее движет. Бутылки столичной водки, икра, коробки крабов, янтарные бусы — все это, разумеется, за валюту. Стюардессы пе-

только провозят бар, но и демонстрируют свои товары, с улыбкой надевают на себя янтарные бусы, браслеты, показывая, как они хороши: нынче торгуют и на земле, и на воде, и за облаками.

Канадцы летят шумно: домой возвращаются. Еще когда в Шереметьеве шли они в самолет, у многих верхом на головах сидели ондатровые шапки, купленные в «Березке». Стадное чувство — великое чувство, повелевающее людьми: чуть ли не каждый из них (а уж каждый второй — так это наверняка) нес в руках балалайку, завернутую в бумагу с тем же клеймом «Beriozka». Но и так подумать тоже: в доме соседа будет висеть балалайка на стене, а у тебя нет этого экзотического инструмента. Как докажешь, что был в России?.. Ведь важно не только съездить, повидать, но чтоб и люди об этом знали.

А вообще привыкшие к обилию товаров канадцы покупают осмотрительно, цену своим деньгам знают; стюардессам подолгу приходится держать улыбку на лице.

Почему-то с прошлого полета запомнились мне бумажные тапочки японского производства, на которых было крупно оттиснуто: «Аэрофлот». Их раздавали пассажирам, словно бы предстояло не над континентом, морями и океаном лететь, а посидеть у камина, вытянув ноги к огню. Цена этих тапочек копеечная, а смысл в них был. Помимо психологической устойчивости в полете, помимо того, что сами они — памятный сувенир, преследовали они еще одну немаловажную цель: удержать пассажиров в кресле. Ведь и газированная вода и соки, которыми через определенные промежутки времени обновлят стюардессы, и обед — все это помимо своего основного назначения имеет ту же цель: подольше удержать пассажира в кресле. Чтоб он сидел, дремал, лежал, но не ходил. Не нарушил центровки самолета. Это вообще интересный современный принцип: удерживать на месте не приказом, а удобствами.

Честно говоря, я ждал этого момента: вот войдем в самолет, сядем, и тут-то мои спутники будут удивлены. Но тапочек почему-то в этот раз не было. «Аэрофлот» — крупнейшая в мире авиационная компания, и уж в своей стране ему наверняка конкурировать не с кем.

А вообще люди быстро привыкают ко всему. Летим ведь над Европой, в той выси небесной, где обитать богам, а разговоры в самолете, как в учреждении. Люди говорят о том же, о чем дома не успели договорить.

Кто чинно сидит, кто стал коленями в кресло, перегнулся через спинку к соседу и вот так, задом наперед, летит над городами и странами: Голландия, Дания, Бельгия мелькают под ним. Впрочем, и мелькания не разглядишь: облака, облака, облака. Такой полет, как изучение истории по школьному учебнику: перевернул страницу — минул век. А то и несколько веков сменят друг друга на одной странице.

Вот и тут, пока ты страницу журнальную без интереса перевернешь, средней величины европейская страна внизу промелькнула. Со всеми ее древними городами, где столько событий протекло. Ничему нынче не удивляются. Да и как-то некогда удивляться. И шальная мыслишка: пусти современного практичного человека в рай, увидит он райские сады и кущи и спросит первым делом: «Скажите, чем вы тут опрыскиваете плодовые деревья?» А потом, спокойно сорвав, откусит яблоко на пробу, не ведая сомнений, не страшась познания: просто в целях обмена полезным практическим опытом.

Садились мы в Париже под громкие аплодисменты. Это когда по-русски, по-английски, а затем уже по-французски объявлено было, что наш самолет приземлился сейчас в аэропорту Орли. Вот тут захлопали в ладости франко-канадцы. Их было полсамолета, и это была самая шумная его половина.

Теперь так устроено в современных аэропортах, что вы никуда не спускаетесь и не подымаетесь по трапам, вас не ведут и не возят по бетонным полям аэродромов, а, оставив висеть на плечиках свои пальто, вы прямо с ковра переступаете на ковер. Самолеты один за другим подруливают к аэровокзалу, как жабрами присасываются передней дверцей к выдвижной гармошке коридора, и из воздуха одного помещения пассажиры переходят в воздух другого помещения — все по коврам, по коврам, по синтетическим полям ковров, желтых, зеленых, красных, голубых, постепенно заряжаясь от них статическим электричеством. И уже небезопасно поцеловаться со встречающими: они тоже спешили сюда по коврам, они тоже заряжены электричеством — бьет током поцелуй, из губ в губы стреляет крошечная молния.

Можно облететь полмира и ни разу не вдохнуть ветра, не ощутить запаха пусть уж не сырой земли, а хотя бы политого асфальта. Аэропорты разных стран одинаково

пахнут парижскими духами, американскими сигаретами, бразильским кофе. И тот же многоязычный говор. И мир — сначала через иллюминаторы, потом через сплошные стеклянные стены от пола до потолка. И снова через иллюминаторы сверху, и снова сквозь стеклянные стены гигантских аквариумов, внутри которых люди, как привлеченные светом рыбы, суются головами в уютные пещеры киосков, освещенных огнями реклам.

По моим часам, которые все еще показывали московское время, был ранний вечер: в конце октября шестой час — это уже начало вечера. А парижское солнце стояло высоко в небе и светило, как летом; здесь еще начало третьего. Но не первый раз я замечаю власть цифр над собой. Зрительно так и связалось в сознании: шестой час вечера, и яркое солнце над аэропортом. Мы как раз стояли у стеклянной стены, за которой на воле прогуливались полицейские в высоких кепи, и европейские машины, заметно уменьшившиеся в последние годы, то скрывались под площадью, то из лабиринтов подземных гаражей возникали на другом конце ее асфальтового пространства. А солнце встречно слепило глаза.

Сорок минут, пока сменяется экипаж, — это сорок минут кружения по залам. В город выйти нельзя. У всех входов и выходов, расставя ноги в темных брюках, полицейские: голубые рубашки, черные кобуры пистолетов.

Удивительной силой притяжения обладают телефоны-автоматы, когда тебе совершенно некому звонить. Повсюду: в простенках, на стенах, у колонн, в будках, в прозрачных пластмассовых полусферах — телефоны, телефоны новейшей конструкции. И почти все они свободны, прорези для монет ждут, трубки ждут.

А в киосках среди прославленных на весь мир копьевиков, фромажей, то есть сыров, среди фруктов, сладостей, колбас, бюстов, бюстиков Наполеона, газовых зажигалок, бронзовых пущечек тех давних времен, игрушечных солдат в медвежьих шапках, журналов в глянцевых обложках и ярких книг карманныго формата, среди пудры и духов, в незримых, накатывающихся на вас волнах аромата живо болтают француженки, каждая из которых — чудо юности и косметического искусства. От современных моющих средств волосы их воздушны и шелковист опрыснувший их лак, маникюр вновь ярок, а вечный загар на лицах такого естественного тона, словно все они только что с юга: и летом, и осенью, и зимой. Впрочем, и тон и

остальные чудеса косметики — все, все, кроме вкуса,— здесь же и продается в изящных коробочках, во флаконах, сверкающих гранями. Ну а вкус воспитывался, надо полагать, примерно так же, как в Англии создавали газон: «Очень просто: сеем траву и регулярно подстригаем. Лет сто подряд...» Как в Японии вывели карликовые сады: за каждым крохотным деревцем — поколения и поколения людей, терпеливо растивших его.

Есть легендарная история про то, как Америка была отдана французами за бриллиантовое ожерелье. Впервые рассказал мне ее гостивший в Москве французский писатель, президент Гонкуровской академии Эрве Базен. «Вы продали Аляску за семь с лишним миллионов,— сказал он,— а мы в свое время и Америку и Канаду отдали за бриллиантовое ожерелье». И не без доли иронии, но, как показалось мне, и не без некоторого сожаления рассказал, что в ту пору, когда еще решалось в единоборстве, чьим станет Новый Свет, французам не хватило полка, одного лишь полка не хватило им, чтоб одолеть англичан. А не хватило потому, что любвеобильный король Франции подарил даме своего сердца бриллиантовое ожерелье. Не подари он ожерелья, снаряди на эти деньги полк солдат, быть может, и Канада и Америка стали бы французскими и многое в истории пошло бы другим путем...

Разумеется, к легендам надо относиться, как к легендам. Тогда они интересны и сохраняют обаяние. Не надо сразу же на основе их переигрывать проигранные сражения. Но мне все чудилось на шеях оживленно болтавших француженок то незримое бриллиантовое ожерелье. Женщины в истории Франции играли немалую роль. И не всегда ту, что сыграла Жанна д'Арк. Но реки вспять не текут, а приговор истории всегда окончателен и обжалованию не подлежит.

Скорей всего мало кто из этих милых парижанок помнит, думает о легендарном ожерелье. И уж если бы пришлось выбирать вновь, кто знает, что выбрали бы дамы. Америку? Канаду? Или все-таки бриллиантовое колье?

Отражаясь в стеклянных стенах, в полированных поверхностях, в мимолетных, никому отдельно не предназначенных улыбках продавщиц, совершает свое круговращение разноязычный поток пассажиров: днем, ночью, летом, зимой. Возникают, исчезают, вот уже новые наклонились над стеклянными витринами. И эти исчезнут, не оставив следа, не задержавшись в памяти.

Вот ведь странно, если подумать: лучше чем живых, сегодняшних, я знаю в Париже тех, кто никогда не жил. Я слышу их голоса, я вижу их лица. Все они созданы могучим воображением, и для мира воплотили в себе Францию и французов.

Лет пятнадцать назад, когда я впервые оказался в этом городе, всей французской литературой воспетом, прославленном и ославленном, были в нашей делегации две переводчицы, две пожилые женщины. Всю жизнь переводили они французских писателей, а теперь наконец своими глазами видели то, что знали по книгам. Они все ахали, все всплескивали руками: «Боже мой, ведь это же вот этот дом! Это он, вот он...» Они разыскали дом, в котором жил Гобсек, ходили по улицам, по которым ходил Растиньяк.

В наше время, когда не только книги, не только кино доступны всем, даже неграмотным, когда телевизор в каждом доме, кто не видел бульвары Парижа, его сиреневые туманы, набережные Сены? Но с воздуха, когда самолет разворачивается и косо встает земля с домами, улицами, машинами, бегущими по ним, сверху, с воздуха Париж похож на Черемушки. Это в центре, в сердце его — и Нотр-Дам, и шпили, и Эйфелева башня, но вокруг на огромном пространстве — прямоугольники прямоугольных домов с плоскими крышами.

Было шесть вечера по моим часам, когда мы взлетели, и те же шесть вечера, когда садились в Монреале. Как будто исчезло время: мы только поднялись в воздух, Земля мгновенно повернулась под нами, блеснув океаном, и мы опустились.

Но садились мы наперегонки с солнцем. Нам еще было лететь и лететь, а оно уже опускалось одним краем в облака, чтобы, пройдя через них, появиться над землей. И на необозримом пространстве, недавно еще сверкавшем белизной, все задымилось в косом свете, потянулось вверх. Облака были тревожно-розовые со стороны заката и сиреневые, серые с востока; в них образовались угольно-черные пропасти.

Если бы мы летели сейчас нашим Ту-144, скорость которого вдвое превышает скорость звука, или на англо-французском «Конкорде», удивительное открылось бы зрелище. Солнце не опускалось бы, а, наоборот, вставало бы с Запада навстречу нам, словно крутят назад кинопленку.

Но мы пока что отставали от времени, и солнце погрузилось в тянувшийся к нему дым, раскаленное, стало меркнуть в глубине его, и мы, срезав верхушку облака, вошли следом в одну из темных пропастей. Замелькали, замелькали рваные хлопья, и вдруг исчезло движение, мы словно повисли в пространстве: одинаково серо во всех иллюминаторах, только глуше, сильней ревут турбины. Ярко вспыхнул электрический свет, отразившись изнутри в черных круглых окошках. Под белым сводом потолка в неподвижных креслах сидели люди в своем отдельном электрическом мире посреди гудения турбин.

Вновь замелькало в иллюминаторах, мы вышли из облаков под их толщей. Был уже вечер на земле, гасла широкая полоса заката, разделив небо и землю. И наш самолет кружил в закатном свете. А на земле, на всем пространстве под нами сияли россыпи электрических огней. Несколько раз плоскость с мерцающими огнями подымалась косо, стеной вставала то с одной, то с другой стороны, пока мы заходили, нацеливаясь на посадочную полосу.

А потом в потоке пассажиров мы шли по аэродрому, и это был уже Монреаль. И это был все еще тот же день.

Последнее время в мире только и разговоров про энергетический кризис. Ну, конечно, не во всем мире. Мир в наше время слишком разный. Одни люди от дела к делу перелетают самолетами, и настолько это стало их бытом, что, едва вошли, сели, сразу же спинку кресла в положение «полулежа», темную повязку (специально возимую!) — на глаза, томпоны — в уши: чтоб свет не беспокоил, чтоб шум не будил. И успевают выспаться за дорогу, и выходят в месте назначения бодрыми, с первой минуты готовыми функционировать. Для других и сейчас еще не настал век колеса. Но то, что называют Западом, что само себя именует цивилизованным миром, эта часть света ощутила вдруг толчок тревоги.

Все так же бегают во всех направлениях по телу Земли миллионы, сотни миллионов машинок, и Земля со всем, что растет на ней, что воздвигнуто людьми за тысячу лет, что бежит по ней и над ней летает, все так же она вращается вокруг Солнца и ночь сменяет день, а зима сменяет лето, но отныне новая тревога поселилась. Таким вдруг зависимым, непрочным показалось все это человеческое сооружение, этаж над этажом тянувшееся

вверх, как небоскреб, светящееся, сверкающее, стеклянное. Чуть тряхнуло из глубины фундамента, и зазвенели жалобно все люстры, люстрочки, все эти стеклянные подвесочки: чем выше, тем страшней.

А ведь бывали, если вспомнить, полуанекдотические предупреждения. Несколько лет назад в Нью-Йорке крысы перегрызли электрический кабель, вызвав короткое замыкание огромной силы. И жизнь стала. В шахтах небоскребов повисли лифты, остановились поезда в туннелях метро, прекратилась подача воды, воздуха, нагнетаемых все той же электрической энергией... Потом вновь вспыхнуло еще ослепительней: во всех окнах, на всех экранах. Но в те мгновения дано было людям испытать, на какой тонкой ниточке подвешено их благополучие. Единственные из всего живого окружающие себя искусственной средой обитания, люди становятся беспомощными, как только перестает работать на них энергия, которую они привыкли вызывать нажатием кнопки. Без нее уже и ведра воды не могут добыть себе: негде добыть его в городе.

Конечно, не избыток учит всегда людей уму-разуму, а недостатки и нехватки; они бывали лучшими университетами. Может случиться, что сегодняшняя нехватка энергии приблизит избыток ее.

Но Канада и сегодня производит такое впечатление, как будто энергетический кризис и вызванное им беспокойство еще не докатились до ее берегов. Это самое внешнее и самое первоначальное впечатление.

Мы приземлились в Монреале, когда на земле уже не солнце светило, а электричество. И вскоре среди огней мчались по шоссе к еще более ярким огням города, в котором живет каждый девятый канадец. Широкие американские машины мчались рядом с нами, обгоняя нас, отставая от нас. И машина, в которой мы сидели, была тоже американская и таких же внушительных размеров: что-то шести или семи метров в длину. Словом — три баскетболиста, рукой достающие до корзины, могли улечься по длине ее. И один — поперек. Если что и поражало в ней, так именно пустые пространства внутри самой машины: зачем их столько? И некоторая пустота шоссе тоже была заметна. В расчете на душу населения машин в Канаде не меньше, чем в Соединенных Штатах Америки, но здесь меньше людей: примерно в десять раз меньше. И на каждого человека в Канаде приходится по озеру. Где это еще встретишь: озер в стране столько же,

сколько людей. Даже больше: на двадцать два миллиона человек двадцать три миллиона озер. Конечно, соотношение это временное. Количество озер, надо полагать, не будет увеличиваться. А вот люди прибывают в Канаду, едут со всего света, и даже из ее прародительницы, из старой Англии, из Франции переселяются сюда. Многие — уже выйдя на пенсию, доживать век. Или, наоборот, в поисках работы.

Большинство озер — на севере, в лесах, в пустынных тундрах. А города, дороги, жизнь — все это, в основном, в стопятисоткилометровой полосе вдоль границы с Соединенными Штатами. Если лететь от нее на север, кончается города, поля, потом лес будет становиться все ниже, ниже, а дальше — снег, один снег.

Но Монреаль — на юге Канады. Он расположен на той же широте, что и наши Краснодар, Керчь, Ставрополь, но только по другую сторону планеты. И вот мы мчались к нему по асфальтовому шоссе. Впрочем, нельзя сказать «мчались», потому что в этих больших, с низкой посадкой, широких и очень устойчивых скоростных машинах почти не ощущается скорость. Только тише становится в ней, отрешенней, глушше. Как по вене кровь, течет под цифрами красная жидкость: 60, 80, 100... Пулей проскаакивают встречные машины. На почной фотографии они, как пейтроны, оставляют сплошной светящийся след. А вести машину может даже девяностолетняя леди: всего управления тут — руль, газ и тормоза. Это — детище хороших дорог. Такие дороги строят медленно, но один раз и надолго. Земля под ними погребена под таким мощным бетонным надгробием, что и не дышит она и не всучивает ее от разницы летних и зимних температур. И скользят машины, проносятся с ветерком по ровной пустыне асфальта.

Город возникал впереди на огромном пространстве, выше подымались электрические небоскребы в освещенное небо, и мне казалось, я уже видел его шесть лет назад в Соединенных Штатах Америки.

На эстакаде, по которой текли встречные потоки машин, человек в каске и яркой оранжево-желтой робе махал красным флагом, сдерживая движение. Он стоял на возвышении, видный всем, и равномерно и безостановочно махал перед машинами своим флагом. Только когда свет фар ударил в него, стало видно, что это мансекен.

Наш отель — «Холидей Инн». Пока мы приближались к нему, несколько раз возникало в вышине и заслонялось домами неоновое, светящееся, как из зеленого льда выгнутое «Holiday Inn». А позади него на небоскребе стриг темноту счетверенный прожектор: четыре луча, выпущенные в четыре стороны, вращались, мелькали, вращались.

Сразу же предстояло нашей делегации первое деловое свидание: встреча с чиновником канадского министерства иностранных дел. И все, что уточняется в таких случаях: программа поездки, города, которые делегация посетит, университеты, в которых будут встречи со студентами и профессорами. И неизменное «по problem» в конце, когда становится ясно, что новых предложений выдвинуто не будет или предложения настолько не связаны с затратами, что принимающей стороне даже приятно удовлетворить их широким жестом: «по problem!»

Это «по problem» уже и в наш язык пропискать стало, уже и в Москве слышишь: «Нет проблем!» И жест чуть заморский, владетельный, все и всяческие препятствия отматающий. Ну, не купеческий, разумеется, а современный, цивилизованный, эдакий ко взаимному удовольствию, когда все всё понимают, на недозволенное не посягают и ни у кого никаких проблем.

Дорог миг первый, когда видишь из окна чужой город, а сам еще вроде не здесь — то ли ты еще летишь, то ли прилетел уже, — когда все смешалось и не вполне реальное; этот миг упускать жаль. Я потушил свет у себя в номере, подошел к окну. Сняли внизу огни города, текли огни между огнями. На всем видимом пространстве — ряды продольных и поперечных огней. А вдали... Как от нагретого воздуха колеблются огни свечей в церкви, так от тепла и испарений двухс половиной миллионного города мерцало и колебалось слитное сияние крошечных огоньков вдали, то ярких до блеска (каждый — сам бриллиант), то будто паром заволакивающихя.

Из стеклянных небоскребов, словно заполненных светящимся газом, из бесчисленных светильников, фар, бьющих в пространство, излучалась, источалась, выдыхалась бесследно энергия земли, которую все качают и качают из ее глубин.

Позже во многих городах Канады я видел освещенные небоскребы: и утром, когда еще никого в них нет, и в ра-

бочие часы, и ночью, когда они пусты. Рассказывают, что канадский министр иностранных дел — не нынешний, а предшественник его — захотел однажды выключить у себя в кабинете свет, уходя. Но он так и не смог этого сделать: не нашел выключателя. Да и нельзя найти того, чего нет: выключатель в кабинете у него не был даже предусмотрен.

Первую беседу с нашей делегацией проводил чиновник министерства иностранных дел мсье Жак Беллег. Он молод, а потому очень официален и старался держаться с молчаливым достоинством. Он недавно вернулся из Британской Колумбии, где сделал первые шаги своей карьеры: климат Британской Колумбии оказался неподходящим для его семимесячной дочки.

Это такой прекрасный возраст, это даже не возраст еще — семимесячная девочка. И запах детский, особенный, когда она — проснувшаяся, теплая, и ты берешь ее на руки. Честно сказать, я даже завидовал ему.

У мсье Беллега очень белая кожа; такая обычно раздражается при бритье. И прекрасная волнистая каштановая, с золотым блеском бородка. Не острая д'артаньянская, а шкиперская, вокруг всего лица, но щеки и подбородок и вокруг губ выбрито тщательно.

Странную власть имеет над нами звучание самих слов. «Британская Колумбия...» Как будто это не одна из провинций Канады, а все еще заморское колониальное владение. И молодой чиновник, делающий там первые шаги своей карьеры...

У мсье Беллега женственно-белые тонкие пальцы, тихий голос и за стеклами очков в золотой оправе — кроткие глаза, взгляд которых сейчас официален. Мне нравилось посреди разговора — и в этот день, и позднее, когда мы вместе обходили достопримечательности Монреаля, — спрашивать его о дочке. И особая официальность, и столь выраженное достоинство — это от неуверенности в себе. И оттого еще, что приезд нашей делегации по соглашению о культурном обмене — первый в практике Канады и СССР. В сущности, и практики такой еще нет. И потому излишняя настороженность. Но дети во всех странах — дети. Когда рука семимесячной дочки с мягкими еще ноготками тянет отца за бороду, чье сердце не сожмется сладко? Будь ты чиновник, делающий первые шаги своей дипломатической карьеры, будь ты хоть премьер-министр.

Через девятнадцать с небольшим дочки мсье Беллега будет уже двадцать лет. Как это много. И как это скоро в жизни. Но он еще слишком молод, чтобы задумываться о таких вещах.

ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ

В каждой стране есть город, которым особенно гордятся, который, считается, непременно надо посмотреть. В Канаде все спрашивали нас: «Вы видели Ванкувер?»

Мы были в Ванкувере двое суток, и двое суток лил дождь.

«Ах, там всегда дождь!..»

Пять часов полета разделяют Монреаль и Ванкувер. Пять часов — это вдвое больше, чем лететь от Москвы, скажем, до Софии. И вдвое меньше, чем от Москвы до Токио. Вот каковы расстояния в Канаде, под стать нашим просторам. Недаром она вторая страна мира по площади. И вся — от Восточного побережья до Западного, от берега до берега, как говорят канадцы, простирлась между Монреалем и Ванкувером. Две трансканадские железнодорожные линии, по которым везут лес, цветные металлы, хлеб из степных провинций, заканчиваются в порту Ванкувера.

Ветры, веющие над великим водным простором, над Тихим океаном, пригоняют сюда облака и дожди. Они и пригнали к этому берегу почти двести лет назад корабль капитана Ванкувера, чье имя носит теперь третий по величине город Канады с населением в миллион человек.

А тогда стояли так же на берегу секвойи, вершинами подпирая небо. Две сотни лет в их жизни — малый срок. И на мокрых камнях, над серой водой — белые чайки, такие же нахолившиеся, как сейчас. «Чайки вились у них за кормой, чайки вернулись домой...» Не здесь это сказано, но сказано про всех, кто уходил от берегов, не ведая, вернется ли. И все же уходил.

То одна чайка, то другая взлетает с камня. Сложив крылья, устремляется головой вниз в воду. Выныривает с рыбой в клюве. И тотчас же другие кидаются отнимать. Писк, мелькание белых крыл — все рябит в глазах. А эта спешит заглотнуть рыбу, живую еще, только что из воды выдернутую.

Потом опять все успокаивается. Сонно сидят чайки.

гряя телом озябшие лапы. Пологая волна бьет о камни измочаленное бревно: ударяет и уволакивает с собой. И вновь накатывает его на камни. Лежит на берегу откуда-то принесенное, вывороченное дерево, черное и мокрое; корни выполосканы чисто. Это еще не океанская волна: дальше — остров Ванкувер, огни, стальной мост, новисший над водой. А уже за островом — Тихий океан, иные просторы.

Над самым берегом, за спицой у нас, проносятся по мокрому шоссе машины с зажженными фарами. Еще не вечер, и дождь перестал, но сырьо, мгла висит.

Среди деревьев в Стэнли-парке, на освещенной поляне, где хрустит и скрипит под ногами крупный песок, выставлены свезенные сюда отовсюду индейские тотемы; широга под специально для нее построенным навесом. Сколько нужно было терпеливого труда, чтобы вырубить ее из целого ствола огромного дерева. А бескрайнее время текло тогда так медленно, и ощущима была вечность, и человек сознавал себя частью Великой Тайны, частью ее покоя, как вот это небо над головой, ветер дарящий, мягкая под ногами трава...

Тотемы тоже вырезаны из целых стволов дерева: медвежьи морды, орлиные клювы, устрашающие раскрытые пасти. Яркие краски, мокрое от дождей дерево, кое-где подгнившее, трухлявое. Каждый род носил имя своегоtotема — медведя ли, белки, орла, чьи головы вырезаны из дерева. И поклонялись этим животным и почитали их. Конечно, ни убивать их, ни в пищу употреблять их мясо нельзя было. А само слово «totem», в переводе означающее «его род», дошло до нас из языка индейцев оджибве, оджибуэев, которых и истребляли и изгоняли недальние предки тех людей, что свезли сюда и выставили теперь для обозрения эти тотемы.

Если спросите — откуда
Эти сказки и легенды
С их лесным благоуханьем,
Влажной свежестью долины,
Голубым дымком вигвамов,
Шумом рек и водопадов,
Шумом, диким и стозвучным,
Как в горах раскаты грома? —
Я скажу вам, я отвечу:
«От лесов, равнин пустынных,
От озер Страны Полярной.
Из страны Оджибуэев,
Из страны Дакотов диких...»

Это написано, когда еще и города Ванкувера здесь не было.

А вот в наши дни пишет воождь индейского племени капилано Дан Джордж, племени, которое жило здесь, когда этот край не считался еще провинцией Канады и не был назван Британской Колумбией:

«Я родился во времена, когда люди с любовью относились ко всему, что их окружало, когда они давали прекрасные имена окружавшим их предметам и вещам... Я родился в те времена, когда люди любили природу и разговаривали с ней, как с живым существом. Однажды мы плыли с отцом по Иядлан-ривер. Мне было тогда совсем мало лет, но я помню, как отец любовался ярким солнцем, освещавшим вершину горы, а потом запел — он благодарил природу, как всегда это делал, произнося на своем родном языке чуть слышное «благодарю».

Племена жили, и охотились, и собирались на советы, и ополчались друг на друга, знать не зная, что на неких неведомых им Британских островах, рассылавших корабли во все части света и чуть ли не на полмира простирающих свое могущество, на этих островах, крошечных по сравнению со здешними просторами, давно уже, как мы теперь говорим, «состоялось решение». И вся страха, весь Запад и Север гигантского материка, со всем, что живет в его лесах и плавает в водах, летает над землей и с земли поражает на лету стрелами, с голубым дымком вигвамов, «шумом рек и водопадов» — все это вместе подарено британским правительством «Компании Гудзонова залива». Еще недостало у торговой империи средств и сил, чтобы протянуть руку и взять подарок, еще не дотянулась сюда железная дорога «Canadian Pacific», но судьба будущих поколений была предрешена. А жизнь здесь продолжалась, как сто, как триста лет назад, и Британские острова были дальше и неведомей, чем для нас теперь иная Галактика.

В разные годы по-разному ощущается связь времен. Помню, рассказывал Константин Георгиевич Паустовский, как уже немолодым человеком, оказавшись в горах Кавказа, в каком-то разрушенном замке, он вдруг почувствовал и понял «Илиаду», которую с гимназии знал.

Вот так для меня осенний этот день, когда в сыром воздухе Стэнли-парка светились яркие клены и желтые,

красные их листья все сыпались к подножию черных от дождей стволов, для меня на этой земле заново зазвучала «Песнь о Гайавате». И зримо все было:

И в доспехах, в ярких красках,—
Словно осенью деревья,
Словно небо на рассвете,—
Собрались они в долине,
Дико глядя друг на друга;
В их очах — смертельный вызов,
В их сердцах — вражда глухая...
Гитчи Манито, всесильный,
Сотворивший все народы,
Поглядел на них с участью.
С отчей жалостью, с любовью,—
Поглядел на гнев их лютый,
Как на злобу малолетних.
Как на скору в детских играх.
..Дал я земли для охоты,
Дал для рыбной ловли воды,
Дал медведя и бизона,
Дал оленя и косулю,
Дал бобра вам и казарку;
Я наполнил реки рыбой,
А болота — дикой птицей:
Что ж ходить вас заставляет
На охоту друг за другом?

Люди «любили природу и разговаривали с ней, как с живым существом», но враждовали между собой даже на кануне всеобщего бедствия. И земли, которые и теперь просторны и по сравнению с Европой мало заселены, казались им тесными. Раскрасив тела и лица боевыми красками, теми самыми яркими красками, которыми так чудно раскрашены пережившие их тотемы, они оттесняли друг друга из охотничьих угодий, и лилась, лилась кровь, а доблестью считалось отнять жизнь у такого же, как ты. Потом обрушилось бедствие. На всех вместе, «и словно инвалом смело напрочь целые века».

Вместе с европейцами пришла сюда оспа, пришел голод, когда огнестрельным оружием истребили бизонов. И исчезали с лица земли так и не помиравшиеся между собой племена — и обидчики и обиженные, — исчезали, не успев отомстить друг другу. Особенно тяжело пострадали индейцы прерий, ныне самых хлебородных провинций Канады, откуда во многие страны мира через Ванкувер вывозят теперь зерно.

Столько с тех пор возникло городов на земле, столько поколений родилось и ушло навечно! «Юношей я очутил-

ся уже в самой середине ХХ века... Неужели только вчера человек облетел вокруг Луны? Мы с вами до сих пор не перестаем удивляться, как быстро люди преодолели это огромное расстояние. И все же мой путь,— пишет вождь индейского племени,— был намного длиннее, и я прошел его в еще более короткий срок. Я родился тысячу лет назад, в век стрелы и лука. Понадобилось время, которое равно всего лишь половине человеческой жизни, чтобы перенести меня в век атомной бомбы, а расстояние от лука и стрелы до атомной бомбы намного больше того, что отделяет нас от Луны».

Не осталось уже на Земле певедомых земель, а сознание человека работает там, куда раньше не проникало даже самое смелое воображение. Но почему уже и сегодня так тревожно звучат эти слова:

Что ж ходить вас заставляет
На охоту друг за другом?
...Ваша сила — лишь в согласье,
А бессилие — в разладе.
Примирайтесь, о дети!
Будьте братьями друг другу!

Из будущего Земля наших дней, наверное, покажется обильной еще и малозаселенной. И странной будут выглядеть нынешняя расовая, национальная рознь на многих континентах, которая временами все затмевает в сознании людей. Ведь странна же нам сегодня межплеменная рознь индейцев. Они и для себя уже, для многих сегодня не столько «сиу», «черногорие», «квакиутль», а — индейцы. Общее бедствие соединило их.

И все мы вместе, населяющие Землю,— человечество. Вместе нам хватит и места на ней, и ее богатств, которые мы способны даже преумножить. Вродь люди могут только разграбить планету и погибнуть. И это самое страшное бедствие, которое нависло сегодня над человечеством.

Дождь, унявшийся было, пошел опять, слышный в вершинах. Но над мокрым асфальтом было видно, как он сыплет в свет фар бегущих машин. Потом закапало с листвьев, закапало с ярких клюзов деревянных орлов.

Потомки индейских племен, чьи тотемы вот так вместе свезены сюда, считаются сегодня лучшими в мире верхолазами. Говорят, индейцы лишены боязни высоты. Так ли это, или они могут подавлять в себе страх, при-

сущий большинству людей, но монтажники-высотники идейцы строили и строят многие небоскребы, многие банки Америки, Канады, работают на головокружительной высоте.

РОБИНЗОНЫ

Однажды я проделал несложный опыт. Появилась статья о нашумевшем уголовном деле, были напечатаны фотографии тех, кто задержал преступников, фотография убитого: видимо, перепечатали увеличенную домашнюю фотографию. У него было длинное, неправильное лицо. По первому взгляду лицо бесхарактерного человека. Такие люди бывают мягкими, безотказными в обычной жизни и очень твердыми в тот главный, смертный час, когда решается, кто же ты и на что способен. Он и был таким, этот человек: безоружный, не испугался вооруженных преступников.

И вот, пересказав в общих словах содержание статьи, я дал своему знакомому посмотреть фотографию убитого, но сказал, что это — убийца. И, подготовленный мною, он тут же нашел все характерные черты преступника: и признаки вырождения в лице, и явную жестокость, и многое другое увидел он.

Люди часто смотрят на мир не своими глазами, а видят то, что им внушено. Известен эксперимент американского психолога П. Уилсона, один из многих подобных экспериментов. В колледже его из аудитории в аудиторию, сопровождаемый преподавателем, ходил некто, называемый мистером Инглэндом. В разных аудиториях он был представлен по-разному: студент, лаборант, доцент и, наконец, «профессор Инглэнд из Кембриджка». Заметьте, из Кембриджа, одного из лучших колледжей, чья марка ценится высоко. Когда гость ушел, студентов попросили сказать, какого он роста. И выяснилась странная вещь: увеличиваясь в звании, в своем значении, он в глазах студентов одновременно увеличивался и в росте. «Профессор Инглэнд» оказался выше «студента Инглэнда» на пять дюймов, то есть на 12,5 сантиметра. При этом рост преподавателя, который сопровождал его, не менялся; во всех аудиториях его определили примерно правильно.

В Ванкувере мы как-то сели в такси, вызванное нашим канадским переводчиком Никитой Борисовичем Ки-

рилловым. Надо сказать, в Канаде система вызова такси крайне проста. Никита Борисович вызывал машину отовсюду: из отеля, из музея, из автоматной будки посреди парка. И указывал при этом место, где нас найти, и еще называл свою фамилию.

Обычно иностранца, даже без акцента говорящего по-русски, допустим, англичанина, легко бывает узнать, когда он произносит английскую фамилию. Или название английского города. Он обязательно произнесет их так, как они звучат в английском языке. Впечатление такое, что вот говорил человек по-русски и вдруг соскочил на английский, где ему все родное, где он и свободней и естественней чувствует себя. Никита Борисович, наоборот, свою русскую фамилию произносил применительно к слуху англичанина: «мистер Кириллб». И тут же — по буквам: «Кэй, ай, а-а, ай, эл, эл, оу, ви». А чтобы уж и вовсе не спутали, иной раз вызывал такси на «мистера Смита». И в разных городах машины прибывали всюду, куда указывалось: к факультетскому зданию университета, к случайному ориентиру в парке, к закусочной на углу, где мы оказались в дождь и откуда ехать надо было на край города.

Так вот, в Ванкувере сели мы в такси. Никита Борисович по-английски сказал, куда ехать, и мы заговорили между собой. Едем-едем, и вдруг шофер спрашивает:

— Вы русские?

— Да, — отвечаем. — То есть «yes». (Уж настолько-то и нам понятно по-английски: различить «russian?» и сказать «yes».) А как, мол, вы узнали нас? И ответ предвидим заранее: разумеется, по разговору узнал.

Нет, оказывается, не по разговору. Еще когда мы только в машину садились, он сразу определил, кто мы: по плащу. И, довольный своей проницательностью, указывает на плащ Никиты Борисовича. А на Никите Борисовиче как раз был английский синий плащ. И не просто английский, но в самом Лондоне купленный. И вот по нему-то и определил шофер, что мы русские.

Это очень интересно сопоставить, что народы думают друг о друге, как они себе друг друга представляют. Конечно, в разные времена и представления разные. Например, одними видели нас в войну, другими видят теперь. А ведь мы не были другими и другими не стали, хоть многое, конечно, с тех пор изменилось.

Если собрать и напечатать представления народов друг о друге, не сомневаюсь, откроются вещи, поразительные по нелепости. И это не так уж смешно. Потому что незнание и его крайняя степень — невежество бывали причиной слишком многих трагедий. Стоит убедить, что другие люди не такие, как мы сами, в них все иное, хуже, гаже, и убийство покажется делом правым и справедливым. Собственно, это и делали всегда, готовя народ к захватам чужих земель, к агрессии, грабительским войнам.

Но есть зеркало, в котором все мы отражены такими, какие мы есть. Это зеркало — искусство. У различных художников побуждения могут быть разные, даже честолюбивые — «Вот я удивлю мир! Вот прославлюсь!» — но в целом «служенье муз не терпит суэты». Искусство не создается на экспорт к слухаю, как печатают буклеты и рекламные альбомы: все на глянце, все в ярких красках, пляшущее, веселящееся, поющее. Искусство — оно прежде всего для себя самих. В нем воплощен дар и потребность народа осознать себя, свою выразить душу на пути искания правды и смысла жизни. И потому, читая непредвзято, тут можно понять парод и узнать его.

А еще потому можно понять, что искусство создает и почву для понимания: оно располагает к искренности, сплачивает людей, опираясь на общую для всех рас и народов способность переживать чужую боль, как свою. И читают люди про других, а переживают как за себя.

Для музыки сегодня практически нет преград. В прежние времена, чтобы музыка была услышана в другой стране, должен был состояться торжественный акт концертного исполнения, когда она прозвучит для публики, прочитанная с нотного листа. Сегодня музыка звучит, поет, орет из всех динамиков. И пляшут под нее, и плачут под нее, и путешествует она по морю и по воздуху, компактно законсервированная в кассетах, переписывается запросто с пластинок (дисков) на что угодно, хоть на «косточки»: на рентгеновские пленки.

Но для книг, как в прежние времена, есть языковые барьеры. Они остались, они незыблемы. Чтобы книгу, скажем, русского писателя прочли на английском языке, ее надо прежде перевести и издать. А для этого мало даже прекрасных переводчиков и отличной полиграфической базы. Нужно еще желание разрушить и предвзятость и предубеждения. Ну и в такой стране, как Канада, нужна,

конечно, еще уверенность, что это предприятие окажется коммерчески выгодным. И не в дальнейшем когда-либо, а сейчас, сразу же, потому что канадские издательства по сравнению с издательствами их южного соседа — Соединенных Штатов Америки — пока что весьма маломощны.

Целью нашей поездки по программе культурного обмена, встреч со студентами и профессорами в колледжах, с издателями, писателями, художниками было не желание «мир повидать и себя показать», а намерение содействовать своим средствами сближению наших культур. А значит, сближению народов Канады и нашей страны. Вот по этой причине мы и ехали в тот день в Ванкувере в издательство «Тэлонбукс» на встречу, предусмотренную программой. И вез нас тот самый шофер, который по английскому плащу Никиты Борисовича определил, что мы русские. Ну и раз уж он так все мог определить и знал, стали и мы спрашивать его по дороге, что он знает о Советском Союзе. Какие города хотя бы? Но колеблясь, назвал он Москву. Подумал, повспоминал и довольно твердо назвал еще Ленинград. И, подводя теоретическую базу под свои не столь обширные знания, сказал нам:

— В этих городах живет большинство населения вашей страны.

Разрушать сложившиеся представления всегда как-то неловко. Но истины ради мы объяснили, что в этих двух городах живет примерно двадцать четвертая часть населения нашей страны, то есть каждый двадцать четвертый ее житель. А всего в нашей стране сегодня — двести пятьдесят четыре миллиона человек, в одиннадцать с половиной раз больше, чем в Канаде.

— О-о! — сказал он. И в этом «о-о» было много оттенков, точный смысл которых перевести не берусь. Но, несомненно, одним из оттенков была вежливость.

«Тэлонбукс», обозначенный в программе встреч, больше, собственно, никак и ничем означен не был: ни таблички у дверей при входе, вообще ничего. И само здание из фанерных щитов немного походило на большой вагон, снятый с колес и поставленный на землю, еще бы его завалинкой обнести.

Надо сказать, что в Канаде при ее небоскребах, железных конструкциях, сплошном стекле, нержавеющей стали, применяемой всюду и везде, многие дома строят из фанеры. Верней, из фанерных щитов. И они хорошо дер-

жат тепло, хотя зимы здесь, как известно, суровые. Но это фанерное здание даже на вид было какое-то очень некапитальное: решеточки на окнах, как в почтовом вагоне, узкая, непредставительная дверь... Никита Борисович первый засомневался: да по тому ли адресу мы приехали?

Когда делегация одной страны едет в другую страну и принимает министерство иностранных дел, показывать, что греха тантъ, стараются что-либо внушительное. Ну, скажем, Ниагарский водопад. И все остальное по возможности не меньше Ниагары. А тут с самого начала было что-то невпечатляющее. Никита Борисович пошел узнавать, на всякий случай не отпустив такси. Мы прогуливались, солидно храня молчание. Дождик накрапывал ванкуверский: «Ах, там всегда дождь!..» Вернулся Никита Борисович скоро: здесь издательство. Вот это оно и есть: «Тэлонбукс»...

Друг за другом по деревянной лесенке, как по трапу на палубу, стали мы подыматься. Наверху ждал издаатель, мистер Дэвид Робинсон. «Робинсон»... Это ведь, в сущности, Робинзон. Был он в джинсах, разумеется, носивших. В чем-то шерстяном на теле: свитере не свитере, но и не рубашке, а в общем, без ворота, с вырезом, и в этом вырезе — тоненькая цепочка на груди. Лицо смуглое, волосы черные, прямые, как у индейца, глаза узковатые, темные тоже. И лет ему... Ну, лет ему на вид, пожалуй, тридцати не будет. Помоложе немного.

— How do you do!

— Здравствуйте.

— Мистер Робинсон, миссис Лурье (рукопожатие). Мистер Ананьев (рукопожатие).— Дошла моя очередь. Рукопожатие. Хорошо хоть Никита Борисович представляется, а то на наших фамилиях, хоть и по бумажке начнут читать, не раз, бывало, вывернется язык. Не помню еще случая, чтоб их проехали гладко. Обычно же в один заезд и с разгона. А под конец еще тряхнет, как на выбоине: это где «ев»: А-и-и-и-еф. Ба-кла-и-офф.

— Хотите кофе?

— Спасибо, не хотим.

Сесть, между прочим, негде. И потолок низкий над головами, фанерный. Столы заваленные, проходы узенькие, на одном столе разложен макет.

— Вот это макет,— объясняет мистер Робинсон.

— Очень интересно...

Потеснились, давая пройти. Пробежало светловолосое, молодое, не очень причесанное:

— Кэтлин!

Кэтлин — в джинсах, в трикотажной кофточке-рубашке в обтяжечку, застиранной-застиранной. Но это она только по виду застиранная и вылинявшая: такой ее машины печатают — модно. А с модой спорят только глупцы. В одни времена модны тяжелые запавеси из бархата, в другое время актеры и поэты носят бархатные костюмы из этих самых штор: голубые, малиновые, зеленые. Или вот такое вылинявшее все, словно из всемирного потопа вынырнуло человечество, обсушилось слегка, а уж разглаживать что-либо негде и некогда. Так и ходят все, жатые и мятые. В модных магазинах никому не в удивление, а за дорогую цену продают джинсы, заранее уже жеванные, некоторые еще и с бахромой внизу. Когда-то, если по виду судить, такие вещи одни старьевщики покупали: из двора во двор, бывало, ходили они с мешком: «Шурум-бурум, старье бере-ом, стари вещи покупаем!..» Но это к слову, конечно.

А между тем происходит дальнейшее наше знакомство с издательством. Мистер Робинсон поясняет, мы что-то слушаем. По стенам — грубые, из досок стеллажи. На них — книги. И в картонных ящиках на полу — книги. И на столах горами — книги. Марка — «Telonbooks». Не глянцевая, чуть даже шероховатая на ощупь белая бумага, четкая печать, приятный для глаза шрифт, поля, на которых не экономят. Видна культура издательского дела. И это все не дорогие издания, переплеты не под кожу, даже не картонные: просто плотная бумага. Но есть в этой простоте вкус, который сам дорого стоит. Вкус ведь, как талант: он либо есть, либо его нет.

Мы берем со стеллажей, из ящиков, со столов эти книги, их не хочется выпускать из рук. И вот когда мы рассматриваем книги, спрашиваем, впервые что-то не официальное, а человеческое устанавливается между нами.

— У вас художник с хорошим вкусом.

— Мы заключаем контракт.

— Сколько вы платите за оформление вот этой книги?

— Четыреста долларов.

— А эта?

Дэвид Робинсон отвечает сдержанно:

— Это оформление предложил я.

Книг вокруг, как на складе. Они занимают почти

всю комнату. Но издателей мы видели пока что всего две живых души: Дэвид Робинсон и Кэтлин в соседней комнате. Она там печатает на машинке, сыплет как из пулемета.

Потом приходит еще один компаньон: Карл Сиглер. Он крупный, рыжеволосый, взгляд голубых глаз мягок.

Все спускаются смотреть типографию, а мы стоим с ним среди столов и книг и разговариваем. Он из Германии, из ее западной части. Родители его уехали через несколько лет после войны, он тогда был еще мальчишкой. Почему уехали? Не видели там возможностей — так он сказал. Почему в Канаде обосновались? Потому, что здесь все только начинается. Это, как он говорит, страна больших возможностей.

От него от первого услышал я фразу, которую потом много раз слышал в Канаде: «У нас еще колониальное сознание. Мы только начинаем создавать свою культуру».

Конечно, чтобы ясно представлять, все должно быть с чем-то соотнесено, нужен масштаб измерений. По сравнению с коренным индейским населением Канады все остальные жители ее — желтые, белые, черные — эмигранты. В разное время они приплыли сюда из-за океана. Или прилетели. Или в машине пересекли границу с Соединенными Штатами, для переезда которой всего-то и нужно показать водительское удостоверение.

Но в ином измерении Дэвид Робинсон может сознавать себя коренным канадцем: он здесь родился, не первое поколение его семьи живет здесь, а отец — известный в Канаде профессор географии. Словом, здесь его корни. К тому же он англоканадец, а ведь англоканадцы составляют 46 %, большинство населения страны. И я заговорил с Карлом Сиглером потому главным образом, что мне интересен был взгляд европейца, который и Европу помнит зритально, и на Канаду смотрит немного со стороны.

Но он смотрел на Канаду не со стороны, он ощущал себя канадцем. Не потому, что он здесь давно живет, окончил здесь колледж, а потому скорей всего, что он участвует в деле, которое молодо и все участники которого молоды и увлечены. Это очень важно для человека — сознавать себя не пришельцем на готовое, а знать, что и твоей рукой положен камень в основание.

Конечно, можно сказать и по-другому: ты-то себя опущаешь, а вот ощущают ли тебя? Но в том-то и дело, что

если тебя не желают признать таким, как все, даже если это скрыто приличиями, ты все равно почувствуешь первый. И острей, чем кто-либо.

Впрочем, само понятие «гражданин Канады» еще очень молодо, оно возникло только в 1947 году. Нынешние тридцатилетние граждане Канады родились еще гражданами Великобритании. А он родился в Германии, и это вторая причина, почему мне интересно говорить с ним. Был ли солдатом его отец в ту войну, которая для меня — часть моей жизни, а для него — историческое прошлое, или отец его не участвовал в войне, он все равно участник того, что было: активный или молчаливый участник. Давно и точно сказано Карлом Марксом: «Нации, как и женщины, не прощается минута оплошности, когда первый встречный авантюрист может совершить над ней насилие».

Меня просто не было бы на свете и не было бы детей моих, если бы победило то, в чем так или иначе участвовали его родители. И все это делалось, чтобы родился на свет он и жил, но чтобы миллионы детей, ставших теперь тоже взрослыми людьми в нашей стране, ставших отцами и матерями, чтобы они не родились и не жили. Потому что, как тогда возглашалось и вдалбливалось германскому народу, земля Германии не способна прокормить его и он вправе и должен отнять жизнь у других пародов, чтобы утвердиться на их земле.

Но та же самая земля Германии, казавшаяся тесной, кормит сейчас и кормит лучше, чем когда-либо. А для него, Карла Сиглера, вообще оказалось ненужным и неважным то, что унесло столько жизней. Он гражданин Канады. И занят делом ивлечен. И здесь, в Ванкувере, мы разговариваем с ним об издательстве «Тэлонбукс». А стольких нет! И в моей стране, и по всей Европе все еще скорбят матери, которым дана тяжкая доля пережить своих детей.

Вернувшись мои товарищи, которым Дэвид Робинсон показывал типографию, и все вместе мы прошли во вторую комнату. Кэтлин в своей линялого вида кофточке-рубашке, с правленной в джинсы, встала из-за машинки:

— Может быть, все-таки выпьем кофе?

Она разверла в кружках растворимый кофе, подлила сливки из пакета, на подлокотник дивана поставила сахар. Все делалось по-студенчески, кружки она раздавала в руки, потому что ставить их было некуда. Мне досталась большая керамическая кружка с обкусанным краем. Ну,

не обкусанным, конечно, откотым чуть-чуть. Я отхлебывал кофе, а когда записывал цифры в блокнот, ставил кружку на пол у ноги.

Все это помещение и мебель, на которой мы сидели,— случайные стулья, просиженные кресла, просиженный диван — все это они арендуют для издательства за пятьсот долларов в месяц. А само издательство пока еще в том возрасте, в котором у нас дети идут в первый класс: ему от роду неполных восемь лет.

Известные американские и европейские респектабельные издательства гордятся обычно своей стариной, тем, что владельцы их насчитывают не одно уже поколение, наследуя и приумножая дело. И непременно простоявший в проспектах год основания фирмы как бы показывает глубину заложения фундамента: столько, мол, бурь пронеслось над миром, а мы незыблемы...

Украшением «Тэлонбукса» служит пока что его молодость. И это тоже типично для страны, где многое только начинается. Юность нашего кинематографа была юность создателей его, ныне уже классиков, живых и тех, что смотрят с медаляй и гранитных барельефов. Увлечение юности Уолта Диснея дало миру мультипликационные фильмы, без которых дети сегодня уже не мыслят себя,— без «мультишек». И хотя искусство кукольника очень древнее искусство на Руси, образцовский кукольный театр тоже возник из увлечения юности Сергея Образцова, которому отец желал и готовил гораздо более солидное будущее, а потом имел основания гордиться сыном и сам ходил в его театр.

Я ничего тут не сравниваю, я только прослеживаю схожие процессы. Всю свою сознательную жизнь Дэвид Робинсон занят издательским делом. В школе он начал издавать журнал, который выходил четыре раза в год. Авторами его были, разумеется, одноклассники Дэвида. И назывался журнал «Тэлон».

В переводе «Тэлон» означает «коготь орла». Кому из нас в детстве не нравилось звучание таких слов?

В университете провинции Британская Колумбия, где Дэвид Робинсон семь лет учился на отделении канадской литературы, он продолжал издавать свой журнал. Печатал в нем молодых писателей, многие из них были все теми же школьными его товарищами. Они росли с ним вместе, никто не стремился издавать их книги, и тогда их книги решил издавать он. Так возникло издательство

«Тэлонбукс». Оно возникало и росло вместе с поколением. Почти у всех авторов, которые были представлены в последнем номере журнала, сегодня изданы книги. А первая книга с маркой «Тэлонбукс» появилась в 1967 году. На следующий год журнал прекратил свое существование.

Первая книга принесла издателям не доходы, а долги. Ведь люди покупают не книги молодых, никому не известных авторов, а бестселлеры.

— Но в тысяча девятьсот шестьдесят девятом году нас осчастливили мистер Фидлер.

Сказав это, Дэвид Робинсон посмотрел на четвертого своего компаньона. Посмотрел снизу вверх, поскольку он сидел, а Гордон Фидлер стоял в это время в дверях и скромно улыбался. Как, впрочем, и должен улыбаться человек, который всех осчастливили.

По первому предположению можно подумать, что мистер Гордон Фидлер в роли мецената дал издательству денег и тем обеспечил его расцвет. Не исключено, что он бы и дал — если бы имел. Но он обладал ценностями не столько материальными, сколько духовными скорей. У него было увлечение и была вера. И вот за 1 100 долларов с обязательством выплачивать по 100 долларов в месяц он купил, а вернее, в рассрочку взял печатный станок, сам научился печатать на нем и тем избавил издательство от существенной статьи расходов. С тех пор книги издательства «Тэлонбукс» печатает исключительно Гордон Фидлер, человек, осчастлививший всех.

Два года назад был взят в аренду печатный станок больших размеров и более производительный, и они надеются вскоре полностью расплатиться за него, он станет наконец их собственным.

Были годы, когда издательство выпускало всего по три книги. То есть по три названия при тиражах в две-три тысячи экземпляров. В прошлом году выпущено двадцать шесть книг. Это пока что потолок.

Тут Дэвид Робинсон извинился, и вместе с Гордоном Фидлером они ушли, поскольку прибыла машина и ее срочно нужно было разгружать. А дальше опять рассказывал Карл Сиглер, главный финансист и с нынешнего года партнер Дэвида и Гордона. Вот что он рассказал:

— Честно говоря, за восемь лет никогда не было дохода. Если сейчас оставить в стороне дотацию, которую дает правительство, издательство убыточно. С дотацией — доход, но доход видимый. Прибыль на бумаге, а денег

всегда не хватает. В прошлом году за объявленный доход в 22 тысячи долларов мы заплатили налог из своего кармана.

Тут он встал и на ксероксе скопировал финансовые показатели издательства в том виде, в котором они были представлены. И копии дал нам. Кэтлин все так же, сидя ко всем спиной, продолжала печатать на машинке. Потом вернулись несколько запыхавшиеся Гордон и Дэвид. За это время они вдвоем сгрузили с машины и внесли пятнадцать ящиков и погрузили двадцать семь ящиков.

Все четверо издателей были сейчас в этой комнате: Дэвид, Карл, Гордон и Кэтлин, вставшая из-за машинки только раз, чтобы налить кофе. И работу и доход они делят поровну: каждый получает по 500 долларов в месяц. В прошлом году они получали по 400 долларов, потому что из заработанных денег уплатили налог. И в прошлом же году среди двадцати шести названий книг, выпущенных издательством «Тэлонбукс», была книга профессора географии Робинсона, отца Дэвида. В издательстве, созданном тобою, издать книгу своего отца — что ж, тут есть чем гордиться.

— Но, кроме того,— сказал Дэвид Робинсон,— она хорошо разошлась.

На первом этаже, под лестницей, они показали нам оба станка: и первый, на котором начинали печатать книги, и тот, на котором печатают сейчас. Первый был совсем маленький, производства тридцатых годов. И нынешний был тоже старше каждого из них: он сделан во время второй мировой войны. Они пытаются продать первый свой станок, но что-то не находится покупатель. Может быть, это и к лучшему, что не находится покупатель. В Диснейлэнде сохранился старый деревянный сарай, где Уолт Дисней начал свои первые фильмы, когда еще не было славы, не было денег, а была молодость и увлеченность. Этот деревянный сарай показывают теперь как реликвию и гордятся им не меньше, чем сооружениями, которые воздвиглись поздней.

Кто знает, когда счастливей люди? Когда добились многого или когда сплошные трудности, недостатки, нехватки, но есть вера и все впереди.

Быть может, суждено им прекрасное будущее. Но хорошо и то, что уже есть у них теперь, у четырех этих робинзонов канадского книгоиздательского дела, острова пока еще малообитаемого.

ОКЕАНАРИУМ В ВАНКУВЕРЕ

Если бы не звонок среди ночи, мы бы, очевидно, не по-видали океанариума в Ванкувере. Впрочем, ночь в ту пору была не здесь, а в Монреале, откуда мы улетели утром: там был теперь час ночи, самый крепкий сон. Но мы все растягивали время, двигаясь за солнцем вслед, а оно уже обогнуло Землю с другой стороны, верней, Земля повернулась к нему другим своим боком, и в Москве наставал новый день, было семь утра. А здесь — еще десять вечера минувшего дня. По зимнему канадскому времени.

Просто переводится стрелка на часах. Но другие, биологические часы в каждом из нас показывают свое время, свой отстукивают ритм и не переводятся по желанию. Мы только начали привыкать к монреальному времени, как вновь оказались в другом часовом поясе, на Западном побережье, где солнце садится еще на три часа позже. Словом, для нас была глубокая ночь, когда раздался телефонный звонок над головой у меня. Плохо соображая спросонья, я на ощупь схватил в темноте трубку.

— Да! Алло то есть!

— Мистер Бакланоф?

И дальше — сплошь по-английски. Я включил настольную лампу. При свете все в номере стало на свои места, все сделалось понятней. А мужской голос продолжал говорить, и чувствовалось по интонации, пора уже что-то сказать и мне. Я знал фразу: «Я не говорю по-английски».

— I don't speak English.

Он извинился:

— Sorry!

Но сори-то сори, а говорить продолжает по-английски. Так мы беседовали еще некоторое время, наконец он спросил:

— O'key?

— O'key, — сказал я.

И оба мы положили трубки. Но самое поразительное обнаружилось теперь только, когда я взял в руку часы: оказывается, еще вечер. Снизу музыка слышна ресторанныя, сквозь потолки и полы. С улицы, отделенной гардинами и двойными стеклами, — устойчивое гудение моторов, как, впрочем, во всех больших городах мира теперь. Минуло безвозвратно время, когда по булыжной мостовой

цокали подковы лошади, когда над морями, как чайки, севшие на волну, парили паруса над чистым простором. И в море, и на земле, и в воздухе всевластно ревет мотор, наполняет улицы городов выхлопными газами, и каменные стены дрожат от его рычания, и тоненько вызывают стекла.

Снова раздался телефонный звонок.

— Господин Бакланов? Здравствуйте, с вами говорит Мария Лежебокова!

Ну, это уж совсем как из водевиля. И акцент, как изображают заграничных русских. И фамилия, как нарочно... А она сыпала радостно:

— Мы сейчас находимся на спевке в русском доме. Мне позвонил сюда Эрик Вуа...

Постепенно начало проясняться: Эрик Вуа (его-то голос я и слышал в трубке) — из Общества советско-канадской дружбы. И он ждет сейчас в холле гостиницы, внизу.

Понимая, что Фриде собирается дольше да и перелеты ей даются трудней, я постучал в номер Никиты Борисовича, извинился и объяснил положение.

— Что вы, что вы, пожалуйста, я тотчас буду готов.

Он вышел быстро, со сна глаза его за стеклами очков в первый момент были испуганные. Пока мы шли к лифту, и ждали, и спускались, он объяснял, что это его работа, пожалуйста, тревожьте в любой час, он готов и рад, ему оплачивают все то время, когда он работает с нами, но он точен в таких делах и лишнего часа себе не припишет, поэтому он попросту теряет время, если мы не пользуемся его услугами.

Внизу при ярком электрическом свете был ярко-красный ковер. Портые с лицом шоколадного цвета и расчесанными на глянцевый пробор иссиня-черными волосами что-то писал в книге, наклоня голову; мальчики с блестящими пуговицами на синих ливрейных костюмах стояли у белых колонн, а по белой лестнице, по двум ее маршам, сходящимся внизу, спускались кавалеры, ведя дам в длинных вечерних платьях; дамы коленями толкали тяжелый переливающийся атлас. И по красному ковру двигались пары к темно освещенному входу в ресторан, выполненному простым кирпичом. Там в смутном свете кружились тени и слышна приглушенная музыка. Все это казалось похожим на постановку из колониальной жизни, если еще учесть, что ты разбужен вдруг.

Мы сидели напротив этой белой лестницы, и господин Вуа говорил, что ему позвонили из Оттавы и вот он разработал целую программу, хотел бы нашей делегации показать город и очень, очень сожалеет, что мы здесь так коротко. Это трогало, конечно: на другой стороне земного шара тебя разыскивает человек, который тебя никогда не видел, которого ты не видел никогда, но он друг твоей страны и хочет, чтобы мы были его гостями.

Из ресторана, из темноты высакивали официанты и останавливались у лифта с подносами в руках. Блестели черные стекла окон, на них снаружи дрожали капли дождя.

— Но, может быть, я все-таки заеду за вами завтра и покажу вам океанариум? Вы не знали, что в Ванкувере есть океанариум? — Он посмотрел укоризненно на Никиту Борисовича. — У нас прекрасный океанариум! И у меня есть машина.

Машина была и у Никиты Борисовича: столько машин, сколько такси в городе. Но получалось ли по программе, что нам удастся поехать, мы не знали. И мы поблагодарили господина Вуа и некоторое время трясли друг другу руки, а он снова и снова настаивал, чтобы Никита Борисович непременно свозил нас. В нем уже говорил патриотизм гражданина города Ванкувера, он не хотел, чтобы гости из Советского Союза уехали, не повидав.

Среди дня действительно оказалось время, и мы поехали втроем: Анатолий Ананьев, Никита Борисович и я. Теперь столько пишут о дельфинах — и правды, и вымысла, и научной фантастики, — что, и не повидав, кажется, ты сам видел, как они прыгают в воздухе через кольцо, как человек мчится по воде, стоя на двух дельфинах, как на водных лыжах, и так далее и тому подобное, и я не сомневался, что и сейчас мы увидим дельфинов.

Но были здесь не дельфины, а их родичи более крупные: киты. Ну, разумеется, не кашалоты. И не медлительные синие киты, достигающие в длину тридцати метров и весящие сто, сто тридцать тонн. Один добытый синий кит рекордно весил полтораста тонн. С чем, обитающим на суше, можно сравнить этих гигантов, когда только язык кита весит столько же, сколько весит слон. В XX веке, по самым низким оценкам, было истреблено 325 тысяч синих китов, и сейчас во всех океанах, как считают, плавает их не более шестисот. Даже полное запрещение

охоты на них, даже если полное запрещение действительно будет соблюдаться, этот вид, возможно, уже обречен и ничто не спасет его. Китовый ус шел когда-то на дамские корсеты, на гибкую основу извозчичьих кнутов.

А для кашалотов несчастьем оказалось то, что в голове их есть большая полость, заполненная особым жиром, спермацетом, а в кишечнике иной раз попадается сырое разное вещество амбра. Не ведала природа, создавая их, что со временем парфюмерная промышленность оценит и амбру и спермацет и люди в лодках ринутся в океаны и ручными гарпунами, чем попадя начнут истреблять кашалотов, сами погибая при этом. А потом изобретут гарпунную пушку.

В океанариуме, в гигантском бетонном чане, глубиной примерно в два этажа плавали две белухи. А в еще большем чане плавали касатки. Сверху сыпал дождь: на воду в этих чанах-бассейнах, на залитые водой бетонные дорожки между ними. Вниз вела галерея, ее одной стеной был сам бассейн с плавающими в нем телами. И в этой стене — окна, чтобы из глубины смотреть белух.

В зеленой океанской воде медленно проплывали их белые тела; смещаясь перед окном, все длилось это непомерное тело. А когда они всплывали, поверхность бассейна срезала вздыбившуюся над водой спину, и шевелились свисавшие вниз белые ласты, и мягкий огромный колыхался живот.

Наверное, не было человека — ни взрослого, ни ребенка, — который, стоя перед этим окном, не постучал бы в конце концов белухам. И я тоже постучал в мощное стекло, за которым было еще одно стекло, выдерживающее напор всей массы воды и поворачивающихся в ней тел.

Несколько раз они проплывали мимо, то спину показывая, то бок. У одной белухи была в спине вмятина с человеческую голову: след глубокой раны в живом теле. Неровно втянулась внутрь кожа. А под этой толстой, как у бегемота, но белой кожей, под слоем жира была такая же красная, как у нас, кровь. Но горячей нашей: даже в арктических водах температура ее — тридцать восемь градусов. Если сравнивать с просторами океанов, тела китов там, как соринки. Непостижимо, что вся эта масса воды не охлаждает тепла их тела. И хотя слой жира держит это живое тепло, как в термосе, и хотя оно вновь и вновь воспроизводится энергией пищи, — все это непостижимо и все это совершенно, как создание природы.

Вдруг из-за бетонной стены выползла и просунулась к стеклу морда белухи, раскрытые в воде, глядящие на тебя глаза. Она казалась веселой. Она разевала пасть, такую же белую изнутри и кожаную, со стертыми зубами, не рыбьими, а, похоже, коровьими. Она терлась выступающим лбом о стекло и глядела оттуда. И было свое выражение в ее взгляде, в круглых, раскрытых в воде бесцветных глазах, как будто даже добродушных. Не из глубины чана, из глубины миллионов лет смотрели они и притягивали.

До сеанса кормления белух, когда все собираются смотреть, было еще много времени, и мы решили обойти лабиринты под землей с аквариумами в стенах. Не знаю, сколько разновидностей рыб, раков, раков — всего, что населяет океаны, моря, озера и реки, плавая и шевелясь в них, собрано здесь. Но столько чудесного, многоцветного, красивого или, по людским представлениям, уродливого выставлено в этих лабиринтах, что за один раз можно только обойти их, но не осмотреть.

Среди камней лежат в воде африканские крокодилы. Они такие мирные. Может быть, сытые? А пасть у каждого — как раз, чтобы схватить человека пополам. Года три назад где-то в Африке, чуть ли не на пляже, один такой крокодил на глазах матери, приехавшей развлечься и отдохнуть англичанки, схватил ее ребенка. И обомлевшие люди видели, как он тащит его в воду. Но мать кинулась следом, из пасти крокодила вырвала своего ребенка. И спасла. Газеты мира писали об этом. Кажется, были даже фотографии. Впрочем, если бы появились фотографии, показывающие событие, которое только еще должно произойти или даже вообще не произошло, тоже никто в мире не удивился бы. Мир нынче трудно удивить. Тысячи репортерских объективов смотрят отовсюду, готовые щелкнуть, страстно ждут сенсации, торопят, молят ее, нацелены на все, что будет, должно быть, может быть.

Любопытно, какая судьба ждет этого человека, в детстве побывавшего в пасти крокодила и выхваченного оттуда матерью? Все-таки не каждый день такие вещи случаются. И не с каждым. Непременно кто-то из журналистов проследит, уже наметил себе на многие годы вперед. И появится фотография джентльмена средних лет, который... А рядом — фотография уже не столь молодой леди, которая... Ну а если представить себе, что этому джентльмену суждено в дальнейшем стать премьер-министром

или, допустим, маршалом, так не исключено, что и шкура крокодила отыщется. Того самого, который...

За другой загородкой лежат тоже мокрые, но меньших размеров крокодилы: эти выловлены в Амазонке. Из Южной Америки привезены сюда. И все они вместе, и африканские и южноамериканские,— все они знать не знают, какая страшная опасность нависла над ними. Вот уже несколько лет, как стали модны и все не выходят из моды дамские сумочки, дамские туфельки из настоящей крокодильей кожи.

Дамские моды, как проклятье господне, обрушаются то на один вид животных, то на другой. И начинается побоище в воде и на суше. Недавно вот так истребляли тюленей, короткий мех которых голубовато-серебрист. Теперь на крокодилов перенеслось.

А рядом в аквариуме, в электрическом свете, тоньше и дымчатей самых тонких дамских вуалей, шевелит плавниками-парусами крошечная ярко-красная рыбка. Впрочем, разве красная она? В всей столько оттенков! На нее можно смотреть бесконечно. И синяя такая же, только что сама не светится изнутри. Дымчатые обвевают, колышутся вокруг нее плавники. Ну кто, что, кроме самой природы, способно создать такое чудо, которому люди в зависимости от того, насколько трудно было его выловить и доставить живым, установили цену в долларах. Удивительно это свойство людей среди всего живого, бесценностно, неповторимого считать имеющим цену и значение только свой труд и свои действия. Даже если эти действия в коцечном счете бесцельны, а труд разрушителен. И дорожить, дорожить каждой минутой своего делового времени и ни во что не ставить миллионы лет, в течение которых трудилась природа, пока все не отлилось в самые естественные, самые жизнеспособные формы. Не настолько жизнеспособные, разумеется, чтобы выстоять перед гарпунными пушками и атомные взрывы перенести.

Конечно, цель всего творенья — мы,
Источник знания и прозренья — мы,
Круг мироздания подобен перстню,
Алмаз в том перстне, без сомненья,— мы.

Пока человек был мал и слаб и даже просторы Земли казались ему бесконечными, в ту пору, наверное, он нуждался в таком гимн самоутверждения. Но сегодня что-то в самих основах отношения человека к миру, ко всему,

что живет и имеет право жить на планете, что окружает нас, нуждается в пересмотре. И в новом осмыслении. Иначе ничему живому не уцелеть. И людям тоже.

«Великая ошибка всех этических систем до сих пор заключалась в том,— писал Альберт Швейцер,— что они строились только вокруг отношения человека к человеку».

Как долгий путь мысли! Так давно это сказано, когда же это будет услышано? Все еще не видно, чтобы человечество за своими каждодневными заботами и тревогами готово было, способно было серьезно и трезво взглянуться в то, что грядет.

Не так уж и много народа ходит по лабиринтам океанариума в этот дождливый день. Может быть, потому, что дождь. Или потому, что океанариум есть в городе, в любой момент можно туда пойти. А раз он рядом, так успеется еще. И целую жизнь можно прособираться и так и не повидать. Ведь и в Москве приезжие нередко за один приезд видят театральных постановок больше, чем за год и за два видят сами москвичи, у которых все театры под боком.

Переходя от аквариума к аквариуму, от рыб, диких для нас, к тем, что хорошо нам знакомы по нашим рекам и озерам (а приятно было вдруг встретить их здесь!), мы добрели до акул. Три акулы плавали кругами в воде. Одна совсем небольшая, лимонная, вторая покрупней несколько, а третья хоть и не в рост человека, но уже такая, что не захочешь повстречаться с ней в воде. Под брюхом этой акулы, даже собственным хвостом не шевеля, плыла рыба-прилипала, присосавшаяся к акульему брюху верхней частью головы, плоским своим теменем. И на другой акуле, на ее спине, тоже совершила круги рыба-прилипала — животом вверх. А третья просто прилипла к стенке аквариума и висела вот так.

Акулы плавали, раскрыв пасти. Закрыть пасть надолго акула не может, так же как не может она не находиться в движении: иначе погибнет от удушья. Ею свою жизнь она плывет. И свежая вода через пропоткрытую пасть омывает ее жабры, а жабры впитывают растворенный в воде кислород. Так она дышит. Но на человека совсем иное впечатление производит раскрытая акулья пасть. Даже когда она не угрожает ему.

«Слепая ненависть человека к акулам,— пишет Филипп Кусто, который вместе с отцом многие годы исследует подводный мир,— уступает разве что бешенству стан

голодных акул. Я наблюдал сцены жестоких побоищ, когда обычно тихие и рассудительные люди рубили топорами пойманных акул, потом по локоть запускали руки в окровавленные внутренности, чтобы извлечь крючок с приманкой. Как будто, часами возясь с изрубленными тушами, люди утоляли некую затаенную жажду мести. Этот психологический фактор — почти автоматическая потеря власти над собой при встрече с акулой, что бывает даже у самого закаленного человека,— пожалуй, и является причиной многих случаев со смертельным исходом».

В последние годы что-то все же стало меняться. От того ли, что вообще мы потеплели к хищникам — волкам, рысям,— а может быть, оттого, что много серьезных, не-предубежденных людей, жизнью своей рискуя, изучало акулы повадки. Ну и жизнь сама убеждать стала. Увидели, что и акул нельзя выдернуть из общей цепи, где каждое звено кем-то питается и само служит пищей.

В Австралии, например, истребили у побережья акул. Исчезли крабы, омары, лангусты, которыми славилась здешняя кухня, ловом которых жили многие семьи рыбаков, не подозревавшие даже, что в определенном смысле акула была их кормилицей: она сжириала осьминогов, которые в свою очередь пытаются лангустами и крабами, она не давала осьминогам размножаться непомерно. И дошло до того, что правительство Австралии, той самой Австралии, чей премьер-министр был съеден акулой, оказалось вынужденным запретить всякую, даже спортивную охоту на акул.

А тут отовсюду и сведения стали поступать утешительные: главная хищница, прожорливей которой, как утверждали, и нет никого, оказалось, мало ест. Так, например, трехметровая акула, весящая полтораста килограммов, то есть столько же, сколько весят два нормальных человека, съедает за день всего двести пятьдесят граммов пищи. Человека двумястами пятьюдесятью граммами не только не накормишь, но и не напоишь.

За год акула съедает меньше, чем сама весит: 0,6 собственного веса. А птица, питающаяся насекомыми, съедает в год в триста раз больше, чем весит сама. Это птичка-то божья!

Говорят, есть три вида лжи: ложь, большая ложь и статистика. Но как бы ни пронизировал над статистическими данными, люди любят цифры, люди верят цифрам,

для многих в наш век заключено в цифрах нечто гипнотизирующее.

А цифры действительно убеждали. В Австралии, где распространен прямо-таки суеверный страх перед акулами, где от каждого своего сообщения мгновенно подскаркивают тиражи газет, в теплых водах, омывающих Австралию, за последние сто восемьдесят пять лет, как выяснилось, погибло от акул всего 102 человека. Это составляет три процента жертв дорожных происшествий за один только 1974 год.

Американские учёные взяли цифры за триста лет. Оказалось, в среднем акулы нападали на людей 2,6 раза в год. Совсем не так уж много, если, конечно, не вы жертва нападения. От молний на земле погибает больше.

И все же два века, три века — срок долгий, нет уверенности, что так уж достоверны все эти сведения. Но вот за последние восемь лет на пляжах Калифорнии, считающихся акулоопасными, было три случая нападения акул. Три за восемь лет. А утонуло там же за эти годы тысяча триста восемьдесят четыре человека.

Как бы подводя итоги, Жак-Ив Кусто писал: «Учитывая все это, можно сказать, что погружаться в тропических водах далеко не так опасно, как ездить на мотоцикле».

И вот в потоке этих утешительных сведений, когда уже как будто бы в сознании людей начал намечаться некий сдвиг, вышел на экраны американский фильм «Jaws» — «Пасть», поставленный по одноименному роману, которым зачитывались американские и канадские школьники. Коммерческий успех фильма побил все рекорды: «Крестный отец» за год проката собрал девяносто миллионов долларов, «Пасть» за первые три месяца дала сто или даже сто двадцать миллионов. Когда мы прилетели в Канаду, в центре Монреяля, на Сан-Катрин, горела огромная реклама «Jaws». И вечером мы, разумеется, пошли смотреть.

В серии фильмов ужасов этот выделяется тем, что тут не люди убивают людей, а убийца — гигантская акула. Жертвы свои она настигает под водой, на воде на надувных матрасах, в лодках. И даже влезает на корабль и там хватает человека.

Она сжирает мальчика на глазах матери, и волна, как тряпку, выбрасывает на берег распоротый, окровавленный надувной матрасик; сжирает девушку, прекрасное тело

которой, с ластами на ногах плывущее в воде, долго перед этим показывала камера. Сгрызает моряка, который во время войны был на корабле, торпедированном немецкой подводной лодкой, и все же уцелел: грызет его, живого, долго и подробно. И всякий раз выпускает из жертвы столько крови, что зеленая океанская волна становится красной.

Построить эту акулу, которая в течение трехчасового сеанса держит зрителей в ужасе, стоило миллионы долларов. Еще дороже заплатили бы владельцы курортов во Флориде и Калифорнии, чтобы ее не строили вовсе: в этот сезон они понесли убытки. Рассказывают, даже в Монреале случалось в бассейне дотронуться под водой до человека — и он с криком выскакивал из воды.

Вмиг забылись все утешительные цифры. Никого уже не успокаивало, что на протяжении последних трехсот лет акулы в среднем только два и шесть десятых раза в год сжирают людей. Страх пробудил вновь слепую ненависть.

На этот раз ненависть была направлена на акул. А сколько раз в истории человечества вот так вспыхивала ненависть у людей к людям. К целым народам. И затмевался разум, глаза переставали видеть очевидное, и наступала «почти автоматическая утрата власти над собой».

Будь у меня в тот день время и возможность, я бы, наверное, стоял и не уходил от бассейна с касатками. Через смотровое окно было видно, как они с большой скоростью носятся кругами в воде. Мощные их тела, белые с черным, тугие, стремительные, были не просто красивы. Они были совершенны.

Из семидесяти двух видов зубатых китов большая часть отнесена учеными к семейству настоящих дельфинов. По этой классификации туда же входят и касатки. Но мало общего имеют они с нашим представлением о дельфинах, плавающих, например, в Черном море. Только океанские просторы могли породить такое могучее животное.

Все живое, населяющее сушу, когда-то в отдаленном прошлом вышло из океанов. А киты и вышли из океанов и вновь в океаны вернулись. Уже двадцать миллионов лет тому назад, как утверждают палеонтологи, они были такими же, какими видим мы их сейчас. Все изменилось за этот срок на земле. Многое исчезло бесследно, многое возникло. И отдаленные тьмою тысячелетий,

непохожие на нас доисторические предки наши, и вся история человечества древних, новых и новейших времен — все это позже возникло, все это — позднейшее. А они и тогда были, и теперь они есть. Только то, что в процессе эволюции достигло высшего совершенства, смогло оставаться неизменным в океане времени.

Две взрослые касатки, из просторов Тихого океана перенесенные человеком в бетонный чан, носились кругами. И детеныш (вот он был немногим больше черноморского дельфина) тоже носился под водой, но только перекувыркнувшись белым животом вверх. Наверное, это было забавно — плавать животом вверх, потому что одна взрослая касатка тоже вдруг перевернулась вверх белым брюхом и вот так плавала некоторое время. Но ей быстро надоело.

Когда они всплывали на поверхность набрать воздуха и шумно выдыхали фонтаны пара и брызг, вода преломляла их тела: голова и надводная часть туловища отдалены, а то, что в воде, видно близко и увеличенно.

По галерее, шурша штаниной о штанину, прошла женщина в красном непромокаемом костюме с капюшоном на голове, как у рыбаков. И немногие зрители, стоявшие у смотровых окон, потянулись наверх: начинался сеанс кормления.

Наверху так же шел дождь. Слышно было, как в соседнем бассейне ревут белухи: там уже начали кормить. Их крики были, как рев пароходных сирен.

Одни за другим, с пластмассовыми ведрами в руках появлялись две женщины и мужчина: красные, в острых конечных капюшонах. Костюмы их глянцево блестели под дождем. В бассейне уже волнами ходила вода, заплескивалась через борт: это, увидев или время почувствовав, беспокойно кружили касатки.

Люди стали у борта, и одна за другой из воды поднялись перед ними раскрытые зубатые пасти: две огромных и маленькая. В них кинули по нескольку рыб, и пасти опустились под воду. И вновь волны заходили над бассейном. Так повторилось несколько раз. Потом двое людей поднялись на вышки, стали. И две касатки до половины выскочили из воды, раскрыли пасти. Сверху кинули в них рыбу. Только детеныша все так же кормили с борта бассейна: он еще был мал и высоко прыгать не умел.

Несколько раз подымались пасти, в них клали рыбу, а один раз женщина, откинув капюшон, положила в пасть свою голову. Зубы не сомкнулись. И, наградив за это, кинули в пасть рыбу.

А с океана, тоже зная свой час, слетелись уже чайки, с писком, с криками носились над бассейном, над людьми, кидались чуть ли не в зубы касаток отнимать рыбу.

На самый верх вышки поднялась женщина с пластмассовым ведром. Маленькая на такой высоте, глянцево-красная, стояла она там. И огромное черно-белое тело по дуге вырвалось из воды к ней и плюхнулось в воду, обдав все вокруг брызгами. И другая касатка по встречной дуге совершила полет. А внизу тоже выпрыгивал из воды детеныш, пытался что-то делать и сверкал мокрым белым брюхом.

Последнюю рыбу прямо из ведерсыпали сверху в разверстые пасти, и чайки отчаянно кидались, и что-то успевали выхватить, и тут же дрались между собой. Дресировщики сошли с вышек, один за другим в своих остроконечных красных костюмах прошли с пластмассовыми ведрами, шурша несгибающимися штанами.

Зрелище кончилось. Зрители расходились под дождем. Но им еще предстояло пройти извилистыми лабиринтами между прилавков и киосков сувениров. Тут были выставлены не создания природы, тут предлагало себя то, что целая промышленность вырабатывает специально для туристов.

ПОЕЗДКА В ЭДМОНТОН

Первое впечатление о человеке нередко остается отдельным от всех остальных.

Со временем перестал замечаться некоторый акцент Никиты Борисовича и только неизменно умиляло его возвышенное: «О, да!» Спросишь о чем-нибудь — «О, да!» Целая рулада небольшая: высокое «о» и ниже на два тона — «да». Не от тех далеких времен уцелело оно в языке, когда восторги юношей бледных выражались при помощи восклицания «О!» Здешнее «о, да» было переводом английского «o'yes» и частично «o'key». Многие живущие в Канаде русские так говорят, а замечается это на свежий слух.

Было еще слово «эвентуально». Допустим, надо уточнить, не переносится ли указанная в программе встреча.

— Эвентуально, она перенесется на другой час,— скажет Никита Борисович,— но я, конечно, заранее буду знать.

На второй или третий день нашего пребывания Фрида Лурье совсем певчно спросила его:

— А что это вы, Никита Борисович, каждый раз употребляете какое-то слово «эвентуально»? Что оно означает?

— Ну как же...— несколько смешался Никита Борисович, один среди нас троих,— это же русское слово «возможно»...

С тех пор латинское «эвентуально», означающее возможность чего-либо при случае, при определенных обстоятельствах, исчезло из его языка. На все то время, что мы были в Канаде.

А вообще он хорошо говорил по-русски. И переводил хорошо, а синхронный перевод — вещь выматывающая. Особенно, если предмет разговора не очень тебе известен, да еще если переводчик не в отдельной кабине сидит, откуда он видит, а его не видят, а работать приходится на глазах людей, свободно владеющих обоими языками: и русским и английским. А такие люди всякий раз были в аудитории и с той и с другой стороны.

В провинции Квебек, где особенно сильны сепаратистские настроения франко-канадцев (вам свободно могут не ответить, если вы обратитесь по-английски: здесь желают слышать одну французскую речь), так вот, в провинции Квебек, когда мы оказывались во французских университетах, Никита Борисович переводил с французского на русский и обратно. А еще и немецкий тоже — его рабочий язык.

Всю свою жизнь я говорю и думаю на одном-единственном языке. И даже как-то опасаюсь знать языки другие, хотя, конечно, это неправильно. Скорей всего у меня нет этих способностей, и я придумал себе соответствующую теорию в оправдание.

Лев Толстой с безукоризненным произношением говорил по-английски. Говорить по-французски для него было так же естественно, как по-русски. Галицизмы у него встречаются? Но это не помешало ему написать «Войну и мир». И герои его говорят и думают по-французски, как в ту пору было в дворянских семьях.

Бунин знал языки, перевел «Песнь о Гайавате». У кого еще такой русский язык, как у Бунина?

Со школьных времен и со времени войны застряли у меня в памяти какие-то немецкие слова и обороты. И вот, когда случается говорить с иностранцем, используя необширный этот запас, мне потом всю ночь снится, что я говорю по-немецки, и весь следующий день немецкие слова прыгают в мозгу, как блохи, и досаждают с непривычки. А тут четыре языка сразу. Как не смешаться словам? Как им не перескакивать иной раз из одного языка в другой? Я спросил однажды Олю, жену Никиты Борисовича:

— На каком языке вы ссоритесь?

Она рассмеялась:

— Знаете, я тоже об этом думала. Когда волнуешься, слова забываются. Говоришь, какое раньше придет.

Кроме русского, она свободно владеет французским и английским, и путь ее в Канаду, как и Никиты Борисовича путь, лежал через многие страны. С той разницей, что он родился в Бельгии, она — в Китае. Ее мать до сих пор настоящими эмигрантами считает тех только, кто прошел через Китай; людям свойственно считать истинным и главным только то, что они сами пережили. А в Америке и Канаде вообще немало тех эмигрантов из России, которые бежали от революции не во Францию, не на Балканы, а в Китай. В Канаде со временем они оказались потому, что после войны, в конце сороковых — начале пятидесятых годов, когда они хлынули из Китая, Европа была разрушена и пища, а Америка богата. И полмира было у нее в долгах. Здесь, в Канаде, Оля окончила французскую школу («гимназию», как она говорит) и теперь преподает тоже во французской школе, и дети называют ее «мадам».

В тот раз она приехала к Никите Борисовичу в конце недели в Монреаль из Оттавы, где они живут. Жизнь его разъездная, постоянно с делегациями, и вот она прилетает, а если недалеко — приезжает на своем «Вольво» на уикэнд. И поскольку была тогда суббота, вторая половина дня, никаких встреч и официальных мероприятий по программе не значилось, нас повезли осматривать город и парк на горе Монт-Рояль, от которой Монреаль и получил свое название; отсюда, с вершины, город хорошо виден.

В парке семьями гуляли в этот час горожане, черные белки бегали по траве и по деревьям, дети катат-

лись на пони, а на рослых, сытых лошадях разъезжала королевская полиция.

Чуть ли не национальную трагедию усматривают канадцы в том, что знаменитая конная полиция скоро с коней пересядет в автомобили и придется им снять шпоры и широкополые шляпы — все заменит униформа. Канадский парламент засыпают жалобами, дабы не дать угаснуть романтике. Но эти были еще на конях.

— Гусары, — сказала Оля, но обрусовшее это венгерское слово произнесла по-французски. Примерно так: «хосарс». В русской речи у нее то английские, то французские слова проскаакивали, и она, как мне показалось, не слышала этого.

Вот так, наверное, в прошлом веке толстовские герои разговаривали по-русски, а французские слова вылетали сами собой. И даже во время войны с Наполеоном придумана была, помните, некая забава на патриотический лад: штрафовать за каждое французское слово. Это пока народ воевал.

Есть любопытное замечание в том же великом романе «Война и мир»: всякий раз, когда Элен нужно было говорить о своих любовно-деловых отношениях, она естественно переводила разговор, как сказано у Толстого, «на французский с русского языка, на котором ей всегда казалась какая-то неясность в ее деле». За этим — очень многое. И все же надо помнить, что написано это в России, Толстым, да еще о времени войны с французами. А писать — это значит обостренно жить во времени, о котором пишешь.

Напомнив Оле это место романа, я и спросил ее, на каком языке они ссорятся с Никитой Борисовичем. Словом, я не хотел ни намерений своих скрывать, ни ловить ее, и она живо отозвалась. И вот что еще сказала любопытное:

— Я заметила, что думаю тоже на том языке, на котором говорю. И сны мне снятся иногда по-французски, иногда по-русски. Но вот деньги я считаю только по-русски.

Это тем интересней, что перед глазами у нее в этот момент не русские деньги и написано на них не по-русски, но счет им она ведет русскими словами.

А вообще слово неотделимо от зрительного образа и от звучания своего. Оно без этого просто не живет. Как-то

попалась мне в Европе русская эмигрантская газета. Я поразился, читая: как будто слепой писал. Слова русские, но язык не живой, какой-то мертвый язык. Слово умирает, когда исчезло то, что им означено и в слове отразилось. Как же тут здраво писать, если ты и не видел этого.

В Торонто, во второй свой приезд, случилось Оле несколько часов прождать Никиту Борисовича в вестибюле гостиницы: все то время, пока у нас длилась встреча в университете. И произошел взволнованный разговор между мужем и женой, во время которого Никита Борисович оправдывался, что он специально предупредил, уведомил, сказал, чтобы ей дали ключ от его номера, а она говорила, что не только не дали, но вначале даже сказали, что мистер Кириллов в отеле не значится.

— Я их спросила, есть ли резервейшен для мистера Кириллова?..

И это было именно «резервейшен», как и ударение в конце русской фамилии применительно к слуху англичанина. Так слышно кругом, так говорят здесь, так само с языка сошло: «резервейшен». Любое иное слово — был бы уже в уме сделанный перевод с английского. Даже употребляемое у нас «зарезервировано». А какое еще слово подойдет? «Оставлено»? Тут бы, конечно, сказать «заброшено», да в этом слове столько обстоятельств нашей и никакой другой жизни, с которыми оно вместе возникло, что так просто его от них не отделишь. Как иностранцу почувствовать это?

Но что уж говорить о русских, не в России родившихся, когда в речь наших дипломатов и торговых работников, долго живущих здесь, английские слова так и впрыгивают.

Однажды после рабочего дня, в течение которого были у него деловые беседы с канадцами, разговаривали мы с Эдуардом Худяковым, вице-президентом, как значится в его визитной карточке, то есть заместителем директора нашей фирмы, торгающей в Канаде советскими станками, торгающей, к слову сказать, успешно.

«Советский коммерсант» — это все еще не очень привычное для нашего слуха сочетание слов. И хоть давно прозвучал призыв учиться торговать, не числим мы за собой в этой области таких успехов, как, например, в науке, в освоении космоса или Северного полюса. И само слово «коммерсант» (не будем уж говорить «торговец»,

«купец») не овеяно у нас, мягко так скажем, романтикой. А убеждаемся с каждым годом, что никуда не денешься, надо это умение развивать, надо торговать со всем миром, чтобы промышленность наша держалась на уровне современных стандартов.

Тем более приятно было увидеть за границей нашего, говоря по-здесьнему, бизнесмена, коммерсанта, не уступающего никому и ни в чем. Быстрый, живой ум, держится, как у себя дома, дело ведет с размахом. И лет не так уж много: тридцать пять.

Так вот, встретились мы после делового дня, и все начало разговора Худяков спохватывался: «Вот черт, английские слова с языка скачут!» И было заметно, как он вдруг остановится, мысленно переведет слово на русский язык, тогда уж скажет.

Но Худяков давно по заграницам, он и домой не столько возвращается, сколько заезжает на время, все строя планы: вот когда совсем вернусь...

А посол Советского Союза в Канаде Александр Николаевич Яковлев здесь относительно недавно. Но, рассказывая о местной жизни, остановится вдруг, если выскочило из памяти нужное английское слово. Или переводчику скажет:

— Вспомните-ка, у них тут есть специальный оборот... Да нет, не так. Постойте, постойте, сейчас...

Человек, чувствующий слово в родном языке, он и тут его на звук и на ощупь осознал, то единственное слово, которое только и способно передать нужный оттенок. И хотел не приблизительно сказать, а полностью дать ощущение нам, как здесь говорится, как это видят канадцы.

Оп ведь нашего поколения, Александр Николаевич Яковлев, поколения, большая часть которого осталась на войне. А он прошел войну морским пехотинцем, вернулся израненный и все свои университеты заканчивал после войны. Крестьянский сын, интеллигент, посол Советского Союза.

Перед самым уже отъездом нашим, когда мы вновь вернулись в Монреаль, откуда улетать предстояло, едем мы по городу. Машина советника нашего посольства Николая Михайловича Таланова, а ведет ее атташе по культуре Анатолий Иванович Зубехин. Ну и всякий раз та же проблема: где стать? Как машину припарковать?

Будь его воля, он бы не очень раздумывал. Но Таланов, тот спокойный, годами постарше, жизнью умудрен.

— Ставь, ставь,— говорит он всякий раз, когда Зубехин решает уже припарковаться.— Вот он сейчас тýкет налепит на стекло, платить будешь ты...

Надо видеть при этом, как идет среди машин человек в особой своей кепи, в блестящем под дождем плаще, как он из сумки, через плечо повешенной, достает уже на ходу книжечку выписывать штраф. А иногда это восхитительная молодая женщина, и конечно же владельцы машин стараются произвести на нее впечатление, все свое мужское обаяниепускают в ход, и она улыбается им, но тýкет лепит на стекло, одним своим этим жестом делая владельца машины бедней сразу на восемь, а то и на двадцать пять долларов. И это именно «тýкет», а любое другое слово — перевод. Можно сказать «талон», «квитанция», можно не обрусевшее, а русское слово подыскать, что у человека, живущего там, «тýкет» соскочит с языка. Слово это зритально совместилось с происходящим, с ним вместе и звучит.

Так удивляться ли, если у Никиты Борисовича слова иной раз снуют через границы четырех его рабочих языков? Границы эти и сами все более и более условными становятся. А еще и то учесть надо, что слова, как люди: переселилось одно и земляков за собой тянет. И землякам проще в иноязычной среде, есть к кому на первых порах прислониться.

Все так. И все же... Сколько бы ни было языков рабочих, а какой-то один должен быть родной. Чтобы вдруг защемило в душе от самого обычного слова, от того, что связано с ним. Как от песни, бывает, заболит вдруг, и глазам горячо станет, не важно, хороша ли песня: ее не за то полюбил. А на отдалении это ведь еще сильней. Дома я никогда почти не слушаю радио. Но если вот за границей окажется в твоем номере приемник и поймаешь Москву... Не важно даже, про что говорят, главней всего в этот момент: говорят. По-русски, из дома говорят.

В общей поездке, когда проишествия все общие, постепенно общими становятся и воспоминания. И уже видишь человека через все пережитое вместе. А когда мы проделали путь по Канаде с Востока на Запад и обратно с Тихоокеанского побережья к Атлантическому океану, когда через месяц с небольшим после этого уже в Москве, где в тот день улицы были завалены снегом, встретили вдруг Никиту Борисовича в канадском посольстве, мы обрадовались ему, как старому знакомому.

Но первое то впечатление осталось отдельным. Мы только сошли с нашего Ил-62М, ступили на канадскую землю — Фрида Лурье не первый раз, мы с Анатолием Ананьевым впервые,— только стали в одну из очередей к паспортному контролю, как вдруг на весь зал, так, что люди начали оборачиваться, раздалось под потолком в мегафон с нерусским акцентом: «Господ Ананьева и Бакланова просят подойти к девятнадцатому выходу...» Это, имеющее особый оттенок для нашего слуха «господа» и голос мегафонный, с потолка раздавшийся, соединилось вместе.

Захватив ручную кладь, пошли мы. Два человека ждали нас. Один — рослый, в сером костюме, поигрывал на пальце ключами от машины. Еще и лица хорошенько не разглядев, мы безошибочно определили издали: наш. Это был Анатолий Иванович Зубехин, с которым мы после поездки немало.

Другой, в синем английском плаще, в подстриженной бороде от виска до виска, был невысок, лысоват, чуть пригибал голову. За увеличительными стеклами очков — неспокойный взгляд быстрых глаз. А когда мы пошли, интересной показалась мне его походка. В синих замшевых ботинках на каучуковой подошве, он без нажима на пятку мягко ставил ногу, как бы прилепывал стопой по ковру, и очень живо привставал вдруг на носки, если останавливались. Словно маленькую стоечку делал, чтобы из-за головы глянуть вперед.

И еще в тот вечер, когда в номере отеля «Холидей Инн» переводил он нашу беседу с молодым чиновником мсье Беллегом, переводил, не затрудняясь ни во французском, ни в русском, я заметил, как беспокойны его ноги. Он не подошвами устойчиво и твердо поставил их на пол, а на ребро, стопою к стопе, и в момент напряжения мысли усиленно шевелил в них пальцами, так что мягкие каучуковые подошвы сжимались.

Вот таким было первое зрительное впечатление, оно и осталось, как бы отдельно от всего. А уже потом, в Оттаве, незадолго до отъезда, когда Никита Борисович практически уже не работал с нами, поскольку должен был принять другую делегацию, встретились мы случайно на улице в его выходной день. Было по-осеннему пасмурно, ветрено и серо. В толстом свитере, в матерчатых брюках, он ехал в машине, вез какие-то картонные ящики, коврики. Остановился, увидя нас, спросил, были ли мы в

музее, куда собирались пойти. И по доброй воле предложил подвезти нас.

Обычно в синем или сером шерстяном костюме, не дешевом и не ультрамодном, скорее в меру консервативном, Никита Борисович выглядел несколько старше своих тридцати пяти лет. Миллионер может позволить себе одеться как попало. Никита Борисович по его работе должен был иметь вид респектабельный, именно такой он и старался иметь. Но в свой выходной день, одетый по-домашнему, он выглядел молодо и спортивно.

А пока что мы начали путь с Западного побережья обратно. От Ванкувера, от берега океана, мы летели над Скалистыми горами на северо-восток, в город Эдмонтон, центр соседней с Британской Колумбией провинции Альберта.

Великий Вольтер некогда сказал из своих парижских далей, что Канада — «это несколько акров снега». Слова гениев долго хранятся в письменной памяти потомков, даже если, прозвучав вначале как истина, превратились со временем в анекдот. Доживет это изречение Вольтера и до той поры, когда канадцы точно так же, как мы сегодня, будут мысленно пересчитывать: «Акр... Это какая же часть гектара?»

К тысяча девятьсот восьмидесятому году Канада полностью должна перейти на метрическую систему мер и весов. В этом году выпавший снег впервые начали измерять в сантиметрах, и температуру воздуха кое-где уже сообщали не по Фаренгейту, а по Цельсию. В связи с этим появилась в печати возмущенная реплика ванкуверского бизнесмена: «На днях по радио объявили, что температура воздуха 11 градусов Цельсия, я не знал, что надевать — пальто, свитер или еще что...»

Велики вольтеровские акры: внизу на необозримом просторе лежал снег, недавно выпавший. Был он еще неглубок — хоть в дюймах его измеряй, хоть в сантиметрах, — замерзшая рыжеватая земля виднелась там, где снег сдуло ветрами.

И у нас на этой параллели, под Тулой, первые морозы, первый в этом году выпал снег. А еще то общее, когда вот так с воздуха глядишь вниз, что здешние поля, подобно нашим, крупны. Это не европейские «лоскутные одеяла». Большие пространства спега с оврагами и реч-

ками, лесочками и небольшими озерами (каждое такое озеро сверху, как лужа замерзшая: темный лед над глубиной, беловатый по краям), расчерчены пространства на прямоугольники. А черные линии, разделяющие их,— это дороги. По ним крошечные машинки бегут. Но когда с такой высоты смотришь, кажется, не бегут, а еле движутся: далека, пуста впереди дорога.

Тут люди живут не деревнями и поселками, а отдельно. В углу каждого земельного надела, размерами иной раз в пятьсот гектаров,— дом, усадьба, хозяйственные постройки, ангар для машин и тракторов, а иногда — ангар для самолета. Вот каковы эти «акры снега».

Четверть века назад главным богатством провинции Альберта была земля и то, что на земле: здесь разводят скот мясных пород, здесь сеют хлеб. В 1947 году нашли здесь нефть.

Когда в Соединенных Штатах Америки была обнаружена техасская нефть, владельцы земельных участков в короткий срок становились владельцами миллионных состояний. В Канаде было решено иначе. Обнаружили нефть, и правительство Канады приняло решение об экспроприации «минеральных» прав. Ты владеешь землей только на двадцать сантиметров в глубину. Не более. Твой — урожай на этой земле, скот, который на ней кормится, а все, что расположено глубже двадцати сантиметров, то есть фактически глубже пахотного слоя, все, что разведано или будет найдено в недрах, все это не твое, хоть и находится под твоим участком. Но владелец земли получает определенную денежную компенсацию за то, что из-под его участка нефть качают, нефтепровод проложен по его земле. Он соучастует в доходах. Вот так было решено в Канаде.

Уже не впервые замечено, что в воздухе люди разговаривают душевней. И хотя статистика утверждает, что авиация сегодня — самый безопасный вид транспорта, что в автомобильных, в железнодорожных катастрофах, даже на прогулочных катерах погибает людей больше, воздух есть воздух. Большинству людей проще привыкнуть к полетам, чем так вот совершенно ясно представить себе и понять, почему же все-таки мы летим.

В последний наш перелет — из Торонто в Оттаву — вошли мы в самолет и увидели на своих местах четырех канадских офицеров. На места, как выяснилось, были

в тринадцатом ряду, но они твердо сели в наш четырнадцатый ряд и уходить не собирались. Среди нас была дама, а они четверо — офицеры. Спорить было смешно, гораздо интересней наблюдать. И я наблюдал всех по очереди.

Сели мы, куда стюард указал. Анатолий Апаньев мельком только глянул один раз на господ офицеров и сел в тринадцатый ряд тем уверенней: мы, мол, долетим. И в тринадцатом, и в каком угодно долетим, если надо. И больше внимания на все это не обращал. Но Фрида Лурье, возмущенная, что ей, женщине, офицеры не хотят уступить ее же место, решила проявить характер. Она сказала, что она тоже суеверный человек, имеет, дескать, на это право и в тринадцатом ряду не полетит. И ее усадили в двенадцатый. А когда и на это место пришел пассажир, его еще куда-то устраивал стюард, принося извинения. Но даже и тут, среди громких разговоров, недорумений, разъяснений, офицеры проявили завидную выдержанку. Все четверо они углубились в чтение газет, а у самого молодого по годам сияли на груди яркие орденские планки.

Обычно я садился у иллюминатора: для того человеку и даны глаза, чтобы смотрели, пока видят. И в этот раз я тоже сидел вот так, а Никита Борисович рядом шелестел тонкими страницами журнала. Глянул вниз, сунул журнал в карман, и мы заговорили.

Почесывая в бородке, щурясь своим мыслям, он говорил о том, что, была бы его воля, не был бы он связан службой, он бы поселился в этих местах, над которыми мы пролетаем: где-нибудь на западе Канады. Здесь и люди душевней, и отношения между людьми проще. И рассказал в связи с этим, как несколько лет назад обрушился на Монреаль небывалый снегопад, город занесло так, что стал транспорт. Только пешком можно было пробраться. Но для многих путь лежал через гору Монт-Ройяль, по глубокому снегу, вверх. И вот жители близлежащих домов вышли с термосами, стояли вдоль этой дороги и на морозе попили людей горячим кофе.

— А на западе так люди живут... — говорил Никита Борисович, почесывая в бородке. Он сидел, несколько консервативно одетый, респектабельный.

Великие ветры времени, стольких развеявшие в наш век, забросили сюда эту человеческую судьбу. Но жизнь не должна исчезать, не продлив себя в новой жизни.

И семечко, отнесенное ветром, должно прорости. В этом закон. Я ничего не берусь утверждать, но, когда мы вот так разговаривали, отделенные от других голосов ревом турбин, такой одинокой показалась мне вдруг его душа, стремящаяся к покою и миру.

Над Эдмонтоном низко висел сырой туман и видимости не было никакой. Сажали наш самолет по приборам. Во всех иллюминаторах почти до самой земли была серая мгла. А потом сразу возникли бегущие на нас, двумя полосами синие огни взлетной полосы, мокрый бетон.

Шесть лет назад в Соединенных Штатах Америки при всей огромности пространств этой страны у меня было постоянное ощущение тесноты. Не людской тесноты, а тесноты, созданной домами, машинами, спрессованности времени, отчего в каждом что-то напряжено.

Стоишь на улице в Нью-Йорке среди небоскребов, сходящихся к небу, словно они там, в вышине, наклоненыы друг к другу, а снизу через решетки обдает тебя из-под тротуаров теплом и грохотом. И чувствуешь дрожание: это проносятся поезда подземки, как поршнем выдавливая из туннелей теплый воздух. И по асфальту все мчится, взвишивается тормозами, вновь мчится. И в глянце машин отражены опрокинутые небоскребы, а в стеклянных стенах небоскребов, перевернутая, мчится улица в обе стороны. От постоянного мелькания и грохота у людей временами выражение глухонемых; кажется, не столько по голосу, как по губам понимают они друг друга на улице.

И вдруг представишь, как пустынно было здесь, как медленно текло время, когда триста пятьдесят лет назад стоял на острове Манхэттен торговый пост и чиновник доносил нидерландским Генеральным Штатам о движении по Гудзону корабля, богато нагруженного пушниной. А попутно сообщал и другие любопытные сведения: «Герб Амстердама»... отплыл из Новых Нидерландов и вышел из устья Маврикия (Гудзон) 23 сентября. Сообщают, что наши люди купили остров Манхэттен у дикарей за товары на 60 гульденов... Груз указанного корабля состоит из 7246 бобровых шкур, 178 шкур мелкой выдры, 675 шкур выдры, 48 шкур норки, 36 рысьих шкур, 34 водяных крыс...»

60 гульденов, за которые у индейцев куплен Манхэттен,— это были тогда 24 доллара. А через пятьдесят лет

англичане просто отобрали остров у голландцев, и на его гранитном основании воздвигся Нью-Йорк. С чем сегодня сравнивать этот город? При первом поколении кибернетических машин, громоздких еще в ту пору, писали, что, если смоделировать человеческий мозг со всеми миллиардами нервных клеток, такая кибернетическая машина по своим размерам будет равна Нью-Йорку с его небоскребами. Город-мозг, в котором многое тайное вырвалось на волю в грохочущие извилины его улиц.

Но Нью-Йорк в Америке все же один, как государство в государстве. А ведь и в других городах, где мне быть пришлось, и время людей, и первы напряжены. Кажется, на шоссе только и расслабляется человек, сидя в машине: все равно ни свернуть, ни изменить направления нельзя. Можно только мчаться вперед, как все. А в городе перед светофором, по мере того как приближается момент, когда включен будет зеленый свет, напряжение в человеке растет. Он еще и этот светофор не проскочил, а мыслью проскакивает следующий. Техника высвободила руки и заняла мысли, подчинила время.

Как хорошо сказано у С. Бенета:

...В зрачках оленей призрачных
Горит, как дальний свет,
Та дикая Америка,
Которой больше нет.

«Ту дикую Америку» я знаю только по книгам, и многого в этой стране я не видал, а ощущение мое возникло еще и оттого, что мы перелетали из города в город, от одного скопления небоскребов к другому скоплению. Очень может быть, что я сужу о целом по частностям, а это не совсем верно.

Но вот в Канаде мы тоже перелетаем с места на место и тоже американские небоскребы высятся в городах, а чувствуешь дыхание иных просторов. Жизнь стеснилась здесь в основном на ста-пятидесяти — ста шестидесяти километрах вдоль границы США, а дальше — бескрайний Север, до самого Ледовитого океана не заселенный материк. Туда еще когда-то продвинется жизнь... но ей есть куда продвигаться. От этих пространств, покрытых незакопченными, первозданной белизны снегами, веет уверенностью и будущим. Словом, как в той «Песне про купца Калашникова»: «Вы моложе меня, крепче силою, на вас меньше грехов накопилося...» Ну, не

крепче силою, конечно, а вот что грехов меньше накопилось, так это факт. Ни в экономической блокаде Кубы, ни в войне во Вьетнаме Канада не участвовала. Канадцы и в этих странах могут не стыдиться своего флага с красным кленовым листом.

А вот в первой мировой войне много канадцев погибло на Западном фронте. И в эту, вторую мировую войну сражались канадцы с гитлеровскими армиями, плыли через океан в Европу, на древнюю свою родину, которую когда-то в поисках счастья покинули они или их предки. Теперь они возвращались, чтоб отстоять ее от фашизма, и говорилось не без оснований, что Англия готова сражаться до последнего канадского солдата.

В то время население Канады равнялось 12 миллионам человек, и каждый десятый-одиннадцатый был призван в армию. Переведенная на военные рельсы канадская промышленность дала во время войны 16 тысяч самолетов, 50 тысяч танков и самоходок, 800 тысяч грузовиков, тысячу судов. Какая-то часть этого военного спарринга, продовольствия, медикаментов прибывала к нам через Мурманский порт.

Историческое прошлое совсем немаловажно для самоощущения людей, живущих ныне. Что же касается неосвоенных пространств, так они не только там, где редко ступает нога или лыжа человека, но и здесь, где уже воздиглись города.

В осенний день, такой солнечный, яркий, как будто весна вернулась и весенний тает снег, едем мы с профессором университета провинции Альберта Руди Вибе по Эдмонтону. Город этот стоит на реке Северный Саскачеван, в самом названии которой слились два этнических потока: ранний и позднейший. Коренные жители Канады, индейцы, чьи пироги она быстро несла и быстро текла перед их глазами, назвали реку «Саскачеван» — «Вода, которая быстро течет». Англо-канадцы, для которых существовал не только беспредельный мир зrimый, но и мир, в масштабе нанесенный на карту, ориентируемый по компасу, добавили к названию слово «North» — «Северный».

Так вот, переезжаем мы реку по мосту, внизу вода бежит по камням, и Руди Вибе рассказывает, что раньше старатели намывали тут золото. Еще и сейчас можно в день намыть золота долларов на пять, но мало кто этим занимается. И это в центре города с полумиллионным населением. Надо сказать, что при общей большой без-

работице (из неполных десяти миллионов работоспособного населения — семьсот тысяч безработных по стране) провинцию Альберта отличает едва ли не самая высокая занятость: тут нефть. И город быстро растет.

Нас поселили в Эдмонтоне в высотной гостинице «Шато Лакомб»: двадцатичетырехэтажный комплекс, вид на Северный Саскачеван, паркинг на 750 машин — все это сообщается в рекламных проспектах, открытках и т. п. В вечернем небе круглая башня «Шато Лакомб», насквозь сияющая желтыми огнями, похожа издали на сверкающий гранями флакон духов.

Тысячи миль отсюда до столицы техасской нефти города Хьюстона, но удивительно похожая публика. В лифте друг перед другом стоят, словно меряются ростом. Выше, ниже — все равно глядят на другого сверху вниз, боже избави себя уронить!

Обычно синтетические ковры в здешних отелях — и в номерах и по коридорам; идешь по нему и заряжаешься электричеством, так что искра стреляет из пальца в кнопку лифта, в ручку двери. У меня, например, даже охранительный рефлекс выработался: не рукой, а прежде ключом дотронуться до металла. Треснет крошечная молния, и, разрядившись, спокойно уже нажмешь кнопку лифта, открываешь дверь.

Но в этом отеле не только номера, коридоры, вестибюли затянуты под плинтус, здесь и наружу, на дождь и снег, под ноги приезжающим выброшен ковер. По всему фасаду весь полукруглый подъезд выстлан им. Машины тормозят мягко, яркие швейцары кланяются с ковра высунившейся ножке, которая из открывшейся глубины ищет опоры каблуком.

Идешь по этому синтетическому ковру цвета шинельного сукна, а из-под подошв выжимаются талый снег и вода, и вновь напитывается водой осущененный след. И жалко ступать, и странно как-то.

В начале нынешнего века фартовые сибирские золотоискатели выйдут, бывало, как выломятся из тайги, и, уж не зная, чем еще себя показать, прикажет иной отрезать в лавке бархату на онучи. Да так намотает, чтоб за каждой ногой метра по два тащилось по грязи: знай наших!

Руди Вибе спросил в тот день осторожно, как мы чувствуем себя в этом отеле. Ну, как может чувствовать себя более-менее нормальный человек там, где все вы-

ставлено напоказ? Для актера — привычное занятие принимать облик, играть роль, в жизни оставаться, как на сцене, под взглядами зрителей. Но для большинства людей это довольно утомительно.

Между прочим, оказалось, живут в этом отеле, как правило, не за свои деньги. Тут останавливаются представители фирм, и уже само пребывание здесь служит своего рода визитной карточкой и рекламой.

В тот день в университете, пока длилась беседа с профессорами и мы сидели с хозяином встречи Руди Вибе, разделенные столом, и позже, когда ехали в его машине, я все ловил себя на том, что мне его лицо знакомо. Нет, я не встречал его раньше и в то же время знал его лицо. Ему сорок с небольшим, но борода, прямая, с прямыми вниз волосами, несколько старит. А может быть, намеренно старит. Очки круглые, металлические, как у мастера человека; прямые жесткие складки на лице от глаз к бороде. Не пойму, в чем дело, но не соединялось в моем представлении это лицо с общей свободной манерой держаться, какими-то весьма современными ботами на длинных ногах, с тем, что студенты, как ровесника, называют его Руди. Но в конце концов это — дело привычки и обычаев, как называть. Нам кажется странным звать профессора по имени, а им может показаться странным обращаться по имени-отчеству.

Моды, одежды, обычаи — это все переменчиво. А вот лица людей и через поколения сохраняют черты и выражение тех, кто отделен от нас веками.

— А как выглядят оренбургские степи? — спросил Руди Вибе сначала за столом, а потом еще в машине спрашивал. — Похожи они на что-нибудь здесь?

Из тех провинций, которые мне в Канаде видеть пришлось, пожалуй, земли провинции Альберта больше всего схожи с оренбургскими степями, ровными, как стол. Недаром и там и здесь развито мясное скотоводство и расположены они примерно на одной параллели.

Оказалось, Руди Вибе не случайно спрашивал: и отец его и дед владели землями в бывшей Оренбургской губернии. А более дальние его предки еще при Екатерине II переселились в Россию из Голландии. Вот почему мне так знакомо его лицо: по картинам, по многочисленным гравюрам я знал лица голландских ремесленников; свет желтых свечей, при котором врезается каждая морщина, лежал на них, как суровый свет времени.

Здесь, в провинции Альберта, у Руди Вибе участок земли за городом. Разумеется, не столь обширный, как оренбургские владения, но все же сосед, перебравшийся в Канаду в сорок втором году, шахтер-польян, арендует у него землю.

Руди Вибе вылез из машины, приподнял и перенес в сторону воротца из жердей, и мы въехали на его участок по насту, шуршащему ледком, начавшему подмерзать к вечеру. Клонилось солнце закатное, лиловатые стояли осины, тонкие и голые, как у нас в эту пору. Среди них — дом скорее летнего типа, ведерко бурого угля у порога. Уголь этот есть прямо на участке: в овраге, внизу. Надо только спуститься.

По дну оврага тек незамерзший ручей, и там я вдруг увидел плотину, построенную бобрами, подгрызенные их зубами, поваленные деревья. Когда же я видел в последний раз такие плотины? Наверное, до войны только, у нас в Воронежской области. Есть там и река Бобер.

Удивительная тишина стояла вокруг. Солнце опускалось к снеговому полю. Плескалась внизу вода у плотины.

— Что же, и бобры есть? — спросил я хозяина.

— Есть. Раньше было больше бобров. Потом истребили много. Теперь опять стало больше: бобровый мех не так моден сейчас. А у меня их никто не трогает.

На другой день вез нас на аэродром шофер-грек. Лет десять он уже живет в Канаде. Работал на севере, на Юконе, в буровых партиях, сейчас работает шофером такси. Одну руку держа на руле, он приглашивал ладонью глянцевые черные волосы, сплошным слитком лежавшие на голове, говорил о том, что здесь уже все не то. Вот кто раньше успел... А теперь и земли подорожали...

Я сказал ему со слов Руди Вибе, что сейчас акр (0,4 гектара) стоит как будто сто долларов.

— Нет, теперь уже не то! — сказал он. — Умные люди раньше успели купить землю. Пока еще нефть не нашли. А я опоздал. Теперь они получают по десять тысяч долларов в год ни за что! — Он сделал жест рукой. — За то, что под их землей нефть. Раньше надо было, а теперь уже не то.

Стояли по сторонам шоссе небольшие деревянные элеваторы, покрашенные темным суриком. Иногда отчетливо можно представить, как через много лет будет выглядеть

то, что видишь теперь. «Вот такими вначале были здесь элеваторы: деревянные, небольшие...» — будут говорить со временем.

И кто-нибудь из тех, кто сегодня поселился в Канаде, скажет лет через десять: «Нет, теперь уже все не то. Вот кто раньше успел, лет десять назад...»

Быть может, жизнь тогда продвинется на Север от заселенной полосы. А сейчас веют ветры будущего с тех огромных, покрытых снегами просторов.

«ЗАЩИЩАЯ ДВИНУ»

В здании канадского парламента, в Башне Мира, есть часовня, над входом в которую висит крест. Это увеличенная копия ордена. В Канаде его вручают матери, потерявшей сына на войне. А воевали канадцы во многих войнах, особенно в нынешний век. Имена всех погибших занесены в книги, которые хранятся в Башне Мира под стеклом. И каждый день служитель переворачивает страницу в каждой из этих книг: новый день — новая страница. Словно время само листает книги, вновь и вновь напоминая согражданам имена тех, кто пал на поле боя. В первой мировой войне. Во второй мировой войне... Всюду, где сражались и погибали канадские солдаты. И изо всех земель, где пролилась их кровь, привезено сюда по камню.

Мы уже уходили из часовни, когда дежуривший в ней полицейский, веселый, рослый француз, что называется, в теле и в добром здравии, узнав от Никиты Борисовича, кто мы и откуда, захотел вдруг сделать нам приятное.

— Тут где-то есть камень из России,— сказал он и повел нас искать. И нашел и показал надпись в мраморе на стене. Надпись гласила, что отряд канадских войск в составе ста двадцати человек высадился в 1918 году на севере России и до 1 сентября 1919 года сражался, «защищая Двину».

Не вина солдат, что их везут куда-то, высаживают в чужой стране, и они сражаются там и погибают неведомо за что, ибо не ведают, что творят. Но защищать в чужой стране можно власть, правую или неправую, собственность чью-то. А как можно реку Двину защищать от тех, кто родился на ее берегах и живет, чьи предки жили

тут и похоронены, чьи дети имеют право здесь жить? Как от них можно защищать их родину, их берега?

История одна, но изучают ее по-разному. И память в молодые годы крепка. Нередко на всю жизнь остается неоспоримым, что услышано в семье, в школе, с университетской кафедры. А еще теперь и телевизор в каждом доме вещает, его начинают смотреть чуть ли не с грудного возраста, не осмысленными еще глазами. Разубеди человека, если предубеждение в нем с детских лет. А самому открывать жизнь заново трудней, способен на это не каждый. Да и у кого есть время? Тем более, если время — деньги.

Обычно наши встречи со студентами канадских университетов происходили таким образом: каждый задавал вопросы, какие хотел, мы отвечали. И сами спрашивали тоже.

В Макгильском университете я спросил, обратившись ко всей аудитории:

— Кто знает, с кем и кто воевал в минувшей второй мировой войне?

Была долгая тишина. Потом парень, стоявший в дверях (аудитория была небольшая, сидели на стульях, на полу, стояли в двери и за дверьми), решился:

— Канада, Соединенные Штаты, Советский Союз и Англия воевали против Германии и Японии.

И покраснел. Он ведь за всех отвечал, можно сказать, отставал сейчас честь всех. А профессор Никольсен, руководитель кафедры славянской и советской литературы, хозяин этой встречи, сказал искренне:

— Я очень волновался, что они не ответят.

Честно скажу, и я желал успеха этому парню, хотелось даже немного помочь ему перечислять. А вопрос свой я не случайно задал. Я и в Соединенных Штатах Америки задавал его студентам, и, к сожалению, не всегда они могли ответить. В Анаполисе, близ Вашингтона, в военно-морской академии, я спросил будущих морских офицеров, кого из советских военачальников времен второй мировой войны могут они назвать? Назвали маршала Жукова.

Потом у нас, на встрече с курсантами артиллерийского училища, которое я сам когда-то кончал, я рассказал об этом. Было, как говорится, здоровое оживление в зале.

— Вот видите, — сказал я. — Но вы-то, конечно, знаете, кто командовал войсками наших союзников?

Некоторое смущение возникло. Потом назвали Эйзенхауэра. Назвали Монгомери. Кто-то даже Омара Брэдли вспомнил. Хоть и не с очень большим преимуществом, но счет — в нашу пользу. Ну и масштабы участия в войне конечно же несравнимы.

Сейчас, на некотором отдалении, вспоминая все встречи со студентами, вижу, что кафедра славянской и советской литературы Макгильского университета, пожалуй, была единственным местом, где получился какой-то разговор о советской литературе. Сам профессор Никольсон говорит по-русски с этакими врожденными интонациями старого москвича. Но в том-то и дело, что врожденными они у него быть не могут. И по-английски и по-французски он говорит так же свободно. «Так же», потому что естественней говорить невозможно. И еще он по-китайски говорит, удивительный этот лингвист.

Когда за тридевять земель от дома девушка-негритянка на неплохом русском языке, но только с очень мягкими шипящими, которые она выговаривает с осторожностью, спрашивает тебя о книгах Шукшина, Белова, то где-то в душе, невысказанное, шевелится: разве она может это ощутить? Это настолько свое, твое, личное... Конечно, не все ощутимо. Как и для тебя, скажем, в книгах «Старик и море», «Иметь и не иметь». Не пережив, неминуемо что-то не ощущишь. Но главное самое, без чего эти книги и в Америке и у нас ни одну живую душу не взволновали бы, это главное и ей и тебе в равной мере принадлежит. Потому что и сейчас, в век лазерных лучей и сверхзвуковых реактивных самолетов, искусство по-прежнему прокладывает самый короткий путь от человека к человеку.

Я пожалел, что не записал ее имя, но дня два спустя, утром, мы случайно встретили ее в закусочной: мы выходили, она входила. И по моей просьбе она написала в моей записной книжке: «Кэрол Маршалл». Спросила:

— Адрес тоже написать?

Но здесь, в Макгильском университете, встреча была со славистами, чья будущая профессия — русский язык, русская и советская литература. И еще какое-то количество студентов набежало из других групп. С ними разговор шел через переводчика.

В Ванкувере, в университете Британской Колумбии, мы попали на занятие творческой мастерской, которой руководил профессор Роберт Харлоу. Здесь занимались

начинающие драматурги. Я спросил их (в аудитории было человек двадцать — двадцать пять), кого из советских писателей они знают. И не без юмора один студент сказал:

— Чехова!

Все засмеялись. Но больше ни одного имени так никто назвать и не смог. И ничего из нашей литературы они не читали. Я не хочу сказать, что они невежественны или из них выйдут плохие специалисты. В Канаде к профессии, к узкой своей специальности относятся очень серьезно. В Канаде, как здесь говорят, можно ругать премьер-министра, но мастера или прораба на стройке ругать нельзя: он уволит. Заместитель директора нашего торонтского отделения фирмы «Станкоимпорт» Эдуард Худяков рассказал, как он однажды сделал замечание канадскому рабочему. По непременному условию из каждого шести человек, занятых в нашей фирме, пятеро должны быть канадцы: рабочие, инженеры, служащие. Так вот, он сделал замечание канадскому рабочему. На следующий день тот не вышел на работу. Стали узнавать. Оказывается, рабочий счел себя уволенным. За одно замечание.

Надо думать, и студенты, с которыми мы встречались, станут со временем хорошими специалистами. В большинстве своем это симпатичные, жизнерадостные ребята, которые учатся не от чего делать: как правило, они сами зарабатывают деньги себе на обучение. Но просто одна часть света для них закрыта.

В Канаде и южнее, в Соединенных Штатах, теперь знают наш хоккей. Но шесть лет назад, когда мы уже неоднократно были чемпионами мира, мне довелось присутствовать в Нью-Йорке, в Мэдисонсквергарден, на матче двух профессиональных американских команд. Игра была шумной, но слабенькой. В перерыве между таймами мы вышли в фойе, и сопровождавший нас переводчик мистер Кримгольд, человек профессионально общительный, сказал дежурившему полицейскому, что вот это гости из Советского Союза. И тот с любезной улыбкой спросил нас, как нравится нам хоккейный матч. Видно было, что он не сомневается, каков будет ответ.

Мне это напомнило историю, происшедшую с американским корреспондентом в Пекине, когда корреспондент нарушил правила уличного движения, был остановлен, потом отпущен. Регулировщик сказал американцу: «Ко-

нечно, вы же не видели еще никогда города с таким большим автомобильным движением...»

Не желая огорчать полицейского, я сказал все же, что наши хоккеисты играют лучше. Он любезно не поверил. Я сказал, что мы уже несколько лет чемпионы мира, чемпионы Олимпийских игр. Единственно не сказал я ему, что речь идет о любительских командах, тогда еще с профессионалами мы не играли и не было доказано, что с ними наши ребята могут играть на равных и даже выигрывать с блеском. Он заверил, что я ошибаюсь: американский хоккей, конечно, лучше. Но когда и мистер Кримгольд подтвердил, что я не ошибаюсь, что это действительно так, он вдруг разозлился:

— Мой страна — это моя страна,— сказал он.— Она лучше!

Английское слово «country» — «кантри» — имеет много значений: «деревня», «сельская местность», «периферия». Он употребил его в значении «страна». «Моя страна».

Хорошо, когда человек любит свою страну. Но хорошо, когда он и о других странах имеет представление.

И студенты семинара в Ванкувере и позже в Эдмонтоне на встрече с писателями и художниками в милом доме писательницы Шилы Уотсон спрашивали нас о вещах не только обыкновенных, но о таких, которые, казалось бы, всем людям известны. Мой ровесник художник Норман Уотс спросил меня:

— Как вы живете?

Я не понял, что, собственно, его интересует.

— Как? Где? Что это, где вы живете?

Тогда я обрисовал дом, в котором живу, и даже начертил. Количество этажей, подъездов, квартир на площадке, размер комнат в квартире, двор и так далее и тому подобное. Вот это было ему интересно. И позже об этом же и так же точно спрашивал меня в Торонто редактор журнала «Сатердей найт» Роберт Фулфорд.

Наверное, эти вопросы наивными покажутся, если мы не спросим себя: а что мы знаем о канадцах? Не так уж много. И все же я убеждался: что-то знаем. И первое знание дала нам даже не география, которую все дети изучают в школе; изучают, сдают и забывают. Первое представление о Канаде и канадцах дал нам Сетон-Томпсон. Да, это уже относительно отдаленные времена, но ведь люди не меняются так быстро, как меняются, скажем,

средства передвижения. Нам дал представление о Юконе, о Северной Одиссее американец Джек Лондон. И даже у людей, которые не интересовались специально Канадой, не читают специальной литературы, создался в нашей стране образ канадца: симпатичный, в общем, несколько даже романтический.

И люди моего поколения, и дети наши читали в раннем возрасте Сетона-Томпсона. Целый мир доброты и человечности открывался в нем. Конечно, мы бы жили и были людьми, и не прочтя этих книг. Но мы бы были бы бедней. Его книги изданы у нас 126 раз на двадцати восьми языках. А тираж их превысил три миллиона четыреста тысяч экземпляров.

С его книгами, как с книгами Корнея Ивановича Чуковского, у меня связано ощущение, что они были всегда. Задолго до нас, при нас — вообще всегда они были. А ведь когда я с фронта вернулся, Сетон-Томпсон был жив. Это уж я после сопоставил и понял.

Мне было, наверное, лет сорок, когда в Переделкине, в Доме творчества, я встретил живого Корнея Чуковского. Не по телевизору увидал, не на улице, а вот так: мы с Павлом Филипповичем Нилиным стояли внизу, а он спускался с лестницы. Он привык, что на него смотрят такими глазами, которыми, наверное, и я глядел на него. И, улыбаясь, сказал привычно своим особенным голосом, каким и должен говорить великий сказочник с детьми, со взрослыми людьми:

— Да, это я. Я еще жив...

И поколения перед нами, и наше поколение, и дети наши — все воспитались па его, сказках. Как на сказках братьев Гrimм, сказках Андерсена. Еще при его жизни они стали классикой. Недавно стараниями шведской писательницы Биргитты Гедин был в Швеции открыт Корней Чуковский. Но в Канаде книги его не переведены и не изданы. Для скольких поколений канадских детей остался закрытым целый мир!

Поразительно: в Канаде вообще не издается советская литература. Ни одной советской книги, изданий здесь, мне так и не удалось ни увидеть, ни найти, а ведь мы и с писателями и с издателями встречались.

Университетские библиотеки выписывают наши журналы, различные издания. Но их могут читать только люди, владеющие русским языком, их могут изучать на факультетах славистики, где не много обучаются сту-

дентов. Короче говоря, назначение их такое же специальное, как технической литературы в технических вузах. А ведь как ни относись к ней, советская литература сегодня — это уже часть духовной культуры человечества.

«О том, что нам читать, думают в Париже, Лондоне и Нью-Йорке». Это сказал торонитский издатель Питер Мартин. Издательство его не слишком обширно, и беседовали мы, по сути дела, в коридоре, где вокруг сундука было поставлено несколько стульев и кресел; холлом это не назовешь, а другого помещения не было. Положив ногу на ногу, держа себя за щиколотку в ярком носке, Мартин говорил много и живо. «Мой недостаток, что я много говорю», — сказал он под конец. А говорил он о том, что канадские издательства находятся в очень стесненных обстоятельствах и конкурировать с более мощными американскими, лондонскими, парижскими издательствами не могут. Канадскому писателю выгодней быть напечатанным в США, чем у себя на родине: там и тиражи больше, и оплата выше. А издают на том же английском языке, и потом книги выбрасываются на канадский книжный рынок.

Только одно канадское издательство «Арлекин» сегодня конкурирует успешно, экспортирует свои книги в США, представлено в Австралии. Но оно издает сентиментальную литературу, отвечающую вкусам определенного читателя.

— Я ни разу не смог дочитать такую книгу до конца, — сказал Питер Мартин, — я засыпал. Два-три часа эта книга позволяет развлечься, окунуться в сентиментальный мир.

Я сказал, что, может быть, буду писать об этой поездке в Канаду, и на всякий случай спросил, что из нашей беседы могу я упомянуть.

— Все!

Но, сказав так, он не то чтобы смущился, а немножко обеспокоился. — Вам лучше поговорить еще с другими людьми, они могут быть не согласны со мной. Это мое мнение, они могут считать по-другому.

И вот тут была сказана фраза: «Мой недостаток, что я много говорю».

Я привожу его слова как его собственное мнение. Но и не вполне частное, потому что, если всех этих трудностей не существует, тогда и вовсе непонятно, почему бы

не издавать нашу литературу в Канаде, как ее издают во многих странах мира.

Трудности есть, о них и другие издатели говорили. Язык, объединяющий соседние страны, может отделить одну из них от какой-то части света. Все это так. Но ведь и в Лондоне и в Нью-Йорке люди говорят на одном языке, а издательства здешние не только распределили сферы влияния, но и успешно конкурируют друг с другом. И в Париже различные издательства конкурируют между собой, хотя все они выпускают книги на одном и том же французском языке. И даже право издания советской литературы не закреплено ни за кем, не стало монопольным. Случается, что книги одного советского писателя выходят в Париже в разных издательствах.

Трудности есть, только смотреть на них можно по-разному. И за видимой причиной бывает скрыта другая причина: не явная, но главная.

В Торонто была у нас встреча с преподавателями и студентами университета, длившаяся три с половиной часа. Обычно, когда говоришь, из многих лиц отбирается постепенно одно или несколько, реакция которых становится для тебя определяющей. Не споря, ты споришь. Или, наоборот, получаешь подтверждение.

В третьем ряду сидела молодая женщина лет двадцати — двадцати двух. Она не задала ни одного вопроса, не подала ни одной реплики, но я видел, она понимает по-русски и спорит со мной. У нее было незаурядное лицо. Особенно глаза хороши. Горячие, черные, они реагировали живо и пронично. Я видел, она отталкивает каждое слово. Когда я сказал, что передвойной наше поколение жило с ясным сознанием, что фашистская Германия нападет на нас, она открыто усмехнулась. А уж тут-то собственного опыта, собственного знания у нее не могло быть: она ведь родилась после войны.

Я был уверен, что в перерыве она подойдет. И вот когда после двухчасовых споров объявили перерыв и, перемешавшись, все пошли к столам, где в термосах был кофе и чай, она подошла ко мне. Первая ее фраза была поразительна:

— Вы ненавидите нас за то, что мы не читаем вашу литературу о войне?

Я сказал ей:

— Я видел, что вы понимаете по-русски. Откуда вы знаете русский язык?

— Я выучила его,— сказала она сухо. Но если так, она хорошо выучила русский язык: она говорила без акцента.— А нам неинтересно читать вашу литературу о войне!

И смотрела с открытым вызовом черными своими, прямо-таки жгучими глазами. Она была по-настоящему красива в этот момент, жаль, что она не могла видеть себя.

— Но, чтобы говорить «непод有兴趣», надо все-таки что-то прочесть.

— Америка тоже воевала,— сказала она.— И была война во Вьетнаме.

— Неужели вы разницы не чувствуете?

И я привел цифры: под колесами автомобилей за то время, что они существуют, в США погибло больше 2 миллионов человек. А в девяти крупнейших войнах, в которых США участвовали, общие потери их — 630 тысяч американцев. Конечно, не одними потерями измеряется доля участия, но тут все несравнимо.

— А верующие, которые у вас погибли во время революции!...— сказала она вдруг.

Внешне тут, казалось, нет связи. Но для нее была связь в том, что она говорит. И был смысл, она только не замечала, какой это жестокий смысл. Совершенно убежденно она не желала знать. Я видел: тут не достучаться. А достучаться хотелось. Потому что это был живой человек, запальчивый, но живой. Как бы ни разъединяла людей ненависть, еще хуже — равнодушие.

Даже у Черчилля в его шеститомном издании «Вторая мировая война» много раз встречаются рассуждения о том, какой различной была доля участия наших стран в минувшей войне, к каким результатам в послевоенном мире это может привести. И не его одного тревожили эти соображения. Он приводит в своей книге письмо английского фельдмаршала Смэлса к нему, премьер-министру, датированное 31 августа 1943 года, то есть тем временем, когда Черчилль прилагал особенные усилия, чтобы оттянуть подальше, на неопределенный срок оттянуть открытие второго фронта. Смэлс писал тогда:

«...Сравнивать англо-американские усилия, учитывая все наши обширные ресурсы, с усилиями России за тот же период,— это значит затрагивать щекотливые вопросы, которые неизбежно приходят на ум многим людям. Наши действия на суше относительно незначительны, а их темпы весьма неудовлетворительны. Мы много и часто хвастаемся своими промышленными усилиями, особенно колос-

сальным американским производством. Кроме того, после почти двухлетней войны американские вооруженные силы должны быть огромными. И все же русские противостоят основной массе германской армии на суше. Отчасти это объясняется нехваткой у нас судов и другими трудностями, однако этим вопрос еще не исчерпывается. У меня создалось неприятное чувство, что масштабы и темпы наших сухопутных операций оставляют желать много лучшего. Наш военный флот действует, как всегда, великолепно, а наша авиация превосходна. Однако часть почти всех побед на суше принадлежит русским, причем вполне заслуженно, учитывая масштабы и темпы их операций и их замечательную стратегию на колоссальном фронте.

Мы, несомненно, можем воевать лучше, и сравнение с Россией может стать менее невыгодным для нас. Рядовому человеку должно казаться, что войну выигрывает Россия. Если такое впечатление сохранится, то каково будет наше положение на международной арене после войны по сравнению с положением России? Наше положение на международной арене может резко измениться, и Россия станет дипломатическим хозяином мира. Это нежелательно и ненужно и имело бы весьма плохие последствия для Британского содружества наций. Если мы не выйдем из этой войны на равных условиях, наше положение будет неудобным и опасным...»

Она еще на свет не родилась, эта запальчивая душа, не желающая знать, что и как было, а ее нежелание уже тогда планировалось. Оно было необходимо, хотя, наверное, ей кажется, что ее убеждения — это ее собственные убеждения, она к ним своей мыслью пришла.

Наш замечательный хирург В. Федоров, обследовав большое количество слепых, установил, что есть среди них те, кому можно вернуть зрение. Но только если зрение потеряно не слишком рано. А когда его потеряли в годовалом возрасте или еще раньше, тут уже ничего не поможет. Даже если глаз, как оптический прибор, способен видеть. Глаза видят, но не воспринимает мозг. И никакой операцией ничего сделать нельзя.

В Монреальском университете во время встречи с профессорами и студентами факультета французской литературы справа от Анатолия Ананьева и от меня сел пожилой, сильно пожилой человек. Представился:

— Профессор Плетнев.

С первых же слов он попытался стать центром всего разговора.

— Княгиня Трубецкая,— говорил он, не столько к нам обращаясь, сколько на аудиторию работая,— княгиня Трубецкая говорила мне, приехав из Москвы, что у вас в десятитомном собрании сочинений Достоевского не полностью напечатаны проповеди старца Зосимы. Не полностью. Почему вам полностью не дают читать проповеди старца Зосимы? В той части тиража, которая у нас здесь, они полностью. А у вас не полностью.

Не суть важно, что своими глазами он не проверял, не видел. Ему говорят, он рад говорить.

Он перечислял имена людей, никогда ничего не означавших в русской литературе. Все они известны только злобной ненавистью к Советской России, все они, так же как и он, эмигрировали в годы революции.

— Почему у вас их не издают?..

Мы спросили, обратясь к аудитории:

— Скажите, кто из вас читал Александра Твардовского?

Никто.

— Ну, хоть кто-нибудь?

Никто. Ни один человек. Ни профессора, ни студенты.

— Как же вы,— сказали мы Плетневу,— русский человек, не донесли сюда великого поэта России Александра Твардовского?

Ведь это о Твардовском из эмиграции Телешову писал Иван Алексеевич Бунин: «Дорогой Николай Дмитриевич, я только что прочитал книгу А. Твардовского («Василий Теркин») и не могу удержаться — прошу тебя, если ты знаком и встречаешься с ним, передай ему при случае, что я (читатель, как ты знаешь, придирчивый, требовательный) совершенно восхищен его талантом,— это поистине редкая книга: какая свобода, какая чудесная удаль, какая мягкость, точность во всем и какой необыкновенный народный, солдатский язык — ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого, готового, то есть литературно-пошлого слова!..»

И никто в этой университетской аудитории, где спрашивали нас, изучают ли в Советском Союзе квебекскую (не канадскую даже — квебекскую!) литературу, ни один человек не читал Твардовского.

После канадцы говорили, что профессор Плетнев очень стар, что, может быть, даже не совсем полноценен психи-

чески. И вот он преподает в Монреальском университете русскую и советскую литературу...

Я ни в коей мере не хочу сказать, что Плетнев олицетворяет эмиграцию. Среди эмигрантов разных поколений есть немало людей, не порвавших духовных связей со своей родиной. Многие из них достойно показали себя во время войны, после войны. Но что могут знать о советской литературе студенты, которым преподает вот такой Плетnev?

Несколько раз на протяжении всей поездки нам рассказывали трогательную историю о том, как в 1942 году во время войны голландская королева, находившаяся в Канаде в изгнании, родила наследника голландского престола.

По закону наследник может занять престол только в том случае, если он рожден на голландской территории. И вот правительство Канады подарило голландской королеве территорию вокруг госпиталя и госпиталь, в котором предстояло родиться наследнику. С тех пор в Оттаве каждый год высаживают что-то, кажется, триста тысяч тюльпанов: дар королевы, присыпаемый из Голландии.

А ведь это был 1942 год. В том году мы отступили до Сталинграда. Но стали у Сталинграда. И разгромили фашистскую армию, повернув ход войны. А потом и Европу освободили.

Мы не подарили голландской королеве госпиталь во время войны. Но мы вернули народу Голландии его родину. И уж как следствие, голландскому наследнику — престол.

Тюльпаны не покрывают могилы наших солдат, оставшиеся по всей Европе. А многих тех могил уже и нет теперь. Но должна быть память. Честная, благодарная память о тех, кто жил, выполнил свой долг и за живущих пыне отдал жизнь.

КАНАДСКИЕ ФЕРМЫ

Все правила хороши своими исключениями, и не составлено еще такой программы, которую не захотелось бы изменить. Вот и нам все время хотелось включить в программу посещение канадской фермы. Анатолий Ананьев по первому своему образованию агроном, не один год работал агрономом. Мне тоже было интересно. И всякий

раз к слову и не к слову мы напоминали о том, что вот, мол, было бы хорошо побывать на ферме. Ну, а капля по капле, как известно, камень долбит.

И вот был прием в Оттаве, в доме мистера Стила, декана факультета английского языка и литературы Карлтонского университета. Собрались профессора, писатели, студенты. Шел вначале общий разговор, в котором едва ли не все мировые проблемы были затронуты сразу, и две очаровательные дамы принимали в нем участие столь живо, что Никита Борисович едва успевал переводить то с английского, то с французского. Вдруг подходит светловолосый рыжебровый человек, стоит, смотрит весело, стучает толстостенным стаканом о мой стакан:

— Здравствуй, Гриша!

И это на хорошем русском языке. В стакане его — виски, лед о стенки позванивает. У виски то же самое свойство, что и у водки: сближает.

— Здравствуй,— говорю я, а он помогает закончить, подняв стакан вверх: «Мечислав!» И еще добавляет: «Майкл!»

А одна из дам говорит:

— Мячик, не мешай!

«Мячик» — домашнее, уменьшительное от «Мечислав», я и без перевода понимаю. А «не мешай» не столько даже переводит с французского, как со всей вежливостью пересказывает Никита Борисович. И выясняется, что Мечислав Гиоровски никак не лишний в нашем разговоре, поскольку одна из дам, та, что сказала: «Мячик, не мешай!» — это жена его, Диана Гиоровски. И еще выясняется, что они оба предлагают нам завтра поехать на фермы: к ним и к их соседям. Это здесь же, в провинции Онтарио (Онтарио — произносят канадцы).

Следующий день — воскресенье, 9 ноября. По календарю глубокая осень, а на дворе как будто лето вернулось: бабье лето. Здесь его называют — индейское лето, «indian summer».

Тепло, солнце рыхее осеннее прощально греет землю. Дали так прозрачны, такая ясность в воздухе и покой, что даже щемит. Словно ты не с летом и солнцем, а с миром прощаешься.

В машине нас пятеро. По-русски не говорит только Диана, и ей по очереди переводят то муж, то Фрида Лурье. А когда мы смеемся, она улыбается и ждет, что-

бы ей перевели. Но смеяться одной неинтересно, и вскоре Мечислав говорит:

— Моя жена требует уступить ей место за рулем.

Диана надевает перчатки, пересаживается на место водителя, и машина, восприняв нрав хозяйки, становится стремительной.

Диана родилась в Канаде, род ее здесь один из самых древних, разумеется, по здешним понятиям древности. Три века назад среди первых французских поселенцев были ее предки.

— Не правда ли, я неплохо сохранилась для трехсот лет? — говорит она.

А Мечислав Гноровски — из поздних поселенцев. Он приехал в Канаду в начале пятидесятых годов нынешнего века: приехал из Китая, где родился. Желая передать дело в руки сына, отец направил его сюда учиться, чтобы он вернулся инженером-химиком. Но, поучившись на химическом факультете, Мечислав обнаружил, что интересует его не химия, а филология. Ею и занялся он здесь, а вскоре и родителей выписал к себе, тем более что пришло им время сворачивать дело. Сейчас Мечислав Гноровски — профессор канадской литературы Карлтонского университета.

В Канаде до недавнего времени меньше всех смешивались с другими расами и нациями японцы. 99,3 процента японцев женаты на японках. На третьем месте — французы. Только 5 процентов французов женаты не на француженках. Но это значит одновременно и то, что лишь пять процентов француженок замужем не за французами. Диана в числе этих пяти процентов.

Больше половины поляков в Канаде сохраняют свой родной язык, что встречается далеко не в каждой этнической группе. А в одном из небольших городков провинции Онтарио, в восьмидесяти милях от Оттавы, где поляки составляют большинство населения, дети ирландцев в школе говорят по-английски с польским акцентом.

Но Мечислав Гноровски убежден, что у польской общины в Канаде нет будущего. Должна со временем сложиться канадская нация, канадская культура. И вот с канадской культурой связано и дело его жизни, и его увлечение. Еще будучи студентом университета, он начал издавать свой журнал.

— Я тогда был молод, был оптимист, — говорит он, — и журнал свой назвал «Yes» — «Да».

Когда люди, которым нет сорока, говорят: «Когда я был молод...» — это верный признак, что они молоды. А то, что оба они оптимисты, могу свидетельствовать беспристрастно.

Мечислав издал 19 номеров журнала, после первых восьми получив правительственную субсидию.

Позже, преподавая уже в университете канадскую литературу, он обнаружил, что многих книг канадских писателей XIX—XX веков просто нет. И тогда вместе с Дианой в одной из спален своего дома они создали издательство, назвав его по имени таверны «Золотая собачка». Они издают по четыре, по семь книг в год. Они отложили до лучших времен поездку в Европу, потому что правительственной субсидии недостаточно на покрытие издательских расходов, а прибыли их издательство, разумеется, не дает пока. И за то, чтобы книжные магазины брали книги их издательства, им надо бороться, поскольку место на полке книжного магазина должно приносить прибыль.

Есть много общего с издателями «Тэлонбукса» и в их увлеченности, и в их сегодняшних трудностях, которые сами они добровольно избрали для себя.

В одиннадцатом часу утра мы приезжаем на ферму одного из недальных соседей Гноровски: на ферму Билла Кипена.

Пусто во дворе. Мечислав Гноровски говорит, что, видимо, хозяева еще в церкви, и идет в дом узнать. А мы остаемся у машины. Солнце светит, земля после недавних дождей сырая. В развороченных колеях стоят трактора с цепями на колесах. Кончины работы летние и осенние. Запасен корм для скота, наступила короткая пора предзимнего покоя и отдыха земле.

За металлической сеткой, натянутой вместо четырех стен, под шиферной крышей хранятся кукурузные початки, янтарно-желтые. Их продувает ветром, просушивает солнце, и черные белки бегают внутри, вспрыгивают на сетку, показывая светлые животы.

Из дома Мечислав Гноровски вышел вместе с хозяином. Билл Кипен в шапке, в сапогах, измазанных землей и навозом, лицо красно, угрюмо. Он, как выясняется, спал. Семья ушла в церковь, а он спал, потому что вчера была свадьба младшего брата, п Билл говорит, что голова у него сейчас больше, чем вся эта ферма. Мы обсуждаем по дороге, что в таких случаях лучше помогает: огурец-

ный рассол, квас или холодное молоко? Происходит, так сказать, обмен полезным опытом.

Третье поколение семьи Билла Кипена живет и работает на этой земле. У меня нет точных цифр по Канаде, но южнее, в Соединенных Штатах Америки, шесть человек, работающих в сельском хозяйстве, дают работы шестнадцати человекам, перерабатывающим продукты сельского хозяйства.

В провинции Онтарио фермы, как правило, молочно-животноводческие. Хлеб, по вывозу которого Канада занимает второе место в мире, сеют в степных провинциях Саскачеван и Манитоба.

У Билла Кипена пятьсот акров, то есть примерно двести гектаров земли и восемьдесят дойных коров. На этой земле и на ферме работает его семья, и еще он нанимает двух работников. Урожай с полей идет на корм скоту, а молоко сдается по контракту.

Мы начали осмотр с того помещения, где завершается круг работ природы, человека и животных. Здесь на цементном полу стоит резервуар из нержавеющей стали: танк. К нему подведены из коровника стеклянные трубы. Во время дойки они белые: по ним течет молоко в танк, который одновременно — холодильная установка, поскольку фирма забирает молоко раз в двое суток. Фирма же контролирует жирность молока, чистоту промывки резервуара, всей аппаратуре, труб. Все должно соответствовать установленным стандартам.

В промышленно развитых странах давно уже не только на заводах, но и в сельском хозяйстве властвует стандарт. Стандартные семена отбирают для посева, стандартные машины работают в поле, стандартны приемы обработки почвы, стандартное оборудование поставляется на фермы. И конечная продукция — молоко тоже должно отвечать стандарту: жирность 4,5 процента.

В нескольких милях отсюда есть другая ферма, там другая порода скота: рыжие коровы с мордами, удивительно похожими на олени. Они дают меньше молока, но оно жирней. Его забирает другая фирма: на мороженое. И оно тоже соответствует своему стандарту. А у Билла Кипена скот исключительно голландской породы, и молоко отсюда идет на производство сыра.

Восемьдесят черно-белых голландок стоят в стойлах. У каждой перед мордой — кормушка и автопоилка, позади — транспортер, на котором отъезжает павоз. Нажатие

кнопки — транспортер поехал медленно позади всего ряда коров. Если последовать за ним, как он движется, пройти до конца коровника, — там другое помещение, и в нем яма, в которую сваливается навоз с транспортера. А в яме ходит металлический поршень — его тоже движет электричество. Биллу, фермеру, надо только кнопку нажать, чтобы привести его в действие. И силы для этого тратит он столько же, сколько тратит ребенок, нажимая кнопку лифта, или женщина, включающая пылесос, или инженер,пускающий в ход конвейер. За всех за них в равной мере работает энергия, пришедшая по проводам от электростанций. От гидроэлектростанций, где вода вращает турбины, или от теплоэлектростанций, где сжигают уголь, добытый другими людьми, или выкачанную из земли нефть.

Труд современного крестьянина неотделим от труда всего общества. И нет в этом круговороте четкого начала, и нет четкого конца, и невозможно выделить кого-либо одного, кормильца: вот он, мол, с сошкой, а каждый из вас остальных — с ложкой.

Билл нажал кнопку, стальной, жирный от мокрого навоза поршень, чавкая, стал ходить взад-вперед, взад-вперед. Он заталкивал навоз в трубу, гнал его под землей и выдавливал из трубы в бетонный резервуар, который виден невдалеке от фермы.

Таким же нажатием кнопки подается силос из силосных башен, измельчается зерно. Корма в общей своей смеси тоже должны соответствовать стандарту, поскольку у коровы молоко, как говорится, на языке.

Пожалуй, нет тут ничего, что по отдельности не видел бы я на наших фермах. И коров, дающих такие удои. И транспортеры, и автопоилки, и электродойку. Все это и многое другое есть и у нас в хороших хозяйствах, тем более в гигантских животноводческих комплексах, которые созданы и создаются теперь.

Но современное промышленное производство отличают не отдельные высокие достижения, не рекордные показатели — не они движут конвейер. Тут властуют поток и стандарт. Три и один тут дают меньшую сумму, чем два плюс два.

В сущности, ведь конвейер не изобретен людьми, а уведен в природе, как большинство человеческих изобретений. Я как-то разговаривал о конвейере с врачом, спе-

циалистом по желудочно-кишечным болезням. И вот он что сказал мне:

— Вы проследите за комочком пищи от того момента, когда мы проглатываем его. Вот он пошел по пищеводу, по желудочно-кишечному тракту... Каждый орган выполняет свою операцию. Стоит одному выйти из строя, и весь конвейер пришел в расстройство, все начинает не срабатывать. На что направлены усилия врача? Наладить этот конвейер, снова пустить его в ход.

Не только современное автомобильное предприятие, но и современная ферма — это конвейер. А главный его «машинный зал», где естественно, с первобытной простотой совершается то превращение, которое пока еще никакой технике недоступно,— это само животное. Чем меньше ручного труда на всем пути до «машинного зала» и после него, тем совершенней, экономичней работает конвейер, тем больше уверенности, что ферма выстоит в конкурентной борьбе.

Мелочей тут быть не может, лишнего — тоже. Все, что не окупается,— лишнее, все, что приносит доход,— разумно. Наверное, поэтому удивило меня, что над каждым стойлом на двух проволоках подвешена металлическая пластина с крупными тупыми зубьями. Видимого смысла не было в ней никакого. А в то же время над каждым стойлом она висела перед холками коров. Зачемто она ведь все-таки нужна... Я спросил Билла, и он объяснил. Оказалось, все рассчитано точно. Когда корова хочет продвинуться дальше, она касается холкой этой металлической гребенки и получает слабый разряд тока; электрошок. Этим и обеспечено, что каждый раз помет падает на ленту транспортера, а не мимо. Не надо чистить под коровой, не надо и корову лишний раз чистить: она уже не ляжет боком в собственный помет.

Мы обошли коровник и вновь вышли во двор. Так же грело осеннее солнце, стояли машины во дворе, а за проволочной сеткой бегали белки по кукурузе. Их стало еще больше.

Я спросил Билла Кипена, всегда ли у них здесь вызревает кукуруза. Все же кукурузный пояс Соединенных Штатов Америки несколько южней. Он сказал, что сейчас учеными выведен новый сорт, у которого рано опускаются листья, обнажая солнцу початок. Этот сорт кукурузы вызревает не за девяносто, а за семьдесят пять дней: на пятнадцать дней раньше.

И вот опять зацепилось еще одно кольцо той цепи, которая связывает эту ферму с трудом других людей, как электрические провода связывают ее с энергосистемой страны.

Шесть лет назад, когда я был в США и наша делегация встречалась в университетах с профессорами, нам как некий любопытный факт, как парадокс своего рода рассказывали не однажды:

— Знаете, когда в Америке повысили зарплату профессорам колледжей и учителям школ? После того, как ваш Гагарин взлетел в космос.

Да, вот так. Юрий Гагарин взлетел в космос, и в Америке учителям и профессорам была повышена зарплата. Путь к Луне начинать надо было здесь — в школах, в университетах.

Труд крестьянина в наш век тоже не остался чем-то отдельным и неизменным. И хлеб, который мы едим, начинается не только плугом и бороздой, как это любят говорить. Путь его длинный начинается и от школьной партии. А там, где сельский труд не стал частью труда всего общества, где хлеб по-прежнему производит сам крестьянин, он один, там нет хлеба.

К концу осмотра его владений Билл Кипен повеселел немножко, но медлителен был так же. В каждой стране, у каждого народа есть особо медлительные, спокойные люди. В Канаде такими считают жителей провинции Ньюфаундленд. Множество рассказывают про них анекдотов. Один анекдот такой: парашютисту-новобранцу, родом конечно же из провинции Ньюфаундленд, объяснили, что, прыгнув, надо отсчитать «раз, два, три», тогда уже держать за кольцо парашюта. И вот видят: летит вниз человек с нераскрытым парашютом. «Дергай! Дергай!» — кричат ему с земли. И только когда уж в болото шлепнулся, услышали, как наконец отсчитал он: «Три!..»

Все мне этот парашютист вспоминался, пока мы с Биллом ходили по его владениям, хотя тут не Ньюфаундленд, а провинция Онтарио. Но, может быть, причина всему — шумная свадьба: голова у Билла все еще была «больше, чем эта ферма». И поскольку нам не удавалось выяснить, что лучше помогает в таких случаях, огуречный рассол или молоко (квас как-то мало известен в этих местах), предложили мы ему еще одно испытанное средство «поправить голову»: бутылку водки. И были поняты.

Вторая ферма, на которой мы оказались в тот день, принадлежала выходцу из Голландии Ван Луну. После войны, в сорок седьмом году, его отец перебрался в Канаду, на просторные земли, привезя восьмерых детей: семь сыновей и дочь. Один из этих сыновей — фермер Ван Лун, сам теперь уже отец и глава семейства.

Издали среди плоских полей видна его ферма, такая же, как и соседние: коровник и две силосные башни по сторонам. Но одна из этих башен, ярко-синяя, была заметно выше, чем у Билла Кипена. Это самая дорогая силосная башня: из непробиваемого стекла и стали. Силос в ней хранится под давлением газа в условиях герметизации и не теряет питательных свойств.

Чем ближе мы подъезжали, тем крупней читалась надпись на верху башни, белым по ярко-синему VAN LOON AND SONS — Ван Лун и сыновья. И сам мистер Ван Лун с сыновьями шести и одиннадцати лет, с женой и дочерью, которые не значились в надписи, встретил нас во дворе. В отличие от Билла Кипена, которого еле добудились, вся семья была одета по-воскресному. Хозяин при галстуке, жена в белой кофточке, в синих расклешенных, в косую диагональ, отглаженных и обтягивающих брюках.

Пока Диана разговаривала с миссис Ван Лун и по-соседски, по-матерински ерошила детям волосы, всем подряд (у нее своих — трое), мы не очень успешно искали русло будущего разговора. Не то чтобы мистер Ван Лун был сух. Нет. Но держался он так, словно по его двору прошла та самая демаркационная линия, разделившая два мира, две системы. Невысокий, лысоватый, крепкий, он предварительно стоял по ту ее сторону.

Земли своей у Ван Луна вдвое меньше, чем у Билла Кипена: сто гектаров. И еще двадцать пять гектаров он арендует. На этой земле держит он пятьдесят пять дойных коров чистокровной голландской породы. А всего скота вместе с молодняком — сто пятнадцать голов.

Работников он не нанимает. И за скотом ухаживают и всю эту землю обрабатывают они с женой двое.

— Она у меня тракторист, — сказал Ван Лун.

Рука миссис Ван Лун, когда я пожимал ее, была достаточно спильная, но не загрубелая, не мозолистая — рука квалифицированного рабочего, технического специалиста, рука домашней хозяйки и матери.

Конечно, дети помогают им, хоть дети еще малы. Но здесь рано приучают детей к технике. Заместитель директора нашей торговой фирмы «Беларусь», продающей в Канаде советские трактора и сельхозтехнику, Константина Шартанов рассказывал, как канадцы осматривают машины на выставке. Объяснения они слушают в последнюю очередь. И взрослые и мальчишки сразу же садятся на трактор и умело опробуют его в деле.

Некоторое время дети хозяев слушали наши разговоры, потом занялись более интересным делом: сидя на теплом крыльце, они чесали живот собаке, которая — лапы кверху — лежала на солнце у их ног. А мистер Ван Лун повел нас в коровник. Здесь то же стандартное оборудование, поставляемое промышленностью, что и у Билла Киппена. Но чисто выбеленный коровник выглядел несколько победней, самодельней, что ли. Экономили тут на всем. Из трех труб (по одной из них во время дойки течет молоко, по другой вода подается к автопоилкам, а к третьей у Билла привязаны коровы) тут оставлено две. Скот привязан прямо к водопроводной трубе. Зато автопоилки у Ван Луна более совершенной конструкции. Они не засоряются, за ними не надо смотреть, то есть не надо тратить тут ни времени лишнего, ни труда. А под потолком коровника — экран с несколькими светящимися стеклянными трубками, которые испускают то ли ультрафиолетовые, то ли инфракрасные лучи: сюда слетаются мухи и погибают.

Я бы не взялся судить, на какой ферме скот лучше. Но множество дипломов и грамот на стенах удостоверяло, что каждая корова в стаде Ван Луна дает не менее шести с половиной тысяч литров молока в год при жирности 4,5 процента. Все остальное жестко выбраковывалось.

Вот это сочетание строжайшей экономии и широких затрат на чистопородное стадо, на самую дорогую силосную башню, на все, что в конечном счете окупается и дает прибыль,— это трезвое сочетание говорило о том, что у семьи Билла Киппена, в третьем поколении живущей на этой земле, появился грозный конкурент. А по-человечески чем-то Билл Киппен был ближе, понятней. Не берусь объяснять, в чем тут дело, да и неправильно судить о людях с одного взгляда. Тем более что я с самым высоким уважением отношусь к тем, кто способен экономично,rationально вести хозяйство. Сегодня иначе не прокормишь род людской в мире, где две трети людей — и детей и

взрослых — страдают от недостатка белков, с ранних лет обречены на отставание умственное и физическое.

И хоть за каждый свой шаг по пути прогресса расплачиваются люди новыми и новыми непредугаданными бедами, и хоть задымлены уже города планеты, загрязнены моря и океаны, пути назад нет, какими бы милыми огнями ни светило на отдалении прошлое, о котором вздыхают многие нынешние гуманисты. Не удается людям побрести от цивилизации вспять в уцелевшие леса и пустоши: мало осталось этих пустошей и лесов, не хватит на всех. Вечно движущийся конвейер — время — влечет нас. Вся история человечества на нем протекла: и боролись, и войны шли, и царства воздвигались, чтоб незыблемо стоять века и тысячелетия. А конвейер двигался. Он движется и теперь. Хоть стань на нем и упрись, хоть назад побеги, конвейер движется, и всех нас вместе движет вперед к предвидимому и все же неведомому будущему.

Но в кратковременной человеческой жизни не все измеряется умением рационально вести хозяйство, иначе очень уж скучно было бы жить на свете. И влечения наши и симпатии иной раз не объяснишь умом.

НИАГАРА

К концу второй недели пребывания в Канаде мы под руководством Никиты Борисовича едва не оказались в роли молодоженов. И узнали об этом в самый последний момент. Получилось вот как: мы должны были по программе посетить Ниагарские водопады, там ночевать, а утром вернуться в Торонто. Но канадцы, которым мы к слову рассказали об этом, почему-то были несколько удивлены.

— И вы остаетесь там ночевать?

— Да. А что?

— Видите ли... Обычно на Ниагаре остаются ночевать молодожены. А вы не знали этого? Ну как же! Там масса отелей специально для молодоженов.

Вот так совершенно случайно мы узнали, что отправляемся в некотором роде в свадебное путешествие. Впрочем, в автобусе, который в девять утра подъехал к отелю и потом верных полчаса собирал экскурсантов, обезжаая отели Торонто, мы, как выяснилось, представляли средний

возраст. Большинство публики было от шестидесяти и выше к тем рекордным цифрам, которых достигают только долгожители. Дамы сидели парами, блистали улыбками, говорили громко, как говорят люди, которые плохо себя слышат.

Были это канадки или американки, судить не берусь. В Канаде туристов перебывает за год столько же, сколько в ней жителей: при 22-миллионном населении — 17 миллионов туристов. А пожилые американки, у которых и мужья и заботы остались в прошлой жизни, сегодня едва ли не самые заядлые туристы в мире. По всем морям плывут они пароходами, мчатся по дорогам в машинах и поездах, летят в самолетах над океанами и материками. Они вооружены новейшими суперавтоматическими фотоаппаратами, заражены страстью сфотографироваться на фоне всех уцелевших развалин; некоторых вкатывают в самолет в кресле и в месте назначения свозят на руках.

Молодожены в нашем автобусе оказались в явном меньшинстве. Их было двое: японец и японка. И он и она — в джинсах. Они молча положили в багажник огромный чемодан, молча вошли, молча сели рядом и всю дорогу, все два с половиной часа молча держались за руки.

Кому не известно про японцев, что они исключительно владеют собой, что по их непроницаемым лицам ничего невозможно ни узнать, ни прочесть, что даже о смерти близкого человека они сообщают с улыбкой, чтобы не испортить вашего настроения. В это еще и потому верится с легкостью, что слишком укоренилось убеждение: другие люди не такие, как мы с вами.

Но вот что сам я видел шесть лет назад в Сан-Франциско, на Западном побережье США, куда приезжал много японцев. Мы только вселились в отель, я еще дверь открывал ключом, как вдруг из соседнего номера выскочил японец и побежал по коридору с какой-то посудой в руках. А там, в номере, столпились у кровати человек пять японцев, все одинакового роста, прилично одетые, причесанные, как на службу, и очень встревоженные. Не зная, как тут и помочь предложить, когда объясниться не можешь, понимая одновременно, что вряд ли нужен посторонний, я еще медлил с ключом в руке, когда пробежал обратно японец, неся посуду, полную кубиков льда. Он как-то странно пригibaлся и приседал на бегу. Лицо его было не бело. Не желто. Оно было мертвым от испу-

га. Так пугаются не за свою жизнь, так может пугаться человек только за жизнь другого человека, который ему дороже себя.

Я не могу пренебрегать рассказами сведущих людей об особой сдержанности японцев. Но я всегда помню лицо этого человека, потерявшего себя от горя. Пожив, повидав жизнь, я не очень верю в то, что другие люди не такие, как мы. У всех людей, всех рас и наречий душа болит сильней, чем тело. Самая для человека нестерпимая — эта боль. И в каждой нации есть люди, для которых чужое горе не горе. При этом на глаза их, спокойно взирающие, навертываются слезы от трогательного рассказа, от сентиментальной мелодии.

Когда наш автобус прибыл на место и было объявлено, где и через какое время экскурсанты должны собраться, и все устремились к водопадам, молодожены пошли вдвоем в сторону отеля. Она держала его за руку, а он в другой руке нес большой, не по росту, чемодан.

Где-то прочел я эти не содержащие в себе мудрости, а все-таки запомнившиеся мне слова: «На огонь и на воду можно смотреть бесконечно».

В этом грохоте сотрясающем, в котором голоса человеческого не слышно, можно бесконечно стоять и смотреть, как рушится вниз водопад. На всем далеком пространстве сверкающая на солнце, зеленая, спокойно течет сюда река по плоской равнине, мокрые камни выступают наружу, водоросли вытянуты от них по течению. И вдруг всей толщей вода обрывается вниз со скального порога, белая, вспененная. А там, куда она рушится, оттуда выбивает вверх ревущий пар; он повисает в вышине облаком, холодные брызги чувствуешь лицом, и мокро все вокруг: и асфальт и парапет набережной. В этом подземном реве, в затягивающей глубине кружатся на своих острых крыльях чайки; голова начинает кружиться, когда смотришь неотрывно, как они там мелькают, устремляются в белое кипение выхватывать оглушенную рыбу. И в воздухе, искрящемся от холодных брызг, сияет над всем радуга, одним столбом опустясь в бешеное клокотание водопада.

Какими глазами впервые увидели это индейцы, когда еще не было увиденному ни объяснения, ни имени? И так же грохотало и ревело здесь и сияла радуга в вышине,

а человек под нею казался себе маленьким; в детстве все вокруг кажется огромней. Это уже в зрелую пору человек смог понять и сказать: «Я телом в прахе истлеваю, умом громам повелеваю».

Как все это потрясало тогда, если и теперь поражает! Но они видели чудо, рождавшее легенды, мы так видеть уже не можем: нам мешает знание.

Мы знаем, что не так давно саперами американской армии был временно перекрыт водопад: в той части, которая принадлежит Соединенным Штатам. Осмотрели, убедились, что и этому сооружению природы требуется ремонт, ибо скалы тоже не вечны. Должно уйти на ремонт пять лет, подсчитали расходы, убытки от бездействующего в течение пяти лет зрелища и вновь пустили водопад.

Мы знаем, что и воды сегодня не хватает. Поэтому в канадской части водопада оборудованы подземные водохранилища: выше по течению реки. Ночью их заполняют, и временно водопад иссякает, чтобы днем, когда съедутся отовсюду туристские автобусы, в полную силу могло греметь, рушиться, грохотать это грандиозное коммерческое зрелище, это все-таки поразительное чудо природы.

А организовано зрелище хорошо и с размахом. Вас впускают в помещение, где молодые парни, работающие в темпе, забирают у вас ботинки, дают высокие резиновые сапоги, непромокаемый плащ, стоящий колоколом, в котором человек сразу становится неповоротливым. Бумажная пилотка — на голову, капюшон — поверх, и снаряженная группа туристов движется к лифту. Все однотипные, переваливающиеся, как пингвины.

Тесно стоящих в кабине, их опускают под землю. Лифтер, лет тридцати, в красном форменном пиджаке, сидит на круглой табуреточке спиной ко всем. Он сам по себе. Вверх-вниз, вверх-вниз. И так весь день. Крупный, сильный мужчина. Кто оп, что пошел на эту работу — кнопки лифта нажимать? Быть может, недавно в Канаде, не знает языка? Лифт стал, разъехались створки дверей. Другая группа туристов, мокрых от капюшонов до подошв сапог, с мокрыми лицами, ждет уже. Сухих выгружают, мокрые загружаются. Лифт пошел вверх.

В остроконечных черных капюшонах, как мопахи-капуцины, движутся туристы по оштукатуренным сырьим штольням. Маленькие процесии. Еще бы свечи в руки. Одни — туда, другие — навстречу, с белыми бумажными

полосками пилоток на лбах. Только в лица различить можно, а со спин все одинаковы.

В конце штольни — бетонированный выход на свет, несколько ступеней вниз, мокрые железные поручни, площадка для обзора. За спиной — отвесная скала, из которой мы вышли. И лифт и штольни — все скрыто в ней.

Теперь водопад не внизу, а вы в той глубине провала, где кипение и над головой плавают на крыльях чайки. По всей обозримой гигантской подкове рушится вниз вода; дух захватывает, на нее глядя. Небо синее, облака плывут за пенный край: это там, вверху, высоко. А из-за скалы опустилась вниз радуга, одним столбом своим многоцветным оперлась о замшелый мокрый валун, и он светится весь. Шагов пять до него пройти, если только не сорвешься вниз, в белое клокотание.

Еще одно путешествие по штолням, еще один выход наружу, но уже не на свет божий, а в страсть господню. Тут не выйти, только лицо высунуть на миг: всей толщей гудящей рушится вниз водопад, отделив мир. Хоть пой, хоть в ухо кричи — ничего не услышишь. И взрослые люди, как дети, высунутся под брызги и отпрянут. И утираются довольные: не что-нибудь, брызги Ниагары на лице. Мы тоже постояли в нише, высунулись: раз уж выпало приехать, надо все испытать.

Себя не видишь, а у Никиты Борисовича бородка окропленная намокла, белая намокшая бумажная полоска под капюшоном прилипла ко лбу, на лице, умытом, с маленькими без очков глазами, выражение рождественское. Протер очки, надел — еще благостней стало лицо.

А и здесь, у адского выхода из этой штольни, тоже есть жизнь. Сбитые скобами деревянные стойки креплений — умерщвленные деревья — сплошь обросли зелеными водорослями: все время под брызгами, все время капает с них.

Если подвергнуть растение шумовому «обстрелу», уровень которого достигает 100 децибелов — такой шум создает проходящий поезд американской надземки,— оно засыхает в десять дней. Тут шум побольше, а вот не гибнет, живет. Может, потому, что это шум свой, природный? И ведь всего хватает ему в этом мрачном, сером сумраке: и питания и света. Всего, оказывается, здесь достаточно, чтобы жить и порождать жизнь.

Солнечный день наверху еще ослепительней, когда, сдав мокрый плащ и сапоги, лицо утерев, выходишь на-

ружу. И приятная земная, бетонная, скальная твердь под ногами, хоть и гудит она немножко и дрожание сквозь подошвы как будто ощущается в ней.

Но, конечно, прежде чем попасть наружу, вы проходите через лабиринты прилавков с сувенирами: другой путь не предусмотрен. Ими начинается, или заканчивается любое зрелище, любое посещение. Тут взимают налог. Но налог этот такого свойства, что каждый добровольно хочет заплатить больше, жалеет, если не может заплатить.

Следующий тур путешествия — поездка автобусом по парку вверх и вниз от водопадов, объезд достопримечательностей. Вам непременно покажут издали железный, ржавый понтон, застрявший в камнях посреди реки. На нем плыли четыре человека, не рассчитали, их понесло к водопаду. И сбросило бы, если б в последний момент не паткнулись они на камни. Пока при помощи канатов снимали их оттуда, один из четверых успел поседеть.

Образ поседевшего от переживаний человека так теперь часто встречается — из книги в книгу, из рассказа в рассказ, что уже, как говорится, не впечатляет. А понтон этот торчит среди камней уже целых пятьдесят лет, ровно полвека. За эти полвека чего только не пережило человечество! Не раз бывало оно и поближе от края пропасти, чем этот понтон.

Но притягательная это штука — опасность. Есть все же что-то захватывающее в ней. Конечно, когда не человечеством рискуют, а свою собственную жизнь ставят на карту. Над Ниагарским водопадом и по канату ходили. Еще сто с лишним лет назад некий Жан Франсис Гравеле, «более известный как Блондин», протянул над ущельем проволоку, «что и сейчас остается легендой».

Тут бы привести целиком рассказ об этом событии, сохранив бесподобно-рекламный стиль брошюры с ярмарочным названием: «Увлекательно! Необычайно! Рассказы Ниагарского водопада!», но осторегает грозная надпись: «Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена в любой форме без письменного разрешения за исключением случаев краткого цитирования в статьях и обозрениях».

Несколько лет потратил Жан Франсис Гравеле на то, чтобы протянуть проволоку над ущельем. А потом он пошел по ней на ходулях. Спиной. Танцую. Но и это еще не все; он шел с завязанными глазами, садился, чтобы позавтракать: «Съесть ланч». «И что особенно драматично,

нес на плечах своего перепуганного менеджера Харри Колкорда». Перепугаешься тут... Думаю, что и авторы брошюры не очень бы спокойно себя чувствовали, оказались они в положении этого менеджера. Кто шел, тот все-таки на себя рассчитывал, не только шест, но и собственную судьбу держал в своих руках. Но сидеть на плечах и ждать: донесут? Не донесут?.. А путь по проволоке был длиною в 1300 футов, то есть почти в четыреста метров длиной. И провисла проволока на пятнадцать метров и раскачивалась. «Он балансировал шестом 38 футов, который весил 45 фунтов. Колкорд был некрупный мужчина (Блондин тоже), он весил 145 фунтов...»

Некрупный... 58 килограммов — это вес. Да еще когда с ним по проволоке идут над пропастью. «Кроме того, помогающий канат-проводник порвался (может быть, это было подстроено), и Блондин должен был идти наугад. Он сделал это».

А сколько людей в бочках пытались преодолеть Ниагарский водопад! Говорят, шестеро из них все-таки остались живы.

У магазина, мимо которого проезжает туристский автобус, лежит выкрашенный в красный и белый цвета металлический снаряд таких размеров, что человек помещается в нем. Вот в этой бочке-снаряде нынешний хозяин магазина Хилл пустился по реке, был сброшен вниз водопадом и выплыл живой. Он был тогда моложе на тридцать пять лет: в 1940 году.

Тут, конечно, можно сказать, вот какой ценой соорудил человек рекламу своему маленькому бизнесу. Но думать так не хочется. Да и не так это. Деньги — великая движущая сила, что уж говорить. И все-таки есть большее, что движет людьми. Особенно в молодые годы. И если потом для человека все кончается небольшим магазинчиком и воспоминаниями, не его в том вина. Можно назвать рекламой лежащий у входа снаряд. Но можно назвать и памятником. Памятником человеческому мужеству, пусть и безрассудному даже. Все равно сын может гордиться таким отцом.

По собственной воле врач Ален Бомбар переплывает океан на надувной лодке. Шестьдесят пять суток без пищи, без воды, — все добывая себе в океане, многократно рискуя жизнью, чтобы иметь право сказать людям: «Жертвы легендарных кораблекрушений, погибшие прежде временно, я знаю: вас убило не море, вас убил не голод,

vas убила не жажда! Раскачиваясь на волнах под жалобные крики чаек, вы умерли от страха».

Не раз эти его слова вспомнят люди, оказавшиеся за бортом. Мы никогда не узнаем, скольким Ален Бомбар спас жизнь. Но он спас многих, показавши пример удивительного самосбладания, мужества и воли.

Мать троих детей, американка, одна под парусом переплывшая океан, не была озабочена ни научной идеей, ни идеей спасения человеческих жизней. На последнем этапе своего путешествия она успела, между прочим, и платье себе сшить, чтобы в новом платье ступить на берег: женщина остается женщиной! Все это ее весьма легкомысленное предпринятие не столько нужно было человечеству, как ей самой. И все же не восхищаться ею нельзя.

Одни подвиги долго светят людям на их пути. Другие мелькнут и забудутся. Но все вместе они утверждают нас в убеждении, что уничтожить человека можно, но победить — нельзя.

А когда автобус объедет все достопримечательности, несколько раз остановившись в пути у магазинчиков как бы для того, чтобы пассажиры могли выйти прогуляться (а пассажиры тут же и устремляются к прилавкам, куда целая промышленность поставляет товары), когда все это объедут, будет сделана последняя остановка: у высотного сооружения.

Вы видели водопад вблизи и, наверное, несмотря на запрещающую надпись, все-таки, наверное, бросили в него коробку от сигарет или обертку от жевательной резинки, чтобы посмотреть, как она, нырнув раз-другой, исчезнет.

Вас опускали лифтом под землю.

Теперь скоростной лифт, ведомый нарядной лифтершей, вознесет вас на обзорную площадку в высоту. Специально для того, чтобы сверху смотреть на Ниагару, построена высотная башня. Путь к ней, разумеется, через торговый зал. И наверху тоже — торговый зал. Прилавки тут повсюду: они окружают ствол башни, в которой ходят лифты, они и у наружной, круглой, из сплошного стекла стены.

Отсюда, сверху, оба Ниагарских водопада — маленькие, как на глянцевых открытках, которые продаются тут же. Иззелена-белые потоки воды бесшумно падают в пену; за двойными стеклянными стенами шум их практи-

чески не слышен. А может, и не падают они? Просто повисли так и всегда висят?

Можно бросить десять канадских или американских центов в прорезь телескопа, и увеличительные линзы приблизят, притянут Ниагару, и даже как будто она запумит. И будет такая, как в кино на экране. Через определенное количество секунд, озлаченных монетой, зрелище погаснет. И опять все — маленькое и отдаленное. И канадская часть и американская — на той стороне. Крошечные полицейские стоят на мосту. Это граница. У канадцев, едущих в Соединенные Штаты, у американцев, едущих в Канаду, проверяют они водительские удостоверения. Еще могут проверить, что в багажнике машины.

На отвесной скальной стене в американской стороне каньона, по которому течет от водопада река, виден след: как от ласточкиного гнезда, которое отлепилось. Тут раньше была электростанция. Вся она целиком рухнула однажды и была унесена. Находился в ней в тот момент один сторож, и потому больше человеческих жертв не было. Вот как от гнезда отлепившегося остался след ее на отвесной стене.

Через пульсирующие промежутки времени разъезжаются створки лифтов, выпуская и вбиная туристов, выпуская и вбиная. И подъезжают новые автобусы к стоянкам, маленькие там, внизу. И отъезжают, наполненные пассажирами, которые в свою очередь наполнены впечатлениями и увозят сувениры.

Свет солнца уже закатный, и в косых его лучах видно, как запылена наружная стеклянная стена. И все, что сквозь нее представлено глазами отсюда, все это, отпечатанное на сотнях и тысячах глянцевых открытках любого формата, представлено на прилавках. Ниагара. Ниагара. Ниагарские водопады.

На рубашках. На майках. На шляпах. На авторучках. На куклах. На очках.

В ожидании обратного рейса на Торонто мы сидим на автобусной станции, пьем чай. После мелькания и зрелищ хорошо так посидеть, не на внешнем сосредоточась, а на своем чем-то. В такие моменты и разговоры между людьми бывают откровенные.

Вдруг Никита Борисович начинает рассказывать о том, как во время войны в Бельгии голодала их семья. Ему хочется рассказать нам об этом: как голодал он, как перестал расти, как от голода язвы были на теле.

— Конечно, это не то, что было тогда у вас,— добавляет он, смутился.— Отец все же кроликов разводил...

А потом рассказывает еще, как они с отцом однажды собирали грибы возле лагеря военнопленных и охрана чуть не застрелила их.

— Если бы отец заговорил по-русски, нас бы, конечно, застрелили. Там были русские военнопленные.

Сколько же лет было тогда Никите Борисовичу? Года три или четыре. Но и сейчас он называет наших солдат, как бельгийцы тогда их называли: русские.

Он случайно оказался вблизи их судьбы... Но когда думаешь о них, о том времени, когда вот так вспомнишь вдруг среди праздника, все сразу становится иным. Тут все несопазмеримо.

ТАМ, ГДЕ ВОДИЛИСЬ КРАСНОГРУДЫЕ ДРОЗДЫ

Суббота. Раннее утро. Улицы Торонто далеко вдоль пусты. Машин пока еще мало. Мигают светофоры сами себе: то зеленые, то красные. После вечернего извержения реклам, сплошным потоком мчавшихся машин, электрических небоскребов, излучавших тепло и свет в черноту неба, эта утренняя тишина и пустота улиц особенно ощущимы.

Небоскребы и сейчас освещены от низу доверху. Не сразу замечаешь при утреннем свете, что блестят на потолках этажей невыключенные ряды плафонов: выше, выше, а вершина срезана пишкой облачностью. И там, в облаках, где серо и сумрачно, электрический свет, заключенный в четыре стеклянные стены, наверное, желт и ярок. Кому он там светит?

На стройке рядом с нашей гостиницей тоже тихо. Стройка отгорожена от улицы сплошным деревянным забором. Деревянный настил на тротуаре, деревянный потолок над головами, и люди идут, как по коридору. На уровне глаз прорезаны в досках окошечки, забранные сеткой, чтобы каждый, кто проходит мимо, мог посмотреть, как ведутся работы. И если, допустим, ему тоже нужно заказать себе небоскреб, чтоб он уж не другой какой-либо, а непременно этой фирме поручил строительство.

Строят с колес. Участка вокруг нет почти никакого. Ничего не павалено, не нагромождено на земле. Машина

въезжает, кран берет с нее, и отъезжает грузовик, освобождая место другому.

Всю неделю плыли в небе краны, мерцали спины звезды электросварки, дрожащими вспышками освещая по вечерам изнутри пустоту металлических конструкций. Сейчас стройка выглядит покинутой. Только блестят на утреннем солнце двадцать нижних, одетых стеклом этажей. Это строится банк. Стекла особого химического состава: они золотые на вид. Небоскреб будет весь как из листового золота. Смысл тот, что стекла эти, пропуская свет, отражают тепло. Но это, конечно, еще и реклама гигантских размеров.

Сегодня Торонто называют финансовым сердцем Канады. Его население растет вдвое быстрей, чем население Монреяля, откуда многие капиталы переместились в последнее время в Торонто. Причин много, и не последняя та, что Монреаль — в провинции Квебек, где сильны сепаратистские настроения франко-канадцев, где поговаривают об отделении, самоопределении. И вот начался отток капиталов в Торонто, а безработица в Квебеке значительно превышает уровень безработицы по стране.

Отпугивает, видимо, и языковая политика провинции: здесь поощряется знание французского языка, не везде даже принимают на работу людей, не говорящих по-французски. Как писал один журналист в «Интернэшил геральд трибюн», «банк в Монреале еще, вероятно, смог бы предоставить пост вице-президента человеку, не говорящему по-французски, но для простого кассира знание этого языка обязательно». А между тем дети эмигрантов в соотношении 8:1 выбирают английский язык и школы, где обучение ведется на английском языке.

Два с половиной миллиона человек живет сейчас в Монреале. К двум с половиной миллионам подошло население Торонто. Каждый четвертый-пятый канадец, говорит ли он по-французски или по-английски, живет в одном из этих двух городов.

Но канадец, к которому мы обратились в то утро на пустынной улице Торонто, не говорил ни по-английски, ни по-французски. Ему было года двадцать два на вид. Мне этот возраст памятен потому, что двадцати двух лет я вернулся с фронта; казалось тогда, целая жизнь позади, самое главное в жизни сделано.

Человек тряпкой на щетке мыл снаружи окна закусочной, закрытой еще в ранний час. Фрида Лурье спро-

сила его по-английски, во сколько здесь открывается. Он покачал головой. Спросили по-французски. По-немецки. По-русски. Он не понимал. Может быть, он глухонемой? Но он что-то сказал на непонятном нам языке своей родины, на котором он думал и говорил. В огромном этом городе, наверное, мало кто мог понимать его.

В двадцать два года начинать жизнь заново, без языка и, очевидно, без профессии, начинать с мытья стекол... Долгий путь.

Напротив двадцати золотыми этажами сияло строящееся здание банка. И дальше по улице, тоже отгороженное деревянным забором, строилось здание, занимавшее целый квартал: первые этажи — из бетона и камня, над ними — вознесенный в небо металлический каркас. Тут будет восьмидесятишестиэтажный универмаг компании «Итон». По всем городам, по всей стране и за пределами страны — магазины, универмаги фирмы «Итон».

Газеты сообщают, что появилась в Канаде новая фирма: «Rent a thief» — «Найдите вора», которая в нескольких магазинах Торонто держит оплачиваемых жуликов. Роль их играют не очень удачливые актеры, нуждающиеся студенты. За сто долларов в день их ловят в магазине с поличным и по принципу: бей кошку, чтобы невестка боялась, подвергают в присутствии публики всему тому, что ждет здесь вора. Фирма оказалась рентабельной, она собирается открыть филиал еще в одном городе.

Газеты пишут о спаде производства, о безработице. И тем не менее фирма «Итон» воздвигает в Торонто нечто гигантское. Конечно, человек предполагает, а бог располагает. Но нынешний деловой человек все свои предположения многократно просчитывает при помощи самоновейшей электронно-вычислительной техники. Шагу без нее не ступят теперь в деловом мире. И надо думать, нет у фирмы «Итон» самоубийственного намерения вбить все средства в этот небоскреб, а затем остатки дней своих влечь в безвестности и нищете.

К маленькому кафе подкатывает такси, из него выскакивает негритянка. Вначале мелькнули длинные ноги в чулках шоколадного цвета, потом она выскочила вся: в рябеньком в черную крапинку сером пальтеце, воротник из черпого блестящего меха. Убегая, расплачивалась с шофером; простучали каблуки по тротуару, бухнула входная дверь: спешит, спаздывает.

Минут через десять, в крошечном ярко-белом переднике с оборками, прикрывающем низ живота, с блокнотом и шариковым карандашом, она подошла к нашему столику. Движения длинного тела плавны, профессионально покачивание бедер, в глазах, не проснувшихся окончательно, все еще ночь длится, а узкая, темная рука со светлой ладонью на ощупь проверяет прическу: все ли в порядке?

Вечером в этом кафе работает смена китаянок. В Канаде нет расовой проблемы в том виде, в каком она есть в Соединенных Штатах и сотрясает страну чем дальше на юг, тем сильней. Но здесь точно так же строго учитывают, кто как работает. В вечернюю смену посетителей много, обслуживать надо быстро. Чем больше обслужил, тем больше оборот. И чаевых офицантке больше. В вечернюю смену не поставят того, кто двигается с леницой, работает не спеша. Впрочем, такой работник вообще недолго удержится: выбор есть, желающих на место — много.

Китаянки вечерней смены, как школьницы. Не нынешние школьницы выпускных классов, а примерно так школьницы-семиклассницы. За стойкой, где блестит перекавеющаяся сталь и шипят кофейные аппараты, их двое. Обе одинакового роста, только у одной лицо замкнутое, нелюдимое, другая все время готова рассмеяться.

Никита Борисович спросил, чай заказывать или кофе.

— Чай,— сказал я.

— Тайй,— сказала она радостно, словно передразнила по-детски. И они заговорили с Никитой Борисовичем на английском языке. Оказывается, обрадовалась она, услышав китайское слово «чай». Я сказал, что чай к нам от них пришел, что мы соседи. Разговорились.

Она с Тайваня. Сюда, в Канаду, ее выписал муж. Оказывается, у этой школьницы — муж. Он работает в отеле и получил право выписать жену, поскольку имеет работу и может содержать ее. А его в свое время на тех же основаниях выписала сестра: работает и может содержать.

Я спросил, хочет ли она кого-нибудь выписать в Канаду. Она хочет выписать теперь свою сестру. Словом, за ниткой — бечевка, за бечевкой — канат...

Пока она весело щебетала, успевая и за столиками в зале появиться, и за стойкой оказаться вновь, вторая работала споро и молча. Она прибыла сюда из Гонконга:

это про нее при ней весело и непосредственно рассказывала подруга. Наречия, на которых они говорят, настолько различны, что они не понимают друг друга и объясняются по-английски.

— Очень хочется поговорить друг с другом,— сказала она, записывая тем временем новый заказ от посетителя и кивая ему. Поставила перед ним тарелки, чашку, выложила на бумажную салфетку вилку, нож. Другой подошел рассчитываться, брал уже зубочистку из розетки у кассы. Она постучала пальцем по клавишам и под урчание кассового аппарата выдала сдачу, смела в кармашек фартука чаевые, которые он оставил:

— Thank you, sir!

Прокричала в окно кухни новый заказ. Оттуда на горячих тарелках подали ей что-то облитое коричневым соусом. С тарелками в руках сбежала в зал, вернувшись еще более оживленная.

— У вас легкий характер,— сказал я.

Она тряхнула короткими волосами:

— Ничего, не беспокоит!

И опять — улыбка на лице. Не та внешняя, для посетителей, а такая, когда самой радостно. Наверное, ее мужу все-таки очень повезло. Но еще немаловажно, откуда приехал человек, с чем сравнивает. Все ведь в жизни не само по себе, а в сравнении. И ад в сравнении с чем-то и рай в сравнении.

Мы шли по деревянному коридору, которым окружено строящееся здание банка, и купили на углу у продавца газет последний, ноябрьский номер журнала «The Canadian»: «Канадец». Во всю обложку его — цветная фотография: супружеская пара. Жена спит на боку, муж, укрытый тем же одеялом, заложил руки за голову, смотрит в темноту блестящими глазами. Ночь. Время всем людям спать.

А через несколько страниц — та же цветная, во всю полосу фотография. Теперь он спит, а она сидит в их супружеской постели; скорбное, первное лицо. Статья, которую иллюстрируют эти фотографии, называется «Предатель внутри». Вот несколько выдержек из нее:

«Здоровый» уровень тревоги всегда существовал в обществе, и большинство мужчин и женщин так устроены, что они могли бороться с ней. Новым сегодня является то, что, по определению большинства социологов, уровень тревоги поднялся на нездоровую высоту и все растет.

И хуже всего, что наша способность бороться с тревогой падает... Марк Лэйлонд, министр здравоохранения, сообщил парламенту, что... «нервные расстройства, такие, как тревога, являются фактором, побуждающим 50 процентов пациентов обращаться к медицинской помощи. Три из 10 рецептов, выписываемых врачами, это рецепты на успокоительные средства...».

И дальше — о том, что делает эта тревога с людьми:

«Она погружает нас в депрессию, делает уязвимыми и готовыми драться между собой супругов и друзей, заставляет слишком много пить, проявляется в дрожании рук, в обильном выделении пота, особенно на лбу и под мышками, по непонятным причинам... Она делает нас плохими любовниками — или необыкновенно активными, если секс может уменьшить напряжение. Несомненно, удачливый человек внезапно может почувствовать неразумный страх за свою работу».

Канадский образ жизни — это в значительной степени американский образ жизни. Американские небоскребы стоят в городах, заводы Форда и «Дженерал моторс» работают в Канаде, американские журналы и издания — на всех прилавках, американские «макдональды» — автоматизированные закусочные — сегодня не только по всем Соединенным Штатам, но и по всей Канаде. Они здесь потому, что отвечают растущему темпу жизни, сами в свою очередь подстегивая его.

И по всей Канаде улыбается румяный, седенький, как доктор Айболит, американский полковник (колонель) из штата Кентукки. О нем столько кричала реклама, он настолько уже сам достояние рекламы, что теперь никто и, надо думать, он в том числе, не отделит, что в его жизни было — а что легенда.

Веет чем-то добропорядочным и романтиком не лишено, что старый воин, колонель, ветеран занялся на склоне лет приготовлением цыплят по-кентуккски. За два поколения до него в этом американском штате именно так приготовляла цыплят его бабушка. Он обнаружил ее рецепт и возродил утратившиеся семейные традиции.

Машины хороши новые, новейшие, последних марок, а традиции нужны старые. Незыблемости жаждет наш быстрый век, к тихой старине тянутся люди, к тем бабушкиным временам, когда все было не химическое, не синтетическое, когда и о витаминах не заботились, просто все было натуральное, такое, как оно есть. Цыплята

по-кентуккски — «кентаки фрай чикенс» — стали пользоваться спросом. Но, конечно, был бы полковник известен не дальше провинции, если бы не нашлась фирма, которая тут же все поставила на промышленную основу.

Во всей цепи это — главное звено: быстрота реакции, способность мгновенно оценить то, что найдет сбыт, принесет доход. Рецепт кентуккской бабушки ничуть не лучше сотен и тысяч бабушкиных рецептов. А вот умение придать масштабы, промышленный размах, сделать продукцию серийной, наконец, обеспечить сбыт — это американцы умеют, как никто. Это по-американски.

Было куплено имя и способ приготовления, и по всей Америке — и в США и в Канаде — повсюду продают теперь кентаки фрай чикенс, миллионы людей в часы перерыва едят кентаки фрай чикенс, дома встречают гостей улыбками и кентаки фрай чикенс. Их подают в закусочных, их предлагают навынос в фирменных картонных коробках. На каждой такой коробке — улыбающийся румяный старичок, колонель, который, как уверяют, и колонелем никогда не был. Но кого это интересует, кого это остановит или поколеблет теперь? Легенды потому и живут, что людям сладко в них верить.

В специальной телепередаче актер в поварском фартуке, но с мужественными интонациями голоса и жестами ковбоя показывает, как самим приготовить цыплят по-кентуккски. Это маленькое, хорошо поставленное шоу. Есть исполнитель, есть зрители. У исполнителя, как вы догадываетесь, басовые раскаты: в Соединенных Штатах Америки теноровые голоса или фальцет сохранились разве только у каких-нибудь последних неудачников, ни один политический деятель не может рассчитывать на успех, если он говорит в микрофон тенором. Тем более нельзя тонким голосом рекламировать цыплят.

Под шутки, перелетающие от исполнителя к зрителям, от зрителей к исполнителю, как пингпонговский шарик, скачущий с поля на поле, цыплят разделяют острым ножом на доске, посыпают специями, небрежно швыряют на шипящую сковороду. Доля небрежности тут необходима, как в цирковом мастерстве высшего класса. Словно все это не составляет никакого труда, словно делается главным образом себе в удовольствие. И зрители — там, в телестудии — поражены, как это просто, как все натурально, они непременно, непременно последуют совету. И миллионам телезрителей от Тихого до Атлантического

океана рекомендуется последовать, предпочтеть всему на свете цыплят по-кентукски, приобретать их в готовом виде, в полуфабрикатах: приобретать, приготовлять, посыпать.

Американские передачи транслируются чуть ли не по всем каналам телевидения, американская реклама заполняет канадский экран. И хоть говорят в Нью-Йорке, что в те моменты, когда на экране реклама, уровень воды в Гудзоне подымается на метр, реклама правит желаниями, реклама нацеливает мысли, подстегивает энергию общества, принаршивает вкусы к своему уровню. Ни один фильм не будет показан по телевидению, если торговые фирмы не согласятся его финансировать. А они не согласятся, если не сочтут, что этот сюжет, эти артисты соберут у экранов достаточное количество зрителей, и потому имеет смысл через каждые десять минут врезать в фильм рекламу своего товара.

Нет ничего переменчивей и нет ничего устойчивей рекламы. Шесть лет назад в Соединенных Штатах рекламировали лекарство от простуды «Дристайн». И вот включаю телевизор в Торонто — рекламируют «Дристайн». И в Оттаве, и в Ванкувере, и в Монреале вновь и вновь ковбойские фильмы, головокружительные погони прерывались рекламой американского лекарства от простуды.

Сколько событий в мире произошло за эти шесть лет! В США менялись президенты. США испытали шок оттого, что Жаклин Кеннеди стала женой Онасиса. И вот нет Онасиса, и Жаклин уже не его жена. И — одно к одному — крупнейший танкер Онасиса сел в проливе Ла-Маниш на мель.

Рушились режимы, которые шесть лет назад казались незыблемыми. Был застрелен богатейший из королей — король Саудовской Аравии. Засухи выжигали целые континенты, повальный грипп снова и снова обходил земной шар. А лекарство от простуды «Дристайн» все так же рекламируется по телевидению США и Канады. И видимо, все так же оно помогает.

Поздний вечер. На последнем этаже небоскреба, откуда открывается вид на Торонто, никого из посетителей нет. Только мы трое, и Никита Борисович с Олей, приехавшей проводить его. А еще в стеклянной круглой кассе между двух никелевых турникетов, через которые мы только что прошли, сидит кассирша. И внушительный

полицейский в фуражке, в форме беседует с ней, облокотясь о кассу.

Когда мы поднялись сюда днем, от подзорной трубы к подзорной трубе, установленной на город, носились мальчишки в кедах. Бросит монетку в прорезь и смотрит. То простым глазом глянет, то в подзорную трубу. И щупает рядом с ней воздух; это он хочет схватить рукой небоскреб, приближенный увеличительными стеклами.

Сейчас пусто здесь, глухо. Синий синтетический ковровый потолок над головами, синтетическим синим ковром затянут пол. Свет пригашен: из тьмы лучше виден освещенный город за стеклянными стенами.

Вдали над черным пространством — озеро Онтарио, через равные промежутки времени заходит на посадку самолет. Когда-то учили мы в школе, давным-давно: Онтарио, Эри, Верхнее, Гурон, Мичиган... Великие озера. Вон оно, Онтарио. Косо снижается над ним, красными вспышками стреляет в небе огонек. И такие же красные вспышки стремятся навстречу ему из озера. Только теперь и видно, что черное пространство — это вода: когда в зеркале ее отразился огонек. Чем-то заслонена посадочная полоса, и не разглядишь, как смыкаются движущиеся огни. А впрочем, они не сомкнутся, нижний исчезнет раньше: не на воду ведь садится самолет.

На той стороне озера — Соединенные Штаты. А здесь, внизу, на многие километры распластался город. Видна сверху наша двадцатишестисторонняя гостиница «Роял Йорк». Низкая она, когда вот так смотришь с небоскреба. Видны улицы, которые пустынны были в субботнее утро. Сейчас каждая улица — две цепочки огней, сливающихся вдали в сплошное мерцание. Главные улицы означенены рядами желтых противотуманных фонарей. А между ними — из бесконечности в бесконечность — текут, движутся огни. Туда — красные, навстречу — блистающие.

Работник нашей торговой фирмы, у которого теперь вся семья в Москве, рассказывал, что в субботу перед тобой проблема — пойти куда-нибудь пешком, на тебя смотрят, как на сумасшедшего: тут не ходят, тут ездят. Поешь, машину не припаркуешь нигде. Мчатся огни, все ездят.

Удивительное зрелище — машины в канадских городах. Огромные, сверкающие, новые. И тут же — проржавевшие насеквость, дыры в крыльях заклеены липкой лентой. Вот так просто заклеены хлорвиниловой изоляцион-

ной лентой крест-накрест в несколько слоев. Багажник закрыт на замок, а замок сам еле держится в ржавом железе, рядом с ним кулак можно просунуть в дыру. Зимой здесь так посыпают улицы солью, что кузов машины истлевает мгновенно; мотор еще новый, мощный, а кузов — как решето. Но все равно ездят, перепродаю все ниже, ниже, ниже.

Миллионы окон светятся внизу. Миллионы человеческих судеб. Случайный шофер такси, русский, рассказывал нам, что есть вблизи Торонто ферма, хозяин которой, тоже русский, изредка вызывает его, и они едут в город вдвоем на целый день. Не столько даже по делам, как для того, чтобы разговаривать между собой по-русски. Вот для этого фермер и вызывает его.

Поразительно предвидение судьбы в одном из стихотворений Бунина, написанных еще в прошлом веке:

Ту звезду, что качалася в темной воде
Под кривою ракитой в заглохшем саду,—
Огонек, до рассвета мерцающий в пруде,
Я теперь в небесах никогда не найду...

Словно писалось это по щемящему воспоминанию спустя много лет. А ведь это написано задолго, задолго...

Мы летели в Торонто из Эдмтона огромным самолетом фирмы «Локхид», вмещающим триста пятьдесят человек. Будто зал с людьми поднялся в воздух. А когда подымался, казалось, не самолет пошел вверх, а земля под ним накренилась впереди.

Общительный Никита Борисович тут же сообщил стюардессам, что мы из Советского Союза. И с той радостью, с какой полицейский на Башне Мира в Оттаве показывал нам камень из России, они сказали, что среди них есть стюардесса русская, разыскали ее. Но она передала, что занята, что сама подойдет, когда освободится. Было ясно: она не хочет подойти. Однако Никита Борисович пошел, нашел и привел.

Она говорила по-русски плохо, держалась отчужденно. Путь ее в Канаду был долг: через Африку, где она родилась, через Алжир, где она вышла замуж за француза. И дочка ее маленькая знает французский: дома они по-французски говорят, знает английский немного. А русского языка не знает совсем. И сама она явно не хотела ни в чем отделяться от других стюардесс, была недо-

вольна, что показывали ее как нечто исключительное: она хотела быть, как все.

На север, на восток, на запад — распластанные по земле, мерцающие, текущие, бегущие трассы электрических огней. На юг — черное пространство озера Онтарио. Через равные промежутки времени над ним и в нем возникают два красных стреляющих огня. Они сближаются, сближаются и исчезают: очередной самолет прошел на посадку.

Облокотившись рукой о кассу, разговаривает с кассиршей полицейский. Часы их работы еще не кончились, народу на смотровой площадке по-прежнему нет никого. И шум огромного города почти не слышен здесь, за двойными стеклянными стенами на большой высоте. И напряжение этого города знают только те, кто живет в нем.

А так еще, в сущности, недавно вот здесь, на этом месте земли, начиная свой дневник, Сетон-Томпсон записал: «Торонто. Онтарио. Видел трех красногрудых дроздов».

1976

Об Александре Трифоновиче Твардовском

Теперь, когда Твардовского нет среди живущих, он равно принадлежит всем. Как принадлежит всему народу песня; как мысль принадлежит всем, независимо от того, чья она, кем высказана; как язык, на котором думают, говорят, передают нравственные заветы.

И многое посмертно поменялось местами. Даже на групповых фотографиях он отделился от тех, кто в силу разных причин оказался с ним рядом: не как ушедший из живых, а чтобы остаться жить.

Истинный художник, Твардовский сам рассказал о себе. Не столько даже в тех автобиографических заметках, которые по необходимости пишет каждый, а рассказал тогда, когда не о себе рассказывал. Таково свойство литературы: тут ни скрыть, ни самому скрыться невозможно. Независимо от намерений в книге каждый таков, какой он есть на самом деле, а не такой, каким хотел бы представить.

Вот написанное на отдалении полугода воспоминание Твардовского о первом дне войны, о том, как он узнал, что началась война: «Я выбежал на улицу и направился к колхозному, скотному двору, где накапывали навоз. Я, помню, пошел по улице нарочно тихо, как бы прогуливаясь, хотя это было трудно. Возле скотника стояло несколько пустых навозных телег, а мужики и женщины сидели на груде прошлогодней соломы и молчали. И когда я увидел, как они сидели и молчали, я уже мог ни о чем их не спрашивать. Они сидели и молчали и ответили на мое приветствие так тихо, скupo и строго, как будто тут был покойник».

А вот последняя запись мирного предвоенного времени, которую он, перечтя, дописал уже во время войны: «...на выходе из города, у самой дороги — белого булыжника шоссе,— в узкой полоске тени от какой-то деревянной амбарушки или сарайчика, на пыльной травке сидел

старичок, как сидят мужики в санях — подогнув под себя ноги. Он был без картуза, и его лысина с подтеками пота и прилепившимися прядками желтовато-серых волос освещалась в тени строения. Он уже расстелил платок на травке и расположил на нем хлеб, яйцо, две луковички и только что откупоренную и для предосторожности приткнутую пробочкой четвертинку. Я поздоровался и пожелал ему приятного аппетита.

— Садись — поднесу, — спокойно предложил он, блеснув на меня светло-голубыми и чуть воспаленными глазками этакого светлого русского старца.

Это «поднесу» было исполнено приветливости и достоинства. Дыши ртом, старец смотрел на меня и ждал. Я вежливо отказался.

— Ну что ж, — так же спокойно согласился он, — смотри. — И, великодушно позволяя мне еще и передумать, предостерегая от возможного раскаяния, еще раз повторил, кивком указывая место напротив себя: — А то поднесу. А? Смотри...

И мне-таки жаль теперь, спустя столько времени, жаль, что я отказался, как будто я тогда заодно отказался от много-много, что кажется теперь таким дорогим и невозвратимым».

Это написано не о себе, а о людях, из которых кого-то к тому времени, наверное, уже не было на свете. Но сам он здесь такой живой, так виден и ощущим.

Многие, при жизни знавшие Твардовского, написали о нем теперь. Это тоже рассказы про него и про себя. И он в этих рассказах такой, каким его видели, но не обязательно такой, каким он был: ведь каждый понимает по-своему, а видит столько, сколько ему дано увидеть.

У меня нет намерения поместить себя на групповую фотографию. Но так случилось, что я имел возможность наблюдать Александра Трифоновича Твардовского; вначале — издали, потом — близко. Много лет мы жили под Москвой в одном поселке, встречались часто, о многом говорили, но я никогда не записывал эти разговоры. А теперь, говоря его словами, «спустя столько времени жаль, что я отказался, как будто я тогда заодно отказался от много-много, что кажется теперь таким дорогим и невозвратимым».

Почти три десятилетия минуло с тех пор, когда я впервые увидал Твардовского. Он был автором знаменитого «Теркина», автором поэмы «Дом у дороги», которую я

в то время еще не читал, но слышал отрывки по радио и за которую, следуя студенческому правилу: «Не важно знать, а важно сдать», сумел получить на экзамене пять. Словом, для меня он был где-то высоко и далеко, откуда только голос радио доходит, и не был ни молод и ни стар, а был он — Александр Твардовский. Еще и то учесть надо, что, хотя я учился в Литературном институте Союза писателей и что-то писал уже, я был совершенно убежден, что ни из меня, ни из кого-либо моих однокашников, называвших себя прозаиками, драматургами, поэтами, конечно же не может получиться писателей, потому что писатель — это совсем другое.

Вот в эту пору на встречу с нами приехал Самуил Маршак и с ним — Твардовский. Встреча была именно с Маршаком, а Твардовский приехал с ним вместе.

Не могу уже отделить то, как я тогда видел, от того, что узнал или понял потом, и рассказываю, как в общем сложилось и запомнилось. В актовом зале Литературного института, то есть когда-то частного дома Герцена, тесно набились мы, студенты, а за длинный стол, стоявший попрек, вышел под аплодисменты Самуил Яковлевич Маршак. Постоял, пока мы аплодировали: спиной — к сцене, лицом — к нам. Потом сел, потрогал пальцами оправу очков с толстыми сильными стеклами, за которыми глаза его все равно казались маленькими и сожмуренными. Маршак, администрация института — образовался там небольшой президиум. А Твардовский — оттого ли, что он шел позади или в самом деле опоздал, — запомнился мне спешащим и опоздавшим. И сел он не за почетный стол, а в первый ряд, как хороший ученик, сел слушать. Только крупен он был для ученика, тесно ему там было, меж двух подлокотников; за головами и плечами в несколько рядов покатая его спина возвышалась.

Маршак рассказывал о своих переводах Роберта Бернса: они тогда только появились. Говорил, как он в Шотландии из окна замка увидел то, что видел Бернс, как важно это было увидеть и почувствовать, чтобы передать дух подлинника. Мне запомнилось, что вид был именно из окна замка, но может быть, так не было сказано, потому что ведь известно, что Бернс при жизни не владел замками, а, наоборот, как извещает Литературная энциклопедия, «испытал на себе все тяготы аграрного и промышленного переворота». Да и вид из окна, можно полагать, изменился за полтора столетия.

Зал на все реагировал живо: важно ведь не только, что говорится, важно, кто говорит. А Твардовский слушал внимательно и серьезно. Он чтил поэзию Маршака; об этом он и говорил и писал. Он намеренно приехал вместе с Маршаком и скромно сел в первый ряд слушать.

Лет десять спустя принес я в журнал «Новый мир» свою повесть «Пядь земли». Перед этим я отдавал ее в другой журнал. Там долго знакомились с ней члены редакции: есть такое осторожное выражение «знакомиться с рукописью». Наконец сообщено было: к разговору со мной готовы. Мне дорога была моя повесть, я твердо решил не вести необязательных разговоров. И потому сказал, пусть редактор прочтет, тогда уж будем говорить.

Прошло еще время, прочел и редактор. Вызвали меня. Каждому лестно открыть молодого автора, да ведь за молодого ты отвечаешь целиком, как отец за малолетнего сына, и страх нередко превышает опасность. Совсем иное дело, когда в редакцию передает свою рукопись маститый автор, за которым — имя и многое другое стоит.

Это почти торжественный акт: состоялась передача рукописи.

Я выслушал все, что говорили. Но когда мне, артиллерийскому офицеру в недавнем прошлом, стали объяснять, что и пушки у меня не так стреляют (при этом спрашивали работников редакции всех подряд: «На сколько эти пушки стреляют?.. Ну вот, видите!..»), я взял свою повесть и понес ее в «Новый мир», к Твардовскому. Разумеется, не к нему самому сразу. Прозой ведал в то время Евгений Герасимов; ему я и отдал, честно сказав, откуда и почему принес.

На скорое прочтение я не надеялся. Но все как-то быстро завертелось. Дня через два или три позвонил Герасимов, сказал, что прочел, отдает рукопись Твардовскому. Вот тут страшно мне стало. Мне уже было что терять. И долг сделался каждый новый день: ведь не всегда-то, а может быть, в этот момент, сейчас читает мою повесть Твардовский.

Вдруг вызвали на заседание редакции. Хоть и ждал, и каждый телефонный звонок был тот самый, которым судьба решалась, хотя уже Евгений Герасимов, добрейший человек, умеющий простодушно радоваться за других, как за самого себя, сообщил мне, что Твардовский одобрил повесть, решил печатать, и я, веря и не веря, осторожно носил в себе радость, с некоторым даже удивлением по-

глядывая на улице на людей — неужели не понимают? не чувствуют? — хоть всем этим был я, конечно, подготовлен, а все-таки вызвали вдруг. Это ведь не звонок телефонный раздался, это час пробил.

Среди дня, в назначенное время вошел я с улицы Чехова в парадные двери «Нового мира».

Сейчас пишут многие и рассказывают, что двухэтажный дом этот в центре Москвы был маленький, тесный, и внутри было тесно, хотя, мол, и уютно... Я так нечувствовал. Для меня здесь все имело не случайный смысл. Дом выходил окнами на площадь Пушкина, а дверьми — на улицу Чехова. И вот в эти двери мне было сказано войти. Я подымался по широкой лестнице, по которой карета могла бы проехать свободно. И наверху высокие старинные двустворчатые белые двери раскрылись предо мной, словно не я их открывал, а они сами раскрылись.

Не помню, кого я первого встретил, кого спросил, как пройти к Александру Трифоновичу, но осталось, что я шел через редакцию, по дороге обрастав людьми, выходившими из разных дверей, под конец шел уже как бы в центре небольшого шествия...

Конечно, это было не так: никому здесь, в редакции, не известный, я прошел к Герасимову, а он уже к Твардовскому меня повел. И улыбался при этом, счастливый до пота, и очки его блестели, и покрасневшее лицо. У меня же в груди по временам раздувался воздушный шар, едва не вознося меня, но я сжимал его и шел, единственно полагаясь на не забытую еще офицерскую выправку.

И вот — снова белые двери, главные здесь двери, и Твардовский подымается из-за стола. Тут, действительно, все стали входить, зазвучали голоса приглушенным хором, и хоть держались члены редколлегии не связанно, даже с некоторой внешней вольностью, чувствовалось, знают, где они, с кем, и есть незримая черта, которую не переступает ни один.

Расселись за длинным столом. Редколлегия — по обе стороны, Твардовский — во главе, спиной к свету, а мне через весь длинный стол было указано место напротив: то ли как имениннику, то ли как подсудимому.

На военных советах, как известно, первым говорить полагается младшему; примерно такой же порядок и здесь соблюдался. Что-то поощрительное, один за другим, говорили члены редколлегии, высоко в общем хоре взвивался

тонкий на радости голос Герасимова, как в медный колокол, в круглое «о» бухал Дементьев — для солидности басом: «бом!», «бом!» — а слов не разобрать, хотя общий смысл понятен.

Подперев тяжелую голову, Твардовский курил. Солнце жаркое сквозь высокое окно слепило, и весь он в этом солнце был виден как сквозь сумрак, а дым сигаретный подымался над головой из тени в — свет. И хоть лицо его было неясно различимо, запомнилось выражение строгой серьезности. Сквозь свою думу, как мне казалось, он молча слушал и сидел подпершись. Пошевелился. Вздохнул. Стало тихо. Теперь заговорил он.

Если я тут упомяну что-то из его замечаний, так не для того, чтобы положить лишнюю краску на свою книгу. Твардовский напечатал ее и тем высказал главное свое одобрение. Но в том, что человек замечает, ценит или отвергает, есть он сам.

Он говорил не по порядку, а как складывалось:

— Земля на плацдарме сухая, закаменелая... Это чувствуется. Даже мина не берет,— он покачал головой с сомнением, возможно усомнившись на отдалении лет, как же все это солдату было пережить, как же брал он ее своей лопatkой, когда мина не берет. И из собственного опыта подтвердил:

— Это было, это все так.

Вдруг отметил поощрительно, к членам редколлегии обратясь и говоря обо мне, как об отсутствующем, в третьем лице:

— Немцев у него пленных гонят, заметили? Пот по лицам течет... Солдаты виноград едят, а они идут, глаза отводят... Немцы ведь, а он замечает, что жарко им, пить хочется... Это хорошо! Это правильно.

И вдруг неприязненно повернулся ко мне:

— Что же это вы отрицательному герою фамилию дали Иноzemцев? Таких у нас не бывает, человек иной земли?

Честно говоря, мне и в голову это не приходило. Фамилия — вещь прилипчивая. Так просто ее не найдешь, а уж если соединилась с кем-либо, так и оторвать трудно. Был у меня солдат Иноzemцев, не такой, как в книге, но для меня многое с ним слилось. Я попытался объяснить, что и почему, но он жестом как отрезал:

— Нет, вы ему фамилию перемените!

Дальше вовсе получилось странно: вместо Иноzemцева дал я схожую по звучанию фамилию Козинцев. Так и

было напечатано. И совершенно из головы вон, что есть же известный режиссер Козинцев... А Григорий Михайлович Козинцев в Ленинграде прочел повесть, пришел на киностудию и спрашивает у редакторов:

— Скажите, этот человек меня знает?

Ему сказали, что нет, мол, не знает.

— Как же так? Даже внешне похож...

Мне это потом редакторы на «Ленфильме» рассказывали. Григорий же Михайлович, человек в высшей степени щепетильный, чтобы не подумали, что он может быть как-то необъективен, предложил на худсовете, в мое отсутствие, повысить мне оплату за сценарий. Вот так неожиданно обернулась история с фамилией одного из персонажей. После, для книги, я еще раз сменил эту фамилию, опять же на нечто близкое по звучанию: Мезинцев. Это когда уже мы с Козинцевым познакомились близко. Но все это — к слову, конечно.

Вид человека, награждаемого тобою,— приятное зрелище для глаз. И Твардовский не спешил завершить редколлегию. Он стал спрашивать: как живу? что? как? И, не дослушивая, сам говорил:

— Хорошо!

Он чувствовал себя тогда хозяином жизни. В моем лице он спрашивал в мир входящего, как бы всему нашему поколению, входившему тогда в литературу, вопросы задавал. И говорил:

— Хорошо!

Я не считал, что все так уж хорошо. Мне было тридцать шесть лет в то время, но повесть свою, третью по счету, я все еще писал не за своим столом. То ранними утрами на кухне, пока соседи не встали, а то вечером до поздна, уходя из дома за несколько улиц. Была зима, стояли морозы, и вот, попивши чая горячего, так не хотелось уходить. А тут еще сыну — четвертый год, хочется поглядеть, как его спать будут укладывать...

Но конечно, не про все эти обстоятельства спрашивал Твардовский, и смешно было бы ему это говорить. Да он и не столько спрашивал, сколько сам утверждал, и ответ требовался единственный: «Так точно, хорошо!» Как в «Теркине» у него: «Говорят: орел, так надо и глядеть и быть орлом». В нем самом и тот генерал жил, и Теркин, который полагал бесстрашно: «Ничего. С земли не сгонят, дальше фронта не поплюют».

И правда ведь, если не о временном думать, а иной

мерой мерить — хорошо. Есть вещи, которые человек не должен уступать. И есть дни, которые должно помнить. Это был тот самый день. И не потому только, что судьба повести решалась: она была раньше решена. Но сам этот день был миг единственный, который не повторяется.

Как часто не хватает нам простой мудрости не за тем гнаться, что впереди ждет, а не торопить мгновенье. Но тот раз я отдельно от всякой суеты чувствовал это.

А по времени был конец февраля 1959 года. На исходе зимы, в самом начале весны, после снегопада бывают в Москве такие чистые, ясные, солнечные дни. Нигде они так не ощущимы, как в старой Москве, когда идешь вверх по Петровке или по Неглинной, а солнце над всеми домами и крышами, и парит, и шуба на плечах тяжела.

После «Пяди земли» ни одной своей вещи я не печатал у Твардовского. Было искушение отдать ему повесть «Карпухин», а потом все же не отдал. Как раз эту повесть Твардовский отметил рецензией в своем журнале и прислал мне поздравительную телеграмму.

Все это говорю к тому, что отношения наши не были связаны с тем, печатает или не печатает мои вещи Твардовский, думаю ли я нести что-либо в «Новый мир». Этот немаловажный оттенок, к счастью, отсутствовал.

Минуло несколько лет после той редколлегии, и неожиданно мы оказались почти соседями: Александр Трифонович купил дом в том поселке, где я жил тоже. И начал заходить. Не часто, приглядываясь, потом — чаще. Заходил просто посидеть, поговорить.

От него был ближний путь на реку, но там обдавали пылью машины, идти надо было обочиной, сторонясь. А по нашей улице хоть и дальше, но — тихо. И вот с полотенцем под мышкой он иногда приходил.

Вставал он рано, часов в пять, в шесть утра, и на речку любил ходить по холодку, пока роса, туман над водой и одни только рыболовы сидят по берегам с удочками: то ли ловят, то ли дремлют, пригретые солнышком.

Однажды мы сговорились, что зайдет он часу в восьмом утра. Но потом оказалось, мне нужно ехать в Москву ранним автобусом, и в половине седьмого я пошел предупредить. Была середина июня, еще не косили, высоко по

обочинам стояла трава. Но вдоль всего участка Твардовского было уже выкошено, как сострижено. И обочины и кювет — ровная зеленая щеточка.

А сам Твардовский ходил по двору с топориком, явно ища себе работы. Я окликнул его через забор: мол, так и так.

— Ну зачем же вы шли? Я бы все равно шел мимо...

Но и год и два года спустя он нет-нет да и напомнит: «А вот вы зашли предупредить...»

Очень он памятлив был ко всякому проявлению невнимания, и не только в отношении себя. Не скажет, как будто даже не заметит, но — запомнит. Особенно же задевало его, если дети не здоровались:

— Ведь взрослый человек идет, как это не поздороваться?

А дети в нашем поселке, действительно, здоровались далеко не все. И что того хуже — не со всеми. Это каждого нормального человека не могло не задеть: ведь в детях всегда отражен дух семьи. Но у Твардовского еще и другое с этим связывалось: в деревне просто невозможно, чтобы взрослый человек шел по улице, а дети не здоровались с ним. Даже если это посторонний, незнакомый идет. Так, во всяком случае, было в пору его детства.

Обычно, прежде чем в воду войти, он складывал костерок на берегу. Повесит на дерево полотенце, рубашку и начинает собирать всякий мусор: ветки, щепки, коробки сигаретные, бумажки. Сложит вместе и зажжет. И сидит, смотрит на огонь, подкладывает по веточке. Однажды я сложил костер и зажег. Он ревниво удивился, что зажег я с одной спички. Вот так, помню, сказал мне и председатель колхоза в Камышинском районе Пустовидов, с которым мы зимой, в сильный мороз ехали лошадьми степью. Остановились у омета, где много на снегу было заячьих следов, и я, загородясь от ветра высоким воротником тулупа, протянул прикуриТЬ в ладонях и сам прикурил.

— С одной спички... — сказал Пустовидов поощрительно.

Однако тут было другое: хотел он сделать приятное городскому человеку, вот, дескать, вы можете по-нашему... А Твардовский, не скрывая, заревновал к чему-то такому, что только ему должно было принадлежать. Это тем более смешно, что за четыре-то года войны уж этому можно было научиться.

В нем жили привычки и понятия той, прежней его, деревенской жизни. То, что считалось умением тогда, сохраняло в его глазах значение и цену на всю дальнейшую жизнь, даже если это и не имело никакого практического смысла. Он, например, мог с четырех ударов затесать кол топором: удар — затес, удар — затес. И гордился этим:
— Ну-ко вот вы так!..

Но гордился он и тем, что в его журнале — лучшие корректора, что тут никогда не встретишь ошибку, описку, неточность. Он и сам был грамотен, хотя этим качеством наделены далеко не все люди, имеющие высшее образование. Качество это в русском языке, я бы сказал, сродни чувству слова. Встретив ошибку в рукописи, он непременно сам выправлял и, как мне удалось заметить, бывал даже рад, если встретится особо сложный случай правописания. Тут он и объяснит еще, отчего, почему, как по незнанию могло бы показаться, но почему так быть не должно. За ним не стояло двух-трех поколений дворянской культуры, все свои университеты он сам проходил и знания свои не стеснялся подчеркивать.

Посидев у костерка, докурив, слезал он в воду, придерживаясь рукою за сук дерева. И мы плыли на ту сторону, где отражалась в зеленой воде белая балюстра детского санатория, похожего на помещичью усадьбу, белые лестницы и колонны. Иногда останавливались там передохнуть; стояли под берегом, по щиколотки увязнув в иле, чувствуя, как он под водой засасывает все глубже и от него по ногам щекотно бегут вверх пузырьки газа. Но чаще сразу же плыли обратно.

Еще только войдя в воду, после первых взмахов, Александр Трифонович окунался весь, с головой, и волосы намачивал, и затылок, потом, оттерев мокрой ладонью лицо, плыл. А плыл он не спеша, мощно, спокойно: не плыл, а отдыхал в реке.

Зимою вместе с режиссером Иосифом Ефимовичем Хейфицем работали мы за городом. В поселке мало кто жил в ту пору. Светили вдоль белых улиц фонари, пустые дворы завалены снегом, в окнах домов блестят черные стекла. Зима была снежная: перед урожайным годом.

Доработавшись до того состояния, когда уже оба не соображали ничего, решили мы часов в десять вечера пить чай. Я поставил чайник на газ, а сам забрел в темную комнату и стал у окна: ведь и не хочешь, а продолжаешь думать, не можешь отвязаться.

Смотрю — Твардовский идет от калитки. И как-то неровно, толчками, словно упирается. А тут еще свет качающийся. Ветер забросит фонарь за столб, и тогда на весь двор клином расширяющимся ляжет тень, а то осветит ярко: снег сквозь голые вишни, одна сторона дорожки, прорытой в снегу, снежные лапы елей у забора.

Из-за поворота дорожки выбежал Фома, полугодовалый ньюфаундленд, ростом со среднего медведя, и шерсть — медвежья, бурая. Александр Трифонович вырастил его из щеночка и теперь один только и мог удержать его на поводке. И то шел, оскальзаясь ботинками, только что не ехал следом по льду. А Фома тянул впереди на четырех мохнатых лапах, красная пасть разинута, дышит паром.

Привязав его к рябине у крыльца, Твардовский вошел в дом, прямо-таки огромный в зимнем. Он ходил пройтись по пустому поселку да и завернул на огонек.

С Хейфицем они были знакомы заочно; вообще к кино, тем более к писанию сценариев прозаиками, относился Твардовский весьма и весьма сдержанно. То же самое и о пьесах говорил, не считал это делом серьезным. И все же временами казалось мне, хоть он и отвергает и не считает делом серьезным, но это до поры, до времени, пока сам не взялся. Найдись исполнитель-режиссер, и могло случиться.

Снял Твардовский зимнее полупальто — оно у него было тяжелое, драповое, с серым каракулевым воротником и прорезными карманами на груди, неизносное, напоминавшее покроем и видом те бобриковые, знакомые ему по воспоминанию, — и в желтой ковбойке, в лыжных теплых брюках сел к столу. На то место, на котором обычно мой сын сидел.

— Работаете?

Спросил неодобрительно, явно сомневаясь, что из такой работы может что-то получиться. Тем более, когда ему самому не работается.

Сели на кухне пить чай втроем. Дома Александр Трифонович пил из огромной чашки, и варенье клубничное, домашнее, сваренное так, что все ягоды — целые, накладывала Мария Илларионовна в большие блюдечки.

У нас тоже пили из больших чашек, и налил я, как он любил, почти что одной заварки, разбавив фыркающим кипятком. Александр Трифонович курил сигарету и запивал чаем с блюдца. Разговор явно не получался. И не

только потому, что они с Хейфицем, в сущности, не были знакомы, но и потому, что мы собирались работать еще, а он заранее все это не одобрял.

Снаружи стукали о жестяной отлив крыши замерзшие ветки рябины: это Фома дергал ременный поводок, а с ним вместе — все дерево. И скучил. Александр Трифонович не спеша пил чай, затягивался сигаретой, и в широкой его груди многолетнего курильщика хрюпело.

Каким-то краем разговор коснулся великих людей. Я в ту пору дочивывал книгу о Нильсе Боре, взятую у Твардовского. И поразил меня рассказ о встрече Бора и Черчилля. Этих двух людей разделял век целый: Черчилль не весь еще из девятнадцатого века вылез, а Бор провиндел уже век двадцать первый. И вот его, во время войны перелетевшего через Атлантический океан в Англию, чтобы объяснить, что началась атомная эра, что надо сейчас уже сделать выводы, иначе начнется то, что, собственно, и началось после войны, его Черчилль принял всего на десять минут и после короткого разговора заявил, что Бор — русский шпион и его надо отстранить от ядерных исследований.

Вот в связи с этой книгой я и сказал, что, наверное, интересно написать великого человека.

— А что великий! — Твардовский сидел, расставя полные в лыжных брюках колени, ноги обуты в суконные ботинки на молнии, которые он донашивал за городом; он вообще старые вещи свои донашивал. Не потому, что они стоили что-то, а не мог выбросить вещь, раз она еще годна. — Что великий? Ничем особыенным он от остальных людей не отличается.

И через свою думу убежденно и просто сказал опять:

— Великий он — обыкновенный.

Летом 1967 года попросили меня написать о Твардовском. С чем-то это было связано, требовалось срочно, и даже размер был определен: около трех страниц. Не очень я это умею — писать статьи, а еще то смущало, что мы знакомы и непременно он прочтет. Но и не написать о Твардовском было нельзя по всем обстоятельствам того времени.

Статья называлась «Заполненный товарищами берег». Я должен привести ее, чтобы понятней было дальнейшее.

«В годы, последовавшие за окончанием Великой Отечественной войны, постепенно начала устаревать и вскоре все устарела грозная по прежним временам боевая тех-

ника, наше славное оружие, с которым мы освобождали родную землю, Европу, мир. Даже легендарная «катюша» стала теперь далеким прошлым. Сравнение ее с техникой наших дней просто неправомерно.

В эти же годы одна за другой отошли в прошлое и забылись многие книги военных лет. Время отодвинуло их. Только высокие создания человеческого духа оказались не подвластны времени. Такова судьба поэзии Твардовского.

Сейчас, когда поколения людей со школьной скамьи знают «Василия Теркина», когда без этой «Книги про бойца» уже невозможно представить себе всю советскую литературу, а первое впечатление от чтения ее за слонено многими последующими, трудно восстановить в памяти, как тогда воспринимались солдатами на фронте разрозненные главы, не по порядку доходившие до них. Но одно я помню: была несомненная уверенность, что книга писалась на нашем фронте и даже где-то здесь, близко. Такое ощущение сопутствует книгам, где правда все: и целое и частности. Мы не задумывались тогда над тем, что только очень большие художники способны в одну судьбу вместить судьбу всего народа: потому каждый, читая такую книгу, находит в ней и самого себя. Мы объясняли это проще: значит, автор был здесь, знает, сам прошел. И книга вызывала благодарное доверие.

Даже после войны я искренне считал, что бой за «населенный пункт Борки» — это бой за деревню Белый Бор на нашем Северо-Западном фронте.

Где вода была пехоте
По колено, грязь — по грудь;
Где в трясине, в ржавой каше,
Безответно — в счет, не в счет,
Шли, ползли, лежали наши
Днем и ночью напролет...

Бой шел, как сказано в книге, на втором году войны, сходились приметы большие и малые. Я мог бы, как карту с местностью, сличить эту главу из «Теркина» с тем, что было у нас. И каким необходимым оправданием безымянных ратных трудов, какой прекрасной памятью павшим безвестно звучали в конце главы слова, которым суждено, как и подвигу, остаться:

И в одной бессмертной книге
Будут все навек равны —
Кто за город пал великий,
Что один у всей страны;

Кто за гордую твердыню,
Что у Волги у реки,
Кто за тот, забытый ныне,
Населенный пункт Борки.

И Россия — мать родная —
Почесть всем отдаст сполна.
Бой иной, пора иная,
Жизнь одна и смерть одна.

Это было так, словно мы сами сказали эти слова. Подлинное искусство всегда совершает эту подмену: выражая то, что смутно ощущается людьми, оно оставляет читателю и радость открытия, и уверенность, что автор просто высказал его мысли, его словами сказал.

Но еще и потому такое доверие вызывала «Книга про бойца», что в каждой строке ее обнаруживались понимание и знание тех простых вещей, которые составляли существо солдатской жизни на фронте, вещей по видимости малых, но без которых не творится ничто великое. Писатели ограниченные стараются эти вещи обходить, боясь себе задачей говорить только о «главном».

Восхищая точной правдой подробностей, удивительной силой народного характера, книга рассказала о том, чем жил народ на войне, и казалась не загаданной на дальний срок. Так солдат на фронте далеко вперед не загадывает, а воюет честно, и в этом — все то великое, что совершает он для настоящего и для будущего, даже если ему в том будущем жить не суждено.

Но, видимо, так только и создаются книги, которые переживают времена. Вся их боль, и страсть, и радость — в настоящем, и потому так важны они грядущим поколениям.

Самое удивительное, быть может, то, что писал свою книгу Твардовский не на отдалении, в зрелую пору раздумий о минувшем, а писал ее там, на фронте, «без отрыва от колес». Впрочем, примеры тому в русской литературе есть: «Севастопольские рассказы» Льва Толстого. С тех пор как писались они, не раз сменилось все то, что казалось незыблемым: и воинские уставы, и законы, и боевая техника прошла путь от гладкоствольных ружей до ракет, и даже многие государства исчезли бесследно, а другие народились на карте мира. Пожалуй, только хлеб и вода остались такими же неизменными, необходимыми каждому и вечными; свойство, подобное этому, к слову сказать, лежит и в основе искусства.

Какие войны сотрясали с тех пор шар земной, какие яркие писательские имена зажигались и гасли на литературном небосводе, а «Севастопольские рассказы», ничего не утеряв, и сегодня поражают, как слово, сказанное впервые.

Значит, дело все-таки не в отдалении, а в размерах личности художника. В мире, открытом каждому, не каждый способен совершать открытия. Великому художнику из гущи событий видно то, что другим не суждено увидеть и по прошествии лет. Потому для книг, созданных великими художниками, границы времени — понятие относительное. Необходимые современникам при появлении своем, как будто даже для них только и писавшиеся, они потом переживают своего создателя.

Мне хочется в связи со сказанным привести строки из стихотворения Твардовского, помеченного послевоенной датой: «В тот день, когда окончилась война». Оно сегодня звучит так же, как в пору, когда было написано:

В тот день, когда окончилась война
И все стволы палили в счет салюта,
В тот час на торжестве была одна
Особая для наших душ минута.

В конце пути, в далекой стороне,
Под гром пальбы прощались мы впервые
Со всеми, что погибли на войне,
Как с мертвыми прощаются живые.

До той поры в душевной глубине
Мы не прощались так бесповоротно.
Мы были с ними как бы наравне,
И разделяя нас только лист учетный...

И только здесь, в особый этот миг,
Исполненный величья и печали,
Мы отделялись навсегда от них:
Нас эти залпы с ними разлучали.

Внушала нам стволов ревущих сталь,
Что нам уже не числиться в потерях,
И, кроясь дымкой, он уходит вдаль,
Заполненный товарищами берег...

Пока мы живы, он никогда не скроется из глаз, «заполненный товарищами берег». А когда время соединит нас с ними, то и тогда слова эти многое скажут будущим людям, дадут им почувствовать особую для душ минуту, и среди них, в живых, позримо встанут те, кто ушел.

Чем больше поэт, тем большим он обязан своему народу. Он обязан народу всем, что ему дано. И только по прошествии времени становится ясно, что и народ многим обязан своему поэту. Расул Гамзатов сказал однажды, что у его народа тоже были свои Ромео и Джульетты, не было только своего Шекспира, чтобы рассказать о них, и потому никто о них не знает.

Когда отсеивается все временное, незначительное, люди на отдалении смотрят на минувшее глазами большого художника, зримой реальностью становится для них жизнь, которую он запечатлел. Целые эпохи исчезли бесследно из памяти народов потому, что не было у них своего поэта.

Создаваемые на самом недолговечном, подверженном тлению материале, литературные памятники имеют свойство переживать и бронзу, и мрамор, и гранит».

Несколько дней я не заходил к Твардовскому. Он тоже не заходил. И вот как-то под вечер, после жаркого дня вернувшись из Москвы, пошел я с семьей на реку. Но не туда, где он обычно разводил свой костерок у моста, а через поле и луг — к деревне: там хоть и не широко, но народу бывало поменьше, гоготали гуси на берегу, с шипеньем уступая дорогу, телята забредали непривязанные.

Подходим — Александр Трифонович стоит один на берегу, собирается лезть в воду. Полезли вместе и поплыли по течению к острову. Был тогда остров на завороте реки, ветлы дуплистые стояли над водой, густо росла бузина, крапива, дикая малина. Потом умная чья-то голова додумалась расширить реку. Срубили деревья, пригнали земснаряд, он всосал в себя половину острова и выплюнул на берег. Тут только задумались: может, не надо? И остались, что осталось, собирать тину вокруг себя.

Но тогда остров еще был, и мы плыли к нему посередине реки. Тишина опускалась предвечерняя, хорошо были слышны голоса из деревни, лай собак по дворам.

А когда плыли обратно, садилось над затоном огромное красное солнце. Мост выгнулся, как нарисованный, и по нему, по диску солнца, быстро бежала черная машинка. Оторвавшийся от нее на берегу хвост пыли волокло ветром на деревню. Потом и на другом берегу стала вздыматься пыль. А по закатному зеркалу воды с берегов полз туман, его словно выдувало из-под моста, и скоро мы плыли в сплошном розовом тумане.

— Может ли это быть,— прямо-таки с нежностью спросил Александр Трифонович,— что от вас водочкой пахнет?

— Может быть, Александр Трифонович. И даже так и есть. А еще есть у меня дома неначатая бутылка коньяка.

И мы пошли после речки ужинать к нам домой. Как всегда, сел Александр Трифонович на то место за столом, где обычно сидел мой сын: спиной к стене. Почему-то место это ему нравилось. Только стол отодвигал он от себя, иначе было ему тесно. А дети сбоку сидели рядышком, притихшие при нем. Поужинав, они ушли.

Мы долго сидели в тот вечер на кухне, хорошо было, душевно, и он сказал поразившие меня слова:

— Вы знаете, ведь это, может быть, третья такая статья за всю мою жизнь.

О многом под настроение говорилось. Могучий, грузный, он встряхивал просыхавшими волосами, у达尔 глядела из светлых его глаз:

— Нет, ничего, ничего... Все-таки все — ничего!

Выпито было в меру: мы начали и кончили бутылку коньяка. Он все уговаривал жену выпить с нами стопочку, как-то особенно уважительно произнося имя-отчество: Эльга Анатольевна. Ему нравилось, что она — хозяйка, мать.

И не впервые в тот вечер слышал я от Твардовского:

— Чтобы писать, нужен запас покоя в душе.

Именно — покоя. Но не спокойствия. У Толстого был такой запас покоя едипожды в жизни: между тридцатью пятью и сорока двумя годами. Он видел тогда возможную гармонию мира, он смог написать в ту пору «Войну и мир».

Я провожал Александра Трифоновича, и уже у калитки он сказал, желая сделать приятное:

— Ну, ничего, бог даст вам за ваших детей.

Так это и осталось со мною.

Однажды я зашел к Александру Трифоновичу часу в шестом вечера, но дома его не застал: он был в Москве. Я уже выходил из калитки, как вдруг подъезжает машина, а из нее вылезает Твардовский, нагруженный, словно с ярмарки: кульки, папки, кулечки — и локтем прижато, и в руках перед собой несет. Я хотел зайти после, но он не отпускал, и мы вместе пошли в дом.

В доме все это стало выгружаться: обсыпанные мукой свежие калачи, из бывшей булочной Филиппова при-

везенные, еще что-то, еще. А он ходил среди всего радостный, освобожденный: подписан в печать номер журнала, в типографию ушел. Великий груз снялся с плеч. А что в папках привезено, это уже — в другие номера.

Дом у Твардовских был хлебосольный, хозяйка Мария Илларионовна — хорошая, и за столом Александр Трифонович сидел, сдержанно гордясь. Для него вообще, как можно было заметить, дом существовал не в городском понимании, а скорее в крестьянском, родовом: это не место жительства, которое легко меняют ввиду лучших удобств, это — твое место на земле. И хотя дом этот под Москвой, не им построенный, никак не напоминал отчий дом на Смоленщине, разрушенный войной, значение, с детства воспринятое, оставалось.

Он сидел за столом, освобожденный от недавних забот, увлеченно рассказывал про одну рукопись, которая самотеком пришла в журнал. Никак невозможно было печатать ее: автор — совсем малограмотный человек.

— Но какие точные подробности! — восторгался Твардовский.— Такое не выдумаешь. Это только солдат мог написать!

Он и сам был на редкость точен. В «Теркине» такое тонкое знание мельчайших подробностей солдатского быта, какое не поэтам присуще, а скорее прозаикам. Ну и тем, разумеется, кто сам все прошел.

Конечно, Твардовского, до войны уже автора «Страны Муравии», среди немногих в ту пору награжденного орденом Ленина, его даже при очень большой настойчивости не допустили бы в окопы ни при каких обстоятельствах. А когда такой человек с корреспондентским заданием прибывал к командиру дивизии, тот нес за него ответственность. Потому как бы радостно ни встречали, а провожали еще радостней, живого, целого.

Если бы не огромный талант, да еще если бы сам он не был крестьянским сыном, ему бы с одним лишь его военным опытом не написать «Василия Теркина». Не случайно больше никому подобное не удалось. И вот сознание, что эту часть жизни он не столько сам испытал, сколько имел возможность наблюдать, врожденный талант и еще большое чувство собственного достоинства побуждали его в разговоре с бывшими солдатами, строевыми офицерами непременно такую фразу сказать: «Ну, да вы это лучше знаете...» Не уверен, что во всех случаях так он считал, но он считал своим долгом так говорить.

И вот за столом, гордясь этой рукописью, как он гордился всем, что к его журналу относилось, Твардовский рассказал оттуда подробность: солдат под огнем плывет через реку, пулеметные очереди секут так близко, что он отдергивает руки под воду. Рассказал и засомневался как будто. И опять свою фразу сказал: «Ну, да вы это должны лучше знать...» Но тут Мария Илларионовна, которой показалось, что он себя умаляет, вступилась за его честь:

— Ты, слава богу, тоже повидал... Что тебе досталось, другому на передовой не пришлось...

Александр Трифонович только чуть улыбнулся, помужски призывая прощать такую понятную заботу.

А подробность, действительно, была точная. Я знал случай в нашем полку, когда из двух братьев, служивших вместе, одного убило, а другой пополз за ним, чтобы вытащить с поля. И тут заработал пулемет. Всякий раз, когда пулеметная очередь ложилась близко, он отдергивал руки под себя.

-- Ну вот, я же говорю! — обрадовался Твардовский.— Конечно, такое не соврешь. И не выдумаешь.

В нем неколебимо и свято было отношение ко всему, что пережил народ, вынесший на себе такую войну. А перед теми, кто с войны не вернулся, кто за всех за нас остался там, жило в нем сознание вины живого перед павшими. Потому-то на отдалении лет, после «Я убит подо Ржевом», после «В тот день, когда окончилась война», написал он «Я знаю, никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны...», заканчивающееся произительно-искренне: «но все же, все же, все же...»

Это «все же...» не одного его сопровождало и сопровождает в послевоенной выпавшей нам жизни. Но только он смог так за всех сказать.

А тогда, вернувшись из Москвы, свалив груз с плеч, такой он у себя дома за столом сидел радушный, радостный.

Когда солнечные дни следуют друг за другом, уже и не так солнце замечаешь, как жмуришься недовольно, что слепит. Но предгрозовое, предзакатное — как ярок и короток, как щемящ его особенный свет.

Ни в Твардовские, ни в Есенины не назначают. Жизнь богаче оттого, что они есть, бедней, когда их нет.

Твардовского нет, и многое многим стало не стыдно.

Не знаю, где еще так велико значение нравственного примера, как велико оно в литературе. Хорошо пишут

многие, но великая книга — это всегда нравственный пример.

Вижу, как сидит Александр Трифонович у костерка на берегу, поджав по-турецки босые опухшие ноги. Еще не обсох после купания, и волосы мокры; сидит и смотрит в огонь.

Быть естественным всегда и везде — невозможно. Где-то надо и показаться, и тон взять нужный. Он это умел. Но при всем при том он оставался самим собой. Он не играл роль, он жил и занят был делом жизни. И значение свое сознавал. Это чувствовалось. Была в нем та сосредоточенность, та ненапускная значительность, которая отличает человека, живущего собственной духовной жизнью.

Все больше я убеждаюсь, что есть в жизни своя скрытая мера и поступков, и дел, и вещей. Кто черпал из жизни, как из колодца — и свое вычерпать спешил, и чужое, — как бы он ни утверждал себя, как бы ни возносился, не станет его, и нет ничего. Жить посмертно суждено тем, кто стремился не из жизни взять, а свое оставить людям. Такова природа таланта. Истинный талант бескорыстен. Его не надо насаждать, издавать какие-либо приказы, распоряжения. Власть его — духовная, добровольно признаваемая людьми. Вмещая прошлое, такая жизнь длится в будущем, в ней особенно ощутима связь времен.

Это и Твардовского судьба.

После поездки в США пришлось мне как-то к слову рассказать Александру Трифоновичу про американского критика и поэта Кеннета Рексрота, старого уже человека, знавшего в свое время Хемингуэя. Мы сидели у нас во дворе, в беседке.

Когда-то на всем участке только здесь была тень. Потом поднялись посаженные лиственницы, черемуха, рябины, беседку накрыло их тенью, а деревянные ее столбы подгнили, и пришлось врыть пасынки из обрезков труб. Александр Трифонович садился в беседке всегда на одно и то же место, опирал палочку о стол, а врытая в землю труба оказывалась у него под правой рукой. Он курил и стряхивал в нее пепел, туда же бросал окурки, обещая, что когда-нибудь наполнит ее доверху. А курил он всегда одни и те же сигареты «Ароматные», запахом которых и сам был пропитан.

Так вот, рассказывал я про Рексрота, а он слушал без особого интереса, налегши грудью на стол. Вдруг

оживился. Это когда я сказал, что, если человек долго живет на свете, странная вещь происходит: с какого-то момента он уже не отдаляется от жизни минувшей, а, наоборот, ему все ближе, понятней становится то, что за сто и за тысячи лет до него было. Словно это теперь тоже часть его собственной жизни. Твардовский быстро взглянул своими светлыми глазами — в них мысль и строгая серьезность,— подтвердил:

— Да! Это я знаю!

Он это не по наблюдению, он по собственной прожитой жизни знал.

Не помню, чтобы когда-либо мы говорили с ним о смерти. Конечно, все в жизни от нее неотделимо, самое главное проверяется у ее порога, но чтобы вот так прямо о ней говорили — не помню. Однако осталось впечатление, что относился он просто к тому, что для каждого, сколько на свете ни живи, кем ты ни будь, а неминуемо настанет время уйти на тот, «заполненный товарищами берег».

Даже рассказывая о смерти Казакевича, с которым он был дружен и последние дни сиживал у его кровати, он, собственно, не о самой смерти рассказывал, а о том, как Казакевич, обреченный уже, замученный болями, все говорил, как надоело ему проворачивать в голове недописанный роман, как тяжело это, как он от этого устал.

Вот о том, что умер, не дописав главной своей книги, до последнего часа проворачивая ее в мозгу, об этом Александр Трифонович рассказывал, и вновь к этому возвращался, задумываясь, как я понимал, не только о Казакевиче.

Но кто знает заранее, какая книга — главная? И где она? Ее всегда хочется видеть впереди, а оказывается не редко, что главной была та, которую писали со свежими силами, многое еще не ведая и не слишком серьезно относясь к себе.

Он спокойно переносил боль, не прислушивался к болезням. Даже когда у него начала отниматься рука, он что-то еще делал в саду, кажется, пытался косить или копать.

Я увидел Александра Трифоновича, когда его привезли домой из больницы: после многократных лечений, после облучения. Все знали уже: надежды нет.

Многие в те дни старались вести себя при нем естественно, так, будто ничего не случилось, и это была мучи-

тельная ложь. Лишенный дара речи, сильно исхудавший, истощившийся, он смотрел молча, все видя, все понимая.

А вот Зиновий Гердт как будто ничего и не старался. Он приходил, сильно хромая на свою деревянную ногу, спрашивал деловито:

— Так!.. Кипяток есть? Помазок? Будем бриться.

И крепко мыли горячей пеной, не боясь голову сотрясти, брил, как здорового, и что-то рассказывал своим громким голосом. Обвязанный полотенцем, намыленный, а потом умытый, с лоснящимися после бритья щеками, освеженный, Александр Трифонович радостно смотрел на него, охотно слушал.

А утешение доставлял младенец, младший внук. Не ведая ничего и не сознавая, с той правотой, которую жизнь дала, он топал по полу, не страшась штаны потерять. Обутый в толстые шерстяные носки деревенской вязки, как дед его когда-то, светлый, рыженький, неправдоподобно похожий, он топал храбро по дому, а дед поворачивал голову, смотрел вслед, провожал взглядом.

Твардовский умер в декабре.

А летом вновь так же высоко стояла трава по обочинам, и у его забора впервые за много лет никто ее не косил.

Перед днем его рождения, перед 21 июня, хотелось мне выкосить и обочины и кювет, как он любил, чтобы ровная густая щеточка зеленела вдоль всего участка. Я и косу наточил, с вечера подготовил: думал, приду пораньше, пока в поселке все еще спят. Для самого себя хотелось. И в память о нем. Но — не решился, не спросив. А спрашивать было неловко: ведь могли быть соображения, которых я не знал и которые не обязаны были мне говорить.

Косил там, насколько я знаю, сторож из детского санатория Евгений Антонович Беляков, хороший, мудрый старик. При жизни Александра Трифоновича он часто заходил: что-либо сделать по хозяйству, и так просто, поговорить. Придет, тихий, стесняющийся, подаст руку:

— Как чувствие?

И щурится, словно на солнышко глядя. А руки его, черствые, с разбухшими суставами и пальцами, как бы даже неразгибающимися до конца, много-таки поработали на своем веку. И все — с толком, умело, не спеша. За деньги ли, без денег, но всегда — на совесть. Сохранил старик это редкое в наши дни качество, это уважение к себе, которое столькими утеряно.

Александр Трифонович любовался стариком. Мне даже казалось, что в чем-то существенном сам он утверждается, глядя на старика. Бывало, рассказывает — не раз он это рассказывал и мне, и, наверное, не мне одному:

— Спрашиваю его: «Годков-то тебе сколько же?»

Тут Твардовский непременно повышал голос, будто глухому старику в ухо кричит. Делал он это бессознательно, поскольку Евгений Антонович в свои годы не только слуха не потерял, но слышал не хуже нас обоих.

«Годков тебе сколько, говорю?..»

«А семой миновал...»

Вот этим «семой миновал» Александр Трифонович восхищался. Не год, конечно, седьмой, а «семой» десяток. И видно, не вчера миновал. Но при всем при том сохранил старик собственный разум, твердые понятия и свои представления обо всем в жизни. Не кто-нибудь, а сам он себя продолжал кормить в такие годы, и хвори свои хоть и не без помощи врачей, но больше все же собственными средствами одолевал, теми травками и настоями, которыми «способствуют».

Он и косил в тот год вдоль участка.

Не знаю, сколько осталось мне весен, но почему-то я особенно чувствую нынешнюю, быстро уходящую. И снег стремительно тающий, и ослепительный блеск солнца в вешней воде. Словно никогда еще оно так не светило, не блистало.

И думаю я сейчас, на тающий снег глядя, спиною чувствуя, как солнце печет, — думаю я о тех, кто эту весну уже не увидел. Не думаю даже, а чувствую за них. Как стало их много, какой длинный ряд безгласный, и все больше, больше там дорогих мне людей.

Последняя весна Твардовского была здесь, на Пахре; здесь он ее видел, казался еще здоров.

Помню, как-то косил я перед домом. Было начало лета. За городом постоянно этот соблазн: бросить работу и пойти копать, косить или столярничать. Но тогда это было под вечер, после работы. Сильно липли комары на потную шею, предвещая на завтра жаркий день. Срезанная трава пахла свежим соком.

Вдруг вижу, от калитки идет по дорожке Александр Трифонович со своей палочкой. Я бросил косить, стал точить косу. Но не так, как косари на лугу, взявшись

рукою за обух, а как мне было удобней: носком уперев в столбик. Знал я, что все это он заметит, непременно посмотрит, низко ли, ровно ли срезана трава, но я так привык и мне было так проще.

Концом своей палочки он шевелил скошенную траву и говорил о том, что вот пишут: «пахло сеном», а сколько и каких запахов имеет скошенный луг! Когда только скошен, когда его солнцем печет полуденным, когда граблями ворошат не высохшую, провянувшую траву. И вечером, когда луг влажен. И сложенное сухое сено... Все это разные же запахи!

Стоял он такой задумавшийся, волосы, легкие, светлые, почти совсем уже седые, чуть ветер шевелил на лбу. И вдруг спросил, читал ли я года два назад напечатанные в журнале «Иностранная литература» отрывки из записных книжек Томаса Манна. Есть там мысль что только искусство способно остановить мгновенье, только оно одно может это.

Как быстро все в жизни совершаются. Когда мы с женой посадили эти елки перед домом, они были меньше нашей пятилетней дочки. Осталась фотография: дочь наша и елки — ниже нее. А родилась она в том самом мае, когда у Твардовского в журнале «Новый мир» печаталась моя повесть «Пядь земли»; так получилось, что они — ровесницы, вместе появились на свет. И вот уже ели поднялись выше дома, и мы стоим под ними, и Александр Трифонович концом своей палочки шевелит скошенную траву.

Он остановил мгновенье. Вот с этой самой палочкой идет он, бывало, улицей нашего поселка, широкой, как в деревне, улицей. Или по лесу идет. А то сидет на пень и палкой шевелит на земле падую листву и взглядывает на солнце сквозь вершины. Вот таким и вижу его, когда читаю это, мое любимое:

На дне моей жизни,
 на самом донышке,
Захочется мне
 посидеть на солнышке,
На теплом пенушке.
И чтобы листва
 красовалася палая
В наклонных лучах
 недалекого вечера.
И пусть оно так,
 что морока немалая —
Твой век целиком,
 да об этом уж нечего.

Я думу свою
без помехи подслушаю,
Черту подведу
стариковскою палочкой:
Нет, все-таки, нет,
ничего, что по слухаю
Я здесь побывал
и отметился галочкой.

Зимы сменяются веснами, и летними вечерами все так же в наклонных лучах красуется палая листва. Наверное, в этом есть и утверждение, и великая правота жизни.

Каждый раз, когда ранним утром я иду на автобус по гулкому над водой деревянному мосту, стоят уже у мокрых железных перил, сидят на берегу и в лодках среди тины озябшие рыболовы: и те, что тогда были, и те, что за это время подросли. Мокро еще все: и трава и лес. А река словно паром исходит. Это согревает ее изъко поднявшееся над лесом солнце, чистое, оттого что чист воздух, отстоявшийся за ночь. И так же точно у дальнего берега, к которому мы плыли бывало, отражены в зеленой воде белая балюстрата и белые опрокинутые колонны детского санатория. Всплеснет рыба, все это заколеблется в воде, расходясь кругами.

И опять я вижу на том же самом месте дымящийся костерок на берегу, сложенный из сухих веток, из мусора. Придерживаясь рукой за сук дерева, по мокрому, осыпающемуся под босыми ногами берегу спускается к воде грузный человек. Вода в этот час теплей воздуха, а дно у берега илистое, вязкое. Он входит по колена, потом со вздохом ложится в воду и плывет к тому берегу, не размашисто, не шумно плывет над зеленою глубиной.

Дважды не войти в ту же реку, и дважды ни река, ни время не текут. Далеко теперь текут те воды, что протекали тогда здесь, под мостом. Не раз они с тех пор пролились дождями и вновь обратились в пар.

На вышнем ветру плывут они над нами в небесной выси, и вечное солнце светит сквозь них. Какими оттуда, из дали расстояний и времен, увидятся наши заботы, наши боли и дела? Увидятся ли? Нет, все же увидятся.

Вот и его слово, его поэзия, прия из жизни, вернувшись в жизнь.

СОДЕРЖАНИЕ

Карпухин. <i>Повесть</i>	7
Друзья. <i>Роман</i>	83

РАСКАЗЫ

Хороший исход	293
Разжалованный	302

ПУБЛИЦИСТИКА

Канада	309
Об Александре Трифоновиче Твардовском	405

Бакланов Г.

Б 19 Избранные произведения: в 2-х т.— М.: Худож. лит., 1979 — Т. 2. 430 с.

Во второй том Избранных произведений Г. Я. Бакланова включены рассказы, повесть «Карпухин», роман «Друзья», героя которых наши современники, многие из них прошли войну. Читатель познакомится также с путевыми заметками о поездке по Канаде и с воспоминаниями об Александре Трифоновиче Твардовском.

**70302-427
Б 028 (01)-79 64-80**

P2

**Григорий Яковлевич
Бакланов**

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Том 2

Редактор

О. Афанасьева

Художественный редактор

Ю. Боярский

Технический редактор

Л. Синицына

Корректоры

Т. Калинина,

Е. Павлова

ИБ № 1639

Кодированный оригинал-макет подписан в печать 05.12.79. А11729. Сдан в набор 22.01.80. Формат 84×108^{1/2}.
Бумага тип. № 1. Гарнитура «Обыкновенная». Печать высокая. 22,68 усл.
печ. л. 23,847 уч.-изд. л. Тираж
100000 экз. Заказ № 1340. Цена 1 р. 70 к.
ОСР Давид Гигиевский, май 2019 г., Хайфа

Издательство

«Художественная литература»

107078 Москва, Ново-Басманская, 19

Ордена Октябрьской Революции и
ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография имени
А. А. Жданова. Союзполиграфпрома
при Государственном комитете СССР
по делам издательства, полиграфии и
книжной торговли. Москва, М-54,
Баловая, 28

1p.10m